

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

1

Н О В Ы Й
М И Р

2004

1

2004

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2004 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Кандидат (повесть);
АННА АРУТЮНЯН. Газета русская и американская (сравнительные характеристики);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);
АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Новая повесть;
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
ДМИТРИЙ ГАЛКОВСКИЙ. Святочный рассказ № 13;
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Василии и подвижнице Серафиме;
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ. Голоса русской поэзии (критическая панорама);
ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Фармацевт (повесть);
ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ. Письма Виталию Семину;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Возвращение в Кандагар (повесть);
АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. Вниз по реке Теснин (исторический роман);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;
АННА МАТВЕЕВА. Небеса (роман);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных (роман);

(См. на обороте)

ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Новая повесть;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ. Кленовая паутина (стихи);
РОМАН СЕНЧИН. Вперед и вверх на севших батарейках (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
МАРИНА СТЕПНОВА. Хирург (роман);
ИРИНА СУРАТ. Мандельштам и Пушкин (статья третья);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Бабушкин спирт (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
АНТОН УТКИН. Крепость сомнения (роман);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ. Парад облаков (рассказы);
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Спальный район (рассказы);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;

а также стихи **ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ;** статьи, обзоры, эссе **КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, МАКСИМА КРОНГАУЗА, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ЭРИХА СОЛОВЬЕВА, ТАТЬЯНЫ ЧЕРЕДНИЧЕНКО** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2004 году: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2004. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек (на полугодие — 444 рубля плюс стоимость доставки), 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 9.30 до 17.30 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Нахимовский проспект, 51/21), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1 (945)

Январь, 2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Искренне ваш Шурик, роман	7
ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ — Немыслимый свет, стихи	50
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ — Мурзилка, повесть	53
МАРИЯ ВАТУТИНА — Осколок тьмы, стихи	81
НИНА ГОРЛАНОВА — Рассказы	86
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Поминки по веку, стихи	103
ОЛЕГ ЧИЛАП — Мой старший брат, рассказы	109
ВЛАДИМИР САЛИМОН — Краем глаза, стихи	119

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЭРИХ СОЛОВЬЕВ — Переосмысление талиона. Карательная справедливость и юридический гуманизм	123
---	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ГУСТАВ ШПЕТ — «Я пишу как эхо Другого...» Письма к жене. Публикация, подготовка текста и примечания М. Г. Шторх и Т. Г. Щедриной	143
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР МАКАНИН — Ракурс. Одна из возможных точек зрения на нынешний русский роман	158
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Виктор Куллэ. Суп с котом	163
Юрий Кублановский. На свету и в темнотах лирической самобытности	167
Никита Елисеев. Умершее зерно	171
Кирилл Левинсон. Приближение к средневековому человеку	178

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА	182
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА	188
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	191
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	196

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ (КАУФМАН) — «Свои» — «чужие»	201
--	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	209
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	212
SUMMARY	240

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА

ЕВГЕНИЯ РЕЙНА

С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ ПУШКИНСКОЙ ПРЕМИИ,
УЧРЕЖДЕННОЙ ФОНДОМ АЛЬФРЕДА ТЁПФЕРА (ГЕРМАНИЯ)!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА

БАХЫТА КЕНЖЕЕВА

С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ
«МОСКВА — ТРАНЗИТ»!

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ

*

ИСКРЕННЕ ВАШ ШУРИК

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

1

Отец ребенка, Александр Сигизмундович Левандовский, с демонической и несколько уцененной внешностью, с гнутым носом и крутыми кудрями, которые он, смирившись, после пятидесяти перестал красить, с раннего возраста обещал стать музыкальным гением. С восьми лет, как юного Моцарта, его возили с концертами, но годам к шестнадцати все застопорилось, словно погасла где-то на небесах звезда его успеха, и молодые пианисты хороших, но обыкновенных способностей стали обходить его, и он, окончив с отличием Киевскую консерваторию, постепенно превратился в аккомпаниатора. Аккомпаниатор он был чуткий, точный, можно сказать, уникальный, выступал с первоклассными скрипачами и виолончелистами, которые за него несколько даже боролись. Но строка его была вторая. В лучшем случае писали на афишке «партия фортепиано», в худшем — две буквы «ак.». Это самое «ак.» и составляло несчастье его жизни, всегдашнее жало в печень. Кажется, по воззрениям древних, именно печень более всего страдала от зависти. В эти гиппократовские глупости, разумеется, никто не верил, но печень Александра Сигизмундовича и в самом деле была подвержена приступам, он держался диеты и время от времени желтел, болел и страшно мучился.

Познакомились они с Верочкой Корн в лучший год ее жизни. Она только что поступила в таировскую студию, еще не приобрела репутации самой слабенькой студийки, наслаждалась интересными разнообразными занятиями и мечтала о великой роли. Это были предзакатные годы Камерного театра. Главный театровед страны еще не высказал своего священного мнения о театре, назвав его «действительно буржуазным», еще царила Алиса Коонен, а Таиров и впрямь позволял себе такие «действительно буржуазные» шалости, как постановку «Египетских ночей».

В театре по традиции справляли старый Новый год, тридцать пятый, и среди множества затей, которыми забавляли себя изобретательные актеры в ту длинную ночь, был конкурс на лучшую ножку. Актрисы удалились за занавес, и каждая, приподняв его край, целомудренно выставила на обозрение часть ноги от колена до кончиков пальцев. Жюри таким образом гарантировало свою нелицеприятность.

Восемнадцатилетняя Верочка повернула лодыжку таким образом, чтобы аккуратная штопка на пятке была наименее заметна, и чуть не упала в

Улицкая Людмила Евгеньевна родилась на Урале, окончила биофак МГУ. Лауреат нескольких международных литературных премий. В 2001 году за опубликованный в «Новом мире» роман «Путешествие в седьмую сторону света» («Казус Кукоцкого») удостоена Буковской премии. Живет в Москве.

обморок от взрыва сладких шипучих чувств, когда ее властно вытащили из-за занавеса и надели на нее передник, на котором большими серебряными буквами было написано: «У меня самая прелестная ножка в мире». К тому же был вручен картонный башмачок, изготовленный театральными бутафорами и наполненный шоколадными конфетами. Эти предметы, включая и окаменевшие конфеты, долго еще хранились в нижнем ящике секретера Елизаветы Ивановны, оказавшейся неожиданно чувствительной к успеху дочери в области, лежащей, по ее понятиям, за гранью пристойного.

Александра Сигизмундовича, только что закончившего свои московские гастроли, пригласил на праздник сам Таиров. Аристократический гость весь вечер не отходил от Верочки и произвел на нее глубочайшее впечатление, а под утро, когда бал закончился, собственноручно надел на премированную ножку белый фетровый ботик, смелую вариацию на тему русского валенка, но на высоком каблуке, и повел ее домой, в Камергерский переулок. Было еще темно, медленно падал светящийся снег, театральным желтым светом горели фонари, и она чувствовала себя премьершей на огромной сценической площадке. Одной рукой она прижимала к себе завернутые в газету нарядные туфли тридцать четвертого размера, другая ее рука блаженно лежала на его рукаве, а он читал ей вышедшие из моды стихи опального поэта.

В тот же день он уехал в свой Ленинград, оставив ее в полнейшем смятении. Обещал вскоре вернуться. Но проходила неделя за неделей, от сердечного многоожидания остался у Верочки один только горький осадок.

Профессиональные успехи Верочки были невелики, к тому же балетмейстерша, учившая их современному движению в духе Айседоры Дункан, крепко ее невзлюбила, называла ее теперь не иначе как «прелестная ножка» и не спускала ни малейшего промаха. Бедная Вера вытирала слезы краем древнегреческого хитона из ивановского ситца и не попадала в такт скрябинской экстатической музыки, под которую студийки упражнялись, выкидывая энергично кулачки и колени, дабы перевести неуловимую душу бунтующей музыки в зримые образы.

В один из самых дурных дней той весны у служебного входа встретил Веру Александр Сигизмундович. Он приехал в Москву на две недели, для записи нескольких концертов выдающегося скрипача, всемирной знаменитости. В некотором смысле это был звездный час его жизни: скрипач был старомодного воспитания, относился к Александру Сигизмундовичу с подчеркнутым уважением и, как оказалось, помнил о его детской скоропортящейся славе. Запись шла великолепно. Впервые за долгие годы страдающее самолюбие пианиста отдохало, расслабившись и расправившись. Прелестная девушка с серо-голубыми муаровыми глазами трепетала от одного его присутствия — одно вдохновение питалось от другого...

Что же касается юной Верочки, весь учебный год старательно изучавшей таировские «эмоционально-насыщенные формы», в ту весну она раз и навсегда утратила ощущение границы между жизнью и театром, «четвертая стена» рухнула, и отныне она играла спектакль своей собственной жизни. В соответствии с идеями глубоко чтимого учителя, требующего от своих актеров универсальности — от мистерии до оперетки, как сам он говорил, — Верочка в ту весну разыгрывала перед умиленным Александром Сигизмундовичем амплу «инженю драматик».

Благодаря совместным усилиям природы и искусства роман был восхитительным — с ночными прогулками, интимными ужинами в маленьких кабинетах самых известных ресторанов, розами, шампанским, острыми ласками, доставлявшими обоим наслаждение, может быть, большее, чем то, которое они пережили в последнюю московскую ночь, перед отъездом Александра Сигизмундовича, в час полной капитуляции Верочки перед превосходящими силами противника.

Счастливым победителем уехал, оставив Верочку в сладком тумане свежих воспоминаний, из которых постепенно стала проступать истинная картина ее будущего. Он успел поведать ей, как несчастлива его семейная жизнь: психически больная жена, маленькая дочка с родовой травмой, властная теща с фельдфебельским нравом. Никогда, никогда он не сможет оставить эту семью... Верочка замирала от восторга: как он благодороден! И свою собственную жизнь ей хотелось немедленно принести ему в жертву. Пусть будут длинные разлуки и короткие встречи, пусть лишь какая-то доля его чувств, его времени, его личности принадлежит ей — та, которую он сам пожелает ей посвятить.

Но это была уже другая роль — не преобразившейся Золушки, шелкающей стеклянными каблуками по ночной мостовой при свете декоративных фонарей, а тайной любовницы, стоящей в глубокой тени. Поначалу ей казалось, что она готова держаться этого до конца жизни, своей или его: несколько долгожданных свиданий в год, глухие провалы между ними и однообразные тоскливые письма. Так тянулось три года, — в Верочкиной жизни стал проступать привкус скучного женского несчастья.

Актерская карьера, толком не успев начаться, закончилась. Камерный театр слили с Театром Революции, ей предложили уйти. Она вышла из труппы, но осталась работать в театре секретарем. Она еще бегала на репетиции, втайне примеряла на себя некоторые роли, особенно по душе ей была роль мадам Бовари. Ах, если бы не Алиса Коонен! Тогда казалось, что все еще может повернуться вспять и она еще выйдет на сцену в баржевом платье, отделанном тремя букетами роз-помпон с зеленью, и пройдет в кадрили с безмянным виконтом в имении Вобьесар...

Тогда же, в тридцать восьмом, она сделала первую попытку освободиться от изнурительной любовной связи. Александр Сигизмундович смиренно принял ее волю и, поцеловав ей руку, удалился в свой Ленинград. Но Верочка не выдержала и двух месяцев, сама же вызвала его, и все началось заново.

Она похудела и, по мнению подруг, подурнела. Появились первые признаки базедовой болезни, еще не опознанной: глаза блестели металлическим блеском, порой комок застревал в горле, нервы пришли в расстройство, и даже Елизавета Ивановна стала слегка побаиваться Верочкиных домашних истерик.

Прошло еще три года. Отчасти под давлением Елизаветы Ивановны, отчасти из желания поменять свою, как теперь она оценивала, неудавшуюся жизнь она снова порвала с Александром Сигизмундовичем. Он тоже был измучен этим трудным романом, но первым не решился бы на разрыв: он любил Верочку очень глубокой и даже возвышенной любовью — всякий раз, когда приезжал в Москву. Своей страстной и аффектированной любовью она питала его несчастное и больное самолюбие. На этот раз расставание как будто удалось: начавшаяся война надолго их разлучила.

К этому времени Верочка уже лишилась своей незавидной секретарской должности, обучилась скромному бухгалтерскому ремеслу и снова поступила в театр, который никак не отпускал ее душу. Это была такая зараза, о которой знают только переболевшие. Она продолжала ходить на репетиции, выучила назубок роль арбузовской Тани и боготворила Бабанову, как прежде Коонен. У нее даже завелся поклонник, исключительно положительный и столь же безмозглый еврей-снабженец. Он сделал ей предложение. Она, прорывав всю ночь, отказала ему, гордо объявив, что любит другого. То ли был в Верочке какой-то изъян, то ли полное непопадание в образы времени, но ее хрупкая нежность, внутренняя готовность немедленно прийти в восторг и душевная subtilность, которая была в моде в чеховские, скажем, времена, совершенно никого не прельщали в героическом периоде войны и послевоенного завершения социалистического строительства... Что ж, никого так никого... Но не снабженец же...

Потом была эвакуация в Ташкент. Елизавета Ивановна, доцент Педагогического института, настояла, чтобы дочь уволилась из театра и поехала с ней.

Александр Сигизмундович попал в эвакуацию в Куйбышев, несчастная его семья выехать не успела и погибла в блокаду. Александр Сигизмундович жестоко болел в Куйбышеве, три воспаления легких подряд едва не свели его в могилу, но его выходила медсестра, крепкая татарка из местных. На ней он и женился из одиночества и слабости.

Когда после войны Верочка и Александр Сигизмундович встретились, все снова началось, но в слегка изменившихся декорациях. Он опять был несчастлив в браке, опять у него была болезненная дочка. Он постарел, утончился, был еще более влюблен и еще более трагичен. Роман всплеснул с новой океанической силой, любовные волны выносили их на недосягаемые высоты и стряхивали в глухие пучины. Может быть, это и было то самое, чего желала Верочкина неутоленная душа. В те годы ей часто снился один и тот же сон: посреди какого-то совершенно бытового действия, например чаепития с мамой за их овальным столиком, она вдруг обнаруживала, что в комнате нет одной стены, а вместо нее темнота уходящего в бесконечность зрительного зала, полного безмолвными и совершенно неподвижными зрителями...

Как и прежде, он приезжал в Москву три-четыре раза в год, останавливался обыкновенно в гостинице «Москва», и Верочка бегала к нему на свидания. Она смирилась со своей судьбой, и только поздняя беременность изменила течение ее жизни.

Роман ее длился долго, как она и напорочила себе в юности — «до самой смерти»...

2

Ходила Вера, как с девочками ходят: животик яблоком, а не грушей, лицо мягко расплылось, зернистый коричневый пигмент проклюнулся возле глаз, и двигался в животе ребенок плавно, без грубостей. Ждали, конечно, девочку. Елизавета Ивановна, чуждая всяким суевериям, готовилась к рождению внучки заранее, и, хотя специально она не держалась розовой гаммы, как-то случайно подобралось все детское приданое розовым: распашонки, пеленки, даже шерстяная кофточка.

Ребенок этот был внебрачным, Вера немолода, тридцать восемь лет. Но эти обстоятельства никак не мешали Елизавете Ивановне радоваться предстоящему событию. У нее самой брак был поздний, родила она единственную дочь довольно за тридцать и вдовой осталась с тремя детьми на руках: с семимесячной Верочкой и двумя падчерицами-подростками. Выжила сама, вырастила девочек. Впрочем, старшая падчерица уехала из России в двадцать четвертом году и уж больше не вернулась. Весь жизненный опыт Елизаветы Ивановны склонял ее к терпимости и мужеству, и маленькую новую девочку, нежданное прибавление в семье, она ждала с хорошим сердцем. Дочь-семья, дочь-подруга, помощница — на этом и стояла ее собственная жизнь.

Когда вместо ожидаемой девочки родился мальчик, обе они, и мать и бабушка, растерялись: нарушены были их заветные планы, не состоялся семейный портрет, который они в мыслях заказали: Елизавета Ивановна на фоне их чудесной голландской печки стоит, Верочка сидит таким образом, что руки матери лежат у нее на плечах, а на коленях у Верочки — чудесная кудрявая девочка. Детская загадка: две матери, две дочери и бабушка со внучкой...

Личико ребенка Вера разглядела хорошенько еще в роддоме, а развернула его впервые уже дома и была неприятно поражена огромной по сравнению с крошечными ступнями ярко-красной мошонкой и немедленно

воспрянувшим, очень неделикатным и непропорциональным детородным членом. В тот миг, пока она взирала с растерянностью на этот всем известный феномен, лицо ее оросилось теплой струей.

— Ишь какой проказник, — усмехнулась бабушка и пощупала пленку, которая осталась совершенно сухой. — Ну, Веруша, этот всегда из воды сухим выйдет...

Младенец играл лицом, какие-то разрозненные выражения сменяли друг друга: лобик хмарился, губы улыбались. Он не плакал, и было непонятно, хорошо ему или плохо. Скорее всего, ему было все происходящее удивительно...

— Дед, вылитый дед. Будет настоящим мужчиной, красивым, крупным, — удовлетворенно заключила Елизавета Ивановна.

— Некоторые части тела даже слишком, — многозначительно заметила Верочка. — Точь-в-точь как у отца...

Елизавета Ивановна сделала пренебрежительный жест:

— Нет, Веруша, ты не знаешь... Это вообще особенность мужчин Корн.

Полностью исчерпав свой личный опыт, они перешли к следующей проблеме: как им, двум слабым женщинам, вырастить настоящего сильного мужчину. По многим причинам, семейным и сентиментальным, он обречен был носить имя Александр.

С первого же дня обязанности поделили таким образом, что на долю Верочки приходилось кормление грудью, а все остальное взяла на себя Елизавета Ивановна.

Спорт, мужские развлечения и никакого сюсюканья — определила Елизавета Ивановна первоочередные задачи. И действительно, с того дня, как зажила пуповина, она стала занимать внука физкультурой: пригласила массажистку и начала ежедневное обливание мальчика прохладной, но кипяченой водой. Чтобы обеспечить внуку достойные мужские развлечения, она заранее обзавелась в «Детском мире» деревянным ружьишком, солдатиками и лошадкой на колесиках. С помощью этих незамысловатых предметов Елизавета Ивановна намеревалась оградить мальчика от горечи безотцовщины, истинные размеры которой должны были определиться спустя короткое время, и воспитать его истинным мужчиной — ответственным, способным принимать самостоятельные решения, уверенным в себе, то есть таким, каким был ее покойный муж.

— Ты должна осваивать принцип максимального расстояния, — сильно забегая вперед, поучала она дочь в первые же дни после выхода из роддома, и в голосе ее прорезывались педагогические ноты. — Когда ребенок подрастет, и выпустит наконец твою руку, и сделает первый шаг в сторону, ты должна будешь совершить свой шаг в противоположном направлении. Это ужасная опасность для всех матерей-одиночек, — безжалостно уточняла Елизавета Ивановна, — соединять себя и ребенка в один организм.

— Почему ты так говоришь, мамочка, — с обидой возражала Вера, — у ребенка, в конце концов, есть отец, и он будет принимать участие в его воспитании...

— Проку от него будет как от козла молока. Можешь мне поверить, — припечатала Елизавета Ивановна.

Слышать это было обидно для Верочки потому, что все уже было договорено и решено — через несколько дней должен был приехать счастливый отец, чтобы наконец объединиться с возлюбленной. В этом самом месте как раз и находилась единственная точка расхождения между обожающими друг друга матерью и дочерью: Елизавета Ивановна презирала Верочкиного любовника, многие годы надеялась, что дочь встретит человека более достойного, чем этот нервный и неудачливый артист. Но также, по опыту своей жизни, Елизавета Ивановна хорошо знала, как трудно быть женщине одной, а особенно такой, как ее дочь Верочка, — тонкой, худо-

жественной натуре, не приспособленной к теперешней мужской грубости. Да ладно уж, пусть хоть кто-то... И она буркнула не совсем кстати:

— А, какая барыня ни будь, все равно ее ...ут.

Она обожала пословицы и поговорки и знала их множество, даже и латинские. Будучи исключительно строга в русской речи, она использовала иногда совершенно неприличные выражения, если они были освящены фразеологическим словарем...

— Ну знаешь ли, мама, — изумилась Верочка, — ты уж слишком...

Елизавета Ивановна спохватилась:

— Ну прости, прости, уж меньше всего хотела тебя обидеть.

Однако, несмотря на материнскую грубость, Вера как будто оправдалась:

— Мамочка, ты же знаешь, он на гастролях...

Видя огорченное лицо дочери, Елизавета Ивановна дала задний ход:

— Да бог с ним совсем, Верочка... Мы и сами своего мальчика вырастим.

Напророчила... Погиб Александр Сигизмундович через полтора месяца после рождения Шурика. Он попал под машину на улице Восстания, возле Московского вокзала, вернувшись в Ленинград после первого знакомства с новорожденным сыном. Престарелый отец был полон окончательной решимости объявить наконец своей богатырской Соне, что уходит от нее, оставляет ей с дочкой ленинградскую квартиру и переезжает в Москву. Первые два пункта в точности исполнились. Только вот переехать не успел...

Верочка узнала о смерти Александра Сигизмундовича через неделю после похорон. Встревоженная отсутствием известий, она позвонила другу Александра Сигизмундовича, поверенному их отношений, не застала его, так как тот был в отъезде. Скрепившись, она позвонила на квартиру Александру Сигизмундовичу. Соня сообщила о его смерти.

Молодая мать, из разряда «старых первородок», как называли ее в роддоме, многолетняя любовница — к тому времени набежало двадцать лет их отношениям, — она стала свежей вдовой, так и не успев выйти замуж.

Черноволосый мальчик совал в рот сжатый кулачок, энергично сосал, кряхтел, пачкал пеленки и находился в состоянии беспечного удовлетворения. Ему и дела не было до материнского горя. Вместо пропавшего материнского голубоватого молока ему давали теперь из бутылочки разведенное и подслащенное коровье, и оно отлично у него шло.

3

На семейную легенду к середине двадцатого века пошла вдруг повальная мода, имеющая множество разнообразных причин, главной из которых, вероятно, было подспудное желание заполнить образовавшуюся за спиной пустоту.

Социологи, психологи и историки со временем исследуют все побудительные причины, толкнувшие одновременно множество людей на генеалогические изыскания. Не всем удалось докопаться до дворянских предков, однако и всяческие курьезы вроде бабушки — первого врача Чувашии, меннонита из голландских немцев или, похлеще, экзекутора при пыточной палате петровских времен тоже имели свою семейно-историческую ценность.

Шурику не понадобилось никаких усилий воображения — его фамильная легенда была убедительно документирована несколькими газетными вырезками шестнадцатого года, восхитительным свитком толстой, а вовсе не тонкой, как воображают несведущие люди, японской бумаги и наклеенной на волокнистый бледно-серый картон недостижимого и по сей день качества фотографии, на которой его дед, Александр Николаевич Корн, громоздкий, с большим твердым подбородком, упирающимся в высокий ворот парадной сорочки, изображен рядом с принцем Котохито Канин,

двоюродным братом микадо, совершившим длительное путешествие из Токио в Петербург, большую часть пути — по Транссибирской магистрали. Александр Николаевич, перспективный инженер железнодорожного ведомства, человек европейского образования и безукоризненного воспитания, был начальником этого специального поезда.

Фотография сделана двадцать девятого сентября 1916 года в фотоателье господина Иоганссона на Невском проспекте, о чем свидетельствовала сия художественная надпись на обороте. Сам принц, к сожалению, выглядел кое-как: ни японского наряда, ни самурайского меча. Обыкновенная европейская одежда, круглое узкоглазое лицо, короткие ноги — похож на любого китайца из прачечной, какие в ту пору уже завелись в Петербурге. Впрочем, от прачечного китайца, заряженного не смывающейся до смерти улыбкой, его отличало выражение непроницаемого высокомерия, ничуть не смягченное ровной растяжкой губ, обозначающей улыбку.

Изустная часть легенды содержала дедушкины воспоминания в бабушкиных пересказах: о длинных чаепитиях в пульмановском спецвагоне на фоне многодневной тайги, переливающейся за окнами ясными осенними красками лиственных и мрачно-зеленых хвойных.

Покойный дед высоко оценивал японского принца, получившего образование в Сорбонне, умницу и свободомыслящего сноба. Свободомыслие его выражалось в первую очередь именно в том, что он позволил себе невозможную для японского аристократа вольность личного и даже доверительного общения с господином Корном, который был, в сущности, всего лишь обслуживающим персоналом, пусть и высшего разряда.

Принц Котохито, проживший в Париже восемь лет, был большим поклонником новой французской живописи, в особенности Матисса, и встретил в Александре Николаевиче понимающего собеседника, каких в Японии ему не находилось. «Красных рыб» Александр Николаевич не знал, но готов был поверить принцу на слово, что именно в этом своем шедевре Матисс наиболее явно обнаружил следы внимательного изучения японского искусства.

Последний раз Александр Николаевич был в Париже в одиннадцатом году, еще до войны, когда «Красные рыбы» были еще икрой замыслов, зато именно в тот год Матисс выставил на осенней выставке другой свой шедевр, «Танец»... Далее рассказы бабушки о воспоминаниях дедушки плавно перетекали в ее собственные воспоминания о той их последней совместной заграничной поездке, и Шурик, легко допускавший умершего дедушку к знакомству с японским принцем, внутренне сопротивлялся тому, что его живая бабушка действительно бывала в городе Париже, само существование которого было скорее фактом литературы, а не жизни.

Бабушка от этих рассказов получала большое удовольствие, и она, пожалуй, несколько злоупотребляла ими. Шурик выслушивал ее смиренно, слегка перебирая ногами от нетерпеливого ожидания давно известного конца истории. Дополнительные вопросы он не задавал, да бабушка в них и не нуждалась. С годами ее прекрасные истории застыли, отвердели и, казалось, невидимыми клубками лежали в ящике ее секретера рядом с фотографиями и свитком. Что же касается свитка, то он был наградным документом, удостоверяющим, что господину Корну пожалован орден Восходящего Солнца — высшая государственная награда Японии.

В шестьдесят девятом году произошло великое переселение семьи из Камергерского переулка — Елизавета Ивановна упрямо и провидчески пользовалась исключительно старыми названиями — к Брестской заставе, на улицу, судя по ее названию, проложенную когда-то в пригородном лесу. Вскоре после переезда, уже здесь, на Лесной, в ее мелком рукаве, сбегающем к откосу железнодорожной ветки, соединявшей Белорусскую и Рижскую железную дорогу — Брестскую и Виндавскую, уточнила Елизавета Ивановна, — в новой трехкомнатной квартире, неправдоподобно просторной и прекрасной, бабушка впервые предъявила пятнадцатилетнему

внуку самое сердце легенды: оно лежало в трех последовательно снимавшихся футлярах, из которых верхний был неродной — шкатулка карельской березы безо всяких выкрутасов, с выпуклой крышкой, зато два внутренних — подлиннные японские, один из яблочного нефрита, второй шелковый, серо-зеленый, цвета переливов зимнего моря. Внутри возлежал он, орден Восходящего Солнца. Сокровище это было совершенно мертвым и обесславленным, от него остался лишь драгметаллический скелет, а шестнадцать бриллиантов, составляющих его душу и, строго говоря, основную материальную ценность, полностью отсутствовали, напоминая о себе лишь пустыми глазницами с искривленными ресницами лапок.

— А камни съели. Последние пошли на эту квартиру, — известила Елизавета Ивановна пятнадцатилетнего внука, похожего в ту пору на годовалого щенка немецкой овчарки, уже набравшего полный рост и массивность лап, но не нагулявшего еще ширины грудной клетки и солидности.

— А как же ты их вынимала? — заинтересовался молодой человек технической стороной вопроса.

Елизавета Ивановна вытянула из подколотой косы шпильку, ковырнула ею в воздухе и пояснила:

— Шпилькой, Шурик, шпилькой! Прекрасно выковыривались. Как эскарго.

Шурик никогда не ел улиток, но прозвучало это убедительно. Он покрутил в руках останки ордена и вернул.

— Пятьдесят лет со смерти твоего деда прошло. И все эти годы он помогал семье выжить. Эта квартира, Шурик, — его последний нам подарок. — С этими словами она уложила орден во внутренний футляр, потом во второй. А уж потом в деревянную шкатулку. Шкатулку заперла маленьким ключиком на зеленой линялой ленточке, а ключик положила в жестяную коробку из-под чая.

— Как же это он помогал, если умер? — попытался уяснить Шурик. Он несколько выпучил желто-карие глаза в круглых бровях.

— Право, у тебя соображение, как у пятилетнего дитяти, — рассердилась Елизавета Ивановна. — С того света! Разумеется, я продавала камешек за камешком.

Привычным движением с подковыркой она воткнула шпильку в пучок и задвинула крышку секретера.

Шурик пошел в свою комнату, к которой еще не совсем привык, и врубил магнитофон. Взыла музыка. Ему надо было обдумать это сообщение, оно было одновременно и важным, и совершенно бессмысленным, а под музыку ему всегда думалось лучше.

Комната его по размеру почти не отличалась от того выгороженного двумя книжными шкафами и нотной этажеркой закута, в котором он обитал прежде. Но здесь была дверь с шариком в замке, она плотно закрывалась и даже слегка защелкивалась, и ему это так нравилось, что для усиления эффекта он еще и повесил на дверь записку: «Без стука не входить». Но никто и не входил. И мать и бабушка его мужскую жизнь уважали от самого его рождения. Мужская жизнь была для них загадка, даже священная тайна, и обе они ждали с нетерпением, как в один прекрасный день их Шурик станет вдруг взрослым Корном — серьезным, надежным, с большим твердым подбородком и властью над глупым окружающим миром, в котором все постоянно ломалось, расплывалось, приходило в негодность и только мужской рукой могло быть починено, преодолено, а то и создано заново.

Происходила Елизавета Ивановна из богатой купеческой семьи Муко-сеевых, не столь известной, как фамилии Елисеевых, Филипповых или Морозовых, но вполне преуспевающей по всем южным городам России.

Отец Елизаветы Ивановны, Иван Поликарпович, торговал зерном, чуть не половина оптовой торговли юга находилась в его руках. Елизавета Ивановна была старшей среди пятерых сестер, самой толковой из всех и самой некрасивой: зубки по-кроличьи вылезали вперед, так что рот даже не совсем закрывался, подбородочек маленький, а лоб большой, выпуклый, над всем лицом нависающий. С раннего возраста было намечено ее будущее — племянников растить. Такова была судьба старых дев. Отец Иван Поликарпович любил ее, жалел за некрасивость и ценил быстрый ум и сообразительность.

По мере того, как число дочерей росло, а наследника никак не появлялось, отец все внимательней к ней присматривался и, хотя держался самых что ни на есть домостроевских взглядов, отправил ее в гимназию. Единственную из всех. Покуда младшие преуспевали в красоте, старшая возрастала в познаниях.

После рождения пятой дочери, сильно переболев, мать Елизаветы Ивановны перестала рожать, и с этого времени отец все более внимательно относился к Елизавете. После окончания гимназии он определил ее в единственное коммерческое училище, куда брали девиц, в Нижнем Новгороде. Хотя Мукоसेевы были к тому времени москвичами, сохранилась память об основателе рода, занимавшемся хлебной торговлей и пришедшем в Москву именно из Нижнего Новгорода.

Елизавета послушно поехала на новую учебу, однако вскоре вернулась домой и убедительно объяснила отцу, что учение там бессмысленное, ничему там не учат такому, чего и дурак не знает, а ежели он хочет в самом деле иметь в ней хорошего помощника, то пусть пошлет ее на учебу в Цюрих или в Гамбург, где и впрямь делу учат, и не по старинке, а в соответствии с теперешней наукой экономикой.

Дуня, вторая дочка Ивана Поликарповича, уже была выдана. Наташа, третья, просватана, и две младшие обещали ненадолго засидеться: приданое за ними давали хорошее и собой они были милovidны. Дуня уже принялась рожать, но родила, к большой обиде отца, первую девочку. Все сходило к тому, что, пока дочери не родят наследника, дело в крепких руках должна переждать Елизавета. Словом, он отправил дочь за границу на учебу. И она поехала в Швейцарию как на брак — во всем новом, с двумя пахнущими кожей кофрами, со словарями и благословениями.

В Цюрихе она занялась приобретением новомодной профессии и, несмотря на увесистые благословения, потеряла веру предков, легко и незаметно, как зонтик в трамвае, когда дождь уже прошел. Так, выйдя из домашнего мира, она вышла и из семейной религии, очерстневшего, как третьеводнишний пирог, православия, в котором она не видела теперь уже ничего, кроме бумажных цветов, золотых риз и всеобъемлющего суеверия. Как многие и не худшие молодые люди своего поколения, она быстро обратилась к иной религии, исповедующей новую триаду — скудного материализма, теории эволюции и того «чистого» марксизма, который еще не спутался с социальными утопиями. Словом, она приобрела прогрессивные, как считалось, взгляды, хотя ни в какие революционные движения, вопреки моде ее юности, не вступила.

Отучившись год в Цюрихе, Елизавета Ивановна не поехала домой на вакации, а, напротив, пустилась путешествовать по Франции. Путешествие вышло недолгим: Париж ее так очаровал, что даже до Лазурного берега она не доехала. Она написала отцу, что в Цюрих больше не вернется, а останется в Париже изучать французский язык и литературу. Отец разгневался, но не слишком. К этому времени появился у него долгожданный внук, и в глубине души «Лизкин взбрык» он воспринял как доказательство женской неполноценности.

Нет, оттого что баба нехороша собой, мужиком она не становится, решил он. Плюнул и велел ей возвращаться. Пособие прекратил. Но возвра-

щаться Елизавета Ивановна не торопилась. Училась, работала. Как ни странно, работала по бухгалтерской части для небольшого банка. То, чему учили ее в Швейцарии, оказалось весьма полезным.

В Россию Елизавета Ивановна вернулась только через три года, к концу девятьсот восьмого, с твердым намерением начать отдельную от семьи трудовую жизнь. Она была к этому времени совершенно по-европейски эмансипированная женщина, даже и курила, но поскольку французской красоты она не набралась, а воспитания была хорошего, то эмансипированность ее в глаза не бросалась. Она хотела преподавать французскую литературу, но на государственную службу ее не взяли, а в гувернантки она и сама не пошла. Проискав некоторое время подходящую работу и испытав полное разочарование, она приняла неожиданное предложение: муж гимназической подруги определил ее в статистический отдел Министерства путей сообщения.

Это были годы, когда заканчивался перевод частных железных дорог в казну, и Александр Николаевич Корн осуществлял этот многолетний проект государственной важности. Елизавета Ивановна попала под его начало, на самую скромную должность статистика. Составленные ею документы аккуратно доставлялись по служебной лестнице ему на стол, и уже через полгода самые сложные вопросы, связанные с эксплуатационными расходами на версту перевозок и пробегом грузов, он стал поручать исключительно Елизавете Ивановне. Никто, как она, не мог разобраться в пудоверстах и рублях.

Старый Мукосеев не ошибся в своей дочери, ее деловые качества действительно оказались самые превосходные. Александр Николаевич, солидный сорокапятилетний вдовец, со все возрастающей симпатией и уважением смотрел на доброжелательную и милую сослуживицу и на третьем году знакомства сделал ей предложение. На этом следует поставить восклицательный знак. Ни одна из ее хорошеньких сестер и мечтать не могла о таком браке. Выйдя замуж за Александра Николаевича, Елизавета вовсе отошла от всяких философий, наскоро закончила Педагогический институт и успешно занималась педагогикой. За эти годы она не то чтобы разочаровалась в верованиях своей юности, но они стали казаться не совсем приличными, и от прежних времен остались у нее не крупные принципы, а бытовые установки: трудиться, выполняя свое дело добросовестно и бескорыстно, не совершать дурных поступков, определяя дурное и хорошее исключительно по указаниям собственной совести, и быть справедливой к окружающим. Последнее значило для нее, что в поступках следует руководствоваться не только своими собственными интересами, но принимать во внимание интересы других людей. Все это было бы невыносимо скучно, если бы не оживлялось ее искренностью и естественностью. Дочери Александра Николаевича ее полюбили, отношения их были ненавязчиво-добрими. Маленькую единокровную сестру Верочку обожали.

Умер Александр Николаевич скоропостижно, летом семнадцатого года, и на женских весах радостей и горестей стрелка у Елизаветы Ивановны навеки замерла на самой высокой точке — те счастливые замужние годы остались с ней навсегда. Невзгоды, беды и лишения, которые обрушились на нее после смерти мужа, она долгие годы относила именно за счет его отсутствия. Даже случившуюся вскоре революцию она рассматривала как одно из неприятных последствий смерти Александра Николаевича. Вероятно, не зря он постоянно посмеивался над ее простодушием и природной невинностью. Качества эти она не потеряла за всю долгую жизнь.

Как человек с недоразвитым чувством юмора и догадывающийся о своем изъяне, она постоянно пользовалась несколькими затверженными шутками и прибаутками. Маленький Шурик часто слышал от нее кокетливое заявление:

— Я — язычница. Преподаю языки.

Преподавателем она была бесподобным, с какой-то особой методикой, необыкновенно привлекательной для детей и чрезвычайно эффективной для взрослых. Предпочитала она занятия с детьми, хотя всю жизнь работала в институте и писала сухие и малоинтересные учебники.

Обычно для домашних занятий она составляла группу из двух-трех детей, часто неровного возраста, так как любила, чтобы братья и сестры занимались вместе. Именно так было когда-то в ее родительском доме — из экономии приглашали одного учителя на всех.

Первый урок французского с маленькими детьми она начинала с того, что сообщала, как будет по-французски «писать», «какать» и «блевать», то есть с тех самых слов, произносить которые в хороших домах было не принято. С первого же дня французский язык превращался в некое подобие тайного языка посвященных. Особенно объединял учеников французский рождественский спектакль, который в течение всего года готовила с ними Елизавета Ивановна. Этот спектакль по жанру был скорее не домашним, а подпольным: российская власть, всегда влезаящая в самые печенки обывателям, в те срединные послевоенные годы так же решительно искореняла христианство, как в предшествующие и последующие насаждала. Елизавета Ивановна своими рождественскими спектаклями проявляла врожденную независимость и почтение к культурным традициям.

Шурик в этом спектакле переиграл все роли. Первая, младенца Христа, обычно обозначаемого завернутой в старое коричневое одеяло куклой, досталась ему в трехмесячном возрасте. В последнем спектакле, сыгранном за полгода до смерти бабушки, он изображал старого Жозефа и, к восторгу волхвов, пастухов и осляти, смешно перевирали роль.

Занятия всегда проходили на квартире Елизаветы Ивановны, и Шурик, даже если бы и не обладал хорошими способностями, был обречен выучить язык: комната в Камергерском переулке была хоть и очень большая, но одна-единственная. Деваться было некуда — и он бесконечно выслушивал одни и те же уроки первого, второго и третьего года обучения. К семи годам он легко говорил по-французски и в более зрелом возрасте даже и вспомнить не мог, когда же он этот язык изучил. «Noël, Noël...» был ему роднее, чем «В лесу родилась елочка...».

Когда он пошел в школу, бабушка начала заниматься с ним немецким, который он воспринимал как иностранный, в отличие от французского, и занятия его шли как нельзя лучше. Учился он в школе хорошо, после школы играл во дворе в футбол, слегка занимался спортом и даже, к великому страху матери, ходил в боксерскую секцию, но никаких особенных интересов у него не проявлялось. Чуть ли не до четырнадцати лет любимым его вечерним времяпрепровождением было домашнее чтение вслух. Разумеется, читала бабушка. Читала она прекрасно, выразительно и просто, он же, лежа на диване рядом с уютной бабушкой, продремал всего Гоголя, Чехова и столь любимого Елизаветой Ивановной Толстого. А потом и Виктора Гюго, Бальзака и Флобера. Такой уж был у Елизаветы Ивановны вкус.

Мать тоже вносила свой вклад в воспитание: водила его на все хорошие спектакли, даже на редкие гастрольные, — так он маленьким мальчиком видел великого Пола Скофилда в роли Гамлета, о чем, без сомнения, забыл бы, если бы Вера Александровна ему время от времени об этом не напоминала. И, разумеется, лучшие елки столицы — в Доме актера, в ВТО, в Доме кино. Словом, счастливое детство...

5

Мама и бабушка, два ширококрылых ангела, стояли всегда ошую и одесную. Ангелы эти были не бесплотны и не бесполы, а ошутимо женственны, и с самого раннего возраста у Шурика выработалось неосознанное чувство, что и само добро есть начало женское, находящееся вовне и

окружающее его, стоящего в центре. Две женщины от самого его рождения прикрывали его собой, изредка касались ладонями его лба — не горит ли? В их шелковых подолах он прятал лицо от неловкости или смущения, к их грудям, мягкой и податливой бабушкиной, твердой и маленькой маминой, он припадал перед сном. Эта семейная любовь не знала ни ревности, ни горечи: обе женщины любили его всеми душевными силами, служили наперегонки и не делили его, а, напротив, совместными усилиями укрепляли его нуждающийся в утверждении мир. Его искренне и дружно хвалили, поощряли, им гордились, его успехам радовались. Он отвечал им полной взаимностью, и бессмысленный вопрос, которую из них он больше любит, никогда перед ним не ставили.

Тень безотцовщины, которой обе они когда-то боялись, вообще не возникла. Когда он научился говорить «мама» и «баба», ему показали фотографию, с которой покойный Левандовский посылал неопределенную улыбку, и сказали «папа». Лет семь это его вполне удовлетворяло, и только в школе он заметил некоторый семейный недочет. Спросил «где?» и получил правдивый ответ — погиб. Известно было, что папа был пианист, и Шурик привык считать, что старенькое пианино в доме и есть свидетельство отцовского былого присутствия.

Однако если для гармонического развития ребенка действительно необходимы две воспитательные силы — мужская и женская, то, вероятно, Елизавета Ивановна с ее твердым характером и внутренним спокойствием обеспечила это равновесие.

Любуясь своим рослым и ладным мальчиком, обе женщины с интересом ожидали времени, когда в его жизни появится третья — и главная. Обе были почему-то настроены на то, что их мальчик рано женится, семья пополнится, даст новые побеги. С тревожным любопытством они присматривались к Шуриковым одноклассникам, танцующим нервный и беспольный танец твист на Шуриковом дне рождения, и гадали: не эта ли...

Девочек в Шуриковом классе было гораздо больше, чем мальчиков. Шурик пользовался успехом, и на день своего рождения, шестого сентября, он пригласил чуть ли не весь класс. После лета всем хотелось пообщаться. К тому же начинался последний школьный год.

Загорелые девчонки щебетали, слишком громко смеялись и взвизгивали, мальчики не столько плясали, сколько курили на балконе. Время от времени Елизавета Ивановна или Вера Александровна бочком входила в большую из комнат, собственноручно говоря, в бабушкину, вносила очередное блюдо и воровским взглядом цепляла девочек. Потом на кухне они немедленно обменивались впечатлениями. Обе они пришли к единому мнению, что девчонки чудовищно невоспитанны.

— Звуки как на вокзале в очереди, а интеллигентные, кажется, девочки, — вздохнула Елизавета Ивановна. Потом помолчала, поиграла кончиками морщинистых пальцев и призналась как будто нехотя: — Но какие все-таки прелестные... милые...

— Да что ты, мамочка, тебе показалось. Просто ужас какие вульгарные. Не знаю, чего ты там милого нашла, — возразила даже с некоторой горячностью Вера Александровна.

— Беленькая, в синем платье, очень мила, Таня Иванова, кажется. И восточная красавица, с персидскими бровями, тоненькая, прелесть, по-моему...

— Да что ты, мам, беленькая эта не Таня Иванова, а Гуреева, дочка Анастасии Васильевны, преподавательницы истории. У нее зубы через один растут, тоже мне прелесть, а восточная твоя красавица — не знаю, не знаю, что за красавица, у нее усы, как у городского... Ира Григорян, ты что, не помнишь ее?

— Ну ладно, ладно. Ты, Верочка, прямо как коннозаводчик. Ну а Наташа, Наташа Островская чем тебе нехороша?

— Наташа твоя, между прочим, с восьмого класса дружит с Гией Кикнадзе. — Голосок Веры неуместно зазвенел чувством личного оскорбления. — Гия? — изумилась Елизавета Ивановна. — Такой карапуз смешной? — Видимо, Наташа Островская так не думает...

Елизавета Ивановна кое-чего не знала, что было известно Вере Александровне. Шурик в Наташу был горячо влюблен с пятого класса, а она предпочла смешного сонного Гию, который обыкновенно был молчалив, зато, когда открывал рот, все покатывались со смеху: в остроумии ему не было равных.

Словом, бабушке девочки не нравились в массе, но каждая в отдельности казалась ей привлекательной, Вера Александровна, напротив, была убеждена, что школа Шурика чуть ли не лучшая в городе, класс прекрасный, исключительно дети интеллигентных родителей, то есть в сумме ей все нравились, зато каждая девочка в отдельности обладала отталкивающими недостатками...

А Шурику нравилось все — и в общем, и в частности. Особенно твист, которому он научился еще в прошлом году, смешной танец — как будто стягиваешь с себя прилипшую мокрую одежду. Ему нравилась и Гуреева, и Григорян, и даже Наташе Островской он простил измену, тем более что Гия был его другом. И фруктовый торт, который испекла ему бабушка, со взбитыми сливками был хорош, и особенно новый магнитофон, который ему подарили к семнадцатилетию.

К десятому классу, несмотря на опасности, таящиеся в магнитофоне, Шурик окончательно определился — решил поступать на филфак, на романо-германское отделение. Скорее всего, сработала гипнопедия...

6

В самом начале последнего школьного года Шурик купил себе абонемент на лекции по литературе, которые читали отборные университетские преподаватели. Каждое воскресенье Шурик бегал в университет на Моховую, занимал место в первом ряду Коммунистической, бывшей Тихомировской аудитории и старательно записывал интереснейшие лекции крохотного старого еврея, крупного знатока русской литературы. Лекции эти были столь же восхитительны, сколь и бесполезны для абитуриентов. Лектор мог битый час говорить о дуэли в русской литературе: о дуэльном кодексе, об устройстве дуэльных пистолетов с их гранеными стволами, тяжелыми пулями, забиваемыми в ствол с помощью короткого шомпола и молотка, о жребии, брошенном серебряной монеткой, о фуражке, наполненной розово-желтой черешней, и о черешневых косточках, предвосхитивших отсроченный полет пули... о прозрении поэта и о сотворении жизни по образцу вымысла — словом, о вещах, не имеющих ни малейшего касательства к тематическим сочинениям «Толстой как зеркало русской революции» или «Пушкин как обличитель царского самодержавия»...

Справа от Шурика сидел Вадим Полинковский, слева — Лиля Ласкина. С обоими он познакомился на первой же лекции.

Маленькая, страшно броская, в белых остроносых ботиночках и в кожаной мини-юбке, убивающей без разбора нравственных старушек, безнравственных студенток и незаинтересованных прохожих, Лиля крутила стриженной, плюшевой на ощупь головой, как заводная игрушка, и беспрестанно стрекотала. Кончик ее длинного носа еле уловимо двигался при артикуляции вверх-вниз, ресницы на часто моргающих веках трепетали, а мелкие пальчики, если не теребили платка или тетради, стригли вокруг себя тяжелый воздух. К тому же она не отошла еще от детской привычки проворно и бегло поковыривать в носу.

Обаяния в ней была бездна, и Шурик влюбился в нее так крепко, что это новое чувство затмило все прежние его мелкие и многочисленные

влюбленности. Опыт чувственной приподнятости, когда кажется, что даже электрические лампочки усиливают свой накал, был знаком ему с детства. Он влюблялся во всех подряд: в бабушкиных учеников, как девочек, так и мальчиков, в маминых подруг, в одноклассниц и учительниц, но теперь Лилино веселое сияние все прежнее обратило в смутные тени...

Полинковского Шурик воспринимал как соперника до тех пор, пока однажды, в начале лекции, указав глазами на пустующее Лилино место, тот не прошептал:

— Мартышечки-то нашей сегодня нет...

Шурик изумился:

— Мартышечки?

— А кто же она? Вылитая мартышка, еще и кривоногая...

И Шурик полтора часа размышлял о том, что есть женская красота, пропустив мимо ушей тонкие соображения лектора о второстепенных персонажах в романах Льва Николаевича, — чудаковатый лектор всегда находил способ уйти подальше от школьной программы в каменоломни спорного литературоведения...

В тот раз некогда было провожать до дому, и они с Полинковским прошли от Моховой до самого Белорусского вокзала. Шурик больше помалкивал, переживая смущение, в которое Полинковский поверг его своим небрежным отзывом о прелестной Лиле. Полинковский же, время от времени отряхивая снежинки с кудрей, пытался об Шурика разрешить свою собственную проблему: он все не мог склониться в правильную сторону, сдавать ему то ли в Полиграфический, где отец преподавал, то ли в университет, а может, плюнув на все, податься в геолого-разведочный... У Белорусского Шурик предложил Полинковскому зайти в гости, и они свернули на Бутырский вал. Проходя мимо железнодорожного мостика, перекинутого над полузаброшенным полотном, Полинковский сообразил, что по этой дороге, через мостик, можно выйти к мастерской его отца, и предложил Шурику посмотреть мастерскую. Но Шурик торопился домой, и уговорились на завтра. Полинковский написал ему адрес на клочке бумаги, потом они немного потоптались во дворе и зашли к Шурику. Елизавета Ивановна накормила их ужином, и они стали слушать в Шуриковой комнате музыку, которой у него было много записано на коричневых магнитных лентах. Полинковский выкурил заграничную сигарету и ушел.

Оставшуюся часть вечера Шурик промаялся, не решаясь позвонить Лиле. Ее телефон был у него записан, но он пока еще ни разу ей не звонил, дело ограничивалось лишь корректными проводами до подъезда старого дома в Чистом переулке.

На другой день, в понедельник, Лиля все не выходила у него из головы, но позвонить он не решался, хотя телефон ее сам собой всплывал и напрашивался... К вечеру он так умаялся, что вспомнил про вчерашнее необязательное приглашение Полинковского и пошел под вечер из дому — прогуляться, как сказал матери.

Записочку с адресом он уже потерял, но адрес запомнился, он состоял из одних троек.

Мастерские эти оказались не так уж близко за мостиком, он довольно долго искал описанный Вадимом дом с большими окнами. Наконец разыскал и дом, и номер нужной мастерской, постучал в чуть приоткрытую дверь. Вошел — и остолбенел. Прямо перед ним на низкой подставке сидела совершенно голая женщина. Некоторые женские части были не видны, но грудь бело-розовая, в голубых прожилках, во всех ее потрясающих подробностях, светила, как прожектор. Вокруг женщины расположилось десятка два художников.

— Дверь! Дверь прикройте! Дует же! — прикрикнул на Шурика сердитый женский голос. — Чего же вы опаздываете? Садитесь и начинайте работать.

Красивая женщина в черной мужской рубашке, с черной блестящей челкой, свисающей на глаза, махнула неопределенно позади себя. Подчинившись ее жесту, он сел в дальнем углу помещения на нижнюю ступень стремянки. Все рисовали, грубо шурша карандашами. Шурик плохо соображал. Он догадывался, что где-то здесь его новый знакомый Вадик, но не мог отвести глаз от крупного коричневого соска, уставленного в него, как указательный палец. Шурик испугался, что голая женщина поднимет голову и поймет, что с ним происходит. А с ним происходило... Он понимал, что надо уйти. Но уйти не мог. Он протянул руку к стопке сероватой бумаги, лежавшей на полу, и отгородился листом ото всех. Пребывание его здесь было почти преступным, он ждал, что сейчас его обнаружат и выгонят. Но сдвинуться с места он не мог. Рот его попеременно то высыхал, то наполнялся большим количеством слюны, и он судорожно, как у зубного врача, заглатывал ее. При этом он воображал, что подходит к сидящей женщине, поднимает ее с подиума и проводит рукой там, где тень была особенно густа... Весь этот сладкий кошмар длился, как показалось Шурику, нескончаемо долго. Наконец натурщица встала, надела бордово-желтый байковый халат и оказалась не очень молодой коротконогой женщиной с толстыми хомячьими щеками и полностью лишенной волшебства — как любая из его бывших соседок по коммунальной квартире. Пожалуй, это и было самым поразительным... Значило ли это, что каждая из тех женщин в байковых халатах, которые выходили на общую кухню с приго-релыми чайниками, носили под своими халатами такие же могучие соски и притягательные складки и тени...

Люди, молодые и старые, стали складывать бумаги и деловито расходиться. Вадима среди них не было. Красивая женщина в черной рубашке издали приветливо ему кивнула и сказала:

— Останься, сможешь убрать.

И он остался. Передвинул стулья, куда она указала, часть вынес в коридор, сдвинул помост, а когда закончил, она усадила его за шаткий столик и протянула чашку чая.

— Как Дмитрий Иванович? — спросила она.

Шурик замаялся и что-то промычал.

— Ты ведь Игорь, да?

— Александр, — выдавил он из себя.

— А я была уверена, что ты Игорь, Дмитрия Ивановича сын, — засмеялась она. — Откуда же ты взялся?

— Я случайно... Я Полинковского искал... — пролепетал Шурик, наливаясь малиновым цветом. Из глаз его едва не капали слезы. «Она, наверное, думает, что я пришел на голую натурщицу смотреть...»

Женщина смеялась. Губы ее прыгали, над верхней губой растягивалась и сокращалась темная полоска маленьких волосиков, узкие глаза сошлись в щелочки. Шурик готов был умереть.

Потом она перестала смеяться, поставила чашку на стол, подошла к нему, взяла его за плечи и крепкими руками прижала к себе:

— Ах ты дурачок...

И через грубошерстную ткань куртки он ощутил именно крепость ее большого соска, упершегося ему в плечо, а потом уже почувствовал бездонную и темную глубину ее тела. И легчайший, еле ощутимый кошачий запах...

Самое удивительное, что Полинковского Шурик больше никогда в жизни не видел. На курсах с тех пор он ни разу не появился. Вероятно, в сценарии Шуриковой жизни он оказался фигурой совершенно служебной, лишенной самостоятельной ценности. Много лет спустя, вспоминая об этом экстравагантном экспромте, Матильда Павловна как-то сказала Шурику:

— А Полинковского и не было никакого. Это был мой личный бес, понял?

— Я к нему не в претензии, Матюша, — хмыкнул Шурик, к тому времени совершенно не малиновый подросток, а несколько бледноватый и упитанный мужчина, выглядевший, пожалуй, даже старше своих тридцати лет.

7

Прошло чуть больше двух месяцев с тех пор, как завязалась история с Матильдой, и как же все изменилось. С одной стороны, он как будто оставался все тем же: смотрел на себя в зеркало и видел овальное розовое лицо с черным налетом щетины по вечерам, прямой широковатый нос с точечками в расширенных порах, круглые брови, красный рот. У него были широкие плечи, худые, недобравшие мускулатуры руки и тяжеловесные икры. Безволосая плоская грудь. Он немного занимался боксом и знал, как собирается все тело, как устремляются все силы в плечо, в руку, в кулак перед нанесением удара, как подтягиваются ноги перед прыжком и как все тело, до самой маленькой мышцы, участвует в каждом движении, имеющем назначенную цель — удар, бросок, прыжок... Но с другой стороны, все это было полной глупостью, потому что, как оказалось, из тела можно извлекать такое наслаждение, что никакой спорт и в сравнение не шел. И Шурик с уважением смотрел в запотевшее зеркало в ванной комнате и на свою безволосую грудь, и на плоский живот, посреди которого, пониже пупка, была прочерчена тонкая волосяная дорожка вниз, и он почтительно клал руку на свое таинственное сокровище, которому подчинялось все тело, до последней клетки.

Конечно, это Матильда Павловна запустила в действие весь этот замечательный механизм, но он предчувствовал, что теперь это никогда не кончится, что ничего лучше в жизни не бывает, и смотрел с этой поры на всех девочек, на всех женщин изменившимся взглядом. Оказывается, каждая из них обладала этим свойством — при этой мысли рука его наполнялась отяжелевшей плотью, и он морщился, потому что понедельник был только вчера и до следующего надо было ждать пять дней...

Зато до встречи с Лилей оставалось всего четыре. Эмоции эти никак не пересекались. Да и как, по какому поводу могла бы пересечься веселая хрупкая Лиля, которую он провожал с лекций по воскресеньям, стоял с ней часами в высоком подъезде старого дома, грел в горящих ладонях ее детские пальчики и не смел поцеловать, — с великолепной Матильдой Павловной, обширной и спокойной, как холмогорская корова, в которой он тонул весь без остатка по понедельникам, именно по понедельникам, когда приходил к ней в мастерскую после окончания сеанса, помогал убирать стулья, а потом провожал в однокомнатную холостяцкую квартиру неподалеку, где ожидала ее кошачья семья — три крупные черные кошки, находящиеся в кровосмесительном родстве. Она давала кошкам рыбу, мыла руки, и, пока кошки мерно, не торопясь, но с аппетитом расправлялись со своим кормом, Матильда Павловна, тоже не торопясь и с аппетитом, подкрепляла себя с помощью прекрасно для этого приспособленного молодого человека.

Мальчик этот был прихотью минуты, и она вовсе не собиралась с ним тешиться больше одного случайного раза. Но как-то затянулось. Ни распутства, ни цинизма, а уж тем более половой жадности, толкающей зрелую женщину в неумелые объятья юноши, не было в Матильде Павловне. Трезвость и чрезмерное увлечение работой смолоду помешали ее женскому счастью. Когда-то она была замужем, но, потеряв первенца и сама едва не отправившись на тот свет, незаметно упустила своего пьющего мужа, он обнаружился в один прекрасный миг почему-то у ее подушки, и, не больно о нем печалась, она зажила трудовой жизнью мужика-ремесленника: лепила, формовала, работала и с камнем, и с бронзой, и с деревом. Со временем вошла в колоду скульпторов, хорошо зарабатывающих на госу-

дарственных заказах, и отваяла целый полк героев войны и труда. Работала она, как мать ее, крестьянка из Вышнего Волочка, от зари до зари не из понуждения, а из душевной необходимости. Время от времени у нее заводились любовники из художников или работяг исполнителей. Каменотесы, литейщики. Мужики почему-то попадались всегда пьющие, и связи превращались сами собой в довольно однообразное мытарство. Она зарекалась, потом снова ввязывалась, и ей все было наперед известно с этим народцем, который постоянно толочся возле нее, так что у нее в последнее время уже и рука набилась выпроваживать их прежде, чем они поутру попросят ее сгонять за бутылкой на опохмел.

Этот мальчик приходил к ней по понедельникам как будто по уговору, хотя никакого уговора между ними не было, и ей все казалось, что это в последний раз позволяет она себе такое баловство. А он все ходил и ходил.

Незадолго до Нового года Матильда Павловна заболела жестоким гриппом. Два дня пролежала она в полузабытьи, в окружении встревоженных кошек. Шурик, не найдя ее в мастерской, позвонил в дверь ее квартиры. Естественно, был понедельник, начало девятого.

Он сбегал в дежурную аптеку, купил какой-то никчемной микстуры и анальгина, убрал за кошками, вынес помойку. Потом вымыл полы на кухне и в уборной. Кошки за время ее болезни изрядно набезобразничали. Матильде Павловне было так плохо, что она почти и не заметила его хозяйственного копошения. Назавтра он пришел снова, принес хлеба и молока, рыбы для кошек. Все с неопределенной улыбкой, без утомительных для Матильды Павловны разговоров.

К пятнице у нее упала температура, а в субботу Шурик слег — схватил-таки вирус. В очередной понедельник он не пришел.

Хорошенького понемножку, решила Матильда Павловна с некоторым даже удовлетворением. Но заскучала. Зато когда он появился через неделю, встреча у них получилась особенно сердечная, и их бессловесное постельное общение оживилось одним тихо произнесенным Матильдой словом — дружочек.

8

После Нового года Шурик с особым усердием принялся за подготовку в университет. Елизавета Ивановна, давно уже вышедшая на пенсию, усиленно занималась с ним французским. Все, что с юности любила она, проходила она теперь заново с внуком. Елизавета Ивановна была вполне довольна успехами Шурика. Язык он знал лучше, чем многие выпускники ее Педагогического института. Зачем-то он учил наизусть длинные стихотворения Гюго и читал старофранцузскую поэзию.

Когда десятью годами позже, во время Олимпиады, он познакомился с молоденькой француженкой из Бордо, первой живой иностранкой в его жизни, от его старомодного языка она пришла в полное исступление. Сначала хохотала едва не до слез, а потом расцеловала. Вероятно, он звучал как Ломоносов, доведись тому выступать в Академии наук году в девятьсот семидесятом. Зато сам Шурик едва понимал по-южному «рулящую» и постуденчески усеченную речь француженки и постоянно переспрашивал, что она имеет в виду.

Несмотря на свой преклонный возраст, Елизавета Ивановна еще давала частные уроки, но учеников было не так много, как прежде. В основном она доучивала старых и новых почти не набирала. Но детский рождественский спектакль она все же не отменила. Правда, начало января было таким холодным, что спектакль все откладывался — до последнего дня школьных каникул.

В центре большой комнаты места для елки не было, там все было забито стульями и табуретками, елка же стояла в углу, как наказанная. Зато

она была совершенно настоящая, украшена бережно сохраненными Елизаветой Ивановной старинными елочными игрушками: карета с лошадами, балерина в блестках, чудом выжившая стеклянная стрекоза, подаренная Елизавете Ивановне на Рождество тысяча восемьсот девяносто четвертого года любимой тетушкой. Под елкой, рядом с рыхлым и пожелтевшим от старости дедом-морозом, стояли вертеп с Девой Марией в красном шелковом платье, Иосифом в крестьянском зипуне и прочие картонажные прелести...

Угощение было приготовлено особенное, рождественское. Всю квартиру, даже лестничную клетку, наполнял елочно-пряничный запах: на большом подносе под белой салфеткой лежали завернутые каждый по отдельности тонкие фигурные пряники. Елизавета Ивановна пекла их из какого-то специального медового теста, они были сухонькие, островатые на вкус, а поверху разрисованы белой помадкой. К каждой из звезд и елочек, к каждому из ангелков и зайцев прилагалась записка, на которой каллиграфическим почерком по-французски была написана какая-нибудь милая глупость. Что-то вроде: «В этом году вас ждет большая удача», «Летнее путешествие принесет неожиданную радость», «Остерегайтесь рыжих». Все это называлось рождественским гаданьем.

Пряники были слишком красивы, чтобы их просто слопать, и к чаю, который устраивали после спектакля, подавали обыкновенные пироги и печенья... Каждый участник имел право привести с собой одного гостя, и обыкновенно были сестры, братья, иногда одноклассники. Вера, тихонько пошушукавшись с Елизаветой Ивановной, предложила Шурику привести на спектакль ту университетскую девочку, которую он каждое воскресенье так подолгу провожает. Отношения с матерью были как раз настолько доверительны, чтобы доложить о существовании Лили и не обмолвиться ни словом о Матильде Павловне.

Целую неделю Шурик отговаривался. Ему не хотелось приглашать Лилю на детский праздник, он с большим удовольствием пошел бы с ней в кафе «Молодежное» или на какую-нибудь домашнюю вечеринку к одноклассникам. Однако под давлением матери он все-таки буркнул Лиле что-то про детский спектакль, который устраивает его бабушка, а она с неожиданным азартом завопила:

— Ой, хочу, хочу!

Таким образом, пути к отступлению были отрезаны. Уговорились, что Шурик ее встречать не выйдет, потому что у него перед спектаклем было много производственных забот.

Он чуть не с утра возился с малышами, вправлял вывихнутое крыло неуклюжему ангелу, утешал плачущего Тимошу, обнаружившего вдруг унизительность своей роли и наотрез отказавшегося надеть на себя ослиные уши, сшитые Елизаветой Ивановной из серых шерстяных чулок. Вся эта «мелочь пузатая», как называл Шурик бабушкиных учеников, Шурика обожала, и иногда, когда у Елизаветы Ивановны поднималось давление и начиналась тяжкая боль в затылке, он заменял бабушку на уроках, к большому восторгу учеников.

Лилия пришла сама, по адресу. Дверь открыла Вера Александровна — и остолбенела: перед ней стояло маленькое существо в огромной белой шапке, и сквозь падающие чуть ли не до подбородка лохмы неопрятного меха проглядывали покрашенные густой черной краской игрушечные, как у плюшевого зверька, глазки. Они поздоровались. Девочка стащила с себя огромную шапку. Вера Александровна не удержалась:

— Да вы просто как Филиппок!

Находчивая девочка растянула длинный рот в улыбке:

— Ну, это не самый страшный персонаж в русской литературе!

Она раздернула фасонистую красную молнию на легкой, явно не по сезону, куртке и осталась в маленьком черном платье, сплошь покрытом

белыми волосами от шапки. В большом, едва не до пояса, вырезе светилась худая голая спинка, тоже покрытая волосками — тонким собственным пушком. От вида этой голубоватой детской спины у Веры от жалости и брезгливости защемило сердце.

— Садитесь вон туда, в уголок, там уютное место. Шарфик не снимайте, там дует от окна, — предупредила Вера Александровна, но Лиля затолкала шарф в рукав куртки. — А Шурик сейчас выйдет, он там с маленькими возится...

Протискиваясь в детской толпе мимо матери, Вера шепнула ей на ушко: — Новая Шурикова девочка — прямо на роль Иродиады...

Елизавета Ивановна, уже кинувшая на нее свой цепкий взгляд, поправила:

— Скорее на роль Саломеи... Но знаешь, Верочка, она очень изящна, очень...

— Да ну тебя, мама, — рассердилась неожиданно Вера. — Она же просто маленькая нахалка... Наверное, из бог знает какой семьи...

И Вера Александровна испытала прилив ужасной неприязни к этой стриженной профурсетке...

Но Лиля не почувствовала этой неприязни, напротив, ей, из ее уголка, все страшно нравилось: и смешанный запах елки с пряником, и домашний спектакль с привкусом дворянской жизни, известной из русской литературы, и сами эти «смешные бабульки», как сразу же про себя определила она обеих Шуриковых родительниц — хрупкую, с длинной морщинистой шеей, окруженной жеваным кружевом, со старомодным пучком седоватых волос Веру Александровну и более массивную, тоже с кружевом на шее, но по-иному уложенным, с еще более старомодным пучком беленьких мелко гофрированных волос Елизавету Ивановну.

Вера громко стучала по жестким клавишам пианино, так что через мелодии французских рождественских песенок прослушивались сухие щелчки ее ногтей, но дети пели трогательно, и спектакль шел на редкость хорошо, никто ничего не забывал, не падал и не путался в костюмах, да и святой Иосиф блеснул импровизацией — когда настало время бегства в Египет, он подхватил на руки ослика с чулочными ушами, и Деву Марию, опасно севшую верхом на малолетнее животное, и старенькое коричневое одеяло, которое в последний раз изображало младенца Христа, и все завизжали, захохотали и запрыгали. Наконец Шурик снял с себя плащ и лысину из капрона — это был единственный настоящий театральный реквизит, позаимствованный Верой Александровной специально для этого случая из цехов, — сгреб в кучу остальные костюмы и унес. Дальше по программе полагалось быть чаю, и пили чай из электрического самовара, без особого интереса ели домашние пироги и ждали наконец обещанного гаданья.

Елизавета Ивановна, розовая и влажная, как после ванны, запускала руку под салфетку и вышаривала оттуда очередной пряник с запиской. Взрослые тоже выстроились в очередь. Протянула руку и Лиля. «Бабуська» посмотрела на нее приветливо, что-то пробормотала по-французски и вытянула ей самый большой сверток. Лиля развернула. Там был барашек, весь в спиралях из белой помадки. А в записке было написано: «Перемена квартиры, перемена жизни, перемена участи». Лиля показала бумажку Шурику:

— Вот видишь...

9

Лилины родители были тридцативосьмилетние еврейские математики, с байдарками, горными лыжами и гитарами. Мама ее весело материлась через слово, а папа любил выпить. Но пить не умел. Однако отказаться от этого общенародного развлечения никак не мог, и время от времени мама притаскивала его из гостей бледного, пахнущего блевотинкой, засовывала

в ванную, беззлобно и смешно ругала, а потом волокла его, голого, в комнату, укладывала, укрывала, поила чаем с лимоном и аспирином и приговаривала:

— Что русскому здорово, то еврею смерть...

Это был чистый плагиат, еще Лесков эту поговорку где-то подобрал и использовал, но было смешно.

Ко всему тому документы на отъезд уже были поданы, с работы оба уволились, и уже несколько месяцев семья жила на истерическом подъеме: и радостно, и весело, и страшно... Не совсем понятно было, то ли отпустят, то ли откажут, то ли вообще посадят. За отцом водились какие-то грешки — что-то где-то опубликовал, подписал, высказал. Уже год, как длилось это затяжное прощание с Россией и с любимыми друзьями, и они то вдруг срывались в Ленинград, то снимали Лилю с учебы и тащили в Самарканд, то обнаруживали каких-то неизвестных родственников на Украине, приглашали их на прощанье, и целую неделю по квартире тяжело топали две толстые пожилые еврейки такого провинциального покроя, что и вообразить невозможно, — помесь Шолом Алейхема с антисемитскими пародиями.

Лиля никак не могла решить, стоит ли пытаться поступать в университет. Что не примут, это само собой разумеется, но ведь надо себя проверить, попробовать. А если примут — еще того глупее... Мама отговаривала — брось, занимайся языком, это тебе важнее. Мама имела в виду, конечно, иврит. Отец считал, что она должна поступать, и говорил матери в ночной тишине, секретно от Лили:

— Пусть у нее будет свой опыт, ей слишком хорошо живется. Пусть завалится для укрепления еврейского самосознания...

После Нового года Лиля как-то расслабилась, плюнула на подготовку к экзаменам, стала прогуливать школу и пристрастилась к бессмысленным и бесцельным прогулкам по утренней Москве. Шурик, напротив, исправлял наметившиеся было тройки по алгебре и физике и наводил лоск на предметы, по которым ему предстояло экзаменоваться.

Ближе к весне Вера Александровна взяла отпуск, чтобы уделять мальчику побольше внимания. Но это было совершенно излишне: Шурик проявлял неожиданную высокоорганизованность, много занимался и мало слушал музыку. К нему теперь приходила на дом преподавательница русского языка и литературы, и к историку он ездил два раза в неделю. Экзамены на аттестат зрелости он сдал почти на «отлично», даже удивив преподавателей математики и физики. Школа была окончена, оставался последний рывок, но, к неудовольствию Веры Александровны, каждый вечер он уходил из дому и возвращался бог знает когда. Большую часть вечеров он проводил с Лилей. Некоторую — с Матильдой Павловной. Но об этом он не докладывал.

Иногда Лиля и сама приезжала к Шурику. По каким-то таинственным признакам можно было заключить, что скоро Ласкины получат разрешение, и это придавало острый вкус их отношениям: было ясно, что расстаются они навсегда. Зато Вера Александровна несколько к Лиле смягчилась, хотя по-прежнему считала ее взбалмошной и несерьезной. Но очаровательной.

Почти каждый вечер они гуляли по Москве. Заезжали иногда в какой-нибудь незнакомый район вроде Лефортова или Марьиной Рощи, и чуткая Лиля со своим прощальным зрением научала Шурика видеть то, чего она и сама раньше не умела: осевший на задние лапы, как старый пес, дом, слепой поворот обмельвшей улицы, старое дерево с протянутой рукой нищенки... Они терялись в проходных дворах Замоскворечья, вдруг выходили на пустую набережную, а то за двумя скучными домами находили чудесную церковку с освещенным полуподвальным окном, и Лиля плакала от неясных предчувствий, от необъяснимого страха перед желанным отъездом.

дом, и они, прислонившись к ветхому забору или устроившись на уютной скамеечке, сладко и опасно целовались. Она вела себя гораздо более дерзко, чем Шурик, и они неостановимо приближались если не к цели, то к некоторой границе. Шурикова недавнего опыта хватало, чтобы уклониться от последнего свершения, но Ласкины ласки доставляли новое наслаждение и совсем иное, чем то, что он находил у Матильды Павловны. Впрочем, и то и другое было прекрасно, одно другому не мешало и не противоречило. Лиля, тонкая и безгрудая, была вовсе не костлява, а плотна и мускулиста повсюду, куда доставали его пальцы. Он знал на ощупь те влажные места, где поверхность, извернувшись, превращалась во внутренность и от прикосновения к которым она тонко, как щенок, стонала.

Далеко за полночь он приводил ее к парадному. Свет обыкновенно горел в их втором этаже, и Лиля, пискнув в последний раз, вытирала влажные руки, оправляла юбочку и неслась наверх, навстречу укоризненному материнскому взгляду и бурчанию отца. Обыкновенно в доме еще сидели последние, до утра не рассасывающиеся гости.

В июле начались экзамены. Лиля документов не подала — ей уже мерещились новые берега: дунайские, тибрские, иорданские... Шурик написал сочинение на четверку, а по истории получил пять. Это был очень хороший результат, потому что пятерок за сочинение почти не ставили. Теперь все зависело от языка. Получи он «отлично» по французскому, он бы прошел.

В день экзамена оказалось, что его нет в списке экзаменующихся. Он пошел в приемную комиссию, где густая толпа растрепанного народа осаждала злующую секретаршу. Обнаружилось, что его занесли в список абитуриентов, сдающих немецкий язык, поскольку в школьном аттестате значился у него немецкий. Шурик страшно растерялся, пустился в объяснения, что он при подаче заявления просил зачислить его в группу, сдающую французский, и это было согласовано, что готовился он именно к французскому... Но пожилая секретарша, подщелкивая новой, плохо подогнанной челюстью, производила какие-то гимнастические упражнения языком в глубине рта и слушать его не стала. Забот у нее было по горло, во рту же ломило и поджимало, и она, не вникая в его путаные объяснения, цыкнула, чтобы он шел сдавать экзамены в соответствии со списком и не морочил ей голову.

Разумеется, если бы мама или бабушка пошли его провожать на экзамен, этого бы не произошло. Уж они бы уговорили секретаршу перенести Шурикову фамилию в другой список либо нажали бы на самого Шурика и заставили бы его экзаменоваться по-немецки. Ну не готовился специально! Так ведь не зря с ним Елизавета Ивановна немецкие глаголы штудировала... Но Шурик сказал домашним «нет», и никто с ним не пошел, потому что его мужское слово уважали.

Теперь он вышел из волшебного здания на Моховой, твердо зная, что никогда туда не вернется. Был чудесный июль, воздух полон цветочными запахами и солнечной пылью. Сумасшедшая городская пчела кружила вокруг Шуриковой несчастной головы, он отогнал ее, махнув рукой и больно зацепив себя ногтем по носу. Все было так досадно. Он спустился на Волхонку, прошел мимо Пушкинского музея, у бассейна свернул на набережную и с набережной легким кружным путем подошел к Лилиному дому. Ласкины накануне получили долгожданное разрешение на выезд, и Шурик уже знал об этом из вчерашнего телефонного разговора. Он поднялся в Лилину квартиру. Она была дома одна, если не считать завала грязной посуды, оставшейся после грандиозной попойки. Родители побежали по инстанциям: надо было собрать мильон разнообразных бумажек в очень короткий срок. Это тоже входило в издевательскую процедуру отъезда — долго, иногда годами, тянуть с разрешением, а потом дать недельный срок на сборы.

Шурик с порога рассказал о своем неожиданном провале. Она замаха-ла руками, затрещала, обвалила на него ворох обрывчатых слов: скорей

пойдем, надо что-то делать, немедленно позвони маме, пусть бабушка едет сейчас же в приемную комиссию... Какая глупость, какая глупость, почему же ты не пошел сдавать немецкий?..

— Я не готовился по-немецки, — пожал Шурик плечами.

Он обнял ее. Словесный поток иссяк, и она заплакала. И тут Шурик понял, что он потерял гораздо больше, чем университет, — он потерял эту Лилю, потерял все... Она уедет через неделю, уедет навсегда, и теперь совершенно не имело никакого значения, поступил он в университет или нет.

— Никуда я не буду звонить, никуда не пойду, — сказал он в ее маленькое ухо.

Ухо было мокрым от размазанных слез. Слезы лились густо, и его лицо тоже стало мокрым. Причина этих слез была огромна и не поддавалась описанию. Вернее, причин было множество, а не сданный Шуриком экзамен был мелким последним камешком в этом камнепаде.

— Не уезжай, Ласочка, — бормотал он, — мы поженимся, ты останешься. Зачем уезжать...

Ему не хватало до восемнадцати лет трех месяцев, ей — полугодя.

— Ах, господи, надо было раньше, уже все поздно, — плакала Лиля, вжимаясь ему в грудь, в живот всем своим маленьким телом. Слабо болтающиеся пуговицы ссыпались с ее белого, сшитого из двух головных платков халатика, он чувствовал пальцами все тонкие мышцы ее узкой спины. Она определенно тянула его к дивану, не переставая сыпать бессмысленными словами: надо позвонить Вере Александровне, надо в приемную комиссию, еще не все потеряно... Сделай это, я хочу, чтобы ты... сделай ты...

Но врата были новенькие, накрепко закрытые, такие же плотные и мускулистые, как и все ее тело, и он ломился туда, пока не отпрянул от резкой боли. Через мгновение оба они были в крови — и в ужасе. Кровь была струей, и это была его, а не ее кровь. Оба они имели самое приближительное представление о строении столь важных органов человеческого тела и не поняли, что от сильного и неловкого движения лопнула эластичная уздечка, удерживающая Шурикова скакуна. Однако природная Лилина сообразительность не подвела, и через пятнадцать минут страха и отчаяния с помощью льда и полотенца кровотечение остановилось, а еще через некоторое время смеющаяся Лиля старательно обливала синими чернилами для авторучки следы крови на диване, отстирать которые известными способами никак не удавалось.

Вернувшись с работы соседка стучала в дверь и кричала:

— Лиля! Лиля! Ты что, заснула? Ваш чайник сгорел!

Смешно сказать — чайник! Вся жизнь у них горела...

Про несданный экзамен больше не вспоминали — новая травма полностью перекрыла предыдущую. Дальнейшие события развивались так стремительно, что Шурик потом лишь с трудом смог восстановить их последовательность.

Елизавета Ивановна, мужественно пережившая на своем веку смерть мужа, любимой падчерицы, гибель сестер, эвакуацию и всякого рода лишения, незначительной неудачи с Шуриковым экзаменом не выдержала. В тот же вечер с тяжелым сердечным приступом ее увезли в больницу. Приступ развился в обширный инфаркт. Вера, привыкшая за всю свою жизнь к роскоши тонких и сильных эмоций, очень переживала. Все у нее валилось из рук, она ничего не успевала. Она варила матери бульон, стоя над булькающей кастрюлей в ожидании конца мероприятия, а перед уходом в больницу вспоминала, что забыла купить одеколон. Ехала в центр за хорошим одеколоном, а потом опаздывала в больницу к приемному часу и платила большие деньги противнейшей гардеробщице, чтобы ее пропустили. И так было каждый день, каждый день...

Елизавета Ивановна лежала под капельницей, была бледна, молчалива и не хотела умирать. Вернее сказать, она понимала, что не имеет права

оставить дорогую, но такую беспомощную дочь (она бросала взгляд на мутный бульон, который Верочка забыла даже посолить) и Шурика, совершенно сбрендившего из-за этой глупой неудачи, — в этой точке Елизавета Ивановна оценивала ситуацию совершенно неправильно. Она полагала, что мальчик впал в депрессию. Другим образом она не могла объяснить себе того невероятного факта, что он ни разу не посетил ее в больнице.

А Шурик всю неделю занимался сборами, прощаниями и проводами. Последние сутки он провел в Шереметьеве, помогал сдавать какой-то багаж. Потом наступил момент, когда Лиля поднялась по лестнице, куда уже не пускали, и он махнул ей в какой-то просвет на втором этаже, уже за границей, и она улетела, увозя от него свою несокрушенную девственность.

Вечером, приехав домой, он наконец расслышал то, что не доходило до него всю неделю, — что у бабушки инфаркт и это очень опасно. Шурик ужаснулся своей собственной черствости: как мог он за неделю не выбрать времени, чтобы навестить бабушку? Но был уже вечер, посещение в больнице окончено. Ночью он спал как убитый, сказала бессонница последних дней. В восемь часов утра позвонили из отделения и сообщили, что Елизавета Ивановна ночью умерла. Во сне.

Отъезд Лили так прочно соединился в его памяти со смертью, что даже возле гроба ему приходилось делать некоторое усилие, чтобы отогнать от себя странное смещение: ему все казалось, что хоронят Лилю.

10

И вот наступает утро после похорон, когда поминки уже справлены, вся посуда вымыта соседками-помощницами, одолженные стулья разнесены по соседским квартирам и остался чисто вымытый дом, до краев переполненный присутствием человека, которого уже нет.

Под стулом в прихожей Вера Александровна находит сумку, привезенную кем-то из больницы. В ней чашка, ложка, туалетная бумага и всяческие довольно безличные мелочи. И очки. Их делали на заказ в каком-то специальном месте чуть ли не два месяца. Они были так удачно подогнаны к материнским, от старости потемневшим глазам — не было на свете других глаз, которым подошли бы эти выпуклые, в серой моложавой оправе стекла. С очками в руках Вера замирает: что с ними делать... Носильные вещи на полке шкафа — пуховый платок, халат, сшитый на заказ огромный бюстгальтер — полны материнского запаха, черная вязаная шапочка тюрбаном, в изнанке которой помимо запаха запуталось несколько тонких белых волос, — куда все это девать? Хочется убрать подальше, чтобы глаз постоянно не ранился, чтобы сердце не болело, но в то же время совершенно невозможно выпустить из рук остатки живого материнского тепла, скрытые в этих вещах.

Воздух комнаты весь во вмятинах от ее тела. Здесь она сидела. Тут, на ручке кресла, лежал ее локоть. Отекшие ноги в старых туфлях на каблуках протерли на красном ковре давнишнюю проплешину — полвека она постукивала ногой, обучая учеников правильному произношению. Но со времени недавнего переезда ковер изменил свое положение, и на новом месте, у стола, где она притоптывала своими увесистыми ногами, проплешина не успела образоваться.

Ужасная догадка посещает Верочку: она всегда была дочерью, только дочерью. Мама отгораживала ее от всех жизненных невзгод, руководила, управляла, растила ее сына. Так получилось, что даже ее собственный сын звал ее Верочкой. Ей пятьдесят четыре года. А сколько — на самом деле? Девочка. Не знающая взрослой жизни девочка... Сколько денег нужно на проживание в месяц? Как платить за квартиру? Где записан телефон зубного врача, с которым всегда договаривалась мама? И главное, самое главное — что же теперь с Шуриком, с его поступлением в институт? Мама,

после скандального провала, собиралась устраивать его к себе, в Педагогический...

Вера машинально крутила в руках материнские очки. Горка телеграмм лежала перед ней. Соболезнования. От учеников, от сослуживцев. Куда их девать? Выбросить невозможно, хранить глупо. Надо спросить у мамы — мелькнула привычная мысль. И еще глубоко-глубоко таилась обида: ну почему именно сейчас, когда ее присутствие так важно... Экзамены начнутся совсем скоро. Надо звонить кому-то на кафедру, Анне Мефодиевне или Гале... Все мамы ученики... И Шурик какой-то странный, деревянный — сидит в своей комнате, запустил оскорбительно громкую музыку...

А Шурик никакой громкой музыкой не мог заглушить огромного чувства вины, которое перевешивало в нем самую потерю. Он находился в оцепенении подобном тому, которое переживает куколка перед тем, как, треснув по намеченному природой шву, выпустить из себя взрослое существо.

Утром, в одиннадцатом часу, Вера Александровна пошла в театр, а Шурик остался в своей комнате с орущим Элвисом Пресли и с убийственной ситуацией, которую он уже не мог изменить: это он, Шурик Корн, не пошел на экзамен, смалодушничал, закатился к девочке, не предупредил с ума сходящих женщин, довел, собственнo говоря, бабушку до инфаркта, потом по совершенно непостижимому легкомыслию и идиотизму даже не навестил ее в больнице, и вот теперь она умерла, и в этом виноват лично он. Моральные реакции в нем происходили на каком-то физиологическом уровне — что-то менялось внутри, то ли состав крови, то ли обмен веществ. Он просидел так до вечера, прокручивая Пресли снова и снова, и к вечеру «Love me, my baby» так прочно и глубоко записалось в сознании, что выплывало всю жизнь вместе с памятью о бабушке и о счастливом детстве, освещенном ее присутствием. Он был единственным внуком и любимым учеником Елизаветы Ивановны, но также и жертвой ее прямолинейной педагогики: с ранних лет он был приучен в мысли, что он, Шурик, очень хороший мальчик, совершает хорошие поступки и не совершает дурных, но уж если дурной поступок вдруг случится с ним, то следует его немедленно осознать, попросить прощения и снова стать хорошим мальчиком... Но не у кого, не у кого было просить прощения...

Вера пришла из театра к вечеру, они поели вчерашней еды, оставшейся от поминок, и он сказал:

— Пойду пройдусь.

Был понедельник. Вера хотела было попросить его остаться. Она чувствовала себя такой несчастной. Но для полноты ее несчастья надо было, чтобы он ушел и оставил ее одну. И она не попросила.

Матильду Павловну Шурик застал озабоченной: утром она получила телеграмму о смерти своей деревенской тетки и собиралась завтра ехать в Вышний Волочек. Отношения с теткой у нее с детства были неважные, и теперь ей было неловко, что она ее мало любила, не жалела и все, что могла теперь сделать, — устроить богатые поминки. С утра она уже пробежалась по окрестным магазинам, закупила столичной колбасы и майонеза, водки, селедки и любимого народного лакомства — кубинских апельсинов. Шурик с порога сказал ей о смерти бабушки — она всплеснула руками:

— Ну надо же! Пришла беда — открывая ворота!

Увидев Шуриково горестное лицо, она наконец заплакала о своей тетке, несчастливой завистливой женщине с тяжелым характером. Заплакал и Шурик. Незатейливая Матильда Павловна тут же сорвала железную бескозырку с теплой бутылки и разлила в стопочки.

Слезы, водка, грубо нарезанная нечищенная селедка, от вида которой Елизавета Ивановна пришла бы в негодование, — все шло одно к другому. Шурик, как выяснилось, после недавней травмы вполне оправился, вышел чуть скривившийся, но вполне дееспособный. Свой мужской урок он выполнил добросовестно и с пылом, и почему-то это принесло облегчение и

ему, и Матильде, и в нем даже промелькнуло смутное ощущение хорошего поступка хорошего мальчика — ну не странно ли...

И Матильду, излившую полдюжины слез по чужому поводу, тоже отпустило. Теперь перед ней во весь рост встала кошачья проблема: на кого кошек оставить... Соседка ее, милая многолетняя инженерша, которая иногда присматривала за ее кошками, уехала с детьми в пансионат, другая подруга, художница, была астматиком, от кошачьего духа у нее немедленно начинался приступ. Прочие кандидатуры в этот момент по тем или иным причинам отпадали: кто болен, кто далеко живет. Про Шурика она как раз и не подумала, но он сам вызвался принять на себя заботу о кошачьей семье.

Эти черные кошки, Дуся, Константин и Морковка, приходящаяся своей матери одновременно и внучкой, были человеконенавистниками, но для Шурика по неведомой причине делали исключение, принимали его приветливо и даже втягивали когти, садясь к нему на колени. Матильда Павловна немедленно выдала Шурику ключ и несложные инструкции.

Наутро Шурик по просьбе Матильды Павловны проводил ее до поезда, потом поехал в университет и забрал свои документы. Еще с утра он собирался отвезти их в Педагогический, куда прием документов еще не закончился, но, когда он получил на руки свои бумаги, он понял, что не хочет видеть никого из бывших бабушкиных сослуживцев и вообще не хочет ни в какой Педагогический. Ни за что. И он отвез документы в первый попавшийся институт, поближе к дому. Это была Менделеевка, в пяти минутах ходьбы.

Потом он зашел в мазагин «Рыба» на улице Горького, купил два килограмма мелкой трески. Умные кошки, как три египетские статуэтки, сидели в прихожей черными блестящими столбиками. Константин подошел к нему, склонил лакированную голову и легко пнул его лбом в ногу.

11

Полнейшая незаинтересованность Шурика в результатах принесла прекрасные плоды. Без особой подготовки он сдал прилично и математику, и физику, и химию. Везение его было прямо-таки сверхъестественным: на экзаменах он получал именно те вопросы, которые накануне просматривал. Двадцатого августа он нашел себя в списках поступивших.

Институт называли непочтительно *Менделавкой*. Считалось, что он хуже нефтяного, и хуже Института тонкой химической технологии, и даже хуже Института химического машиностроения. Зато у него была слава либерального учебного заведения: администрация мягкая, комсомольская организация слабая, кафедра общественных наук, имевшая, например, в университете огромный вес, здесь занимала скромное место, и партийное начальство хотя, конечно, руководило, не вполне сидело у всех на голове.

Шурик не мог по неопытности оценить достоинств либерализма, он просто ходил в большом потоке на лекции, писал конспекты и крутил головой, приглядываясь к однокурсникам и к самому процессу обучения, столь отличному от того, что знал он по своему школьному опыту.

Начался огромный курс по неорганической химии, с лекциями, семинарами, лабораторными работами. Лаборатории очень ему понравились. Сначала учили простым вещам: как работать с пробирками, как согнуть на газовой горелке стеклянную трубочку, как перелить раствор и отфильтровать осадок. Было своеобразное волшебство в мгновенном потеплении пробирки при сливании двух холодных растворов, в изменении цвета или в неожиданном превращении прозрачной жидкости в синюю студенистую массу. Все эти мелкие события имели свое строго научное объяснение, но Шурику казалось, что за любым объяснением остается неразгаданная тай-

на личных отношений между веществами. Того и гляди, выпадет в осадок философский камень или какая-нибудь другая алхимическая мечта средневековья.

На лабораторных работах он оказался из числа самых неумелых. Зато никто, как он, не удивлялся и не радовался маленьким химическим чудесам, которые постоянно происходили прямо в руках.

Большинство студентов пришли учиться химии не по той единственной причине, что институт находится возле дома. Они в своей химии уже насобачились, ходили в кружки, участвовали в олимпиадах. Помимо любителей химии было также довольно много евреев, пролетевших с университетом, неудавшихся физиков и математиков с высоким интеллектом и неудовлетворенными амбициями. Либерализм Менделеевки сказывался, между прочим, и в том, что туда брали евреев. Шурика с его неопределенной фамилией многие принимали за еврея, но он к этому еще со школьных времен привык и даже не пытался протестовать.

Студентов для лабораторных занятий разбили на группы и подгруппы, некоторые задания они выполняли вчетвером. Лучшим химиком в их подгруппе была Аля Тогусова, казашка на тонких недоразвитых ножках, сходившихся в единственной точке — в лодыжках. Зато своими маленькими умными ручками она играючи выполняла все задания так быстро, что остальные еще не успевали прочитать методичку, а у нее все было готово. Сказывалась ее двухлетняя работа в заводской химической лаборатории до поступления в институт — Аля была «целевая»: химическое производство в Акмолинске выплачивало ей стипендию. Она все схватывала на лету, и преподаватель практикума заметно выделял ее среди прочих — как опытного солдата среди новобранцев.

Вторая девица называлась Лена Стомба. Ее фамилия удивительно подходила к ее внешности — красивому грубому лицу под русой челкой, закрывающей низкий лоб, к дельфиньему обтекаемому туловищу и плотным ровным ногам с широкими лодыжками. Молчаливая и неприветливая, все перерывы она проводила под лестницей, куря одну за другой дорогие сигареты «Фемина». Известно было, что она с Урала и отец ее большой партийный начальник. Обе девушки были провинциалки, Аля — восторженная, Лена — мрачная и недоверчивая. Она подозревала москвичей в каких-то тайных грехах, все пыталась их вывести на чистую воду. Обе они жили в общежитии.

Зато третьим в их подгруппе был московский мальчик Женя Розенцвейг, с которым Шурик сразу же подружился. Новый приятель был вундеркинд, недотянувший до мехмата по национальной инвалидности. Он был рыжеватый, ушастый, не совсем еще оформившийся и очень милый. На него была все надежда по части математики. Дело было в том, что самым тяжелым экзаменом первой сессии считалась не незаконная и своеправная химия, а курс математического анализа, логичный и ясный.

Курс этот читал маленький свирепый человек со встрепанной шевелюрой и низко сидящими на бургистом носу очками. Было известно, что на экзаменах ему лучше не попадаться — ставит в лучшем случае тройки, да и то не с первого раза. Розенцвейг, считавший себя в математике большим специалистом, взялся всех подготовить. Все четверо они набивались в маленькую Шурикову комнату, и Женя обучал их хитрой науке математике.

Время от времени к ним заглядывала Вера Александровна и нежным немощным голосом спрашивала, не хотят ли они чаю... И она приносила чай — на подносе стояли четыре чашки, каждая на своем блюдце, на тарелочке с вырезными листьями и цветами лежали сухари, а сахарница была определенно серебряная, потемневшая — ее бы зубным порошком потереть, блестела бы как новенькая...

12

Аля Тогусова была дочерью русской ссыльной и вдового казаха. Ее мать, Галина Ивановна Лопатникова, попала в Казахстан еще до войны, ребенком, по знаменитому делу об убийстве Кирова, к которому был причастен каким-то боком ее отец, партийный деятель самого малого ранга, но никак не она сама, четырехлетняя тихая девочка. Отец сгинул в тюрьме, мать вскоре умерла. Родителей своих Галина плохо помнила, семи лет ее поместили в спецдетдом, и вся жизнь ее была сплошная каторга и равнодушное выживание. Все детство она болела. Но странное дело — сильные дети умирали, а она, слабенькая, выживала. Как будто болезни, поселяясь в ней, дохленькой, не могли набрать из нее нужных соков и сами собой сходили на нет, а она все жила. Из детского дома ее определили в ремесленное училище, в штукатуры, но тут у нее вспыхнул туберкулез, и она опять собралась было умирать, но, видно, смерть побрезговала ее немощными косточками, и процесс остановился, каверна зарубцевалась. Вышла из больницы, пошла в уборщицы на вокзал. Спала в общежитии, на одной койке с другой девушкой, тоже из ссыльных.

Когда Тогус Тогусов, сорокалетний сцепщик из Акмолинского депо, после смерти жены взял ее к себе в дом, положение ее отчасти изменилось к лучшему: ей дали постоянную прописку. Остальное было все то же: голод, холод, да и работы прибавилось. Русская жена Тогуса оказалась неумелой и плохо приспособленной к домашней жизни: детдомовское детство приучило ее к нищенской пайке, трусливой кротости и терпению — даже сварить суп она не умела. Умела Галина только тряпкой возить по вокзальному заплеванному полу. А уж с подрастающими Тогусовыми сыновьями совсем не могла она управиться, так что пришлось отправить их к отцу, в далекий Мугоджарский район.

Казахская родня считала Тогуса человеком пустым, женитьба его на русской девушке это мнение окончательно утвердила. Да и сам он был несколько разочарован: не родила новая жена беловолосую девочку, как ему хотелось, получилась черная, узкоглазая, совсем казашка. Назвали Алия. Зато повезло Тогусу в другом — вскоре после рождения Али его взяли в проводники. Большие взятки платили за такие места. С первых лет открытия Туркестано-Сибирской железной дороги казахов потянуло к этой новой профессии, в которой осуществлялся идеальный переход от кочевой жизни к оседлой.

Счастливый в своих железнодорожных странствиях, разбогатевший на обычной в этом деле спекуляции водкой, продуктами, мануфактурой, Тогус завел себе еще одну семью в Ташкенте и несколько временных подруг по всем своим маршрутам. Изредка приезжал он в Акмолинск, оставлял то полбарана, то отрез дорогого шелка, то невиданных конфет дочке и исчезал на месяцы. Пожалуй, можно было бы считать, что он вообще ушел от Галины, если бы та умела об этом задуматься. Но думать она не умела. Для этого нужны были внутренние силы, а их у нее хватало только на самые маленькие мысли о еде, о худой обуви, о топливе. И уж конечно, ни на какую любовь сил у нее не было, как не было возле нее никогда ничего такого, что могло бы эту любовь привлечь. Дочка Аля вызывала в ней лишь слабенькое шевеление чувств. Девочка, не в мать, была слишком активная, слишком теребила ее, усталую, и она еще сильнее уставала от любви, которую девочка своими цепкими ручками из нее выманивала.

Последние два лета, пока Тогус еще приезжал в Акмолинск более или менее регулярно, Алю отправляли к казахскому деду, который всю свою жизнь перемещался по степям между Мугоджарскими горами и Аралом, по старому таинственному маршруту, соотносенному со временем года, направлением ветра и ростом травы, вытаптываемой проходящими отарами. Острая сквозная боль в животе, заскорузлое от кровавого поноса

белье, вонь юрты, едкий дым, старшие дети, злые, некрасивые, за что-то ее колотят, дразнят... Об этом Аля никогда никому не рассказывала, так же как и ее мать, Галина Ивановна, не рассказывала ей о своем детдомовском детстве...

Ссылных после смерти Сталина начали понемногу отпускать. Галина Ивановна могла бы вернуться в Ленинград, но там у нее никого не было. А если кто и был, то она об этом не знала. И куда ей было перебираться на новое место. С годами она и здесь хорошо устроилась: одиннадцатиметровая комната на окраине Акмолинска, у железнодорожного переезда, кровать, стол, ковер — все добро от мужа, да и работа уборщицы на вокзале, где было свое золотое подспорье — пустые бутылки из щедрых рук проезжающих.

Алю, пока она не пошла в школу, мать брала с собой на вокзал, и там, в зале ожидания, она садилась на корточки и жадно разглядывала людей, которые прибывали волнами, а потом куда-то исчезали. Сначала она бессмысленно пялилась на них и видела лишь безликое стадо вроде того овецего, в казахской степи, но потом стала различать отдельные лица. Особенно привлекательны были русские люди — с другим выражением лиц, иначе одетые, в руках у них были не узлы и мешки, а портфели и чемоданы, обувь — кожаная и блестящая, как вымытые калоши. Среди их мужского большинства иногда мелькали и женщины — не в платках и телогрейках, а в шляпах, в пальто с лисьими воротниками и в туфлях на каблуках. Они были русские, но другие, не такие, как ее мать.

Многие часы провела маленькая Аля на вокзале в состоянии углубленной рассеянности, как буддийский созерцатель мудрого неба или вечнотекущей воды. Она не умела ни задать вопроса, ни ответить, одно только взлелеяла она в себе, сидя на корточках возле мусорной урны: однажды она наденет туфли на каблуках, возьмет в руку чемодан и уедет отсюда куда-то, неизвестно куда... в другую жизнь, которой она дерзко возжелала. Может, говорила в ней та самая кровь, которая погнала ее отца в путаницу железнодорожных веток, в густое человеческое месиво, в сложный смрад перекаленного железа, сырого угля, вагонных загаженных сортиров, где все было по нему, как на заказ, жизнь, полная разнообразными возможностями: выпить дорогого коньяка с военным, отодрать за бесплатный проезд безбилетную женщину, сшибить бешеную деньгу, наврать с три короба, а иногда и покуражиться над бесправным пассажиром... Десять лет праздновал свою железнодорожную удачу Токус Токусов, а на одиннадцатый его напоили, ограбили и сбросили с поезда двое лихих людей, которых он посадил к себе в проводничье купе на ночной перегон от Ургенча до Коз-Сырты. Дорогих конфет Аля больше не видела лет десять.

Мать отвела ее в школу, и в первые годы учебы она еще не усвоила никакой связи между выходящими на платформу Акмолинска особенными и счастливыми людьми и кривыми палочками, которые она нехотя выводила в тетради, но в конце второго класса ее как осенило: она стала учиться страстно, яростно, и способности ее — малые или большие, значения не имело, — напрягались постоянно до последнего предела, и предел этот расширялся, и с каждым годом она училась все лучше и лучше, так что перешла в десятилетку, хотя почти все девочки после седьмого класса устроились ученицами на завод или пошли в ремесленное училище.

Школу она закончила с серебряной медалью. Химичка, Евгения Лазаревна, классный руководитель, ссыльная москвичка, тоже осевшая в Казахстане, уговаривала Алю ехать в Москву, поступать в университет, на химический факультет.

— Поверь мне, это такой же редкий талант, как у пианиста или у математика. Ты структуру чувствуешь, — восторгалась Евгения Лазаревна.

Аля и сама знала, что мозги ее окрепли, глазная память, позволявшая ее деду с беглого взгляда в изменившей очертание отаре распознать пропа-

жу одной-единственной овцы, принимала в себя отпечатки химических формул, их разветвленные структуры, кольца и побег радикалов...

— Нет, не сейчас, через два года поеду, — твердо сказала Аля и объяснениями не побаловала.

Евгения Лазаревна только рукой махнула: за два года все потеряется, по ветру пойдет...

Галина Ивановна стала к тому времени инвалидом — одна нога в колене не гнулась, вторая еле ковыляла. Аля пошла на производство, правда не в цех, а в лабораторию. Евгения Лазаревна устроила к своей бывшей ученице. Два года Аля работала как каторжная, тянула полторы ставки, по двенадцать часов в день. Накопила денег на билет, купила себе синюю шерстяную кофту, черную юбку и туфли на каблуках. Еще сотня была припрятана про запас. Но главное было не это: кроме двухлетнего рабочего стажа было у нее направление на учебу от родного завода, правда не в университет, а в Менделеевский институт, на технологический факультет. Она была теперь «национальный кадр». Мать, только что оформившая инвалидскую вторую группу по костному туберкулезу, просила ее остаться, поступать здесь, в Акмолинске, в Педагогический институт, раз уж такая охота к учебе приперла. Она уже собралась умирать и обещала долго дочку не задерживать. Но Аля этого просто не слышала.

В туфлях на каблуках, на босу ногу, с чемоданом, набитым учебниками, она села в проходящий поезд. Пятки она растерла жесткими задниками до крови еще по дороге на вокзал. Но это не имело значения: к себе она была еще более безжалостна, чем к матери.

В поезде она приняла твердое решение никогда больше не возвращаться в Казахстан. Москвы она еще не видела, но уже знала, что останется там навсегда.

Ни мечте, ни воображению не удалось дотянуться до невиданного блеска живой столицы. Казанский вокзал, средоточие суеты, сутолоки и грязи, презираемая москвичами клоака города, показался Але преддверием рая. Она вышла на площадь — великолепие города поразило ее. Спустилась в метро и остолбенела: рай оказался не на небе, а под землей. Она доехала до Новослободской, и цветные стеклышки жалких витражей подземной станции оказались самым глубоким художественным переживанием ее жизни. Полчаса, обливаясь благоговейными слезами, простояла она перед сияющим панно, прежде чем выйти на свет божий. Но поверхность поначалу ее разочаровала: от беломраморного дворца разбегались во все стороны мелкие и незначительные домики, не лучше, чем в Акмолинске. И пока она оглядывала невзрачный перекресток, вдруг откуда-то повеяло сладким хлебом так же сказочно и празднично, как от цветного стекла.

Булочная была напротив, наискосок от метро. Старый одноэтажный дом. Пошла по волне запаха. Внутри сверкал сине-белый кафель, и это тоже было великолепие. Булочная и в самом деле была хороша, принадлежала когда-то Филиппову, в подвале сохранилась пекарня, и даже работал старик пекарь, начинавший до революции мальчишкой при печах...

Внутри булочной стоял такой дух, что казалось, воздух этот можно откусывать и жевать. И хлеба было столько, что глаз не вмещал. Он был невиданный, и Аля сначала подумала, что стоит он так дорого, что ей не купить. Но стоил он обыкновенную цену, как в Акмолинске. Она купила сразу калач, калорийную булочку и ржаную лепешку. Надкусила, хотя и жаль было повредить красоту. С калача посыпалась мука, такая тонкая и белая, какой в Казахстане она не видывала. Ничего вкуснее этого хлеба она в жизни не знала...

Остановившись каждые десять шагов, она доволочила тяжеленный чемодан до института. У нее быстро приняли документы и дали направление в общежитие. Она с трудом его отыскала — в районе Красной Пресни, довольно далеко от метро. Управившись с делами заселения, получив койку

в четырехместной комнате, она заткнула ненавистный чемодан под железную кровать и кинулась на Красную площадь, смотреть на Кремль и Мавзолей Ленина, Мекку и Каабу этой части света.

Это был величайший день ее жизни: три чуда света открылись ей разом. Душе ее предстала святыня искусства, выполненная из цветных стеклышек пьяными исполнителями по эскизам бессовестных халтурщиков, телу — святыня незабываемого вкуса (освоители целинных земель, пришлые хлеборобы из ссыльных и призванных на подвиг комсомольцев хавали серый, сырой, землистый), а дух ее бессмертный поднялся на божественные высоты возле зубчатой стены великого храма. Аллилуйя!

Кто посмел бы разуверить ее в тот день? Кто бы мог предложить большее? Возможно, соседки по общежитию не разделили бы ее восторга, даже если бы она с ними поделилась переживаниями. Но она хранила свое великое в тишине души.

Все, что она задумала, получилось. Она сдала экзамены гораздо лучше, чем нужно было для зачисления. Ей дали в общежитии койку и тумбочку в комнате на четверых, с уборной и душем на этаже, с общей кухней и газовой плитой. Все это принадлежало ей по праву. Поверх пробирок и колб она смотрела на своих однокурсников. Все они были прекрасны, как иностранцы, — красивые, нарядные, упитанные. Лучше всех был Шурик Корн. Потом она попала к нему в квартиру. Это был высший этаж рая. Теперь Аля твердо знала, что всего можно добиться. Надо только работать. И работала. И была ко всему готова.

13

После смерти матери Вера резко постарела и одновременно ощутила себя сиротой, а поскольку сиротство есть состояние по преимуществу детское, она как будто поменялась местами с сыном-студентом, уступила ему старшинство. Все житейские проблемы, прежде решаемые неприметным образом Елизаветой Ивановной, легли теперь на Шурика, и он принял это безропотно и кротко. Мать смотрела на него снизу вверх и, прикоснувшись прозрачной рукой к его плечу, рассеянно говорила:

— Шурик, надо что-то к обеду... Шурик, где-то была книжечка за электричество... Шурик, тебе не попался мой синий шарф?..

Все в форме неопределенной, недовысказанной.

Свою бухгалтерскую зарплату она, как и прежде, складывала в гобеленовую коробочку на столике Елизаветы Ивановны. Шурик первым обнаружил, что денег этих совершенно недостаточно, и уже с половины сентября он начал давать уроки двум прежним бабушкиным ученикам. Еще была стипендия.

Вернувшись из института, он заходил в ближайший магазин, приносил пельмени, картошку, яблоки, без которых мама жить не могла, оплачивал счета за газ и электричество, находил шарф, проскользнувший в щель между стеной и галошницей...

Раз в неделю покупал мелкую треску, относил к Матильде... Ждал писем от Лили. Их все не было.

Приближался Новый год, первый Новый год без Елизаветы Ивановны, без рождественского праздника, пряничного гаданья, без бабушкиных щедрых и неожиданных подарков и даже, кажется, без елки... Во всяком случае, Вера Александровна не знала, откуда брались елки, кто их приносил в дом и каким образом колючее дерево оказывалось в хранимой Елизаветой Ивановной старой крестовине закрепленным с помощью набора клинышков, которые тоже сберегались в специальной коробке.

Отсутствие Елизаветы Ивановны по мере протекания недель и месяцев ощущалось все острее, особенно в эту предновогоднюю неделю, которая в прежние годы была радостно-напряженной, подготовительной: почти каж-

дый день приходили ученики, наводили лоск на французские стишки и песенки, а Вера Александровна вечерами, придя с работы, садилась за инструмент. Она аккомпанировала, вспоминая незабвенного Александра Сигизмундовича, и непроизвольно встряхивала головой в конце каждой музыкальной фразы, как делал некогда он. Дети громко и фальшиво пели. Елизавета Ивановна, строго натянув верхнюю губу на шаткий зубной протез, постукивала носком туфли о старый ковер. В горячей духовке досушивались цукаты из апельсинов и яблок. Дом благоухал корицей и апельсинами, к которым примешивался праздничный запах мастики для полов...

— Кстати, Шурик, а где записан телефон Алексея Сидоровича?..

Алексей Сидорович был полотер, приглашаемый Елизаветой Ивановной с незапамятных времен дважды в год, под Рождество и под Пасху, но телефона у него не было, жил он в Томилино, она посылала ему открытку, назначала время прихода. Адрес же держала в голове, в записной книжке его и не было...

Декабрь, темный и медлительный, Верочка с детства плохо переносила: всегда простужалась, кашляла, впадала в депрессию, которую в те годы называли попросту унынием. Елизавета Ивановна еще с ноября усиливала обыкновенные заботы о дочери, давала ей какую-то бурду из листьев алоэ с медом, заваривала то подорожник, то девясил, по утрам ставила перед ней рюмку кагора...

Этот декабрь, первый без матери, оказался для Веры особенно тяжелым. Она много плакала, и, что удивительно, даже во сне. Просыпаясь, она едва собиралась с силами, чтобы справиться с этими самочинными слезами. Она и на работе вдруг ни с того ни с сего начинала точить слезы, а в горле возникал душный комок. Она все худела и худела, так что юбки крутились вокруг тощих бедер, а молоденькие артистки приставали с вопросами, на какой такой диете она сидит. Дело было, конечно, не в диете, а в щитовидке, которая с юности была увеличена, а теперь выбрасывала в кровь огромные дозы гормона, отчего Вера Александровна чувствовала слабость, плакала, не находила себе места. А поскольку симптомы болезни во всех пунктах совпадали с обыкновенными симптомами ее характера — слезливостью, мнительностью, легкой утомляемостью, — то болезнь долго не распознавали. Приятельницы намекали ей, что вид у нее не блестящий, выглядит она утомленной.

Может быть, один только Шурик чувствовал, что красота ее, поблекшая, бедненькая, как старая фарфоровая чашка или крылышко отлетающей свой век бабочки, делалась все более трогательной...

Шурик ее обожал. Он был воспитан предусмотрительной Елизаветой Ивановной в твердом убеждении, что мама его человек особенный, артистический, прозябает на мизерной работе, никак не соответствующей ее уровню, исключительно по той причине, что творческая работа требует от человека полной отдачи, а Верочка выбрала для себя другую долю — растить его, Шурика. Пожертвовала для него артистической карьерой. И он, Шурик, должен это ценить. И он ценил.

Теперь, после ужасной истории с бабушкой, он панически боялся за мать. Произошла окончательная смена ролей — Вера Александровна поставила сына на место своей покойной матери, а он легко принял эту роль и отвечал за нее если не как отец за ребенка, то как старший брат за младшую сестру, и заботы Шурика о ней были не отвлеченными, умозрительными, а вполне практическими, отнимающими у него много времени.

Шурику приходилось трудно. Несмотря на легкое поступление в институт, учение оказалось для него тяжелым. Он был, вне всякого сомнения, гуманитарным мальчиком, и то проворство, с которым он усваивал иностранные языки, никак не распространялось на прочие предметы. К концу первого семестра он накопил много непонятого во всех науках, с трудом сдавал зачеты и постоянно пользовался помощью Али и Жени. Они

его подгоняли, а то и просто делали за него задания. Хотя сессию он еще не завалил, но был полон на этот счет дурными предчувствиями. Единственный предмет, который шел у него прекрасно, был английский. Недоразумение, послужившее косвенной причиной смерти Елизаветы Ивановны, как будто имело рецидив: его опять по ошибке зачислили не в ту языковую группу. Увидев свою фамилию в группе «английский — продолжающие», он даже не пошел в деканат объясняться. Стал ходить на занятия, и преподавательница только в конце семестра обнаружила, что один из ее студентов по ошибке за три месяца освоил полный курс школьного английского и отлично справился с новым объемом.

В прежние времена Вера неукоснительно посещала лучшие театральные премьеры и хорошие концерты. Теперь, когда она предлагала Шурику куда-нибудь с ней выйти, он часто отказывался: у него не хватало времени. Приходилось много заниматься, особые нелады были с химией — она казалась корявой, ветвистой, лишенной логики...

Все у Шурика поменялось разом — и в главном, и в мелочах. Одно только осталось неизменным с прошлого года — понедельничная Матильда. Впрочем, понедельники распространялись иногда и на другие дни недели. Поскольку Вера тяготилась одинокими вечерами, Шурик, подремывая над учебниками, дожидался одиннадцати, когда мама принимала свое снотворное, и, оставив в своей комнате маленький свет и тихую музыку, в одних носках, с ботинками в руке открывал входную дверь, не скрипнув смазанными специально петлями, не щелкнув замком, надевал ботинки уже на лестничной клетке и катился вниз, бегом по лестнице, потом через двор, через железнодорожный мостик, к милой Матильде...

Он открывал ее дверь своим ключом, который был доверен ему не как знак их любовной связи, а как свидетельство дружбы с того самого дня, как Матильда в первый раз оставила на него кошек. Сквозь дверной проем он видел широкую белую постель, лежащую на пышных подушках Матильду в белой просторной рубашке, с мягко заплетенной ночной косой на плече, с пухлой книжкой в газетной обертке, в окружении трех черных кошек, спящих в самых причудливых позах на ее раскинутом теле. Матильда улыбалась обратному кадру — густо-румяному юноше в короткой спортивной куртке, со снегом в густых волосах. Она знала, что он всю дорогу бежал, как зверь на водопой, и знала, что бежал бы не двадцать минут, а всю ночь, а может, неделю, чтобы поскорее ее обнять, потому что голод его был молодой, зверский, и она чувствовала готовность ответить ему.

Иногда ей приходило в голову, что мальчика можно было бы немного подобразовать, потому что он и в постели все продолжал бег к ней, и не было времени для медлительной нежности, для неги, для тонкой ласки. Он же, добежав, внезапно отрывался от нее, ахал, глядя на часы, быстро одевался и убегал. Она подходила к окну и видела, как он проносился через двор на улицу, потом мелькал в просвете между домами...

К маме спешит, усмехалась она добродушно. Не привязаться бы старой дуре...

Боялась привязанности, боялась расплаты. Привыкла, что за все приходится расплачиваться.

14

Новый год собирался быть печальным: так его задумала Вера Александровна. Она настроилась на благородный минор, достала альбом Мендельсона и заранее разобрала Вторую сонату. Она не была слишком высокого мнения о своем исполнительском уровне, но единственный слушатель, на которого она в новогодний вечер рассчитывала, был самым доброжелательным на свете.

Актерская душа ее не умирала. Старый спектакль ее жизни развалился, отыгрался, и она стала собирать себе новый из подручного материала, из

подбора, как говорили в театре. К Мендельсону шло черное платье, закрытое, но с прозрачными рукавами, пристойное для исполнительницы. И черное ей шло. На мещанские традиции — что в черном Новый год не встречают — наплевать. Стол будет скромным: никаких маминых пирожков поросячьего вида, совершенно одинаковых, как будто на машинке отпечатанных, никакого семейного кружона в серебряном ведерке стили а-ля рюсс... Кстати, куда оно делось, надо Шурика спросить... Маленькие бутербродики... Ну, тарталетки купить в буфете ВТО. Апельсины. И бутылка сухого шампанского. Все. Для нас двоих.

Повешу мамину шаль на спинку кресла, и пусть Стендаль раскрытый лежит, как остался после того, как ее увезли в больницу. И очки... А накрою на троих. Да, для нас троих.

Вере Александровне и в голову не приходило, что у Шурика могут быть какие-то собственные планы. Ему на предстоящем празднике, как всегда, отведено было сразу несколько ролей: пажа, собеседника и восторженной толпы. Ну и, разумеется, мужчины в высшем смысле. В самом высшем смысле.

А Шурику было не до праздников. Рано утром тридцать первого он отправился сдавать зачет по неорганической химии. Он постучал в дверь аспиранта Хабарова как раз в тот момент, когда тот хлопнул с лаборантом по мерному стограммовому стаканчику правильно разведенного казенного спирта.

Это была уже третья Шурикова попытка сдать зачет, и не сдай он его сегодня, к экзаменационной сессии его бы не допустили. Он неуверенно стоял в дверях. Аля, наставница и болельщица, выглядывала из-за его спины.

— А тебе чего, Тогусова? — спросил Хабаров, давно поставивший ей зачет за большие достижения безо всякой сдачи.

— А так, — смутилась Аля.

— Ох, делать вам нечего, ребята, — добродушно вздохнул Хабаров. Стаканчик как раз усвоился организмом, все внутри и снаружи потеплело, подобрело. Хабаров был начинающим алкоголиком, и Шурик случайно попал в лучшие минуты его волнообразного состояния. Задачку Шурик решил с ходу и неправильно. Хабарову это показалось смешным, он захохотал, дал другую и вышел в подсобную комнату к своему верному лаборанту, чтобы повторить. Минут через пятнадцать вернулся, обнаружил забытого им Шурика с решенной Алей задачей, расписался в зачетке и подмигнул, помахивая пальцем:

— А ведь ни хера, Корн, не знаешь!

В коридоре Шурик подхватил Алю и закружил, смяв ее старательную прическу:

— Ура! Поставил!

Аля вознеслась на седьмое небо — полный коридор народу, и все видели, как он подхватил ее. Вот оно, яснейшее доказательство того, что сосредоточенный труд завоевания дал первые плоды. Его радость, обращенная к ней, ее смятая прическа всем показывали, что между ними что-то происходит. Сближение началось, и она готова была сколько угодно трудиться, чтобы завоевать свой «гран при».

Костистой ручкой она поправила съехавший набок пучок и суетливым движением прошла по воротничку синей кофты, по подолу юбки, щипнула себя за чулок на икре, подтягивая его вверх.

— Ну, поздравляю, — жеманно повела плечиком.

В этот момент она была почти хорошенькой, отдаленно напоминала японку с глянцевого календаря, одного из многих, в тот год добравшихся до России.

— Тебе спасибо огромное, — все еще сиял удачей Шурик.

Пригласит, решила она.

Почему-то ей втемяшилось, что если он сдаст зачет, то непременно позовет ее к себе домой справлять Новый год. Все суетились уже несколь-

ко дней, сговаривались на складчину, закупали продукты, обсуждали, у кого лучше собраться. Особенно важно это было для тех, кто жил в общежитии: строгое начальство преследовало выпивки и всяческое безобразие, которое неизменно в этот день происходило. Всем немосквичам хотелось в этот день уйти в какой-нибудь настоящий московский дом.

Шурик перекладывал исписанные бумажки из карманов в портфель, а она стояла рядом и лихорадочно перебирала в уме, что бы такое сказать срочно, немедленно, чтобы заставить эту благоприятную минуту поработать на нее. Но ничего лучше не нашлось, кроме обыкновенного:

— А ты где справляешь?

— Дома.

И разговор замялся, и дальше из него ничего нельзя было выкрутить: навязываться Аля не хотела.

— Мне еще елку надо купить, я маме обещал, — доверительно сообщил ей Шурик и добавил просто и окончательно: — Спасибо тебе, Алька. Я бы без тебя не сдал. Ну, я пошел...

— Да, и мне пора, — надменно кивнула Аля и ушла, ритмично покачивая начесом из грубых черных волос и мужественно сдерживая злые слезы неудачи.

В общежитии шла боевая подготовка: Алины соседки гладили, что-то подшивали, красились немецкими красками из купленных совместно коробочек, смывали и накладывали заново румяна и тени. Они собирались на вечер в Институт имени Патриса Лумумбы, но Алю с собой не позвали. Аля легла в постель, укрылась с головой одеялом.

— Ты что, заболела? — спросила Лена Стомба, лоя в зеркальце отражение своего круглого, как яйцо, глаза.

— Живот разболелся. Я к Корну собиралась, да, видно, не пойду, — поморщилась Аля. В животе, если вслушаться, и впрямь что-то происходило.

— А-а, — поплеывая на тушь и сосредоточенно размазывая ее щеточкой, отозвалась Лена, — он меня тоже звал, да я не хочу.

Аля прислушалась к животу — болит. Это и лучше даже. Интересно, зачем она врет? А может, не врет?

Стомба сидела в белой комбинации с разрезом впереди, обкрутив полной хорошей ногой ножку стула и старательно выпучивая глаза, чтобы не попала тушь. Она была из богатых, ей из дому посылали переводы, два раза приезжала мать, привозила продукты, каких и в Москве не видывали...

В начале десятого все ушли, оставив беспорядок, вывороченные из шкафа платья, включенный утюг, бигуди и ватки в карминовых и черных следах. И вот тогда Аля заплакала.

Поплавав немного, она утешилась всегдашним способом, немного себя приласкав. Грудь у нее были маленькие, твердые, как незрелые груши. Живот, раньше впалый, с выпирающими вертлогами и симфизом, теперь, на филипповском хлебе, стал ровненьким. Талия была тонкая, и все остальное не хуже, чем у других, — сверху нежная замша, внутри скользкий шелк.

Она встала, посмотрела на себя в пыльное зеркало: в лице ее все по отдельности было ничего, но собрано неряшливо, без внимания — глазки узкие, длинные, можно еще удлинить, но стоят они немного близко. Нос капельку примят, как у отца, но не страшно. Вот расстояние между кончиком носа и верхней губой слишком маленькое. Она оттянула верхнюю губу, подсунув изнутри язык, — так было бы лучше... Немецкие краски остались неприбранными, и она, не жалея чужого, навела себе брови враскос, глаз вставила в черную рамку... Стерла, снова намазала. Все-таки больше она походила не на пухленькую японку с календаря, а на ее отца-самурая...

Потом стала примерять чужие платья. Здесь было принято меняться одеждой, носить вещи сообща, коммунально. Богатство девичье было довольно жалким, но для Али более чем достаточно. Даже несмотря на то,

что Стовбино ничего не годилось ни размером, ни ростом. Она перебирала блузки и платышки с холодным глазом, без зависти. Вот такое она себе купит — вишневое, шелковое, а в полоску — ни за что, узбечки торговые базарные в полосках ходят. И еще сапоги купит. Высокие. После Нового года ей обещали место уборщицы на кафедре. Заработает и купит...

Из зеркала смотрела на нее не то чтобы красавица, но и не Аля Тогусова. Другое, новое лицо. Она себя едва узнавала. Монетки для автомата лежали в уголке в тумбочке. Напоследок она заметила флакончик с духами. Поболтала, надушилась. Назывались духи «Может быть». Она взяла двушки и пошла вниз звонить...

15

В начале одиннадцатого Вера Александровна закончила продуманную аранжировку аскетического стола. Она долго складывала салфетки, еще мамой в прошлом году накрахмаленные, в сложную форму «птичий хвост», к основанию свечи прикрепила веночек, наскоро сплетенный из золотой и черной бумаги. Мрачно, зато торжественно. Под елочку, с большим трудом добытую Шуриком и не успевшую даже оттаять, положила новогодний подарок для сына — тонкий шерстяной свитер-водолазку, который ей предстояло чинить и штопать много лет. Потом передумала и кликнула Шурика:

— Забери подарок заранее! На Новый год хорошо что-нибудь новое надеть!

Шурик развернул:

— Класс! Сила!

Поцеловал мать и стащил с себя старый, голубой. Новый был темный, благородного цвета маренго, и Шурику очень понравился. У него тоже был заготовлен для мамы подарок — роскошная, на всю последнюю стипендию, розовая ночная рубашка, чудовище из хрустящего розового нейлона: тетки бились в очереди во дворе универмага, и он купил. Уже в те годы начало проявляться в нем это особое дарование — выбирать дорогие нелепые подарки, всегда некстати, всегда оставлявшие впечатление, что он дарит случайно завалявшуюся в доме вещь, чтобы сбыть с рук... Но Вера Александровна не успела еще огорчиться, она свой подарок отложила до своего часа...

Закончив со столом, Вера Александровна заперлась в ванной комнате, чтобы произвести манипуляции для обретения если не молодости, то по крайней мере уверенности в том, что она сделала все возможное для ее удержания. В это время зазвонил телефон. Подошел Шурик. Маму спрашивала ее начальница, Фаина Ивановна. Узнав, что Вера Александровна дома, что праздник они справляют вдвоем, та сказала решительно:

— Прекрасно! Прекрасно! Позвоню позже.

Но позвонила она через час и непосредственно в дверь. Большая и краснолицая, в заснеженной каракулевой шубе и в такой же шапке, она вошла, как безбородый Дед Мороз, переложивший подарки из заплечного красного мешка в две увесистые хозяйственные сумки.

Вера Александровна ахнула:

— Фаина Ивановна! Вот сюрприз!

Фаина Ивановна уже сбрасывала на Шуриковы руки тяжеленную шубу, выпрастывала из распертых сапог огромные ступни и поправляла липкие от лака волосы:

— Вот такой вам сюрприз! Принимайте гостя!

Она была так довольна своей авантюрой, что не заметила ни Шуриковых удивленных бровей, ни легкого Вериного жеста в сторону сына — ничего, мол, не поделаешь... Ей и в голову не приходило, что сотрудница не

обрадуется ее приходу. Нагнувшись, она пошарила рукой в большой сумке и крикнула:

— Черт подери! Кажется, туфли забыла! Новые туфли, для наряду, для параду...

— Шурик, подай, пожалуйста, большие тапочки, — попросила Вера Александровна.

— Какие, мамочка?

В новом свитере, рослый, красивый, чисто выбритый, Шурик загоразивал плечами дверной проем...

Да прилепить бы ему погоны, да десяток лет прикинуть...

Фаина Ивановна имела слабость — ее неизъяснимо притягивали военные. Но своего собственного, для замужней жизни, ей не досталось, все только приходящие, временные, ненадежные. А что в военном составляет самое его обаяние? Конечно, надежность. А какая у любовника надежность? Вот теперешний: дослужилась наконец Фаина до полковничьей большой звезды, до папахи — и он, юркий до чрезвычайности, ходит к ней как на службу, два раза в неделю, но в руки не дается. Так и сегодня: объявил заранее, что жену с детьми отправляет к родителям, в Смоленск, на все праздники, а в восемь позвонил, сухо сказал, что дочка заболела, все отменяется... Не придет...

Фаина Ивановна треснула тарелкой об пол, испустила четыре злых слезы и позвонила Вере Александровне. Потом собрала в сумки все свои новогодние заготовки, настоящую праздничную еду, даже и с пирожками, — не то что Верочкин художественный театр с полмаслинкой и листиком петрушки, — и предстала. И дома одной не сидеть, и бедной Верочке — сюрприз. А для Фаины Ивановны сюрпризом оказался Шурик, — еще недавно его водили в шелковой рубашечке с бантом в театр, иногда и с благородной бабушкой за ручку, а теперь — ни того, ни другого, и маман умерла, и вместо смущенного мальчика — молодой бычок. Еще молоком пахнет, а стати мужские: рост, плечи... В этом смысле Фаине тоже не везло — сама высокая, складная, а мужики всю жизнь доставались недомерки, хоть даже и полковники...

Фаина выгребала из сумки банки и свертки, уставляла ими узенький кухонный стол и приговаривала:

— Ну до чего же хорошая мысль! Думаю, вы одни, я одна. Витьку-то я в Рузу в зимний лагерь сегодня отправила! Да кто нам нужен-то? Где у вас большое блюдо?

Шурик с энтузиазмом полез в буфет за блюдом. Ему все нравилось: и материнская идея справить Новый год в печальных воспоминаниях, строго и благородно, и Фаиново намерение устроить великолепное изобилие...

Не успели они разложить принесенные пироги и салаты, как снова зазвонил телефон. Это была Ася Тогусова:

— Шурик! Я возле института. Представляешь, девочки уехали, ключи от комнаты увезли, а коменданта нет. Я домой попасть не могу... Ничего, если я зайду? — хихикнула она не вполне уверенно.

— Ну конечно, Аль, о чем ты говоришь? Тебя встретить?

— Да что я, дорогу не знаю? Сама приду...

Звонила Аля не от института, а от метро. Через десять минут она стояла в дверях. На этот раз ахнула Вера Александровна. В первую минуту ей показалось, что Лиля Ласкина приехала: маленькая, густо накрашенная девочка с подведенными чуть не к ушам глазами... Шурик простодушно заржал:

— Ну ты и наштукатурилась, не узнать...

Она быстро сбросила старое пальто и предстала в чужом вишневом платье, утянутом широким поясом с наспех проковырянной лишней дырочкой, поправила заложенные в пучок жесткие волосы.

— Ну, ты просто японка, и все... — Ничего лучше Шурик и нарочно бы не придумал. Только того и хотелось казашке Але Тогусовой — походить на японку.

Пока они переговаривались в коридоре, Вера Александровна успела шепнуть Фаине Ивановне:

— Однокурсница Шуркина. Они вместе занимаются. Она отличница, из Казахстана. Ходила к нам в дом, они к сессии вместе готовятся.

— Ой, ради бога! Я вас умоляю! Пачками будут липнуть, какой красавец! Ваша задача, Вера Александровна, с десяток годков его попридержать, рано не дать жениться. Мой тоже — тринадцать лет, а рост метр семьдесят. К восемнадцати до двух дорастет. И девчонки уже звонят. А я думаю так: пусть гуляют, пока молодые...

Фаина Ивановна была умна, по-своему даже талантлива. Начинала кассиршей, доросла до главбуха. Авторитет ее в театре был огромный, и директор, и завпост ее побаивались. Были какие-то махинации, в которые Вера Александровна по скромности своего положения и по врожденной брезгливости порядочного человека не была вовлечена, но догадывалась: воруют... Но несмотря ни на что, Вера испытывала своего рода почтение к начальнице: конечно, вульгарна, невоспитанна, но голова как счетчик, и ведь умна. Вот и теперь права совершенно — конечно, ранний брак может всю жизнь покалечить. Слава богу, прошлогодняя девочка, Лиля Ласкина, уехала, а ведь не случись уехать, так и женился бы, дурачок...

— Парней-то еще больше, чем девчонок, беречь надо, — прищелкнула языком Фаина Ивановна, и Вера в душе с ней согласилась...

Старый год проводили чинно — выпили шампанского.

— А телевизор! Телевизор-то включить! — заволновалась Фаина Ивановна и искала глазами телевизор. Телевизора не было.

— Как это? В наше время — и без телевизора! — изумилась Фаина Ивановна.

Пришлось ей обойтись без Брежнева, без «Голубого огонька», без «Карнавальной ночи». В двенадцать бомкнули бабушкины настенные часы, — чокнулись. Пошла в ход большая Фаинина еда. Вера Александровна едва царапала вилкой — испорчен был задуманный вечер. Глупо и бессмысленно горели свечи, пожухли елочные лампочки, потому что Фаина Ивановна с возгласом «Ненавижу потемки!» зажгла на полную мощь люстру. Крепкой спиной она примяла ветхую шаль Елизаветы Ивановны, плюхнувшись в ее кресло. Сдвинула в сторону пустой прибор, символизирующий бабушкино неявное присутствие. Ела Фаина с аппетитом, похрустывала цыплячьими косточками:

— У меня цыплятки всегда мягонькие, я их промариную сперва...

Похожа на львицу, впервые за двадцать лет знакомства заметила Вера Александровна. Как это я раньше не замечала? Две складки поперек лба, глаза широко расставлены, нос тупой, широкий... И даже волосы назад зачесаны, прикрывают звериный загривок...

— А ты кушай, кушай, девочка. — Фаина Ивановна не озаботилась запомнить имя этой маленькой лахудрочки. Злость на полковника у нее не проходила, стала даже как будто сильнее, но и веселее. И мысль пришла в голову: — А где телефончик у вас?

Вышла в коридор, набрала номер. Домой она ему никогда не звонила, он даже и не знал, что у нее есть его домашний номер. Подошла женщина.

— Алло? Квартира полковника Коробова? Примите телефонограмму из Министерства обороны...

— Толь! Толь! — заверещал в трубку женский голос. — Телефонограмма из министерства! Одну минуту!

Но Фаина Ивановна, не обращая внимания на отдаленное волнение собеседницы, продолжала:

— Командование поздравляет полковника Коробова с Новым годом и с повышением. С пятнадцатого января сего года он назначен начальником Магаданского военного округа. Секретарь Подмахаева. — И грохнула трубкой. А что? В театре живем! И настроение заметно исправилось.

— Да что же вы не кушаете? — Она и сама вдруг почувствовала прилив голода, положила Шурику на тарелку салату и кусок рыбы. — Вера Александровна! Что же вы ничего не кушаете? Тарелка пустая! Шурик, наливай! Шурик взялся открывать вторую бутылку шампанского.

— Нет, нет, давай коньяку.

Она все принесла: и коньяк, и конфеты.

Хоть бы все поскорее ушли, изнывала Вера Александровна. Остались бы вдвоем, вспомнили маму. Все испорчено, все испорчено. Нахальство, конечно, невероятное, вот так нагряться без приглашения, с чудовищной этой едой, от которой потом будет изжога, отрыжка, если не расстройство желудка...

Аля чокнулась со всеми, выпила. О, как ее вознесло! Видели бы ее акмолинские подружки... В Москве, в таком доме... В шелковом платье... Шурик Корн, пианино, шампанское...

Прежде она никогда не пила. Когда предлагали, отказывалась. На заводе пьянство было повальное, она всегда боялась пьяных мужчин и знала, как это бывает: скрутят, юбку на голову и тыркать... И полубратья в детстве, и мальчишки барачные несколько раз ловили. В лаборатории тоже, в прошлом году, на Первое мая устроили вроде застолья, а потом завхоз и старший лаборант Зоткин навалились в гардеробе... Но теперь ей было так хорошо, так сладко.

Да живот-то у меня вот чего ныл, догадалась она. Вот оно, к чему все пьют, сделала она вывод отчасти ошибочный. Девчонки говорили, что хорошо. Может, не врут... Какой день выпал. Я своего добуду... — решила Аля и уставилась блестящими глазами на Шурика.

А Шурик кушал безмятежно: мало ли какие у кого планы... У него был свой собственный — на два часа на завтра, то есть уже на сегодня, он договорился с Матильдой. С утра сегодня она собиралась к подругам, а к вечеру должна была вернуться. Из-за кошек, конечно. Ну и Шурик собирался навестить ее, отпраздновав с мамой Новый год печально и благолепно.

— Может, потанцуем? — предложила Аля тихонько.

— Да магнитофон в моей комнате. Что, принести? — Шурик был настолько же непонятлив, насколько Аля неуклюжа.

— Да пусть там, — покраснела Аля под взглядом насмешливой начальницы.

— Давай, — согласился Шурик и вытер рот о крахмальную салфетку, дотронуться до которой Аля не смела.

— Пусть, пусть потанцуют, — гнусным голосом сказала Фаина Ивановна, но никто этого не заметил.

Ребята ушли, а Фаина Ивановна разоткровенничалась, стала рассказывать Вере Александровне о заключении договоров с художниками, о проведении расходов хозяйственных по творческим статьям, чего та знать вовсе не желала.

В Шуриковой комнате не было места для танцев: там стояли диван, письменный стол, два шкафа и оставался лишь узкий проход, в котором под щемящие звуки блюза Аля прильнула к Шурику всей своей худобой. Шурик удивился, как похожа она на ощупь на Лилию: хрупкие ребрышки, твердая грудь... Только Лиля отплясывала, как цыганка, а эта топчется, сама себе на ноги наступая. Но если прижать ее потеснее, то выясняется совершенно удивительное обстоятельство: тонкие ножки прикреплены где-то сбоку, и между ними такая зовущая пустота, такая распахнутая дорога открывается, и штучка эта, лобок, как будто висит в воздухе и даже торчит немного вперед. Он подцепил подол платья, просто так, проверить из интереса, как это получается, и удивился: легко отодвинулась полоска трусов и палец попал прямо в теплое дуло. И так ловко-ловко, она как будто чуть-чуть подпрыгнула и плотненько на него наделась. Легкая, ничего не весит, как Лиля. Он застонал: Лиля... Никаких там ляжек, никакого

лишнего мяса. Только оно одно, нужное... Совсем не так, как у Матильды, совсем другое... И блюз не мешал ничему, длился саксофонной нотой. И в ту минуту, когда Шурик прислонил эту невесомость к шкафу, и выковырял тугие пуговицы, и уже все само собой пошло... раздался требовательный возглас из коридора:

— Шурик, на минуточку!

Звала не мама, звала Фаина Ивановна.

— Да, да, сейчас, — отозвался Шурик, дернулся, все нарушил, снял с себя чужую девочку. Темный шелк подола электростатически прилип к ее груди, и он в первый раз подивился, как затейливо все устроено: в слабом свете настольной лампы, отвернутой к стене, на него смотрели красные лепестки выпуклого цветка...

— Я сейчас вернусь, — хрипло шепнул Шурик и начал заталкивать пуговицы в тесные петли новых брюк.

В прихожей одевалась Фаина Ивановна. Она уже впялилась в сапоги. Похудевшие сумки смиренно лежали на полу, как собаки у хозяйских ног.

— Шурик, посади Фаину Ивановну в такси, — попросила мама.

— Ага, — кивнул Шурик. Деваться было некуда.

— У нас такой двор темный. Пусть уж он меня до подъезда проводит и на той же машине обратно.

— Конечно, конечно, — радовалась освобожденная Вера Александровна.

Время было самое застольное — начало третьего. Машину остановили сразу же. По забавному совпадению дом Фаины Ивановны стоял как раз напротив Алиного общежития. Фаина Ивановна расплатилась и отпустила машину к некоторому недоумению Шурика, который все еще находился под магнетическим воздействием штучки, обнаруженной под вишневым подолом.

Никакого обещанного темного двора не было, но Шурик не обратил на это внимания. Одной рукой он нес две легкие сумки, на другой лежал тяжелый каракулевый рукав. Поднялись на лифте. Фаина Ивановна открыла дверь, пропустила вперед Шурика и щелкнула замком. В ее плане было два пункта. Первый — телефонный звонок.

— Ты разденься на минутку, сделай одолжение. — Она проворно сняла шубу и, пока он топтался, набрала номер и сунула ему в руку телефонную трубку: — Позови Анатолия Петровича и скажи: Фаина Ивановна просила передать, что два билета на спектакль «Много шума из ничего» ему обеспечено... Понял? «Много шума из ничего»? Обеспечено!

Мужской голос сказал в трубке:

— Слушаю.

— Анатолий Петрович? Фаина Ивановна просила передать, что два билета на спектакль «Много шума из ничего» вам обеспечено.

— Что? — взревел голос.

— Два билета...

Фаина Ивановна легким движением указательного пальца прижала рычачок. Отбой. И загадочно улыбнулась.

— А теперь, — это был второй пункт новогодней программы, — теперь я покажу тебе одну маленькую игру...

Взяв его за руку, прочно ухватила за большой палец и, высунув из сложенных трубочкой губ твердый язык, лизнула конец пальца.

— Не бойся, тебе понравится...

Львица была с такими особенностями, о которых Шурик, до некоторой степени вооруженный понедельничным опытом, и не догадывался. И никаких ассоциаций у Шурика не возникало: не знал он никаких таких игр. Спустя полчаса, полностью потеряв ориентацию в пространстве и в собственных ощущениях, он переживал обжигающее, отдающее в позвоночник электрическое наслаждение. Над ним нависало нечто невообразимо преувеличенное, ничего общего, кроме запаха, не имеющее с тем сухим

цветочком, к которому он так недавно устремился. Это был невыразимо притягательный запах женского нутра, и он узнал, что у запаха есть и вкус. Его родной привычный инструмент был совершенно не в его власти в объятиях влажных и оживленных — его покусывали, пожевывали, посащывали... Растерянный, он медлил, как отчаянный пловец перед прыжком в неизведанные воды. Его подтолкнули, он дернулся назад. Кажется, он не хотел туда. Было почему-то страшно. Раздалось длинное бархатистое рычание... На другом полюсе мира происходило нечто неопишное, и пусть бы оно не кончалось никогда. Никакого другого пути не оставалось, и он кинулся в самую середину омота... Вкус был обжигающий: одновременно острый и молочно-кислый, нежный и совершенно невинный...

И тут он вдруг догадался, к чему все это имеет отношение — к затейливой и совершенно неправдоподобной картинке, которую он года четыре тому назад долго рассматривал на стене общественной уборной на углу Пушкинской улицы и Столешникова переулка. А бабушка еще поджидала наверху, пока он справит свою нужду.

Домой Шурик вернулся утром. Умирая от отвращения, он очень складно соврал, как на обратном пути от Фаины Ивановны таксист, который вез его, столкнулся с другой машиной и ему пришлось три часа просидеть в отделении милиции в качестве свидетеля, а позвонить из отделения милиционеры не позволили...

— Ах, да ты бы и не дозвонился, мы всю ночь по моргам и по больницам звонили, — махнула рукой изнемогая от воображаемой потери Вера Александровна.

Поверили ему беспрекословно.

Вера Александровна была вполне удовлетворена обретением исчезнувшего сына. Чуть позже опытная в разного рода уловках Фаина чутко уловила сюжет и подтвердила свое алиби — телефон был сломан.

Совместные слезы и треволнения новогодней ночи сблизили Веру Александровну с химической отличницей. Она простила Але ничемную внешность и провинциальную речь.

Сердечная девочка, решила Вера Александровна. Слава богу, все кончилось благополучно.

Мельком взглянула на себя в зеркало — даже в прихожей, где было темно, отражение было никудашным: опухшие веки... под глазами — тьма... припухлость возле рта, которая так трогала когда-то Александра Сигизмундовича, превратилась в дряблые складки.

— Проводи Алю и возвращайся поскорей домой, — попросила Вера Александровна.

Желудок после Фаинового угощения болел, хотелось спать, но еще больше хотелось посидеть наконец с сыном вдвоем, без посторонних, совершенно ненужных людей.

А Шурик снова потащился на улицу Девятьсот пятого года, откуда только что выбрался. Ключ от Алиной комнаты висел на вахте, в решетчатом ящике. Вахтерши не было — это был шанс.

— Поднимемся? — с жалкой игривостью предложила Аля.

— А девочки? — попытался увернуться Шурик.

Аля покраснела: до разоблачения был всего один шаг — она и сама забыла, что наврала вчера о соседках, увезших ключ от комнаты. Но отказаться от намерения не заставило бы ее ни землетрясение, ни наводнение, ни пожар... Она сняла ключ и взяла Шурика под руку. Вырваться он не мог. Они поднялись на третий этаж. Соседки по комнате соотносили свои личные жизни с судьбами африканских студентов Института Патриса Лумумбы на их территории, Шурик под давлением этого обстоятельства вынужден был сдать. Сухой казахский цветок раскрылся перед ним на несколько минут, и оба остались вполне довольны: он — что не обманул ее ожиданий, она — ошибочно полагая, что одержала великую победу.

Единственная, кого не потребовалось обманывать, была Матильда, которая заснула в новогоднюю ночь в своей постели перед телевизором и только утром вспомнила, что Шурик-то не явился... И потому, когда он двумя днями позже пришел, слегка смущенный невыполненным обещанием, она только засмеялась:

— Голубчик, и говорить об этом нечего!

16

После Нового года мороз завернул еще круче. Зима стояла на редкость бесснежная, ветер сметал сухую крупу к стенам и заборам, и повсюду чернели голые проплешины клумб и пустырей. Вера Александровна, любившая зимы за белизну и обманчивую чистоту, страдала от холода и зимней темноты, не смягченной благодатью снегопадов, сугробов, оснеженных пушистых деревьев. В эту первую после смерти матери зиму Вера Александровна начала как-то особенно длинно болеть: простуды и ангины наезжали одна на другую. Елизавета Ивановна умела договариваться с болезнями, отгоняла их какими-то домашними средствами — молоком с медом, молоком с йодом, тысячелистником и золототысячником. Словом, полезными советами, напечатанными на последней странице журнала «Здоровье». Но теперь кроме обыкновенных болезней на Веру напали странные сердцебиения, обильные поты, которые заливали ее, как молотобойца в горячем цеху, таинственные приливы и отливы, время которых, казалось, давно для нее прошло. И еще были всякие маленькие блуждающие боли то в виске, то в желудке, то в больших пальцах ног... Весь организм ее расстроился, капризничал и кричал: мама! мама!

Всесветные знакомства и обширные связи Елизаветы Ивановны были еще живы, и Шурик, по просьбе матери перебирая отклеившиеся листы бабушкиной большой записной книжки, нашел на букву А — анализы — Марину Ефимовну, которая оказалась заведующей биохимической лабораторией. О смерти Елизаветы Ивановны она знала от своей дочки, давней бабушкиной студентки, и с Шуриком, и с Верой Александровной обращалась мало сказать по-родственному, а так, что казалось, они сделали честь лаборатории, выбрав ее для производства анализов... Когда они приехали на следующий день в большую, полную света и стекла лабораторию, Марина Ефимовна, маленькая, со старомодным лицом какой-то кинозвезды немого кино, долго расспрашивала Веру Александровну о малейших оттенках ее самочувствия утром, днем и вечером, заглянула ей под веко, потрогала кончики пальцев. Потом разглядывала на свет пробирку с нацеленной из вены кровью, слегка побалтывала ее, как дегустатор вино, и одобрительно кивала головой.

Еще через несколько дней после взятия крови она позвонила, сообщила, что ничего плохого не обнаружила, но по какому-то показателю верхняя граница нормы, и вообще-то, судя по всему, нужно проконсультироваться в Институте эндокринологии...

И тут же эта Марина Ефимовна начала звонить, устраивать, хлопотать. Она, как и Елизавета Ивановна, была из породы услужливых, всем приятных людей, и сети ее были раскинуты широко. Эндокринолог, к которому Марина Ефимовна послала Веру Александровну, была из той же породы, и Шурику, сопровождающему мать во всех ее медицинских поездках, предстояло еще много удивиться на многочисленных друзей и друзей друзей покойной бабушки — словно тайное общество или монашеский орден, с полуслова узнающие и помогающие друг другу... Они были «свои» по какому-то неопределимому свойству. Все они имели строку в бабушкиной записной книжке, и располагались эти люди не по алфавиту, а совершенно произвольно: иногда по первой букве профессии — аптекарша, полотер, дачная хозяйка, — иногда по начальной букве фамилии или имени, а то и,

как в случае машинистки Татьяны Ивановой, по названию улицы, где та жила... Возможно, у Елизаветы Ивановны и был какой-то особый код, которым она руководствовалась при выборе буквы, но Шурик его не открыл... И каждый из этих вписанных бабушкиной рукой людей имел, видимо, свою такую же книжечку и звонил, и не получал отказа, и они оставляли целый мир взаимопомогающих людей...

Большая часть телефонных номеров начиналась с букв — довоенная нумерация, сменная в шестидесятых. Шурик звонил по этим устаревшим телефонам и, как правило, находил неведомых, но готовых к услугам людей. Так, некая «аптечная Леночка», долго охая и натурально всхлипывая, объясняла Шурику, какая необыкновенная женщина была его бабушка, а потом сама привезла им домой все необходимые лекарства, показала Шурику, как правильно заваривать золототысячник, а Вере Александровне подарила янтарные бусы, которые должны были целительно действовать на большую щитовидку...

Впрочем, эндокринолог Брумштейн, которую вызвонила уже по своей книжке лабораторная Марина Ефимовна, была совсем не так приветлива, как прочие алфавитные персонажи. Сухая и почти совсем облысевшая, величаво-важная Брумштейн тем не менее приняла Веру Александровну без очереди, долго всматривалась в бумагу с результатами анализов, слушала сердце, считала пульс, мяла Верочкину шею, осталась очень недовольна и попросила сделать еще какой-то редкий анализ, который делали только у них в институте.

Перед уходом, когда Вера Александровна уже взялась за ручку двери, хмуро сказала:

— Перешеек уплотнен, доли железа увеличены... особенно слева... Операции вам в любом случае не миновать. Вопрос только в том, насколько это срочно...

Тут Вера проявила неожиданную твердость и отказалась. Решила прежде попробовать полечиться у гомеопата. Гомеопатия была не совсем под запретом, но в положении сомнительном — как абстрактное искусство, авангардная музыка или еврейское происхождение. Гомеопата нашли все в той же бабушкиной записной книжке, поехали на дальнюю окраину Измайлова, разыскали в расплывающейся бревенчатой даче хмурого бородатого доктора, сделавшегося старомодно-любезным после упоминания имени Елизаветы Ивановны. Он начертал на четвертушке желтой старой бумаги какие-то магические слова и кресты, взял сто рублей денег — чудовищно огромный гонорар! — и поцеловал Веру Александровне на прощание руку.

Шурик на другой день привез матери из специальной аптеки первый набор маленьких белых коробочек. Вскоре у Веры Александровны образовалось новое, сосредоточенное выражение лица — она рассасывала неровные белые зернышки, чуть-чуть выпятив губы и прикрыв глаза. По всему дому были разбросаны бумажные коробочки — туя, апис, белладонна... Она брала самодельную коробочку в два пальца, слегка громыхала, растряхивала содержимое, а потом высыпала на узкую ладонь: раз, два, три... Руки у нее были, как с испанских портретов, с заостренными пальцами, с нежными складками на длинных фалангах. И два любимых кольца, с маленьким бриллиантом и с большой жемчужиной...

Мало-помалу Вера Александровна заняла то место, которое когда-то принадлежало маленькому Шурику, а Шурик, взрослый, но с жарким детским румянцем во всю щеку, заменил, как мог, Елизавету Ивановну. Шурикова неуклюжая забота оказалась слаще материнской: он был мужчина. Лицом он не был похож на Александра Сигизмундовича, скорее на деда Корна, но волосы были кудрявые, плотные, как у отца, и руки большие, с красивыми ногтями, и ласковость движения, которым он обнимал мать за

плечи... Оказалось, что быть несчастной рядом с Шуриком гораздо увлекательней, чем при матери...

Елизавета Ивановна совсем не умела быть несчастной — может быть, оттого, что ее деловая энергия не давала ей времени задуматься о таких абстрактных и непрактичных вещах, как счастье, — но она горячо любила свою дочь и к ее состоянию меланхолической печали и незаслуженной обиды относилась с уважением, считая это проявлением тонкой душевной организации и нереализованности таланта. Александр Сигизмундович тоже всегда страдал оттого, что слишком тонко устроен. Вообще же страдание, по Верочкиным понятиям, было привилегией. И надо отдать должное — даже в самые тяжелые годы эвакуации, в грязи и холоде зимнего Ташкента, она относительно легко переносила бытовые тяготы, отдавая предпочтение душевным переживаниям, связанным с концом ее артистической карьеры и потерей — временной, но тогда казалось, что окончательной, — обожаемого Александра Сигизмундовича...

Никто, кроме матери, не мог оценить, какую жертву принесла Верочка, отдавая полжизни мелочной бухгалтерской работе. Вопрос, кому или чему приносится жертва, не поднимался — это подразумевалось само собой. Шурику в свое время с нежным укором об этом напоминала бабушка — для стимуляции любви к матери. Теперь, после бабушкиной смерти, Шурик размер этой жертвы еще более преувеличил. И легкий нимб незримо присутствовал над аккуратно сложенным полугреческим пучком стареющих волос.

В вечерние часы Вера Александровна всегда находила время, чтобы посидеть в проходной комнате. Угнездившись в раскоряченном кресле, продавленном материнским телом, она открывала ящики письменного стола, перебирала старые письма, разложенные по годам, квитанции по оплате неведомых услуг в неведомые времена, бессчетные фотографии, главным образом ее, Верочкины. Лучшие из них висели над столом в зыбких рамочках, не терпящих прикосновения: Верочка в сценических костюмах. Лучшее, но столь краткое время ее жизни...

Когда Шурик заставлял ее в этой меланхолической позе, он просто тонул от нежного и горького сочувствия: он знал, что помешал великой артистической карьере... Он порывисто обнимал мать за девичьи плечи и шептал:

— Ну Верочка, ну мамочка...

И Вера Александровна вторила ему:

— Мамочка, мамочка... Мы с тобой одни на свете...

(Окончание следует.)



ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ



НЕМЫСЛИМЫЙ СВЕТ

Ташкент летом девятьсот сорок второго

Голодное брюхо
К учению глухо.
Сегодня на завтрак одна затируха.
Сегодня на завтрак одни тополя,
Ташкентская пыль — и верблюды
Уходят сквозь дымку, плюясь и пыля.
Я их никогда не забуду.
Не худо б другое попробовать блюдо.
А в мареве голода млеет земля —
Ведь и на старуху бывает проруха.
Сегодня в газетах опять заваруха,
Сегодня на завтрак опять затируха,
И слухи
 по городу ходят опять,
Что и затирухи
 нам могут не дать.
И как с голодухи
Распухла
 разруха,
Разбухла —
Конца не видать.

И в горле
 становится сухо,
И, если хватило бы духа,
Я в горы
 хотел бы бежать —
В благодать.

Вячеслав Всеволодович Иванов родился в 1929 году в Москве. Сын писателя Всеволода Иванова. Филолог, действительный член РАН и нескольких иностранных академий. Напечатал более десяти книг и много статей по разным отраслям гуманитарных наук. В 1958 году был уволен из профессоры Московского университета за несогласие с официальной оценкой романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» и за поддержку на научных конгрессах взглядов Романа Якобсона (решение официально было отменено руководством МГУ как ошибочное 30 лет спустя, в 1988 году). С конца 80-х и до 1993-го был директором Всесоюзной библиотеки иностранной литературы. С 1989-го по 1994-й заведовал вновь созданной кафедрой теории и истории мировой культуры в МГУ. Одновременно с этим и до настоящего времени состоит директором нового научного Института мировой культуры МГУ, с лета 2003 года также директор нового института — Русской антропологической школы РГГУ, читает лекции в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес).

Стихи пишет с детства, первые публикации — в начале 80-х.

* *
*

Меня поймет один лишь планерист, —
Сказал он осенью двадцать седьмого.
Волошин слушал чтение Королева,
Тот молод был, плечист, но не речист.
Как ветра коктебельский резок свист,
Он в детстве слышен и звучит мне снова.
Друг другу сказано всего два слова,
Волошин понял: тот душою чист.
Кто знал, что предстоит ему шарашка,
А после — вывести людей в простор.
Кто знал, что временами будет тяжело,
Тогда он просто свой привез планер.
Вверху созвездий зажигалась шашка.
Ночь наступала. Шла прохлада с гор.

1981.

* *
*

Недоноски строчили доносы.
И теперь до того я дорос,
Что сообщники ведьмы безносой
Потащили меня на допрос.

Но ничто не казалось бы лучше
Этих сразу сгустившихся туч,
Если б отняли благополучье,
Тучность лжи, чей поток так тягуч.

Не расправы страшусь я кровавой,
Я-то знаю, кто прав, кто не прав.
Искушение властью и славой
Хуже всех неприкрытых расправ.

* *
*

Глаз твоих излученье,
Их немислимый свет.
Только в нем излеченье
От разломанных лет,
Только с ним разлученья
Настоящего нет.

Свет, струющийся прямо
С высоты на меня
С грустью тою же самой,
С той же болью огня,
Как в оконную раму
Блеск огромного дня.

* *
*
*

Ты не была озлоблена.
А просто — дождь косой,
А просто все раздроблено,
Совсем как Пикассо.

Хоть после из мозаики,
Нам застилавшей взор,
Поэты и прозаики
Свой понаткут узор.

Все вдребезги, все в оспинах,
Поди попробуй склей!
Хоть после наши россыпи
Напишет Пауль Кле,

Все на куски, все в трещинах,
Как битое стекло.
Но в снах, тобой обещанных,
Обоим нам везло!

Дождь в Париже

Pluviose irrité contre la vie entière.

*Baudelaire*¹.

Все тех же шей, да чуть пожиже.
День разревался непогожий,
И я затосковал в Париже,
Сегодня он пустопорожний.

Смерч и водоворот — кузены,
Смерть нацепила плащ осенний,
И книгопродавцы у Сены
В щитах найдут свое спасенье.

Дворцы поплыли в зыбкой смеси
Туристов и послегрозовья.
А революционный месяц
Плювюз — от ливня образован.

И вымокли насквозь химеры,
И вовсе ни к чему бутики.
Отчаявшегося Бодлера
На мне промокшие ботинки.

1999.

¹ Плювюз, рассерженный на все живое.

Бодлер.

Плювюз — название одного из месяцев, введенное после Французской революции; образовано от корня французских слов «дождь», «идти» (о дожде).



ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ

*

МУРЗИЛКА

Повесть

I

Был ему сон: большая черная птица крыльями била у открытого гроба, гроб был пуст. А в изголовье стоял маленький человек и плакал, а вокруг другие, взрослые люди стояли, скорбно глядя в пустоту гроба, и он, Мурзилка, среди них. Потом пустой гроб закрыли, забили гвоздями, и люди ушли. А большая черная птица осталась, все ходила по песку, что-то искала-искала, пока не нашла пуговицу от Мурзилкиной старой кофты.

Мурзилку душил запой. Не досмотрев дурного сна, проснулся он пьяным и несчастным и подумал, что стар уже, немощен, а Гибель стоит перед ним во всей своей чудовишной силе и даже не улыбается, а просто молчит. Снаружи посвистывал ветер и цепкими коготками пробегал по стенам песок. Глянул в окно: помнилось, будто рано. С океана напал туман, и белесая мгла почти скрыла от глаз устья и полосу прибоя, откуда время от времени долетал до слуха Мурзилки тяжелый раскат разбившейся о берег издалека прибежавшей волны. Далеко в тумане темнел старый вездеход. На его избитой и почти расплющенной кабине, шелушащейся на дверях скорлупками сохшающей краски, спала чайка.

Кутаясь от холодной дрожи в ватник, Мурзилка вышел навстречу наступающему дню. Было холодно, морем пахло. Он хотел было крикнуть Пашку, чтоб разогрел ему чаю, но Пашки не было, а искать он не стал, зная, что бесполезно. Пашка мог спать в кабине вездехода или сидеть где-нибудь на берегу и смотреть. Он мог часами смотреть, как набегают одна за другой волны, как нерпа ныряет у берега или на тучи — как они ходят у горизонта, словно большие корабли. Станный он был, совершенно дикий мальчишка.

У дома на веревке висела вяленая рыба. Мурзилка зачем-то выбрал себе подсохшего гольца и, выскоблив ножом из влажной еще брюшинки мелкие, как манная крупа, мушиные яички, стал жевать. От соли захотелось пить. Он вернулся в дом, но почему-то не воды налил себе, а снова из канистры спирту и, выпив большой глоток, не стал закусывать, а только жадно потянул носом воздух, чтоб остудить горло.

Птица прилетела, пуговицу принесла, положила на камень рядом с вездеходом. Черную. Он открыл глаза и понял, что — ночь, а в доме — еще кто-то.

Потом почувствовал, что тормозят за плечо, и услышал голос близко:
— К тебе солдат там приехал...

Казалось — во сне. Но опять трясти стали. Он стал подниматься, чувствуя, что не повинуется ему слабое тело его и клонится обратно в теп-

лый, пахнувший рыбой угол постели. С трудом разодрал гноящиеся от пьянки глаза, но на душе была тяжесть, а в глазах — тьма, будто сунули под воду и не дают вздохнуть.

— Кто? — захрипел Мурзилка. — Кто здесь?!

Пашка оказался: в драной кофте поверх другой, такой же драной, с глазами чистыми, кошачьими и зелеными. Сын.

— Солдат там. На улице дожидается...

За окном серенько было, с океана тянуло туман.

Третье лето Пашка жил с отцом на берегу. Они приезжали в июне, когда сопки на дальнем мысу еще были в снегу, а долина у моря, вылизанная дождями и туманами, казалась пустой, необжитой, навеки оторванной от всего света земель. И он любил это время пустоты, когда мир как бы заново рождался и в нем не было еще ни лишнего звука, ни лишнего движения, лишь чистота изначальных красок была в нем и изначальная правильная красота. Чайки кричали, кит в дальней дали, прыгнув, разбивал сверкающую пучину моря, ныряла прям против дома нерпа в волнах, и люди не суетились в те дни, люди были людьми.

Их дом стоял на голой черной песчаной косе между морем и рекою. Собственно, реки было две: одна начало свое брала из озера и, унаследовав добрый нрав тихой озерной воды, текла кротко и задумчиво. В сезон нереста *красная*, нерка, так и перла в Озерную, но в ней ловить было запрещено: заповедная. А другая, Игрстная, вырвавшись весной из-под льда, катилась с гор бешено, унося с собою стволы бревен, пучки травы, по всему дну, как гигантские рокоты, ворочая камни. Прямо против дома реки сливались и устремлялись к океану вместе, в коротком этом пути перемешивая воду с необузданной и веселой страстью. Собственно, в этой, Игрстной, и надлежало ловить Мурзилкиной бригаде, и тут, конечно, начинались возгласы, что, типа, у начальства все через жопу, и в том же духе во всех вариациях. Понятно — ставить сети шли мужики на Игрстную по колено в рыбе, что перла в Озерную. Как такая дурь приключилась, никто не знал: может, сначала цех построили, а потом речку заповедали, а когда заповедали, никому и в голову не тумкнуло цех на другой берег перенести: живут там какие-то бичи, и хрен с ними. Ловят же, ухитряются? Ну и пусть горбатятся, их дело-то.

С началом нереста берег оживал: с утра до ночи стояла в воздухе крепкая ругань, столы в цехе темнели от рыбьей крови, рыба лоснилась на солнце, гроздьями мелких ягод из пленок вытрясывалась икра, Пашкины руки грубели и трескались от соли, а одежда вбирала в себя крепкий аромат тузлука. Пашка любил и эту рабочую суматоху. От умел ругаться не хуже взрослого, курить за сараем горькие папиросные окурки, есть распаренный черный хлеб с рыбой, пить обжигающий кислый чай.

Но в этом году, по холодам, что ли, лова все не было, и отец на остаток недели отпустил бригаду домой, чтоб не томила бездельем. Их осталось трое на косе — отец, Пашка и Григорий, пожилой мужик, бездомный и бессемейный, давно уже прибившийся к бригаде и, однако, умудрившийся так мало рассказать о себе за эти годы, что о прошлом его никто не знал, а расспрашивать бросили. Потому что у каждого бича в жизни что-то сложилось не так. И, пряча эту свою неудачу, бич по-любому либо соврет, либо смолчит. И спрашивать бесполезно. Григория прозвали Немой, но на эту кличку он не обиделся и разговорчивее не стал. Пашка знал, что в душе Немого есть как бы запертая дверь, за которой живет еще один человек. И он все думал, что когда-нибудь Немой не выдержит, даст на него глянуть или сболтнет чего-нибудь такое, из прежней жизни. Но Григорий никогда не отмыкал замок, и узник только стонал из-за двери, когда Григорий спал.

Однажды утром, когда все трое в сарае на берегу чинили сети, Пашке сквозь привычное течение ветра послышалось буханье мотора. Он выглянул: за Игристой, у самой воды, стояла чужая гэтээска¹. Отец бросил сеть и тоже выглянул. Тягач на том берегу как раз выплюнул облачко черного дыма и попер через kloкочущую реку, чуть забирая против течения.

— Как ножом ее режет, — то ли с завистью, то ли восхищенно сказал отец. — Вишь? А наш как поплавок крутится...

Отцовский вездеход давно без дела стоял на косе. Это был старый списанный вездеход, сильно покусанный ржавчиной, с развороченным приборным щитком и разбитыми стеклами кабины. Пашка любил сидеть в нем, укрывшись от ветра. С каждым годом вездеход все больше напоминал кучу лома на гусеницах — тут, на берегу, и железо, и люди старели быстро, — но Пашка знал, что вездеход еще жив, только потерял часть своих сил.

Чужой тягач тем временем промял себе гусеницами дорогу через кустарник на мысу, отделяющую Игристую от Озерной, опять бухнулся тупым носом в воду и, обдав стоящих на берегу людей бензиновой гарью, с ходу взял крутой береговой подъем и остановился у дома. Из брюха его потекла вода. Пашка бросился по рваным гусеничным следам и, прежде чем в машине угасла последняя дрожь, вскарабкался наверх и чутким ухом прикинул к броне, слушая глухое позвякивание замирающих внутри тягача механизмов. Но в следующий миг откинулась крышка люка и появилась голова человека в шлеме.

Человек посмотрел на Пашку. Пашка узнал его.

— Привет, — сказал приезжий.

Пашка попятился к краю машины. За лето на берегу можно было наглядеться всякого народа, но одних он не любил — дурных. Они вроде и сильные, и ловкие бывают, дурные, но они жадные, и эта жадность хитра, и через них всегда почти сразу приходит в мир зло.

— Брысь, звереныш! — вдруг громко вскрикнул чужой и рассмеялся, увидев, как Пашка, испугавшись от неожиданности, соскочив на песок, едва удержался на ногах.

Подошел отец. Приезжий кивнул на Пашку:

— Ну, Мурзилка, и дикий же парень у тебя! Волком глядит чисто!

Отец промолчал.

— У меня в батальоне так бы не смотрел, — сказал чужой.

— А нам и так ладно, — сказал отец. — Ты по делу приехал, майор, или как?

— Так, — засмеялся приезжий, — давно тебя не видал...

Он достал сигареты с «горбатым» (на них был изображен верблюд, но люди на берегу звали его «горбатым» — и никогда иначе) и закурил, подставив гладкое загорелое лицо ветру с океана. Отец тоже закурил, отыскав в кармане мятую папиросу. Рукава красного штопаного свитера его лоснились от грязи, волосы на голове торчали в разные стороны, руки от грубой работы стали велики и красны. Рядом с щеголеватым майором отец выглядел жалким, вернее, Пашка знал, что отец кажется себе жалким и в этот миг зло проникает в мир.

Пашка не верил майору. Он знал: сюда, на берег, где все пропахло сухой чешуей и даже сено на чердаке пахнет рыбой, никто не приезжает просто так. Он оставил взрослых и пошел к своему любимому месту на косе против слияния рек. Весь берег был виден как на ладони. Справа накатывал тяжкими волнами океан. До самого горизонта океан был пуст, и только над устьем, пронзительно крича, качались на ветру чайки, высматривая рыбу в волнах. Их было особенно много в этот день, и не одна, а целых две нерпы резвились там, где, закручиваясь косматыми водоворотами

¹ ГТС — гусеничное тракторное средство (обычное название для вездехода на Севере).

ми, соединялись течения Игристой и Озерной. Пашка с замиранием сердца поглядел вниз: в мелкой воде под берегом одна за другой помелькивали синие быстрые тени. Рыба! Рыба шла с океана в Озерную! Теперь он отчетливо видел: рыба останавливалась в горловине реки, долго пробуя воду и вспоминая ее забытый вкус, потом начинала кружиться, как в танце, но потом вдруг бросалась навстречу материнской воде. Изредка в глубине, как зимняя луна в тучах, мерцал чешуею бок. Пашка так засмотрелся, что не заметил, как подошел майор, только почувствовал, как чья-то рука легла на голову — так, что хрустнула шея, — и чужой голос сказал насмешливо:

— А ты глазастый, звереныш, глазастый!

Пашка своенравно вывернулся из-под сильной руки, но майор будто и не заметил этого.

— Нерка в Озерную пошла, бригадир! — закричал он отцу. — Уху варить пора.

Скорым шагом подошел отец, посмотрел.

— Твоя рыба, моя водка, — настойчиво лез майор. — Кой-что деньгами можно. Поладим?

Отец молчал.

— Помощника пришлю, — не отступал майор.

Отец резко повернулся к нему:

— Ты ж знаешь, нельзя тут ловить! А у меня предупреждение последнее. Все. Лишат лицензии — и давай тогда улицы подметай!

Майор не смутился и, отступив на шаг, изобразил на лице удивление:

— Ну и хитер ты, Максимыч, ну и хитер...

— Чего хитер-то? — вскинулся было отец, но слова его прозвучали протестно, почти жалобно. — Мне ж жопой отвечать!

Лицо майора потеплело.

— Да тут втроем дела на час, Максимыч! — горячо зашептал он. — Половину себе забереешь, продашь потом. Кто ее метил, из какой она воды вынута? А я тебе бойца в помощь пришлю, мигом управитесь... — Он еще понизил голос и доверительно взял отца за руку: — Я ж тоже человек подневольный, пойми. Начальство ждем. А начальство, оно хоть в старое время, хоть в новое, икры да водки — другого не просит...

— Выпить-то есть? — спросил отец, глядя в реку.

— Давно бы выпили, — сказал майор. — Да ты в дом не зовешь!

— А и то, — сказал отец, — в доме потолкуем...

Они пошли к дому, оставив Пашку сидеть на песке. Он слышал, как, проходя мимо сарая, отец крикнул: «Немой, водка есть!» — и видел, как Григорий, бросив сеть, торопливо зашагал к дому.

Когда чайки садятся на воду отдыхать, тихо становится на косе: к шуму волн за месяцы ухо привыкает, и кажется, что все застыло вокруг, и только ветер, налетающий с той стороны, откуда осенью появляются плавающие льды, сечет холодом и поселяется в ушах тонким песчаным свистом.

Пашка замерз сидеть и пошел к тягачу. Возле широкой гусеницы на песке он увидел два окурка: «горбатый» сгорел до фильтра, но в папиресе, изжеванной отцом, еще оставался табак, и Пашка сделал две кислых затяжки, укрывшись от ветра за сараем.

Когда Пашка вошел в дом, его никто не заметил. Отец спал на полу, а майор и Григорий, без сапог, босые, красные и оглохшие от водки, сидя за столом, что-то хрипло говорили друг другу, громко, запальчиво, как всегда говорят пьяные мужики, проглатывая дым и сплевывая на пол, не слушая друг друга, да и себя не слыша. Пашка не понимал, о чем говорят, да ему и все равно было: отец, открыв рот, храпел безобразно и беспомощно. Он потрогал его теплую руку, думая, как бы переложить его голову так, чтоб не каталась прям по полу-то, но тут кто-то сгреб его, поднял в воздух,

остановившиеся голубые глаза впились в него, и рот, огненно дышащий табаком и перегаром, со злобой выцедил:

— Гляди веселей, звереныш! Гляди веселей!

Пашка плюнул в этот рот и, вырвавшись из чужих рук, бросился вон из дому. И когда через пару дней тягач майора вновь появился на косе, Пашка не выбежал его встречать. Он не боялся злости, просто сторонился ее...

II

Обычно, едва открыв эту дверь в дом со скрипучими полами четырех комнат и зарешеченными окнами, Шварц чувствовал странное успокоение, словно только здесь он был в безопасности и мог наконец позволить себе быть самим собой. Особенно остро это чувство было в те редкие ясные дни, когда за деревьями на краю пустыря открывалась бухта и, глядя в окно, можно было видеть пейзаж, словно написанный кистью Рокуэлла Кента: бурые суровые скалы, горящие внутренним светом синие воды и отраженные в них белоснежные зубцы далеких вулканов. Тогда он заваривал себе огненно-красный чай, садился на стул под плакатом «Браконьерству — бой!» и сквозь решетку окна любовался картиной, по каким-то причинам так и не написанной его любимым художником.

Сегодня был как раз такой ясный день, когда бухта, в обрамлении безрадостных казенных стен, сияла голубой прохладой. Но он не стал заваривать чай, а, как усталая собака, прошел в дальнюю комнату, лег на снятую со старого буксира койку с рундуком, используемым в рыбинспекции для хранения бумаг, и сразу уснул. Его разбудил телефонный звонок. Звонило начальство.

Пришлось рассказывать, что случилось ночью и все еще напоминало о себе тупой болью в затылке. Эта ночь закончилась для Шварца в пять утра, в отделении милиции, когда он под хриплую, похожую на звериный вой ругань запертой в «обезьяннике» пьяной женщины закончил писать протокол о задержании, зная в глубине души, что это провальный протокол и никакого дела по нему не выгорит. После этого он пошел было домой — снять мокрый комбинезон — и только хлебнул досады, заметив на кухонном столике оставленную ему женой пару сухарей и остывший чайник спитого чаю. Он ощущал невыносимость нелюбви, в которой жил, и в результате, не притронувшись даже к сухарям, переодевшись только, потащился в свое логово. И тут — нá.

— Ты хочешь дело в суд передавать, а где доказательства? — равнодушно спросил голос в трубке. — Чем такие бумажки писать, сидел бы дома, смотрел футбол.

Доказательств не было, хотя он сам видел, как Борька выкидывал рыбу за борт: пойманный светом фары, хладнокровно и неторопливо бросал в море хвост за хвостом, так же хладнокровно выбросил сеть и, когда уже подцепили его лодку багром, омыл от налипшей чешуи руки и тоже спросил: «Где доказательства?»

— Знаешь, — сказал Шварц в трубку, — доказательств нет, но пусть ему хоть нервы помотают, слышишь? Я его все равно возьму, со всеми потрохами, я ж его знаю как облупленного — как он в прошлом году японцам целую мэрээску рыбы сдал, а погранцы и не чухнулись...

— Вот тогда и надо было его брать. И косорылых тоже, — равнодушно сказал голос. — А так... Это все пфук. Перевод денег для собственного удовольствия. При таких результатах я тебя и всю твою контору сократить буду просто вынужден. Обязан. Ты ж не в старое время живешь...

Шварц почернел лицом и хотел было что-то сказать, но в трубке пошли короткие гудки.

Шварц судорожно зевнул. За полчаса, что он проспал, появились люди. Он слышал их голоса с улицы.

На земле у входа в дом сидел шофер Саня — в свежей рубашке и джинсах, но все такой же небритый, как и пять часов назад, когда они расстались, с неизменной сигареткой в губах, потрескавшихся от ветра и недосыпа.

Рядом с Сашкой, хромя, похаживал взад-вперед Николай. Как и Шварц, он работал когда-то в море, но года три назад ему перебило ногу лопнувшим в шторм швартовым концом. После этого он списался на берег и подался за чем-то в рыбоохрану. Зарплаты тогда платили мизерные, и Шварц, впервые встретив его, так и спросил: чего ты, мол, не нашел себе дельца получше? У Николая один глаз был карий, другой желтый. Карий был добрый, желтый — насмешливый и злой. Шварц увидел, как в глубине желтого заиграли искорки.

— Правду сказать?

— Говори.

— Понимаешь, капитан: сделан я по-старому, работал по-старому, ничего не нашол. Сошел на берег, думаю: среди новых-то я не смогу. Буду искать людей, которым, как мне, в жизни хрен чё обломилось. И нашол.

— Меня, кто ли? — спросил Шварц.

— Ну да, — веско подтвердил Николай. — Мне в управлении вашем так и сказали: один у нас есть псих-одиночка, Андрей Андреич Шварц. Хочешь к нему? Он тебя жить научит не по лжи, не сомневайся.

Тогда Шварц мучительно переживал эти слова, а потом полюбил Николая за эту старую, не поддающуюся перелицовке человеческую выделку: он третьим в команду отлично вписался. Теперь, однако, дело оборачивалось нехорошо.

Шварц рассказал о разговоре с начальством.

— У тебя голова как? — не попад спросил Саня.

— Голова? — переспросил Шварц, упрямо отказываясь понимать, зачем это Сашке вспоминать о том, как ночью он, поскользнувшись, чуть не раскроил себе голову о камень. — Голова-то ничего как будто, а что?

— А у меня болит, — отозвался с земли Сашка. — Надо бы ее пивком промыть, а, ребята? Не хочешь полечиться «Доктор дизелем», а?

— Иди ты, — сказал Шварц.

— Уволят, — вслух размышлял Сашка, — я себе сразу «тойоту» куплю во-от на таких шинах — и в тундру! Всю рыбу перепорю. Хрен меня кто поймает!

— Ты-то перепорешь, — сказал Николай и сверкнул желтым глазом.

— А что? — не смутился Сашка. — Хошь, иди ко мне в напарники: мы им всю рыбу выловим, тайгу попадим, а Атласово с Ключами с двумя-то карабинами вдвоем возьмем как-нибудь. Декреты обявим. По правде будем жить, по самой сокровенной правде, — тогда и поглядим, кто кого.

— А меня не возьмешь? — спросил Шварц.

— Куда ж я тебя брошу? — рассмеялся Саня. — Кашу будешь варить. Законник ты. Тебе участие в боевых операциях отрицательно.

В это время зазвонил телефон.

— Во, — отреагировал Сашка. — Видать, увольняют уже.

Шварц снял трубку и услышал незнакомый голос:

— Андрей Андреич?

— Да, кто это?

— Не узнали? Даня Мальцев, из газеты. Что новенького?

— Из какой газеты?

На том конце линии образовался какой-то провал: ни звука. За это время Шварц вроде что-то припомнил, и, когда тот же голос вновь напомнил ему о себе, он извинительно за свою забывчивость произнес:

— Да, конечно, Даня Мальцев. Вместе летали в бухту Медвежку осенью...

Трубка донесла облегченный вздох:

— Я спрашиваю, как там у вас с рыбой? Нерка, говорят, пошла?

— Пошла.

— А! — воскликнул Даня Мальцев удовлетворенно. — Что-то серебрится, нерка нерестится. Работаете, значит?

— Приезжай, — подумав, сказал Шварц. — Если надо.

Как и все профессионалы, которым, собственно, известность и слава не нужна, Шварц журналистов не любил. Но Даня, как-то раз навязавшийся к нему в вертолет на облет побережья, сумел растрогать его. Когда в Медвежке по ним выстрелили из-за камней, Мальцев упал на землю и, нацелив встречь дробь длиннющий объектив, стал как заведенный шелкать. Его снимки очень помогли потом Шварцу, ибо запечатлели и перестрелку, и поротую рыбу, и бутылки у костра, и лица тех пьяных придурков, когда их вели к вертолету. Но главное, он не испугался, когда начали стрелять. Поэтому Шварц повторил приглашение:

— Завтра в рейд едем. Присоединяйся, если хочешь...

Сейчас-то статья в газете не помешала бы.

— Знаешь, Андрей, — замылся Даня. — Сам я не смогу. Но корреспондента пришло — первый сорт. Прими по-отечески...

Пришла — молоденькая, большеглазая, длинноногая — настоящая соплячка. Даже удивительно стало: зачем прислали? Что такая напишет? От разочарования Шварц не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Вы меня извините, Лена... Минут пять придется подождать... Дело.

— Конечно, конечно...

Улыбается, отметил про себя Шварц. И где они только эту гладкую улыбочку берут? Вместе с дипломом получают, что ли? Он видел, как она прошла по коридору к просвету двери и остановилась в нерешительности у порога, заметив распростертое на земле мощное тело Сашки. Тот мгновенно проснулся и тут же, несмотря на красные круги под глазами и ржавую щетину, отряхнув от песка голову, заложил первый круг, яростно пыхтя сигаретой:

— Девушка, а вы про меня напишете?

Она не смутилась и сказала доброжелательно:

— Если вы поедете — напишу.

Сашка предложил ей пива. Она отхлебнула: «Слишком крепкое». Сашка пошутил. Рассмеялась. Черт побери, она что, задницей вертеть сюда пришла? — со злостью подумал Шварц, но тут же устыдился своих мыслей: господи, вспомни себя в ее годы, когда ты...

— Лена! — справился с собой Шварц. — Подходите, как освободитесь!

...когда ты глушил из кружки спирт, чтобы забыть страх и отчаяние мальчика, впервые уходящего в одиночество моря от материнского берега; вспомни женщину, на которую ты лез и которую пытался целовать своим мокрым ртом, чтобы показать, что тебе все нипочем...

Девочка подошла и села рядом, глядя вопросительно. Он уловил ее беспомощность. Похоже, она не знала, о чем спрашивать. А он подумал, что не знает, как отвечать.

— Рассказать про нашу работу? — бросил он ей спасательный круг.

Она улыбнулась благодарно и включила на запись диктофон.

— Только давайте так: я расскажу правду, а вы просто послушаете. А потом вы все сами увидите и обо всем хорошо напишете. Идет?

Идет. Она убрала диктофон и приготовилась слушать.

— Вы из Москвы?

— Да.

— Так вот, процентов восемьдесят красной рыбы, которую вы там едите, покупаете на рынке или в магазине, так или иначе добыто с нарушениями всех норм лова или просто браконьерским путем. У браконьеров есть все: целые флотилии кораблей, лодки с такими моторами, что вам и не снилось, судьи есть, милиция своя — все. Но по старой памяти существу-

ет еще инспекция рыбоохраны. Она, конечно, связана со всеми браконьерскими структурами крепкими узами традиций и родства, но все-таки, в силу специфики самой структуры, что ли, она обязана браконьерству мешать. Или хотя бы делать вид. Когда-то мы пытались мешать им всерьез. Но теперь у нас просто не хватает сил. — Он кивнул в проем двери, где валялся на траве и курил сигаретку Саня Романов. — Вот весь наличный состав. Три человека. На сто двадцать километров океанского берега и берега всех речек и ручьев, что текут в этом радиусе... И все наше счастье цыганское — не упустить удачи, когда случай сводит нос к носу нас троих и тех, с их лодками, автомобилями, ружьями, собаками и мобильниками. Поняла?

Она кивнула. Может быть, поняла.

Хорошая девочка, подумал Шварц. Надо же, на Камчатку приехала! Юлька младше ее года на три, а уже нелюбопытна, самодовольна, беспощадна. Отличница, черт побери! Гордость школы! Шварцу случалось думать о дочери с раздражением. Он знал, что дочь стесняется его, приучившись благодаря матери считать отца недотепой.

— Лена, — позвал Шварц журналистку. — А что же Мальцев тебя послал? Поопытнее не было?

— А я сама попросилась, — не смутилась она. — Интересно.

— Интересно? — удивился Шварц. — Что интересно?

— Все: земля, рыба, какие-то битвы вокруг... Вы... Мальцев сказал, что вы — Безумный Макс.

— Кто?

— Есть такой персонаж в одном фильме: короче, один полицейский, которому все по барабану, он делает как надо — и все.

— Я не Безумный Макс...

— Откуда вы знаете?

Он посмотрел на нее: на прядку пепельно-серых волос, заправленную за ушко, на доверчиво открытую линию шеи, на маленькие руки — на каждой было по плетеному серебряному колечку, — и понял вдруг, что эта девочка совсем не похожа на тех, что живут вокруг, подумал, что правильность линий ее лица и рук не может быть делом случая, такая красота может родиться только в больших городах, где осколки старинных родов могут отыскать друг друга и соединиться, чтобы произвести на свет новое изящество; и тогда он понял, что и глаза ее, вопросительно глядящие на него, прекрасны, и губы ее прекрасны, что вся она прекрасна и что если он сейчас же не избавится от этого наваждения, то ее красота сломит его и родит нежность в его сердце...

— Андрей! — вдруг громко крикнул с улицы Сашка, и этот спасительный зов вырвал его из странного сна. — Андрей, тут Николай еще пивка принес, не хошь освежиться?!

Шварц вскочил:

— Лена, знаете что...

По совести, он понятия не имел, что ей сказать. Он вдруг почувствовал, что мог бы болтать с ней бесконечно и отвечать на все ее вопросы... Это не пугало, но как-то странно волновало его...

— Давайте лучше завтра договорим... Надо бы унять этих молодцов, а то разошлись что-то. — Он улыбнулся, пытаясь сообразить, прошло наваждение или все это было только предупреждением ему. — Это бывает с ними... Мужики ведь...

III

Она не могла, конечно, не заметить впечатления, которое произвела на этого человека, о котором за пару дней ей столько разного уже довелось услышать. Полночи перед отъездом она ворочалась, все думая, что

это будет, хотя надо было спать, но потом вдруг рассудила, что будь что будет — но уж, во всяком случае, *теперь* (хотя еще ничего не случилось) Юрочкина власть над нею кончилась, а значит, вся эта затея с практикой на Камчатке имела хотя бы этот, главный, освобождающий, смысл, ибо теперь она знала, что, если надо, она отдастся даже Сашке Романову, только бы посадить пятно на всю эту подлую беловоротничковую Юрочкину философию и навеки избавиться от него.

Про Шварца она впервые услышала в редакции, когда Мальцев, расстегнув рубаху, показал ей две темные ямочки на плече, похожие на следы от ветряной оспы.

— Видала? Со Шварцем поосторожней. С ним оглянуться не успеешь, как влипнешь в какую-нибудь историю...

Она кивала, ничего толком не понимая. След от браконьерской дробы был для нее такой же экзотикой, как снежные конусы двух вулканов над городом и крабовое мясо в магазинах, но ей хотелось одного: прочь! Подальше от города, подальше от памятника Лаперузу, подальше от братской могилы времен Крымской войны, а главное, подальше от редакции, где молодые камчатские журналисты с утра тащили ее в бар, а потом предлагали ехать в Паратунку, купаться в термальных источниках, а когда она не соглашалась, потому что клеили ее слишком грубо, они просто начинали грузить по полной программе. Но в результате в голове так ничего и не осталось, кроме какого-то крошева из орланов, каланов, медведей, гейзеров, вертолетов, рыбки под названием принцесса-лосось и потрясающих фотографий, в каждую из которых хотелось войти и не возвращаться. Остались еще названия: Опала, Унана, Эссо, Тигиль, Авача, Кроноки, Кихпиныч... Но что обозначали они — реки, горы или поселки, скрытые за реками и за горами, — Лена не помнила. Все, что она видела своими глазами, — это засасывающую бездну из ледяных хребтов и голубых долин меж ними, куда ей так хотелось проникнуть.

С первых слов о Шварце она поняла одно — что с этим человеком возможен будет прорыв туда, в *настоящее*, ради чего, собственно, и затевалась вся эта игра под названием Практика-на-Камчатке — в пику, кстати, Юрочкиной Практике-в-Праге, — игра, в которой тоже надо было зарабатывать очки, чтоб не остаться банкротом, в активе которого не будет ничего, кроме воспоминания о скрежете и вони рыбного порта, куда Мальцев сводил ее посмотреть на ржавые рыболовецкие траулеры и отслужившие свой век буксиры, сваленные на берегу. Ну, или другого воспоминания — о пикнике в лесу под Авачинским вулканом, когда какой-то *коряк* — необычайно толстый и пластичный человек из ансамбля народного танца — ловил в речке гольца, все пили пиво, закусывая сырой, чуть присоленной рыбой, а когда полезли купаться, Мальцев, поглядев на нее, сказал: «Блин, ну и ноги!» — а жена Мальцева, сидя на берегу, только смеялась, зная донжуанские слабости мужа.

А потом еще вечером сидели в баре, и Степа с Мальцевым как следует набрались, и, когда речь зашла о Шварце, Степа вдруг завелся:

— Как ты не понимаешь, что твой дорогой Шварц — это вообще анахронизм... Не хочет, мол, приспособливаться — и все тут. Торчит, как лом, в потоке времени! А на самом деле его несет, как щепку, стаскивает к самому краю и скоро выбросит вообще из современности!

— А некоторые не умеют меняться, — спокойно сказал вдруг Мальцев. — И это не значит, что они хуже или лучше других, понимаешь? И вообще, я только о том, что Шварц — один из самых *настоящих* людей, которых я встречал в жизни. А если посчитать из всего нашего народишка, то настоящих-то сколько там наберется?

— Ну а ты-то сам — настоящий? — вонзил Степа.

— Не-а, — расхохотался ему в лицо Мальцев, — я — нарисованный в мультике персонаж масскульта.

Ей Шварц понравился. Понравилась его нескладная длинная фигура, понравилось лицо с усталыми, близко посаженными глазами и остреньким носом, в форме которого оставалось что-то детское, понравилось крепкое сухое рукопожатие, которым он приветствовал ее, и этот ясный, беспощадный монолог, который он попросил не записывать, и эта его братва, с которой завтра ей предстояло покинуть город на краю земли и очутиться там, за пределами воображаемого, где дикие звери пьют воду диких рек. Она вдруг почувствовала себя ужасно беспомощной перед тем, что надвигалось на нее из будущего. *Настоящее*. Ее отец тоже так всегда говорил — настоящее. Он геологом был, на Камчатке работал, в Средней Азии, и *настоящее* — она чувствовала — для него было там, в экспедициях. А в городе для *настоящего* не хватало чего-то: как не было в городе настоящей, нехлорированной, воды, так и *настоящего* не было. В экспедиции отец давно уже не ездил, занимался экспертизой проектов открытых месторождений совместно с иностранцами, но она видела, что он томится оттого, что так надолго застрял в виртуальном мире, который поймал его. Она знала, что ее век будет еще жестче, но, пока была возможность, ей хотелось хотя бы одним глазком заглянуть туда, где бывал отец, — в *настоящее*.

Утром на город пал туман. Она шла на площадь почти вслепую, держа направление на глухие переборы железа в порту и пронзительные скрипы старых портовых кранов. Она обошла площадь кругом и грузовика не обнаружила. Но не успела она пожалеть себя, как заметила бредущую ей наперез долговязую фигуру. Это был Шварц.

— Привет! — закричал из кабины Сашка. — Заблудилась? А мы видим: ходит кругами, ходит...

Она пожалала плечами:

— Туман...

Сашка захохотал. Он сбрил свою жуткую щетину и выглядел чуть более цивилизованно, чем вчера, но, глядя на него, она все же не могла не вспомнить об Эрике Рыжем и его норманнах, лица которых, должно быть, тоже несли на себе печать грубого, нерассуждающего мужества, закаленного походами в бескрайних северных морях. Шварц был в заношенном черном комбинезоне, с кобурой на боку. Это произвело на нее впечатление. Из любопытства она пристально взглянула в его глаза, чтобы проверить свои вчерашние догадки. Шварц, однако, встретил ее взгляд совершенно спокойно и только немного, может быть, удивленно.

— В кабине поедешь? — спросил он.

Она подумала, что с Сашкой ей будет проще, и кивнула.

— Тогда садись, — сказал Шварц. — Только давай прежде с Николаем познакомлю...

В крытом кузове сидел невысокий, сухой, темнокожий, как индеец, мужик с дикими и бесстрастными глазами, один из которых к тому же оказался совершенно явственным желтого цвета. В ответ на ее приветствие он молча кивнул и поглядел на нее оценивающе — так, что она ощутила холодок меж лопаток и вдруг подумала, что из путешествия с таким попутчиком может выйти что-то совсем иное, чем она напредставляла себе накануне. Из открытой двери кузова вдруг пахнуло на нее запахами мужского быта: какой-то кислятиной, табаком, резиной... Ей стало не по себе. Но уже в следующий миг Сашка, приоткрыв дверцу кабины, закричал:

— Чего стоим-то?

Шварц посадил ее на подножку, Сашка радостно хохотнул, и они поехали. Так и началось для нее путешествие в *настоящее*.

Повернувшись к Сашке, она спросила:

— А что это за мрачный дядя там, в кузове?

— Коля, что ли? — догадался Сашка. — Он не мрачный, просто разговаривать не любит. Что, понравился?

— Нет, — отрубила она.

Они ехали и ехали в тумане, все время вверх и вверх, как будто забирались в небо, но кругом были обычная земля и серые косматые силуэты — тайга, наверно. Раз сто они останавливались для каких-то проверок, но ничего не обнаруживали, так что ей все это стало потихоньку надоедать, как вдруг Сашка остановил грузовик.

— Что? — удивилась она.

— Вылезай, приехали.

Она огляделась. Дорога, по которой они ехали, расплзлась вширь, разлилась в стороны мелким черным песком. Слева высилась целая гора песка, у подножия которой в бессильной неподвижности покинутого механизма застыл экскаватор. Вокруг сквозь туман проступал лес.

— Ну что, расходится погода? — раздался голос Шварца с Сашкиной стороны кабины.

— Да, — согласился Сашка, спрыгивая на землю и закуривая. — Часам к одиннадцати совсем развиднеется.

— Давай поглядим, почем золото, — сказал Шварц.

Николай выбрался из кузова и тоже закурил. Она заметила вдруг, что он хромает, деревянно переставляя по песку правую ногу. Эта хромота, в дополнение к желтому глазу, особенно не понравилась ей — за всем этим угадывалось не просто несчастье, а неудача, неудача прожитой жизни, чего она не любила и боялась. Ее не устраивала неудача как итог. И страшил разум, исковерканный неудачной судьбой. Без охоты она подошла к мужчине, стала рядом. Шварц тронул ее за руку.

— Тут золото пробуют мыть, — пояснил он, — и сюда они каким-то пылесосом выбрасывают промытый песок. В прошлый раз они этим песком речку совсем перекрыли. Велели им прочистить. Но, думаю, ни хрена — золото-то дороже...

— Какую речку? — спросила она, чтоб выйти из неприятного хода мыслей.

— А вот, за песчаной кучей.

— Там что, тоже рыба водится? — удивилась она, не видя никакой речки.

— У нас везде рыба водится, — засмеялся Сашка и, повернувшись к Шварцу, сказал: — С тобой сходить, Андрей?

— А что ходить? И так все ясно: я одним глазом гляну только...

Шаги Шварца зашуршали далеко по песку, она осталась вдвоем с незнакомыми мужиками.

— Саш, дай закурить, — попросила она, чтобы выиграть время.

Сашка дал, но хромой все сверлил ее огненным оком.

— Почему людей нет? — дрогнула она, старательно делая вид, что не замечает его назойливости.

— Суббота, — сказал Сашка, — прииск закрыт.

— Тут прямо золото, что ли? — спросила она, чувствуя, как невероятный взгляд хромого грызет ее. Уж это было почище Юрочки.

— Да тут везде золото, — серьезно сказал Сашка. — Разве рыба — не золото? Страну могли бы поставить на рыбе на одной...

— Гляди-ка, экономай, — услышала она вдруг незнакомый хриплый голос. — Уж больно ты разговорчивым стал, Сань...

— Отстань, — сказал Сашка и бросил окурок. — Не трогай. Не твое.

Вот оно как, подумала она, меня, значит, меж собою уж поделили. Так вот оно, твое *настоящее*, папа! Или само *настоящее* стало другим?

— Ты чё психуешь? — спросил Сашка, когда снова поехали. — Не любишь, когда на мозги капают?

— Не люблю.

— И я терпеть не могу, — сочувственно подхватил Сашка. — Как начнут мне мораль читать — я удушить готов.

Она нервно засмеялась.

— Слушай, — позвала она Сашку. — А зачем ты в рыбоохрану пошел?

— Как это — зачем? — не отрывая взгляд от дороги, переспросил Сашка.

— Ну, не знаю, может, ты «зеленый», браконьеров сильно не любишь...

Сашка задумался.

— До браконьеров мне все равно, — сказал он наконец. — Просто это жизнь такая, понимаешь? Вот мы с тобой едем сейчас, как гуляем, а осенью, когда снег выпадет, от города в двадцати километрах — как на луне. Ни души нет, только река, да мороз, да рыба. Да медведи ходят, лощавую ее жрут до отвала. Красота! — Сашка завращал глазами, пытаясь выразить переполняющие его чувства. — А когда еще гаденышу какому-нибудь задницу прищемишь...

— Понимаю, — сказала она. — Сам процесс нравится, значит?

— Точно, — кивнул Сашка. — Сам процесс.

Он почему-то засмеялся и вдруг в упор посмотрел на нее:

— А у вас в Москве что, все такие тоненькие?

— В каком смысле?

— Да в прямом... — Правой рукой Сашка вдруг притянул ее к себе — так, что ни пикнуть не успела, ни дернуться, только почувствовала, как его большая ладонь осторожно ищет под кофточкой грудь.

Она дала ему нащупать бугорок с круглой пуговкой соска (на тебе, Юрочка!), потом высвободила руку и, не вырываясь, не царапаясь, не крича, очень спокойно ударила по лицу. Сашка сразу отпустил ее и вцепился в руль, ибо машину броснуло-таки в сторону. А она, кажется, не рассердилась даже, поправила кофту и поглядела на своего соблазнителя.

Сашка, не глядя на нее, облизнул разбитую в кровь губу.

— Я не хотела до крови... Просто чтоб ты не смел...

— А, черт, — захохотал Сашка. — Нашло на меня, как на пацана... А ты молодец. Не думал, что в Москве такие характерные есть...

— А ты что, много москвичек напроверял?

Сашка заржал, будто от удовольствия:

— Не... Это я так, вообще: люблю девчонок!

— Это правильно: бабники — это научно доказано — и живут дольше, и пьют меньше.

— Да? — радостно удивился Сашка. — Это надо будет как-нибудь бабе моей втолковать...

— Кому? — удивилась она.

— Бабе моей, — повторил Сашка. — Чё уставилась? Не похож я на женатого?

Она отрицательно покачала головой.

— Ну и отлично, — обрадовался Сашка. — А то я от них устаю, от женатых. Особенно, знаешь, бывают — ручные совсем. Даже вот напьется человек, орлом глядит, песню орет, а ведет его — баба.

— Ну а ты, — полюбопытствовала она, — тоже ручной?

Сашка улыбнулся и лизнул разбитую губу.

— Откуда я знаю? Сама суди...

Она оценила Сашкину хитрость.

— А Шварц?

— Шварц? — Увлекающийся Сашка не заметил поворота в разговоре. — Со Шварцем какая-то история. Ему бы развестись, а он живет. Ему ж ничего, кроме воли, не надо...

Она вспомнила растерянно-нежные глаза Шварца и подумала, что чутье все-таки не обмануло ее и во всей этой истории Сашка не знает одного — как устал Шварц от своей свободы...

IV

За весь день они не встретили ни души. В конце концов она просто задремала под ровное гудение мотора, но тут дорога вывернула на заросшую кустарником кочковатую равнину, и то, что она увидела, чуть не заставило ее вскрикнуть: во весь горизонт над вершинами деревьев вставала громада ледяной горы. На много километров вокруг вся видимая земля устремлялась к ее подножию, утонувшему в глухой тайге, издали похожей на бурый мох. Из этого мха вырастал исполинский конус — еще выше, к белоснежной вершине, овеваемой холодом неба. Над вершиной, безобидное с виду, зависло облачко пара, напоминая о том, что в недрах горы глухо идет какая-то неведомая работа.

Гора так и не отпустила их от себя. И когда вечером они сели ужинать, спрятав машину в кустах у переправы через большую реку, ее вершина по-прежнему парила над миром, как безмолвный страж. Надо было встать и уйти подальше ото всех, сесть, обернуться камушком, и просто смотреть на эту гору, и впитывать взором, впитывать... Но вперемешку шли мысли о том, какого черта она вообще оказалась здесь, в пропыленной кабине старого грузовика, и кому это было надо — столкнуть их здесь со Шварцем, потом вмешать в дело хромого, протрясти это все полторы сотни километров по бездорожью, обдать жизнерадостным Сашкиным смехом и вывалить наконец на этом берегу, в виду этой горы, с ощущением, что за эти сутки она прожила целую жизнь, хотя ничего, ровным счетом ничего с нею еще не случилось. Причем она понимала, очень слабо еще понимала, что по какому-то большому человеческому счету эта жизнь — она не то чтобы ценнее, но как-то *всамделишной* всего, пережитого ею самостоятельно до сих пор, за исключением некоторых мгновений детства...

А Юра — тьфу.

А может быть, это и было *настоящее*, которое она искала? Она ведь не знала, какое оно — настоящее.

Что-то должно было произойти. Она поняла, что к ее чувствам примешивается и страх — именно теперь, когда душа полна была восторга. Хотелось костра, но Шварц, вопреки ее ожиданиям, костер разводить запретил. Поэтому они сидели вчетвером возле гудящей паяльной лампы и слушали, как, раскаляемый струей голубого пламени, направляемого согнутой трубой, гулко ухает закипающий чайник.

— Тут вообще место такое... — вдруг, ни к кому конкретно не обращаясь, сказал Сашка.

Она поняла, что ему надоело молчать и он рвется рассказать какую-нибудь историю. Желтый глаз Николая сверкнул огнем, и глухой его голос прокашлял неодобрительно:

— Что за «такое»?

— Оживленное, — уже пустился в рассказ Сашка. — Если и возьмем кого, то тут, на этом броде. В прошлый раз майора Коблева прихватили. Вот это было дело... Голливуд!

Сашка сделал паузу и прикурил от огненной струи лампы.

— Майора этого мы давно ловим. Очень уж, сволочь, браконьерствует. И вот на этом самом месте засекаем — с той стороны реки вездеход. Все как обычно: я за руль, если догонять придется. Двое наших по краям дороги, вперед Шварца с жезлом выпустили. Только его из воды выперло — Андрей его тормозит. Тот по газам! Чудом он Шварца тогда не зацепил. Я мотор завожу, смотрю, кто-то из наших ему на крышу прыгнул, вцепился, как кошка, и к кабине ползет. Гоню. Но только бесполезно. Он по тундре на гусеницах быстрее меня. Гляжу — блестит в колее. Рыба, мать твою! Рыбу выбрасывают! Жму еще и вдруг — чуть в зад ему не въехал. Выскакиваю — Николай уже наверху сидит, этого гада держит.

Сашка затянулся и эпически сплюнул.

— Оказалось, майор люк задраил, прет себе и прет, ничего с ним не поделаешь. А Коля по морде вездехода сполз и курткой окна ему закрыл. Майор наверх — а Коля его ракетницей по башке. А я солдатика взял, который из кузова рыбкой сорил... Только все равно не засудили его, отмазали вояки. Дело даже завели, штраф хотели им впарить в триста тыщ — а как с гусей вода. Теперь опять он по этим местам шарится. Чуть к ним начальство — они его на заготовки. А сейчас мне точно известно — они начальства ждут...

Она посмотрела на Сашку и впервые, кажется, увидела его каким-то другим взглядом; потом попыталась представить себе своих однокурсников, атакующих вездеход, и поняла, что это не смешно, а даже неприлично отчасти. Но уж они бы нашли, что сказать в свое оправдание. Чего-чего, а слов им всегда хватало!

Она впервые осмелилась обратиться к Николаю:

— А как же вы так смогли — с больной ногой-то?

— Вот так и смог, — обрубил он, не оставляя ей возможности для продолжения разговора.

Шварц встал и хлопнул себя по карманам:

— Ты бы сдерживал, Коля, себя...

Тот промолчал. Сашка достал откуда-то карты и, перетасовав, спросил, явно желая разрядить напряжение:

— Ну что, в «дурачка» сыграем?

Никто не ответил.

— Я по берегу пройду, — сказал Шварц.

Ничуть не расстроившись, Сашка сдал на двоих и, насвистывая под нос какой-то дурацкий мотивчик, тут же выиграл у Николая первую партию.

— Подставляй нос.

Ей неприятно было, что Сашка хлещет по носу проигравшего партнера, а тот терпит, как будто они балбесы какие-то, а не герои.

Они ведь *были* герои?

Как аргонавты в старину. Наверняка и аргонавты были грубым мужицким и охальниками.

Николай тем временем снова проиграл. Воодушевленный Сашка не мог сидеть спокойно и, отсчитывая удары по носу Николая, то и дело обращался к ней, как бы приглашая разделить с ним радость победы. После каждого удара желтый глаз Николая прищуривался, непроизвольно наполняясь слезой.

Ей стало не по себе.

— Это он ради тебя, — с усмешкой глупо сказал Николай. — Вишь, как расстарался...

— Знаете что...

Собрав грязные миски, оставшиеся после ужина, она спустилась к реке и тут терла их серым мелким песком, чувствуя, как на глаза навертываются слезы бессилия и обиды. Какого черта этот старый импотент приклеился к ней? Ей-то какое дело до его комплексов?! Но не успела она вымыть и пары мисок, как услышала за собой шаги. Это был Николай. Он шел прихрамывая и, конечно же, молча, держа в руке котелок. У воды он сел — с видимым трудом — и принялся драить песком сначала внутреннее, блестящее вместилище котелка, а потом внешнюю его сторону, закопченную огнем. Она смотрела на его шею — красную и жилистую, как канат, и вид этой шеи почему-то внушал ей все большую уверенность в том, что молчит он нарочно, назло ей, и будет молчать, пока воздух не лопнет от этого молчания.

— Эй, дядя, — вдруг произнесла она. — А ты чего такой злой?

— Боишься, укушу?

— Нет.

— Тишины боишься, людей боишься, себя боишься.

— Я недобрых боюсь. Вам-то я ничего не сделала, а вы уже с меня пошли шкуру драть, как будто я вам зачет должна сдать по физкультуре.

Николай помолчал.

— Я тебя не виню ни в чем. Только, думаю, не надо тебе было с нами ехать. Очень плохая примета — баба на корабле...

— Ах вот в чем дело! — попыталась возмутиться она.

— Да, в этом, — упрямо сказал хромой.

Ей надо было уйти подальше от всех, притвориться камушком и смотреть на эту гору весь вечер и всю ночь. А она осталась с этими мужиками, среди которых только Сашка, может, и был счастливым. А остальные были так переломаны *настоящим*, что один вид ее, вид нетронутый и ничем не опаленный, вид человека, не знавшего боли и к боли не привыкшего, да еще холеного по-московски и по-московски же, без сучков и задоринки, выделанного природой, заставлял этих несчастных беситься. Каждого по-своему.

Один любил своей нелепой любовью.

Другой так же уродливо ненавидел...

Как же она сразу не поняла?

Секунда длилась как вечность.

— О господи, — вскрикнула она и, бросив посуду, побежала вдоль реки.

V

Она шагала вдоль берега, не разбирая дороги, ослепленная обидой и окончательно потерявшаяся и, быть может, взаправду потерявшаяся бы в этой стране, ибо она не помнила себя и не знала, куда шла, как вдруг тяжелый плеск и шумное мокрое дыхание какого-то крупного существа остановили ее. Волна мурашек пробежала от затылка до пяток. «Одна по лесу не...» — так говорил Мальцев. Медведь?!

Оказалось — Шварц. Совершенно голый, он почти неподвижно парил в плотной воде реки, иногда всплескивая руками и делая шумный судорожный вздох. Увидев ее, он перевернулся на живот и как-то смешно на секунду поджался в воде, как всякий человек, не ожидавший, что его застанут за купанием.

— Я отвернусь, — сказала она.

— Да, — сказал он, вылезая на берег и, судя по звукам, торопливо вытираясь. — Вода холодная, снег в горах еще. Но после нее лет на двадцать моложе себя чувствуешь, честное слово. Люблю купаться здесь.

— А сколько вам?

— Тридцать шесть, а что?

— Морщин у вас много.

— Да, — сказал Шварц. — Морщины — это ничего.

Стукались поздние сумерки. Стремительная вода реки, прежде воздуха вобрав в себя ночные тени, казалась почти черной. Над лесом, подсвеченный розовым закатным облаком, парил снежный купол горы.

— А хотите тоже искупаться, Лена? — вдруг спросил Шварц.

— Здесь?

— Конечно. Я отвернусь.

— Да, наверно...

Шварц подошел и посмотрел ей в глаза. Желая понять, чего же хочет он от нее, она вдруг опять угадала в его взгляде то самое призывное выражение, что когда-то поразило ее при первой встрече с ним. Это длилось одно мгновение, но душа опять ожила и забила крыльшками, и будь что будет — то, что происходит здесь с ней, никого не касается!

Он достал из кармана комбинезона маленькое смятое и уже влажное махровое полотенце:

— Возьми. Окунешься — сразу растирайся...

Ступив в воду, она испытала чувство, что попала ногой в жидкое ледяное стекло. Она бросилась вперед, но холод оглушил ее, лишил дыхания, и только на какую-то долю секунды она почувствовала вокруг пульсирующе-живое: плоть реки, которая, однако, была так беспощадна и сильна, что, несомненно, скомкала и унесла бы ее, если б она не бросилась, как рыба, к какой-то мели и, почувствовав под собою дно, попросту не заорала:

— А!-а!-а!

Шварц бросился к ней, ошеломленно глядя на ее тело своими безумными глазами:

— Лена, что с вами?

— Ничего, — сказала она. — Отвернись.

Впечатление было, будто с нее содрали кожу.

Она не спеша вытерлась и оделась, теперь действительно ощущая во всем теле счастливый холодный звон. Потом подошла к Шварцу, села рядом и улыбнулась. Шварц тоже улыбался и молчал. В улыбке его сквозила какая-то горечь, словно бы извинение за то, что он не делает того, чего она ждет от него. Она вздохнула и села на бревно у самой воды. Шварц покорно сел рядом — так, что, протянув руку, мог бы обнять ее. Но он не обнимал.

Внезапно, рассыпая золотые в последних лучах солнца брызги, на перекате ударила огромная рыба.

— Что это? — прошептала она.

— Чавыча на нерест идет, — с какой-то неясной нежностью сказал Шварц. — Вот ведь тварь: без страха и без греха.

— Без греха? — изумилась она. — А при чем здесь грех?

— До нас на этой земле жили ительмены, — с тем же странным глубоким чувством проговорил Шварц. — Иногда мне кажется, что их голосами говорит земля. Целый народ не может исчезнуть бесследно. Их завещание — природа, которую они сохранили в неприкосновенности...

— А вы философ, Андрей, — сказала она и поцеловала его первая. У него были сухие, горячие губы и такие сильные руки, что она вся хрустнула под его ладонями. Он долго и нежно пробовал ее губы на вкус, потом сказал:

— Какие сладкие.

И в тот же миг отпустил ее.

Она еще ждала чего-то, но он вдруг встал, почему-то усмехнулся и произнес:

— Ну ладно, хватит сидеть, пойдем в лагерь.

Она подчинилась, понимая, что Шварц уже никогда не откроется ей.

Она наскоро выпила чаю, раньше всех забралась в кузов и лежала там без сна, то ли несчастная, то ли счастливая, слушая, как снаружи разговаривают мужчины и смеются смачно и грубо.

— Я на улице посплю, — сказал потом Николай.

Дверца кузова открылась, и Сашка, чертыхаясь, полез в свой угол, за ним Шварц, двигаясь почти неслышно, шикал на него:

— Тише ты! Дай девочке поспать...

VI

Он так ничего и не сказал ей, не протянул руку, не прижал к себе, хотя он знал, как она ждет его. Ему ли, рассыхающемуся без любви, как старая лодка, не желать ее нежности, чтобы хоть на время унять жар изъедающего нутро огня? Но что огонь? Вспышка, даже неспособная его как следует ослепить. Она еще узнает любовь, настоящую любовь, без него. Потому что он, видно, создан был не для любви. Его настоящим было одиночество.

Шварц растегнул спальный мешок и сел. В кузове было темно и душно. Слепую, натываясь на чье-то тряпье, кружки и хлеб, он принялся шарить Сашкины сигареты. Сашка встрепенулся:

— Ты чего?

— Дай сигареты, покурить хочу.

Сашка тоже пошуршал и сунул ему в ладонь коробку с прижатой к ней зажигалкой.

— Царапнуло? — сонно спросил он.

— Да, — сказал Шварц, чтоб не влезать в долгие разговоры, и толкнул дверь наружу.

На воздухе сразу стало легче дышать. Под лунной серебристо мерцала река, окруженная синими тенями леса. Шварц двинулся к воде. Царапнуло... — про себя повторил он. Откуда-то Сашка знает... Видно, с каждым это случается.

В жизни своей он старался поменьше думать о женщинах. Но этой ночью ему хотелось думать только о них. О ней, вернее. Конечно, она нравилась ему. Но есть непреодолимые обстоятельства места, образа и времени действия, которые никогда не дадут судьбам соединиться. Она уедет туда, в свой город. А он останется здесь, под вулканом. Играть в любовь он не умел. Значит, и пусть...

Он сел на камень и закурил. Река ворочалась в ночи, поблескивая лунной чешуей, как живая.

Конечно, я мог бы показать ей чудо, глотая горький дым, думал он... Я мог бы рассказать ей... О чем? О том, чему сам удивлялся всю жизнь. Об этой реке, от истоков до устья сильной и своенравной, как дракон... Но разве она захотела бы слушать? Глупая маленькая девочка — ей нужны слова любви, чтобы быть счастливой... А он... Он не хотел расставаться со своим одиночеством. Одиночество делало его чутким и прозорливым. И этот дар он не променял бы ни на ослепление счастливого любовника, ни на покой благополучной семьи. Другое манило его: этот мир под пологом неба с приливающей луной и обнажившимися минералами звезд. Между тьмою нижнего мира и чернотой неба тоненькой, похожей на плесень пленочкойросло живое, перемалываемое ненасытной драгой человечества. Он чувствовал свое ничтожество перед этой машиной, перед каждой вонючей трубой, изливающей в море помой и презервативы города. Он знал, что их ночной дозор смешон, коль уж основой нынешнего процветания человечества стало обязательное убиение живого. Но он неизбежно возвращался сюда, на берег реки под вулканом, просто потому, что здесь жизнь еще билась, бурлила, прорастала тундровым ягодником, шумела дремучей, непролазной тайгой, из глуши которой Великие Шаманы народов, когда-то населявших эту страну, оседлав небесного волка, поднимались к самым звездам, чтобы духи поведали им о том, как правильно жить, не оставляя на земле следа.

Шварц докурил сигарету. Шипел ледяной кипятком воды. Словно нож, рассекая ее, шли к верховьям реки огненные рыбы. Посвистывала трава, напившись за день солнца и влаги. На миг все стихло, и тут же у самого лица почувствовал Шварц взмах огромных крыл: это вместе с холодным ночным ветром сорвался с вершины вулкана Кутх — черный ворон, птица грома. Шварц не знал, что предвещает появление птицы. Но ему показалось, что мудрый ворон пророчит удачу.

Он вернулся к машине. Девочка спала, но ее близость больше не волновала его. Шварц лег на спину и сразу уснул.

VII

Утром опять был туман, холод, серость. Завтракали остатками вчерашнего ужина, пили чай — почему-то без сахара, — Сашка курил, пытался шутить, но шутки были глупые, и от него пахло псиной. Николай, выбравшись из-под стланика, где он всю ночь хоронился от комаров, даже не умываясь, всыпал себе в кружку полпачки заварки и, выпив это зелье,

тут же засверкал желтым глазом. Шварц отчужденно смотрел куда-то вдаль. Ей впервые стало почти до слез жаль себя, и она подумала, что вообще зря ввязалась в эту затею, в это безнадежное, в сущности, дело: ни один браконьер не сунется сюда, в эту комариную глушь...

Она снова мыла посуду, с ожесточением терла миски черным песком, чувствуя, как слипаются пальцы от холодного жира, и вспоминала почему-то свои прошлогодние каникулы в Крыму, жаркие горы, синее море, кофейни, и музыку на берегу, и дикий утес в глубине заповедной бухты, где она однажды всю ночь просидела почему-то с каким-то харьковским пареньком, которого звали Олег, и он от заката до рассвета рассказывал ей про скифов и тавров, про Митридову стену и самого Митридата — последнего грека, не пожелавшего стать римлянином, про все, про все — и про аргонавтов, разумеется, тоже, хотя они плыли в Колхиду и их «Арго» не мелькнул бы даже на горизонте, когда засиял рассвет. Наверное, это и была любовь — только тогда она не поняла этого. И в результате появился Юрочка и его отстойные друзья, с которыми, конечно же, теперь-то уж точно будет покончено. Почему «теперь», она не смогла бы объяснить, но про «покончено» знала наверняка. Потому что каждый *настоящий* выбор, проклятые сосунки, имеет и свою *настоящую* цену, будь то любовь, будь то одиночество, так бы она сказала им. А вы хотите ставить — и выигрывать, ничем никогда не рискуя. Вот...

За кустами зарокотал мотор грузовика. Слава богу, подумала. Уезжаем отсюда. Захотелось обратно в город, где был горячий душ и Мальцев с его наивной, но трогательной опекой.

Она собрала миски и поднялась наверх. Мужчины ждали ее у машины.

— Поехали? — спросил Сашка, взглянув на чистую посуду.

— Домой? — невольно вырвалось у нее.

— Нет, — сказал Шварц. — Сперва в устья спустимся, там поглядим.

Она почувствовала, что не выдерживает.

— А чего глядеть-то? — выпалила с неожиданным раздражением. —

Какого черта ловить в такую погоду?

Шварц усмехнулся. Николай выругался и сплюнул через плечо:

— Так и сглазить недолго...

Она поняла, что ляпнула что-то не то. Словно порвалось что-то: Сашка дымил в кабине, молчал как пень. От вчерашней его грубоватой игривости и следа не осталось. Она приготовилась вытерпеть это испытание окуриванием и молчанием, но через некоторое время Сашка сам спросил — не то обиженно, не то разочарованно:

— Надоело с нами, что ли?

— Нет, — сказала она. — Просто устала. И не увидела ничего.

— Как это — ничего? Все ты увидела.

— Что?

— Что надо.

Из леса дорога вывела на сильно заболоченную, поросшую диким шиповником равнину. Повсюду перламутром отраженного неба блестела вода. Вот-вот, казалось, пойдет дождь. Она закрыла глаза, чтобы не потеряться в этом однообразии. Сашка упорно вел буксующий и задыхающийся грузовик к краю земли — голому песчаному гребню, за которым сквозило унылой пустотой серое небо. Когда он достиг цели, ветер из-за гребня ударил по стеклам кабины мелким песком. Она открыла глаза. Перед нею был океан. С тяжелым гулом волны разбивались о черный пляж, заваленный горами белых, как кости, веток. Над океаном низко шли тучи, добавляя мрачное торжество разрывам волн, которые били в берег неторопливо, но с такою спокойной силой, что под ними вздрагивала земля.

— Повезло нам! — опять заорал Сашка весело. — Тихо сегодня! А то б не проехали, до самых колес волна добивает!

Страшно было спокойствие океана. Она подумала, что если бы вдруг его волны подступили к крымским берегам, то любимые ею набережные, виноград под сдающей мансардой, резные зеленые тени, улитки и даже та одинокая скала, где мальчик Олег всю ночь по-своему признавался ей в любви, — все это в один день было бы смято, выстужено, замыто черным песком...

Они проехали по прибойке, но на этот раз недолго: пляж рассекала река.

— Ну вот, — сказал Сашка, заглушая мотор. — До устьев добрались. Отсюда к дому двинем...

Снаружи был ветер. Там, где река соединялась с океаном, на мутных волнах качались чайки. На противоположном берегу она заметила домик — тоже черный, почти сливающийся с бесконечными песками побережья. Рядом с домиком стояла какая-то расплющенная гусеничная машина, каких она прежде не видела. Людей не было.

Все выбрались из грузовика. Шварц достал бинокль и со своею почти комичной серьезностью принялся разглядывать тот берег. Ей было холодно и хотелось есть.

— Э! — позвал вдруг Шварц.

— А? — отозвался Сашка.

— Приготовьтесь-ка к работе.

— А что там? — спросил Николай. — Опять в Озерной ловят?

— Двумя сетками нерку берут.

Она ничего не могла понять, и даже, когда прыгающим, выпуклым глазом бинокля поймала трех человек, копошащихся у воды под тем берегом, ей все не ясно было: они кто — браконьеры, что ли?

Все совершалось непонятно и до странности медленно. Сашка сплевывал, хлопал себя по карманам, проверяя, положил ли в комбинезон сигареты и спички; Николай, надев болотные сапоги, принялся грызть сухарь. На том берегу тоже никто особенно не беспокоился. Трое долго и бестолково топтались на песке, но потом один из них, в оранжевом, с явной неохотой вошел в холодную воду реки и стал вытягивать из воды какие-то веревки.

— Снимают сетку, — отобрав у нее бинокль, сообщил Шварц.

Сашка перестал наконец ощупывать себя и подошел к нему ближе.

— Ты думаешь — что? Лодку надувать будем? Снесет ведь в океан...

— Унесет к чертовой матери, — подтвердил Шварц. — Если на лодке, то выше соваться надо, километра на полтора.

— А ты дай ракету, — посоветовал Сашка. — Мурзилка, он пугливый, придет вездеход.

Шварц дал ракету.

Она неярко погорела над рекой и погасла, никем, кажется, не замеченная на том берегу. Шварц, однако, продолжал смотреть в бинокль.

— Сам поведет, — сообщил он наконец.

— Кто?

— Мурзилка, бригадир ихний.

— А почему — Мурзилка? — спросила она.

— Да потому, что он такой... замуренный весь, — встрял Сашка. — Дранный, как старый мишка плюшевый...

Николай повел на Сашку желтым глазом.

— Ну ты даешь... Фамилия у него Мурзин. Александр Максимыч Мурзин, тебе тезка. Ты человека брать собрался, а как зовут — без понятия?

— Не бойсь, и без фамилии разберемся, — хохотнул Сашка.

Между тем вездеход — плоская коробочка на гусеницах — задымился на том берегу и, совершив какой-то нелепый маневр, плюхнулся в реку, сразу уменьшившись наполовину. Издалека, перекрывая плеск воды, донесся натужный, почти жалобный вой его мотора.

— Плывет? — изумилась она.

— Не, по дну... — сказал Сашка. — Вишь, как воет? Течение сильное...

В движении машины была странная рваность, которая особенно стала заметна, когда вездеход выполз на берег и с нарастающим грохотом, зарываясь то вправо, то влево, помчался к ним. Все объяснилось, когда ржавая, до красноты облупившаяся и, как дуршлаг, истекающая водой громадина с лязгом остановилась возле них и в пустое окно кабины она разглядела лицо водителя: безнадежно пьяные, бессмысленные глаза и рот, силиющийся выговорить: «От уж не ждали, гражданин начальник, от уж...»

Она попятилась. Этот человек и эта груда ржавого лома на гусеницах возникли из какой-то такой жизни, о которой она прежде не знала, да и не желала бы знать и впредь. А человек, как назло именно на ней остановив взгляд своих неживых глаз, силился выбраться из кабины, но не мог, он лишь шевелился и тарашил глаза, как разбуженное ночное животное.

— Здравствуй, Максимыч, — вдруг громко сказал Шварц. — Пугливый ты: попал на уд. Теперь вези нас к себе. Покажешь, какие безобразия ты творишь...

Человек в кабине перестал возиться и обмяк на сиденье, разом сделавшись нестрашным и жалким.

— Садись, — прохрипел он обреченно, доставая откуда-то мятые, высыпавшиеся папиросы и выпуская своим глиняным ртом дым прямо в открытое окошко.

Все вскарабкались наверх. Николай залез к Мурзилке в кабину, где валялись окурки и смятые консервные банки, Шварц с Сашкой встали над гусеницами по бокам, а ее посадили на самый верх, заставив свесить ноги в люк кабины.

— Держись крепче, — сказал Шварц.

Все было ужасно вонючее, грязное; она вымазала ржавчиной джинсы и принялась было оттирать рыжину, но прорезавшийся откуда-то из-под земли адский рев заставил ее, позабыв обо всем, вцепиться в приваренную на крыше скобу: это заработал мотор. Тут же тягач рванул и пошел, иступленно дымя, к реке, при этом болтаясь и дергаясь так, что за полминуты она совершенно обессилела у себя наверху, пытаясь удержаться на крыше. Ей стало не по себе: она представила вдруг, что за рулем — пьяный, ничего не соображающий человек, которому ни до нее, ни до кого-либо вообще нет никакого дела. Подтверждая худшие ее опасения, Мурзилка направил тягач прямо в реку: грохнуло что-то, хлестнула по лицу вода, и машина села в воду по самые фары. Николай в кабине грязно выругался, мотор приглож, и только в глубине еще скрежетало и ворочалось что-то, заставляя убитый вездеход чуть-чуть продвигаться вперед. Когда она почувствовала, как течение раскачивает машину, сжалось сердце: черная вода била в левый борт, где, мокрый по пояс, стоял Шварц. Она вспомнила вчерашнее ледяное купание и с ужасом подумала, что до океана каких-нибудь двести метров, и если этот клацающий гусеницами ржавый гроб оторвет ото дна...

— А нас в море не может унести?! — закричала она, наклоняясь к Сашке, чтоб с ним разделить свой страх.

— Бывает! Уносило! — заорал Сашка, силясь перекричать подводные рокоты мотора. — А что, страшно?!

Она кивнула, чувствуя, что вот-вот разрешится от ужаса.

— Ну вот! А ты боялась! Что приключений не будет!

VIII

Она долго не могла оправиться после переправы и пришла в себя только тогда, когда увидела этих людей под берегом — мрачного, чем-то неуловимо похожего на Николая мужика в прорезиненном оранжевом ком-

бинезоне, молодого парня в гимнастерке и закатанных выше колен штанах, из которых торчали худые, голубые от холода ноги, и мальчика в дражной красной кофте, держащего в руках огромную, как ей показалось, рыбу, серебристые бока которой, как кровью, сочились чудным вишневым блеском. А потом она увидела сеть, подтянутую к берегу, внутри которой шевелились тела обессилевших рыб, которые, заражаясь какой-то стадной гибельной тоской, вдруг начинали биться, — и тогда вся сеть трепетала, как живая. Вторая сеть все еще перегораживала реку поперек, и видно было, как рыба, подходя со стороны океана, спешит миновать опасное, взбаламученное место и застревает в ее ячеях, извиваясь и обессилевая в упрямом недоумении.

— Здорово, братва! — приветствовал Сашка браконьеров.

Мужик и парень, выбиравшие рыбу из сети, оставили свою работу и что-то забурчали в ответ. Они, похоже, не очень-то понимали, как им теперь себя вести, тем более что Сашка стоял на высоком берегу и им приходилось задираТЬ головы, чтобы увидеть его торжествующее лицо. Мальчишка, напротив, оглядывал незнакомцев с диким, хотя и настороженным любопытством. Неожиданно рыба в его руках рванулась, он не удержал ее и уронил в воду. Слепшая и задохнувшаяся, она тут же попала во вторую сеть, откуда веяло прохладой материнской речной воды.

— От судьбы не уйдешь, — вдруг мрачно усмехнулся Николай, заметив, что рыба попалась. — Так, Гриня?

Мужик в оранжевом комбинезоне нехотя глянул на него, но ничего не ответил.

— Что молчишь? — сказал Николай. — Не ждал, что свидимся?

— На черта ты нужен, — пробурчал мужик в сторону.

— Ладно, — усмехнулся Николай. — Свиделись, так здорово.

— Здорово, — нехотя согласился мужик.

— И ты здравствуй, — обратился Николай к парню в гимнастерке. — Как тебя, эй?

— Меня? — задубовевшими губами переспросил парень.

— Тебя, тебя...

— Из города он, это... Родственник мой... — вдруг забеспокоился Мурзилка. — Помочь, это, приехал...

— Ну а зовут-то его как? — засмеялся Шварц. — Или не знаешь?

— Серега, — вымолвил наконец парень загробным, совершенно выстуженным голосом. — Серега я...

Шварц вдруг изменился.

— А ты, Серега, в городе где живешь? — вдруг спросил он.

— Я на Морской, где универмаг, — с трудом ворочая языком, отвечал парень.

— Рядом с военкоматом, значит?

— Рядом...

— А номер дома своего помнишь? — неожиданно встрял Сашка.

— Дом... номер... пять... — сдерживая дрожь, выцедил парень.

Он казался совершенно измученным, и ей стало жалко его. Ей неприятно было смотреть на его мокрые голые ноги и монотонно дрожащую жилку на тощей шее. Она хотела было даже сказать, чтобы оставили его в покое, но, взглянув на Шварца, она вдруг поняла, что перед нею совсем не тот человек, которого она привыкла видеть рядом с собой.

— Ну вот что, — скомандовал Шварц. — Хватит болтать. Я пойду с Максимычем протокольчик оформлю, а ты, — обратился он к Сашке, — подгоняй вездеход и всю рыбу — в кузов!

— Да как же это так, господин начальник? — пораженный, запричитал Мурзилка. — Может, это, сперва чайку попьем? Чайку, а?

Лицо Мурзилки, который старался и расположить к себе, и разжалобить Шварца, растягивалось в какую-то нечеловеческую гримасу. И, глядя,

как в пьяных глазах бригадира закипают слезы досады и самоуничижения, она почувствовала внезапный стыд за то, что сама стоит тут, смотрит на это кривлянье и унижение человека и не смеет даже крикнуть «хватит!», потому что другие бесчувственно не замечают всей мерзости происходящего.

Постепенно до нее дошло, что *это* и есть то, ради чего она ехала, что ничего эффективнее, чем неприветливый черный берег и туман, висящий над океаном, уже не будет и ничего страшнее, чем посиневшие от холода губы продрогшего парня в гимнастерке и кривлянья Мурзилки, тоже не будет, потому что это и есть браконьеры и их уже поймали. Она никак не ждала, что им придется иметь дело с такими жалкими и беспомощными противниками...

Она видела, как Сашка подогнал вездеход к краю высокого берега, а парень и мужик в оранжевом вновь принялись выбирать рыбу из сети и складывать в грязные, облипшие песком мешки. Сашка эти мешки завязывал веревкой и составлял рядом, равнодушно наблюдая, как идет у браконьеров работа.

Она взглянула на Николая. Тот сидел на краю берегового обрыва, все поглядывая на мужика в оранжевом комбинезоне. «Как надсмотрщик, — подумала она с неприязнью. — Помог бы, что ли...» Мужик работал, повернувшись к нему спиной, будто чувствуя на себе этот тяжелый взгляд. Он определенно избегал поворачиваться лицом к берегу. Она не успела разобраться со своим неожиданным открытием, ибо сама почувствовала, что на нее кто-то смотрит.

Обернувшись, она увидела мальчика. Он сидел на корточках возле гусеницы вездехода и смотрел на нее. От неожиданности она улыбнулась ему и подмигнула, давая понять, что она не из тех, кто осуждает его за принадлежность к браконьерскому клану. Мальчик не отреагировал. Его большие зеленые глаза глядели на нее без неприязни, но и без тепла, с каким-то настойчивым, но осторожным кошачьим любопытством. Она решительно не знала, как вести себя с ним, и была бы рада, если б мальчишка убрался куда-нибудь, но он все смотрел и не собирался, по-видимому, прерывать это занятие.

— Послушай, — как можно ласковой сказала она. — Давай познакомимся. Тебя как зовут?

Он ничего не ответил. Смотрел, как она говорит, как треплет ей волосы ветер.

— Ну вот... — сказала она отчаянно. — Все молчишь? Ну а делаешь-то ты что? В школе учишься?

— Карл у Клары украл кораллы, — отреагировал он. — Напоил водярой и украл...

Во как... Она подумала, что надо бы погладить мальчика по головке и убраться подобру-поздорову. И даже протянула к мальчишке руку, но в эту секунду перехватила огненный взгляд Николая. Было в этом взгляде что-то такое, что заставило ее, как от оголенного провода, отдернуть ладонь от нечесаной головы парнишки и с испугом поглядеть в его зеленые глаза. Господи, дошло до нее, да ведь он ненормальный...

Николай следил за нею глазами, словно не верил, что все обошлось; потом слабо улыбнулся и кивнул. Она и сама чувствовала, что избежала какой-то опасности...

И Николай ненормальный, вдруг поняла она. И Шварц... Да здесь все какие-то чокнутые... Она поднялась с земли и, чувствуя, как тело покалывает всепроникающий песок, пошла к дому. На стук в дверь никто не ответил. Постучав еще раз, решила войти. Она успела разглядеть тусклое оконце, из которого сочился свет на черную кровать, заваленную вместо белья и одеял каким-то лоснящимся тряпьем, и такой же черный стол, за которым сидел Шварц, возле которого, причитая и дергая руками, вертелся Мурзилка:

— Где мне рыбы-то брать, начальник? Как аренды эти платить? Или в другое место пусть переведут меня! Чего, вишь, выдумали — бригаду ставить на запрещенной реке! Тут чего ни пиши, а правды не напишешь!

Шварц бесчувственно кивал и писал что-то в бумагу.

Она почувствовала вдруг дурноту: запах этого жилья, пропахшего рыбой, табачищем, нечистой человеческой плотью, керосиновой копотью и спиртовым перегаром, оглушил ее и заставил опрометью броситься вон.

Шварц выскочил следом, поглядел на нее с беспокойством, но ничего не сказал.

Рыбы вышло четырнадцать мешков. Пьяненький Мурзилка, спустившись к воде, все трогал мешки руками и спрашивал: «С полтонны будет, а? С полтонны, а?»

Сашка смеялся:

— Будет, будет...

Мурзилка взялся даже загружать мешки в вездеход. Сперва Сашка с Григорием, кряхтя и вполголоса матерясь, поднимали мешок к краю обрыва, и тут Мурзилка вцеплялся в него и волок — то волоком, то на спине — до вездехода, где уже перехватывали мешок Шварц или Николай. Мешки были мокрые, в рыбьей слизи, песке и чешуе, и грязная рубаха бригадира вымаралась совсем, пошла на спине черными пузырями. Но в пьяном азарте Мурзилка уже ничего не замечал и продолжал битву с мешками, хрипло и часто дыша. Мальчишка теперь крутился у воды, возле парня, который хоть и дрожал непрерывно, а все-таки на берег не вылезал, с жуткой покорностью собирая пустую сеть в стороне от погрузчиков. Она вдруг увидела, что у него мокрые... то есть, скорее всего, описанные штаны. И снова показалось совершенно диким все, что происходит здесь, и непонятным...

Сашка перебил ее мысли.

— Шабаш! — закричал он, вскидывая на берег последний мешок. — Умаялись, перекур!

Все закурили, кроме Шварца да парня, возившегося с сетью.

Мурзилка поискал по карманам курево, но не нашел и, вздохнув, уселся на песок чуть в стороне от всех.

— Максимиш, — вдруг позвал Николай, протягивая сигареты, — на-ка покури.

Мурзилка потянулся, кивая благодарно. Грубые руки его дрожали. Сашка, поглядев на него, усмехнулся. Мужик в оранжевом комбинезоне, поморщившись, отвернулся в сторону.

— Гриша, — словно только того и ожидая, вдруг спросил Николай. — А что ж не встречались мы тут с тобой прежде?

— Бог миловал, — отрезал мужик не поворачиваясь.

Желтый глаз хромого ожил:

— Кошечку мою помнишь?

Мужик из-за плеча взглянул на Николая с опаской.

— А помнишь, как ты меня напоить велел и в трюме бросил?

— Не надо, Коля, — попросил мужик в оранжевом, поднимаясь с земли. — Жизнь прошла, теперь-то что?

— Он боцманом у нас был, стучал, падла, — вдруг нехорошо стал заводиться Николай. — Котенка моего утопил — за то, что я его на чистую вывел... А меня...

Тут к месту случившийся Сашка обхватил Николая за плечи:

— Ты, Коля, остынь, ладно, знаем же все...

Николай неожиданно подчинился:

— Вот увидал его, гада...

Тишина повисла. Ей страшно было взглянуть на Николая и на Григория, и она смотрела в воду реки, понемногу просветлевшую от мути.

О чем же я буду писать? — вдруг подумала она. И зачем это? Зачем кому-то знать, что живут на свете эти люди? Ведь никому нет дела до них... До того, какая нечеловеческая тоска тут, на берегу, и как пахнет их дом, где спит этот мальчик в куче одеял, на которые и смотреть-то страшно, не то что... и про это Николаево несчастье, и про этого мужика, забившегося в эту беспросветную дыру подальше от чужих глаз и собственной совести...

Она не знала, что с нею и почему ей так жалко этих людей, этих омерзительно грязных и подлых людей, но, если бы это было в ее власти, она сделала бы так, чтобы они уехали, а Мурзилка и его люди остались на берегу, и чтоб ничего не надо было писать — ни протоколов, ни статей в газету, а просто — будто они ехали мимо и ничего не заметили.

— Послушайте, — повернулась она к Шварцу. — А что дальше? Что с ними будет?

Шварц внимательно взглянул на нее.

— Рыбу конфискуем, — сказал он спокойно. — А Максимыча судить бы надо. Не первый раз он уже...

— А я бы отпустила его, — вдруг неожиданно для себя произнесла она.

Все обернулись. Николай вдруг глянул на нее с интересом, и даже Мурзилка, до этого не обращавший на нее ровным счетом никакого внимания, уставился на нее в полнейшем недоумении. Он был больше всех удивлен ее словами — и даже, собственно, не возможностью какого-то неожиданного поворота своей горемычной судьбы, а именно тем, что посторонний человек, баба, стала его, Мурзилку, защищать.

— Почему отпустила бы? — вдруг спросил Шварц серьезно.

Но решимость уже оставила ее, в глаза набрались слезы, и сил только хватило, чтобы кивнуть на них — на Мурзилку, на паренька этого — и прошептать:

— Да вы посмотрите на них...

IX

Мурзилка курил, сплевывая тягучую желтую слюну. Только сейчас Шварц заметил, какое истертое, изможденное у него лицо, какое безразличие и тоска в глазах. Ничего не выражали они, даже жалости к себе. Паренек... Шварц разглядел паренька... с кем останется? Дурацкая история. Не протокол же переписывать? И не его это дело — грехи отпускать, что он — Иисус Христос, что ли? Шварц на миг представил себя Иисусом Христом. Ну, Мурзилку бы он, конечно, отпустил. Но из инспекции был бы уволен. И что бы делать стал?

В этот момент он разглядел на песке следы. Свежие следы широченных гусениц военного тягача. И потом, подумал Шварц нервно, предчувствуя новый и неожиданный поворот дела, этот парень в гимнастерке — откуда он здесь взялся-то все-таки?

Он обошел ближайшие кусты и сразу нашел пилотку, ремень и прятанные под кустом сапоги. Его осенило.

— Эй! — крикнул он парню, который по-прежнему стоял в реке, весь серый от холода. — Где твои сапоги-то?

— В... в доме, — еле выговорил тот.

— Чего ж не надел? — спросил он и усмехнулся. — Короче: кто спирт привез?

Мурзилка понял, что пропал, и угрюмо глядел в песок.

— Кто утром на военном тягаче приезжал? Кто солдата привез? Кто нерку ловить надоумил? А?

Мурзилка молчал. Он попытался затянуться, но сигарета у него погасла. Девушка глядела то на Максимыча, то на Шварца — непонимающе и

тревожно. Сейчас я тебе покажу, милая моя, кого ты отпустить собиралась, не без удовольствия подумал Шварц. Он сделал несколько шагов и остановился у Мурзилки за спиной.

— Молчи, молчи. А я сам тебе расскажу, кто спиртом поил, кто нерку ловить надоумил... Майор ведь? Майор Коблев?

Мурзилка еще ниже склонил голову.

— Чего в рот воды набрали? — не выдержал Сашка, сообразив, в чем дело. — Кого жалеете?

Мурзилка поерзал и кашлянул, но опять ничего не сказал.

— Значит, дураки, на себя все берете? То-то он порадуетя! — с издевкой произнес Шварц. — А вам за чужие грехи под суд. Что, Гриша? Неохота? Тогда говори: майор был?

— Он, — сказал Григорий.

— И не в первый раз, — подсказал Шварц.

— Каждое лето дань с нас берет.

— Сегодня вернется?

— Обещался быть.

Шварц быстро взглянул на Сашку.

— Машину заметит! — вскочил Сашка на ноги. — На самом виду оставили, дураки...

Николай выругался. Силуэт грузовика отчетливо чернел на фоне серого неба с той стороны реки.

— Когда он вернуться должен? — толкнул Шварц Григория. — Убрать успеем?

Григорий пожал плечами.

— Ну а поехал-то он куда? Откуда появится?

— Да он не докладывает ведь... Но карабин у него был, так к озеру, верно. Там в прошлом году медведя мы нашли: мясо брошено, ошкурено, а желчь вынута...

— Так, — нервно сказал Шварц. — Так, так, так... Это совсем другой разговор получается...

Он не успел договорить — Сашка схватил его за руку и стиснул до боли:

— Тише!

Откуда-то издали докатился низкий звук, похожий на отдаленный гром.

— Перегазовка, — сказал Сашка. — Вот опять...

Шварц знал, что в таких вещах Сашка не ошибается.

Он увидел, как Мурзилка повел вокруг затравленным и обреченным взглядом, как попятился к обрыву Григорий, а Пашка вскарабкался на вездеход, пылая от любопытства, и только этот парень стоял в воде как приговоренный, этот парень...

Шварц понял вдруг, что надо первым делом убрать вот этого из воды.

— Эй! — скомандовал он. — В кузов, быстро!

Парень подчинился без промедления. С какой-то лихорадочной поспешностью на негнущихся ногах вскарабкался он на берег, подбежал к вездеходу, но в кузов сразу не полез, а стал мочиться на гусеницу вездехода, глядя перед собой бездумными слепыми глазами.

— Николай, Лена! — распорядился Шварц. — Вы тоже в кузов давайте. И парня держите, чтоб дела нам не испортил... Сашка, в кабину! И чтоб видно никого не было!

Теперь уже отчетливо вдалеке слышался рев мотора.

— Максимыч! — позвал Шварц.

Мурзилка с тоской поглядел на него.

— Поможешь — от суда избавлю. Честно. Мне одно надо: чтоб он на землю спустился. Чтоб из кабины вылез, понимаешь?

X

Кузов был завален мешками с рыбой, и за кабиной, где все они сидели, согнувшись в три погибели, ибо брезентовая крыша кузова давно сгнила и поверх бортов торчали лишь гнутые ржавые ребра, когда-то поддерживавшие ее, скопилась вонючая вода, розовая от рыбьей крови. К счастью, Николай оказался между нею и этим парнем, опрокинувшимся на мешок, как мертвый. Над синеватой верхней губой парня она заметила несколько волосяков и тут только подумала, что этот солдат, скорее всего, не старше ее. Она видела белую и слабую, как у подростка, шею и еще ногу, почти синюю от холода, в луже розоватой воды. И почему-то мысль о том, что эта нога с желтыми ногтями и скрюченными пальцами принадлежит ее ровеснику, была ей страшна. Никогда, за все годы жизни, она не думала, что можно подвергнуться столь страшному физическому унижению. Больше она ничего не видела — только напряженно-внимательный профиль Николая и его вспыхивающий огнем ожидания глаз.

Снаружи была сначала какая-то суета, но потом все стихло, и только один звук неумолимо ширился и нарастал, вытесняя из пространства меж небом и землей и шум прибоя, и шорохи ветра, и крики чаек. Теперь он слышался совсем близко: сотрясая Мурзилкин вездеход, низом стлался грозный рокот мотора и тяжелый ляг рвущих землю гусениц. В какой-то момент звук достиг такой густоты и силы, что ей показалось, будто он висит над ними и вот-вот накроет их и раздавит. Взглянув на Николая, она увидела его огненный глаз, неистово вращающийся от невозможности увидеть то, что происходит снаружи. Это показалось ей до того смешным, что она фыркнула, а он посмотрел на нее, приложил палец к губам и прошептал доверительно:

— Мотор не глушит, собака...

И тут все стихло.

Сильно запахло гарью, потом негромко что-то звякнуло.

— Люк открыл,— пояснил Николай и подмигнул ей.

За всю поездку она никогда не переживала знака важнее, чем это подмигивание занозистого и столь поначалу неприятного ей человека.

Потом чужой голос спросил:

— Ну что, Мурзилка, готово?

Сквозь оживший шум ветра и волн донесся слабый голос Мурзилки:

— Готово.

— Давай сто штук в кузов, быстро!

Снова стало слышно, как бьют в берег волны.

— Так ведь, это, — забормотал Мурзилка, — таскать, это, надо... Мы уж наш вездеход забили...

— Да вы что, еб вашу мать, охренели, что ли?! — заорал майор. — Какого черта?!

— Думали, до Комиссарки допрем, там и разгрузимся — чего время терять? — бултыхался во вранье Мурзилка.

— Мудачье, — сказал майор. — Все не так надо было... Где Егоров?

Николай повернулся к парню и показал сильно сжатый кулак. Тот обреченно закрыл едва приоткрытые глаза.

— Где Егоров, я спрашиваю?!

— Ушел, — выдавил из себя Мурзилка. — По берегу, наверно...

— Так, — сказал чужой со злостью. — Вы все перепились, что ли? Что за машина с той стороны?!

Мурзилка не нашелся, что ответить, и неуверенно замычал. Николай вполголоса выругался.

— Чья машина? — снова спросил чужой.

— Моя, — вдруг сказал Шварц.

Воцарилась глубокая тишина. Николай что-то пошептал себе под нос и перекрестился. Она не удержалась и позволила себе выглянуть: метрах в двадцати от них стояла тяжелая хищная тварь на гусеницах, с приплюснутым, как у лягушки, рылом. Высунувшись по пояс из кабины, наверху сидел человек. Круглое самоуверенное лицо его растягивала принужденная улыбка.

— Что прячешься, господин начальник? — почти весело спросил человек, смерив Шварца взглядом. — Или ловишь опять кого?

— Нет, — сказал Шварц, делая шаг к тягачу. — В прятки играю.

— Это дело, — сказал чужой, оглядываясь по сторонам. — Опять Мурзилка набедокурил?

— Да вот, — отозвался Шварц, делая еще один шаг вперед. — На полтонны рыбы взял, а речка-то запрещенная...

— А-а, — развеселился чужой. — Это бывает с ним. Ворует, грешен.

— Рыбу-то я у него конфискую, сам понимаешь, — произнес Шварц задумчиво. — Но вот спирт? Спирт у тебя есть?

Майор тоже помолчал.

— Это решай без меня, господин начальник... И так времени нет, а я тут с тобой заболтался...

— Ладно, — сказал Шварц не слишком уверенно. — А солярки не нальешь в вездеход, а то тронуться не можем?

— Солярки? — улыбнулся майор. — Кончилась, что ли?

— Ну.

— Налить можно, — расплылся в улыбке майор. — Почему не налить?

Он скользнул в люк. Военный тягач зарычал, развернулся, работая одной гусеницей, и двинул задним ходом к вездеходу, заставив Шварца отступить в сторону. Потом остановился, вздрогнул и рванулся вперед, не смотря на обрыв, — прямо к реке.

— Уйдет! — закричал обманутый Шварц, вскарабкиваясь на крышу вездехода. — Саня, гони!

Она почувствовала, как ухнуло мироздание, и в следующий момент вездеход уже ломился через прибрежные заросли, подминая под себя кусты. Один мешок с рыбой сразу развязался, и скользкие тела рыб оказались повсюду; пластаясь, по ним полез к кабине неизвестно как оказавшийся в кузове Мурзилка, который вдруг, возгоревшись мрачным спиртовым огнем, заорал, выпрямившись во весь рост:

— Давай! Отрезай, мать твою в душу! К реке не пускай его!

Рядом первобытно матерился Николай. Она увидела распахнутый в проклятых земляной Мурзилкин рот, увидела, как мальчик-солдат, вцепившись в борт голубыми руками, беззвучно плачет. Она захотела, чтоб остановились и высадили ее — с нее довольно было приключений, довольно романтики, всего довольно! — но не успела даже пикнуть. Осыпая песок, вездеход ухнул с берега в воду, она ударилась грудью о борт и тут же опрокинулась навзничь в вонючую жижу. Песком из-под гусениц чужака обдало весь кузов. Уже не видя ничего, сквозь ляг железа и дикий рев услышала она чей-то крик в самое ухо: «Держись!» Различила стальной блеск воды и наваливающуюся на них сбоку темную тень. Потом — грохот, странное ощущение ускользящей из-под ног опоры — почти невесомость! — и внезапно охвативший ее холод стремительной воды.

Она не видела, как тягач майора ударил в борт Мурзилкин вездеход, не видела, как Шварц перепрыгнул на крышу чужой кабины и, откинув люк, бил сапогом майора в голову. Она не знала, чьи руки нащупали ее в ледяной тьме и, выдирая волосы, потянули к ускользящему свету неба. Она не знала, кто дышал ей в рот и бил по щекам, но, почувствовав на губах вкус крови, первое, что увидела она, был желтый пронзительный глаз, мигающий мокрыми ресницами.

Ее подняли и повели куда-то, и когда ее вырвало, она заметила мальчишку, что взад-вперед бегал по песчаной косе и надтреснутым голосом, которого никто никогда не слышал от него, звал:

— Папка! Папка!

Река, гремя, неслась вперед — туда, где навстречу ей поднимались медлительные волны океана. Океан дышал шумно, но безучастно: тащил себе с берега песок, выбрасывал мусор. Из темных его глубин поднималась на нерест нежная нерка. И под водою — там, где река соединяется с морем, — широко раскинув руки и кивая головой, встречал рыбу Мурзилка, звал войти в свободное устье...

И это было *настоящее*, самое неподдельное настоящее, в котором ни она и никто, даже сам Господь Бог, ровным счетом ничего не могли изменить... Пока *взрослые* возились с вездеходами, вязали майора и писали новые протоколы, она подобрала на песке черную пуговицу от старой Мурзилкиной кофты и протянула ее Пашке.

Он отбежал, как дикий волчонок, и, кажется, даже не понял, что она подала ему.



МАРИЯ ВАТУТИНА

*

ОСКОЛОК ТЬМЫ

* *
*

Помнишь, переходили дорогу в неполюженном месте?
Снег повалил: ни вернуться, ни разгрести.
А сойдя с перрона в ночном предместье,
Где в инцесте живут поэтессы с поэтами, ты в горсти
Зажимал мою кисть, как клинок для мести.

Или помнишь, я, оборачиваясь и дрожа,
Как в убежище из стекла и бумаги,
Забегала в дом твой.

От гаража
Отделялась тень вековой коряги,
Черт-те кем поставленной в сторожа.

Беспокойно, чутко спала округа.
Вьюги вьюн обвил околоток тьмы.
Было нужно нам предъявить друг друга
Небесам, под которыми ходим мы!

Твоему Небу и моему Небу.
Так предъявляют новую негу
Разлюбившим нас, бывшим, любившим нас.
...Приходила дворняга в неподходящий час.
Напилась и вышла. Ушла по снегу,
Не оставляя следов...

* *
*

Скоро настанет возраст, в котором ты
Влюбишься в предсказуемость суеты,
Где беспокойство, словно зона конфликта,
Не заползает в квартиру твою из лифта.

Было в начале Слово. Потом разлад.
Кровоточили десны. Свихнулся брат.
В гору пошел другой. И пришла жена,
Ужином накормила, дала вина.
Все залечила, выстирала, сожгла.
И — зажила.

Ватутина Мария Олеговна родилась в Москве в 1968 году. Поэт, эссеист, прозаик. Неоднократно публиковалась в «Новом мире», других журналах и альманахах.

Житель контекста Библии, библиофил,
 Кто адским яблоком горло твое забил?
 Слово забыл. Ты Слово забыл, с которым
 Был не в ладу, которое брал измором
 И сочинял планету, ремесла, саги,
 Цивилизации, вечное на бумаге
 Тленной. А нынче телу диктует позу
 Только брюшко и ужина ждет, что дозу.
 И неотрывно, словно в рецепт провизор,
 Смотришь ты до полуночи в телевизор.

Воспоминание

Помнишь, как жили-тужили на Бронной?
 Ведьму белесую в синих тенях.
 Мокрый стояк в коммунальной уборной.
 Тумбочку для телефона в сенях.

Пуфик смешной в кабинете соседа.
 Ванную с запахом соли морской.
 Жизнь прожита после этого где-то
 В третьей стране у черты городской.

Я привожу к Патриаршим потомство,
 Молча смотрю на упавший с небес
 Трепетный лист. И святое бездомство
 Здесь ощущаю и праздную днесь.

Что ли закурим, мой ангел патлатый?
 Джинсы с надрезом. Рюкзак за спиной.
 Как я устала от витиеватой
 Линии зла, закрепленной за мной.

Это на Бронной, во всем виноватой,
 В сиром сортире из петли проклятой,
 Сооруженной на ручке дверной,
 Вынули маму однажды весной.

* *
 *

Ужин отдать врагу?

Приходи и ешь!

...Помнишь, как мы гуляли с тобою меж
 Ветхих усадеб. Страшно мне и теперь,
 Словно дышал мне в шею голодный зверь.

.....
 Как я училась жадно твоим речам!
 Как я устала вздрагивать по ночам!
 Как я гадала, сколько веков назад
 Выполз из чрева твой воспаленный взгляд.

И догадалась: страшно и повторить!
 Только могила может нас помирить!
 Но, Сатана, ты мыкаешься в веках,
 Ездишь на «Ниве», моську завел, зачах.

Лишь иногда (ступеньками скрип-да-скрип)
 В дом твой крадется мой полуночный всхлип.
 Это в дали заоблачной вновь и вновь
 Снится мне что-то страшное про любовь.

Переселение

Прекрасна родина, чудесно жить в ладу...

Е. Р.

Живи по-дачному: складируй вещи здесь,
 На столике журнальном ешь и стряпай.
 Переселенья маленькую месть
 На этот раз тебе не мама с папой
 Устроили.

Физический износ

Настолько материален — диву дашься!
 И как бы славно телу ни жилось,
 Ему придется с адом повидаться.

Грустна, неповоротлива, слаба.
 Слова произносить поднадоело.
 Молчи, гортань! Остановись, судьба!
 Не мучай дальше немощное тело.

В жилище новом холод и бардак.
 Скажу я вам, переселенье — мрачно,
 Когда тебе до сорока пятак,
 А тишина в квартире многозначна.

Неприхотливую приготавливай еду.
 С могилую не сравнивай квартиру.
 Прекрасна родина. Чудесно жить в аду,
 По *Адресу*, неведомому миру.

* *
 *

Отвернешься — забуду твои черты.
 А умру — забуду, как жизнь прошла.
 Я еще не знаю толком, чем ты
 В этой жизни был. Я не помню зла,
 Я не помню радости. По ночам
 Я не помню, как наступает день:
 То ли тень ползет по моим плечам,
 То ли снега тихая дребедень
 По карнизу. Дворники речь ведут
 И лопатой скрябают об асфальт
 Далеко внизу. Поцелуй вот тут,
 Где порезал кесарь, войдя в азарт,
 Разрезая маму мою. В проем
 Живота потыркав — такой остряк.
 Вот засечка на левом плече моем:
 Акушерский прочерк иль Божий знак?

Очевидно, первое. Я боюсь.
 Обними меня. Появись вблизи
 И послушай: снег ли наводит грусть,
 Дворник возится в снеговой грязи,
 Или ранний путник торопит шаг,
 Или чиркает по плечу Господь:
 Ты жила, жила, ты любила так,
 Что теряла память, сжигала плоть,
 Выкликала гибель, гнала подруг,
 Зазывала счастье исподтишка.
 У тебя от жизни — один испуг
 Да родимый шов в полтора стежка.

* *
 *

Сколько раз я звала к себе смерть,
 Бабу Валю и бабу Маню.
 Просила: «Миленькие, заберите, терпеть
 Не в силах, живу на грани».

«Жизнь прекрасна!» — кричали сверху.
 «Скушай тюрьку и слушай сказку», — шептали снизу.
 Голубей, прилетающих на поверку,
 Не гони с карниза.

«Это, — говорили старые, — мы и есть!
 Баба Маня да баба Валя.
 Не смотри телевизор, но и в окно не лезь.
 Собери игрушки, они устали.

Пиши буквы правильно, каждую по три строки,
 Выводи хвостик у буквы «а», не елозь на стуле.
 И тогда все в жизни сложится, все сложится, чир-ки-ки,
 Кто-нибудь да покрошит булочку, гули-гули».

* *
 *

Позвонить тебе, что ли, спросить, мы в ссоре или..?
 И услышать в ответ: «А мы тебя схоронили.

Сколько лет пролетело, в одном лишь черпаю силу,
 Что никто покуда не видел твою могилу».

Вот как скажет. А ты, а тебе что горох об стену.
 Это ты все годы брала его на измену.
 Это ты вскричать готова:
 «Я жива-здорова!
 Даже морщусь, если потыркать иголкой в мякоть!»
 А трубка скрипнет: «Не плакать!»
 А трубка скрипкой сама заплачет
 О том, что любовь — ничего не значит.

* *
*

В Москве дожди идут из облаков,
Светящихся на черном небе, словно
Сто лун за ними, нимбов, маяков,
Сто белых стай, воркующих любовно.

Смотри на свет! Он может нас спасти,
Я сотни раз проделывала это.
А что тебе на память привезти
С того недостижимого света?

* *
*

Пока закуришь сигарету,
Придет автобус. За-га-си.
Так Бог планировал планету
С огромной родинкой Руси,

Чтоб все не клеилось без Бога.
И ты Его не торопи.
Пришел автобус. Ждет дорога.
О брэнном не тревожься. Спи.



НИНА ГОРЛАНОВА

*

РАССКАЗЫ

ДУШЕЧЕК НЕ БЫВАЕТ

В Троицу треволнения начались сразу после обеда. Приехала подруга за луковицей, листья которой сводят бородавки (пока Ляля лежала в психбольнице, у нее засох цветок, что я давала, а бородавка еще только наполовину сошла).

Она сразу прошла на кухню — села у форточки и закурила. Вдруг лицо ее исказилось болью, а глаза так напряженно посмотрели куда-то вдаль, словно с вопросом: есть ли свет-то в конце тоннеля?

— Нин, представь: поставила я во дворе корзину с плакатом «Для сволочей, которые бросают бутылки в кусты!». А ее сломали.

— Ляль, может, нужно было написать: «А попробуйте попасть бутылкой в корзину!»?

Ну, тут началось: я получила по полной программе (Лялина болезнь проявляется как агрессивность). Сначала подруга обозвала меня «светофором» (цвета моей одежды ужасны, по ее мнению), а затем попало моему голосу:

— Знаешь, сейчас твой голос — бархатные штаны, протертые на коленях! Где ты его взяла сегодня? Говори своим обычным голосом!

А в конце еще гостя покурила на кухне и незатушенную сигарету бросила в ведро — мусор загорелся. Я потушила. Проводила Лялю.

И тотчас позвонил сын подруги Аси, тоже в этом году сошедшей с ума:

— Теть Нин, помогите найти хорошего психиатра — с мамой опять плохо!

— Да, конечно, обязательно займусь этим.

Я позвонила знакомому психиатру Диме и договорилась о консультации, услышав информацию про эту весну: каждые сутки тридцать — сорок вызовов психбригады, что-то делается с пермяками... никогда такого не было!

Тик у меня под правым глазом начался. И словно сам тик мне сказал: отключи телефон, отдохни, краски достань. Чтоб выправить свое настроение, я решила перерасписать фаянсового Толстого.

Нам подарили его месяц назад. Но дочери сказали:

— Лев Николаевич такой угрюмый — с ним жить нельзя! Всем своим видом он говорит: не так все делаете! Убери его, мама, за кровать!

И тогда я его расписала, как мир (земля черная, деревья фисташковые, небо — то есть плечи — синим). Ведь Толстой — это целый мир. А дочери говорили, что все равно угрюмый — с таким Толстым жить нельзя. «Или желто-красного добавь, или — за кровать!»

Горланова Нина Викторовна родилась в Пермской области. Закончила Пермский университет. Автор многих книг прозы. Печаталась в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Звезда». Живет в Перми.

Купила я желтый марс и красный кадмий — повеселее, может, будет Лев Николаевич.

Я уже из-под шкафа вытащила свои краски и собралась отключить телефон. Но тут он как раз зазвонил. Муж взял трубку: «Марина? Нет? Нину! Хорошо».

Меня оглушил ликующий женский голос:

— Нина! Это ты? Догадалась, кто звонит?

Голос красивый, знакомый, но... что-то пока не узнаю.

— Нина, это я, Ксана, Ксения! Я сейчас под Пермью — у тети в Добрянке... — И такая от ее голоса шла сила — молодости!

— Ксана! Ты к нам заедешь?

— Нет, уже не успею. Тут сорняки такие на огороде — пальмы! Я помагаю полоть. Нин, ну как вы все, Стаса моего видишь?

— Как-то... один раз. Говорит, пианино сейчас никто не хочет иметь, настройщики не нужны, он увлекся... забыла, чем же... а, сборкой часов. На вокзале выбросили часы величиной с таз, Стас отремонтировал их, дома поставил. А ты как?

— Нин, ты запиши мой новый номер телефона! В Питере у тебя ведь книжка вышла, если будешь там — у меня можно остановиться. Поговорим. А это правда, что у меня голос все еще красивый?

— Очень.

— Я и выгляжу все так же!

— Молодец. Рада была услышать тебя.

— Это тебе подарок на Троицу!

— Спасибо.

Пока длился этот разговор, я наблюдала в окне молодое крепкое розоватое облако, которое проплывало, как чудное мгновение. И в то же время — с оттенком вечности облако! Надо срочно пейзаж такой намазать! А Толстого пока — за кровать.

Но белил-то у меня нет, вот что. Розовое облако без них никак не получится.

А портрет Ксении можно! Вспомнилась ее фраза: выгляжу все так же. А как — так? Она же все время менялась — с каждой своей любовью. Сначала была похожа на такую красивую медведицу. А влюбилась в диссидента и стала как Свобода на баррикадах Парижа (Делакруа). Возможно, этому способствовали уроки актерского мастерства, которые Ксана брала на ФОПе (факультете общественных профессий). Сам ученик ученика Станиславского их вел. Как сейчас помню театральную манеру иных реплик ее: «Пра-шу!» — или: «Не ха-чу!» (мхатовская пауза в середине слова).

Вот в виде Свободы на баррикадах я могу Ксению написать — фиштакшковый цвет для лица подойдет...

Познакомились мы на вступительном сочинении в университет — оказались рядом. Ксения с первого курса стала университетской звездой самодельности. Помню ее пантомиму (курсе уже на третьем) с прозрачной стеной: руки ищут выход, все быстрее и быстрее ощупывая невидимую преграду... а в чем там был смысл, я уже забыла, помню только, что подтекст мы находили антисоветский (слишком много было тогда невидимых, но всеми ясно ощущаемых преград).

Мы с четвертого курса жили в одной комнате общежития, и я удивлялась, что Ксения почти никогда в зеркало не смотрится. Конечно, она косметикой не пользовалась — слишком яркое (шоколадное) лицо и без этого. Но чтобы в зеркало не смотреться!

— Лицо имеет кто-то другой, а не я, — ответила Ксения на мой вопрос о зеркале.

Тогда как раз главным лицом в ее жизни стал студент-историк Кирилл Краюшкин.

У него веки верхние не были видны совсем, и пушистые брови воспринимались как ресницы — что-то девичье в облике. Но высокий. Даже очень: метра два с парой сантиметров. Видимо, это противоречие между девичьим лицом и мужской фигурой покорило Ксению.

Слово «любовь» она не просто произносила, а произносила благоговейно: «ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ». «В результате Всего Происходящего я стала другой».

— Раньше искала в людях доброту, а теперь — ум... Нин, у тебя так бывало в детстве, что долго смотришь на человека, и он начинает просвечивать как-то — все видно, жадный или нет?

У меня такого не было в детстве, но я хорошо представила Ксану девочкой, играющей в семью и всех угощающей «пирожками» из глины. Почему-то Ксана воспитывалась у тети в Добрянке, хотя мать тоже была, но где-то в Казахстане (замужем не за отцом Ксении — об отце ее я вообще ничего и не слыхала никогда).

Кирилл в начале мне казался смешным. Впрочем, в нашей юности все смешное было в цене. Голову он называл «кумполом» всегда. Практически. Говорил длинными словами всегда. Практически. Мол, не хочет он быть «карточкослюнителем», а кем хочет — недоговаривал. Кто-то даже сочинил:

Пахнет свежим огурцом,
Хочет стать Кирилл отцом.

Сначала ни она, ни мы не знали, что он — в кружке. Ксения, ранее рисовавшая на лекциях кошечек, теперь — из-за Всего Происходящего — окунулась в исторические вихри: чертила в тетрадах решетку сада — меандр — и объясняла мне, что этот символ — из Древней Греции, что он — знак солнца.

Могла даже заявить, что история не так пошла: вот если б Богдан Хмельницкий не заключил унию или ставка Золотой Орды была бы на Днепре, то...

А потом Ксения перестала завивать волосы, обкомовцев называла «политическими мандаринами». Тогда-то я и заметила, что она стала похожа на Свободу на баррикадах Парижа — из-за Всего Происходящего.

При этом она и Кирилл не ходили за руку, не обнимались и не целовались.

— Но один раз я все же прислонилась к нему — он не возражал, — ликовала Ксения. — А у меня сердце словно растеклось...

Я удивилась. Красота Ксении была особого рода — внесексуальной, да, вне... Она пятьдесят раз юбку под колени запихивала, когда Кирилл входил в нашу комнату. Сначала — юбку, а после зябко закрывала рукой грудь, поднимая плечи. А тут вдруг — сама к нему прислонилась? Возможно, тут было влияние Валентины, жившей тогда с нами в комнате и рассказывающей какие-то математические подробности о постельной любви: чуть ли не под каким градусом должно быть главное мужское достояние. Потом, правда, оказалось, что Валентина — девственница и все это просто сочинила для повышения своего статуса...

Ксения и Кирилл не были одним целым, однако это все же и не были отношения «учитель — ученик», не вопросо-ответные отношения, нет. Вопросы Ксения даже не задавала — она довольствовалась тем, что услышит. Точно, под определение «учитель — ученик» они не подходили, а похожи были примерно на прозрачный сосуд и жидкость. Сосуд — Ксения (просвечивало то, что налили)...

Конечно, Кирилл мечтал о свободе слова, и Ксения мне говорила: мол, это и есть самое сладкое — любить так, предчувствием счастья для

всех. Вот-вот пройдут какие-нибудь пять — десять лет, и социализм будет с человеческим лицом. Тогда мы в этом не видели ничего смешного, а одно благородное стремление послужить будущему.

Я сама — помню — словно очнулась тогда и увидела, что опять тусклоглазые сталинисты захватили все посты на факультете. Бывало, встретишься с таким взглядом — и все будущее скукоживается враз до размеров партсобраний (был конец шестидесятых).

Такой беспримесной любви я еще не встречала. Ксения не ждала от их союза ни удовольствий, ни выгод. Ей достаточно было Всего Происходящего!

Она даже не искала в этом союзе плеча, на которое можно опереться (сама была этим плечом: когда у Кирилла болела мама, Ксения привезла ей из Добрянки смородину, протертую с сахаром, то бишь витамины).

Потом Ксения уже сильно нервничала. На моем дне рождения (отмечали в комнате общежития) она не садилась за стол, потому что Кирилл все не приходил. Садись. Сейчас. Ты сядешь, нет? Да-да. Мы ждем. Я цветок полью (уходит). Ксения, мы начинаем. И тут появляется Кирилл. «Наконец-то!»

Она сразу стала пускать мыльные пузыри — это к тосту своему (пожелала мне, чтоб преграды между мной и любимым физиком лопнули, как эти мыльные пузыри, — я тогда была в ссоре со своим культовым героем).

Пожелания Кирилла я хорошо помню. Как всегда — в стиле историческом:

— Живи, чадо!

Но на самом деле, если вдуматься, что Ксения знала про слезку гэбистов за ним, то понятно ее поведение.

Ее вызывали к парторгу, страшному человеку, — Веселухиной. Только недавно я подумала: веселая фамилия, а тогда даже в голову не приходило, что фамилия веселая, фамилия воспринималась слитно с сутью нашего парторга... Все ее боялись.

Веселухина говорила, что Ксения — талант, надежда факультета, ее нужно вытянуть из этого кружка, из болота... Я утешала Ксению притчей про человека, который помогал посевам расти — руками тянул их из земли кверху, и все они завяли от этого...

После одного из допросов ее Кирилл просто упал на улице и умер от разрыва сердца.

Портрет Ксении я закончила. А фон какой сделать? Вот что: нужны разноцветные кусочки, чтоб они не перетекали друг в друга, а, наоборот, резко отличались друг от друга, как разные периоды ее жизни. Пестрота здесь просто необходима.

После похорон Ксения два дня скулила, лежа на кровати с закрытыми глазами. Когда она открывала глаза, в них было удивление: как, вы все еще здесь — ничего не изменилось после ухода Кирилла?!

Затем она стала садиться у окна и часами была неподвижна, только время от времени зажимала нос рукой, словно примеряла, как это — бездыханной сделаться... С наступлением темноты говорила:

— Ночь прыгнула на город, как черная кошка — на мышонка.

В один из таких дней, когда — по народному выражению — Ксения раскинула печаль по плечам, она вдруг резко вскочила и бодро произнесла:

— Живи, чадо! — то ли себе, то ли цветку, который решила полить в этот миг.

Вскоре до меня стали доходить слухи, что ее часто видят с каким-то мужчиной лет тридцати. Но мне она долго ничего не говорила, и я не спрашивала. Однако пару раз проскользнули у Ксении новые для меня словицы: «Думай не думай, а сто рублей не деньги». Потом этих проскользнутинок стало больше. Наконец я тоже встретила их вместе (в кинотеат-

ре), и Ксения представила мне Стаса, настройщика пианино. Он был разведен. Ксения после объясняла мне:

— Сначала я искала доброту, затем — ум, а теперь нужно, чтоб ум и доброта ВМЕСТЕ...

Ну, не знаю, что там вместе, но мне показалось, что Стас к Кириллу имеет такое же отношение, как утюг к космосу. Лицо у него все в бороде, но при этом казалось, что весь он голый, как на ладони. И улыбка какая-то... негреющая. Но я заглушала в себе все такие мысли, потому что Стас вернул Ксению к жизни.

Однажды она призналась, что вернула ее к жизни в том числе и физическая близость, но при этом сама положила руку на лоб, как при головной боли, из чего я заключила, что все не совсем так...

Она модно постриглась — под мальчика, это раз. У нее появились в гардеробе вещи из — казавшейся тогда прекрасной — синтетики, а раньше она словно вообще не замечала одежды своей. Только навсегда ее брови серьезно так соединились вдруг, словно ей нравилось хмуриться. Уже говорила его словами:

— Потроха-то у пианино легко привести в порядок, а вот сам футляр — если резьба... Чтобы стопроцентный ресурс вернуть инструменту, я должна научиться резать по дереву.

И научилась вскоре — даже показывала мне, какие мышцы на руке появились от этого.

И снова, и снова я слышала: «Думай не думай, а сто рублей не деньги». А ведь она знала, что для меня сто рублей — деньги (месячная зарплата м.н.с.)! И я уже постепенно стала отдаляться от Ксении. Тем более, что университет мы закончили и разъехались из общежития кто куда. Но виделись все, конечно, без конца.

Если про любовь к Кириллу она говорила «Все Происходящее», то о Стасе совсем по-другому: «Вляпалась так вляпалась».

— Нин, ты обо мне хуже думаешь, наверно, но что делать — вляпалась...

— С чего это я буду думать о тебе хуже?

— За то, что там была высокая нота, а здесь... одно слово — вляпалась! Но если Кирилл меня оттуда видит, то... простил?

— Ксения, высокая нота — это всегда трудно. Я же все понимаю. Женщине хочется стабильности. Как ни крути!

Тут она восторженно повисла на мне:

— Да! Я знаю: Стас — средняя величина, но ведь так хочется иметь семью.

— Слушай, даже для Канта норма красоты — средняя величина. Он предлагал взять сто силуэтов мужчин и наложить их друг на друга — наиболее затемненная часть может служить эталоном...

Я говорила о Канте, но имела в виду себя: у меня тогда тоже оборвалась высокая нота любви, и я искала счастья среди средних величин.

— Нин, честно? Даже для Канта! — Ксения закончила вскрикивать, повисать на мне и спросила: — Может, фамилия моя виновата? — У нее была фамилия Вагон. — Прицепляюсь к паровозу, так сказать... Душечка-два такая. Я ведь тоже на втором курсе была влюблена в преподавателя — Соломона, как чеховская Оленька — в учителя гимназии... И я растворяюсь в них — каждый раз.

И Ксения тут же смешно разыграла чеховскую Душечку: «Свят! Свят! Свят!» Слова были не чеховские, но все же как бы старинные, а молодой голос чуть съехал набок в пародийной интонации. Она изобразила, как Душечка в летний денек пробует ужин для мужа, затем — мальчика Сашеньку «верхом на палочке» (швабре). Здорово у нее это получалось, талант не спрячешь...

Как из деталей автомата можно собрать только автомат, так из девушек, изучающих Тургенева и Чехова, могли получиться только тургеневские или чеховские женщины.

Ксения несколько раз произнесла: «Душечка-два», словно ждала, что я буду ее переубеждать. И я стала переубеждать:

— Что значит — растворяешься в каждом? Соль, растворясь, не исчезает в воде, она изменяет воду, которая становится солоноватой. Все нормально. Как в Акчиге говорят: где мило — там глаза...

— Пойми, ведь я как будто не живу, когда Стаса нет рядом! Слово кислород есть только возле него!

— Наоборот, — сказала я, — ты своей любовью создаешь дополнительный кислород.

Этот обмен волнениями (не мыслями же — откуда мысли в таком возрасте) нас тогда как-то особенно сблизил.

Вскоре у сына Стаса (в первом браке) начались проблемы: ноги отнялись. Возможно, тут произошел перенос — мальчик пяти лет очень переживал уход отца, а отец ведь ногами ушел... Стас решил вернуться в семью. Ксения о прощальном свидании рассказывала, повторяя:

— А борода на плече. А борода на плече.

— Почему?

— Оглядывался. Уходил и оглядывался.

Она вдруг решила уехать в Питер — там получила комнату (вела при домоуправлении театральный кружок). И вскоре вышла замуж за эсперантиста. Конечно, выучила эсперанто. Мы переписывались. Она даже в Венеции съездила с мужем по линии эсперанто.

Нет, я пропустила архитектора. Сначала она в него влюбилась, писала мне об «архитектурном самолюбии» и архитектуре тишины. Архитектор звал ее Августейшая Ксения. Но не сложилось...

И вот после — замуж за эсперантиста. Детей у них не было.

Когда муж вдруг решил перебраться жить на Запад, Ксения за ним не поехала. Значит, не Душечка! Душечка все разделяет с любимым. А Ксения — не все. Так Софья Андреевна не разделила взгляды Толстого (в конце жизни).

Но на самом деле — если серьезно подумать — Душечек не существует! Если б чеховской Душечке, как жене Толстого, пришлось выбирать!.. Она бы тоже за детей своих заступилась, не дала их нищими оставить. А Ксения родину не захотела оставить.

Она любила писать письма. Даже ее вступительное сочинение — помню — было в виде письма: «Здравствуй, Галка! Я сдаю вступительные экзамены, свободная тема сочинения... такая-то... А помнишь, Галка, мы сидели на уроках литературы на одной парте и мечтали о...» Модно тогда это все было: Галки-парты... Считалось, что раскованность...

Сейчас уже она не про парты писала мне, а про бессонницы.

«Сегодня не спала и решила ставить цвета напротив поэта:

Пушкин — красное и черное,

Цветаева — золото с красным,

Ахматова — черное и белое,

Бродский — коричневый с белым,

Блок — синее и красное...»

Затем Ксения подружилась с молодой питерской художницей и полностью растворилась в этой дружбе (ничего грешного, не подумайте). Двадцать один год тому назад она с нею ездила к тете под Пермь, и на три дня они останавливались у нас.

— Понимаешь, Нин, я перелюбила, теперь даже думать о мужиках не хочу. Слишком жирно для них — производить моей любовью дополнительный кислород, правда? — Когда Ксения это произносила, к ее лицу как бы прильнула маска из тончайшего огня.

Художница научила Ксению маслом писать кошек и продавать на Невском.

— Я то на красном фоне их делаю, то на синем, быстро раскупают!

Правда, после я узнала, что подруга-художница, видимо, пожалела, что научила этому Ксану. В общем, они раздружились.

Потом мой сын ездил в Питер с другом. Ксения тогда держала собаку по имени Дунай и была вся в этом. Как раз Дуная кто-то облевал, пока она заходила в булочную, собаку привязывала... Сын рассказывал, что Ксения чуть не заболела от переживаний.

Я знаю более интересные случаи. Одна моя приятельница сейчас вообще замужем за... интерьером (своей квартиры). Бантик на мусорном ведре, батареи задрапированы. И зовет гостей на смотрины, как зовут показать жениха...

— Понимаешь, я раньше, когда влюблялась, — брала, а собаке сама даю, она полностью от меня зависит! — сказала мне Ксения по телефону (я позвонила спросить о сыне).

Я еще удивилась, что она, рисующая кошек, взяла собаку, а не кошку. Но так было.

Года через два Дунай заболел и умер.

Что же Ксения? Она решила... любить сейчас всех.

Видимо, так.

Почему сейчас? Она всегда была такой. Я никогда от нее не слышала ни одного раздраженного слова, никакой сплетни! Доброму человеку некогда быть злым.

Вот разгадка ее слов «Я все так же выгляжу» — Ксения имела в виду: так же молодо! Морщины ведь появляются от угрюмых мыслей, а у нее таких не бывает. Ксения не постарела, а только поумнела. Добрый умнее злого, потому что времени не тратит на зависть и козни (остается возможность много думать и много читать).

В любом случае приятнее услышать, что Ксения — «подарок мне к Троице», чем про «светофор» или про то, что мой голос — «бархатные штаны, протертые на коленках». Бедная Лялечка, почему она вдруг заболела?.. По первому каналу, кстати, сообщили, что Россия на втором месте по самоубийствам в мире сейчас. Интересно, на каком мы месте по количеству психбольных?

Конечно, дымчатый таинственный пробел в двадцать один год (столько мы не виделись с Ксенией) — терра инкогнита для меня. Что случилось за это время? Я мысленно восстанавливала логику Ксении. Видимо, ее открытие (что надо всех любить) строилось на желании растворить себя не в одном существе, а во всех сразу?

В последнее время сама любовь очеловечилась в нашей стране. Когда в начале перестройки мои младшие дочери читали афоризмы из вкладышей (жвачки), как я радовалась! «Любовь — это значит не раздражаться, когда на раковине остались ее волосы». Это что — наконец-то нейтрализовали страшную фразу Олеси в «Зависти» про женские волосы в тазу после мытья головы, которые герой ненавидит? Наконец-то...

Может, Ксения хочет своей любовью ко всем создавать дополнительный кислород? Раз думает, что ее звонок — ПОДАРОК, да еще к Троице! И ведь тут все правда: Ксения меня в самом деле любит, а любят ведь не за что-нибудь, а просто так. Любовь и есть подарок!

ДВОЕ*

Начнем с денег.

Саша в шесть лет хотел, чтобы волшебнул палочкой — и появился папа. Мама растила его одна. А в семь лет он наплевал на чудеса и стал приводить в дом то бородатых, то бритых, то уса­тых, то могучих. Ничего

* Рассказ написан в соавторстве с Вячеславом Букуром.

не добился, только мама каждый раз проверяла, не увлек ли с собой незнакомец ее лисью шапку.

А в девять лет...

Доска в заборе ходила как маятник (не весь забор против, какая-то доска и за нас — есть в жизни прорехи, через которые сыплется волшебство, чувствовал он). Атаман и Плющ (Атаманчук и Плющев) брали с собой в набег на макулатурный склад хромого Сашу (Кочу, то есть Кочетова), потому что он нарывал им интересное.

Завалы книг уходили под крышу, и ребята иногда чувствовали себя гномами, крадущими у властителей мира — взрослых — шелестящие сокровища.

Они вгрызались в горы бумажных связей, прорывали целые шахты. И находили пахнущие грибами тома: «Наследник из Калькутты», «Дело Пестрых», «Айвенго»... Жизнь бесстыдно раздевала (к их плачевной старости) любимые книги, но Саша и без обложек по нескольким строкам отличал Беляева от Жюль Верна.

Однажды Плющ нашел журналы «Знание — сила» — целую кипу. И кричал: мое! И тщательно оборвал все обложки, которые как бы вышибали взгляд в соседнее пространство.

Бумажные холмы скрывали их от сторожа, который сам не понимал, что заставляет его так рьяно охранять эти жухлые листы. А в нем, как во всяком охраннике, сидел дракон! Приставленный к горам изумрудов!

Иногда ребята пересекались с цивилизацией крыс, и те были очень умны: делали вид, будто их не замечают.

И вдруг нашли деньги, целую коробку из-под обуви. Она была перевязана вместе с учебниками. Но деньги — оказалось — подгрызены крысами. Атаман сказал:

— Это мякина!

Однако при последующем ворошении увидели, что целых купюр все же много — море, океан. Наверное, отпечатки очень сильных страстей отпугнули умных грызунов.

И Плющ, и тем более Саша ожидали, что Генка Атаман возьмет себе больше — ведь атаман же. Что же, он с избытком выполнил их ожидания — загреб половину.

— Остальное честно поделите, — важно так сказал, как генсек.

На эти деньги мама свозила Сашу подлечиться в Цхалтубо, и он потом даже несколько лет почти не хромал. Конец сказки?

Нет!

Возьмем хотя бы отца Иры. В восемнадцать лет залетел на Курскую дугу.

Когда прозвучал приказ окапываться, саперных лопаток не хватило. И Николай Миронович, тогда тощий, недокормленный Николаша, увидел, что ему досталась естественная ложбинка в земле. Он пытался углубить ее руками, но понял, что больше, чем на спичечный коробок, не продвинется, только руки искалечит. Лег и вжался, но все равно казался себе очень толстым и выступающим. Вот тут-то вдруг над ним и склонился старик лет шестидесяти пяти, с лопаткой:

— А ты что же улегся, вставай окапывайся.

Ну, товарищ Сталин, думал Николаша, таких-то зачем преклонных с пещки сдергивать в обоз. Но и спасибо, что сдернул, — мне лопатка перепала! Одновременно он включил свою крестьянскую быстроту: струи земли текли снизу вверх, и он будто не швырял почву, а только направлял ее течение.

На Курской дуге Николай единственный раз увидел жуткую толпу хохочущих солдат, которые метались между нашими и фрицами. Он понимал, что они сошли с ума. Но никак не мог понять, каким таким магнитом их притянуло другу к другу и почему они не разбежались в разные стороны.

Потом, разумеется, он не сразу пошел искать старичка, чтобы отблагодарить... пришлось застирывать кальсоны (у чудом не перепаханного снарядами озера). Рядом с ним делали то же самое другие, радостно хохоча от чувства воздуха, отдыха, но ни одним словом, даже в виде шутки, они не обмолвились о том, чем занимались.

Когда Николай стал расспрашивать о старичке, все обдавали его недоуменным матом: «Охренел ты — какой старичок из обоза! Где обоз и где мы?»

Уже после войны он много думал об этом случае: борода, лысина и почему-то узорчатая рубаха под расстегнутым воротником гимнастерки — ну, не кто иной, как Николай Угодник. И Ира его родилась точно под Николу зимнего!

Макулатурный склад вон где — возле оврага, на Зеленке, а Ира — на Плеханова, там магазин «Молоко»! Как же познакомились Ира и Саша?

А просто в одно февральское утро вороны, эти летающие крысы, раскричались с утра: мол, мы уже начинаем вить свои гнезда, а вы что лежите! Они — птицы — не знали, что февраль — от латинского слова, означающего лихорадку. У Иры как раз простуда выступила на нижней губе, она подошла к зеркалу. (Потом Саша скажет, что Ира — бунинский тип со множеством рассыпанных родинок, которые Бунин любил.) Под зеркалом на тумбочке лежал новый альманах «Оляпка», а в нем было напечатано письмо:

«Здравствуйте все, кто в редакции.

Взял я два золотых ореха, чтобы повесить на елку, упал и разбил, потому что у меня сейчас недолеченные ноги. А еще у меня разбились, когда я упал, корабль и звездочки темно-красные, светящиеся такие изнутри. Но заяц только треснул между ушей, но все равно улыбается двумя белыми зубами. Я сел на этот пол и приклеил кораблю спичку вместо мачты, а то как будто бы на него напали пираты. Из трех звезд одну смог склеить. Она уже не светилась, но узоры от трещин давали что-то волшебное».

Что вы, ребята, об этом думаете? — как будто бы интересовалась редакция.

А ребята уже знали, что об этом думать: держись, будь мужественным, как Николай Островский. И так — в каждом из четырехсот восьмидесяти писем.

Только Ира из седьмого «б» класса 32-й школы опустила в почтовый ящик, висящий на магазине «Молоко», открытку с доктором Айболитом, который перевязывал зайчику ножку. Саша хотел заплевать эту глупость, порвать и выбросить в мусорное ведро. Но по привычке беспорядочного чтения он все-таки заглянул, что там написано на обратной стороне.

«Я пишу в протезке. Мой корсет еще доделывается, а я жду. Вот что я хочу сказать. У меня есть подруга — Регинка. А фамилия ее — Сикина. Она учится на балерину, и ноги у нее такие здоровые, что она спасла утопающего первоклассника. Но не пошла получать награду, потому что стесняется фамилии. Так что у всех трудности. Давай с тобой переписываться».

После этого известия у Саши начались другие вести: из сердца, из желчного пузыря, из километровых протяжений нервов. Его бросало в жар-холод, и он понимал, что это не просто реальные броски температуры. Это была не мякина. А что?

Поэтому он ответил со всего маху и на другую тему:

«Здравствуй, Ира.

Сегодня мама купила мне вельветовые туфли. Дешевые, сказала она печально, за пять рэ. А выглядят на шесть пятьдесят, подбодрил я ее. И ты пиши мне самые смешные случаи».

Ира не замедлила ответить:

«Мама рассказала, как в детстве она ходила в лес по малину и подглядела: медведь наелся малины и захотел повеселиться. Он отщепил щепку

от старого пня — но не до конца! И вот натягивает на себя и отпускает, она дребезжит, а мишка слушает, склонив голову, как интеллигент».

А дальше в письме был нарисован, вы думаете, медведь? Нет, человек-амфибия, то есть артист Коренев. Саша тут же решил забыть Иру. Намек понял: им всем хочется красавца с жабрами! Тогда она написала снова:

«В детстве я дразнила маленькую горбунью. И вот потом я упала с качелей, и одна лопатка у меня начала выступать. Но я сейчас ношу корсет и широкие платья, так что мало кто догадывается».

Саша ответил решительно:

«Ира, я думаю, что нам пора познакомиться! А ты как думаешь?»

Ира шла по улице Ленина. Ночью апрельский снег словно решил из всех оставшихся сил показать, что он не из последних скульпторов: падал, летел — и вылепил множество слоников на ветках. Семейные такие слоники, которых сначала дарили на счастье, а потом стали обзывать мешанскими. Ира хотела насчитать их семь, потому что после этого сразу наступит другой мир: с ее прямой спиной и со здоровыми ногами у Саши. Но на каждом дереве было всего по четыре-пять слоновидных комков.

А ознакомиться нам лучше летом, решила она, потому что у меня не очень-то новое зимнее пальто. Так и напишем. Но про причину (пальто) Ира не упомянула, и Саша поразился: эти бабы, им красавчика с жабрами подавай.

Ну все!

Письмо изменницы было яростно обрушено в бабушкин доисторический сундук — черную дыру их семейного мира, куда все исчезало ненужное. В следующий раз письмо попало на глаза, когда он был студентом.

Сундук решили выбросить, и Саше мама поручила отсортировать, что там можно воскресить. Вещи смотрели на него и трепетали, ожидая, какую из них он возьмет к себе в жизнь. Но самым бойким оказалось письмо, которое, все смекнув, выставило ухо конверта из завалов тряпок, мулине и пуговиц.

Так переписка вновь закипела. Они были уже студентами: она в педех на начфаке, а он в универе на историческом. Много ли, мало ли писем пролетело — и назначили они встречу на Компросе, напротив «Кристалла». А там и третью, восьмую. В один субботний вечер, когда на каждой скамейке под липами отдыхал человек, а то и не один, источая неутрахающий многолетний перегар, Ира взглядом вылепила такой вопрос: не сопьешься ли ты, Саша?

— Если опасной бритвой бриться, то пить вообще нельзя. Смотри. — Он взял ее руку, несколько раз провел ею по своим щекам, а потом — по своей груди, хотя там бритьем и не пахло.

Тут Ира вспомнила тетку, которая говорила о поклонниках: «Люблю, когда у него волосатая грудь. Погладишь, прислонишься к ней — и задумаешься...»

— А у меня дядя — танцевальный полиглот, знает танцы всех народов мира. Прямо как Махмуд Эсамбаев. — Саша не высказал Ире вот что только: при другом раскладе и он бодро бы сучил ногами и вскидывал их выше головы.

Иногда им казалось, что многие как раз инвалиды вокруг, а они нормальные. Потом, когда с новорожденной дочкой придется не спать ночами, они увидят в теленовостях интервью с альпинистом, который чудом спасся от снежной лавины.

— А лавина жизни засыпает нас каждый день. И по телевидению ведь не передадут, что кто-то провел очередную бессонную ночь с ребенком, — вздохнула Ира.

Саша, поддельваясь под телекомментатора, заговорил звучным, объемным, сдобным, поставленным голосом: «Работают все радиостанции Советского Союза! В эфире специальный выпуск! Один крутой пермяк про-

вел бессонную ночь с грудным ребенком! Смотрите подробности в очередной программе новостей».

Но сначала была свадьба.

Вы уже знаете, что Ира дружила с Регинкой Сикиной, соседкой по дому. Мама ее устроилась в свое время завпроизводством в столовую хоряги: пусть дочка выучится на балерину. Анна Петровна говорила, что хочет праздника для нее, что дело не в деньгах. А про себя думала: «Денег-то у Региночки будет больше в сто раз, чем у меня. Только пусть прославится, как Надя Павлова». А потом, когда дочь стала танцевать в кордебалете, Анна Петровна недоумевала:

— Что значит — Павлова одна? Уж две-то могло бы быть... Но теперь стало ясно, что у тебя в балете все пропало. Бросай свои пляски у воды и переходи ко мне в столовую.

А Регина любила себя прозрачную в «Жизели» и непроницаемую в танце черных лебедей. Какие деньги? — думала она. Это за деньги не купишь. Идешь по улице — и никто не подозревает, что ты так можешь превращаться.

Когда потом, в 1988 году, сын Регины, внук Анны Петровны, получил двойку, весь семейный синклит грыз его при гостях (ну какие же они гости, они почти родные):

— Ты хоть представляешь, как тяжело сейчас куда-нибудь поступать? А если платно учиться, то уйдут все наши деньги.

Саша заступился:

— Ну что вы все на парня!.. Бродский вообще школу не закончил, потом Нобелевку получил!

Как они набросились на Сашу всей семейной стаей!

— Никогда не смей так больше говорить — Бродский один! А Филипп наш не Бродский! Это уже ясно! И вы своей дочке ничего такого не произносите!

— Я золотыми буквами впишу ваши советы в свою память, — привычно отвечал Саша.

Так, вернемся к свадьбе Саши и Иры.

Мать Регины — завпроизводством — им все достала, даже копченую колбасу (хотя в то время и просто вареную купить было невозможно).

Ну и Атаманчук, на свадьбе напившись, скормил собаке тарелку этой копченой колбасы!

Свадьба еще была в деревянном доме Сашиной мамы. Но уже знали: вот-вот их снесут, Ире с Сашей будет отдельная квартира.

Собака зашла с таким видом, чтобы в случае чего сказать взглядом: «Столько народу, столько народу! А на мне ведь ответственность». Когда она проглотила девятый-десятый кружок колбасы, Саша поглядел на нее, покачал головой. И Брода повернулась к выходу: «Все-все! Осмотрела, вижу, что порядок, а от вас награды за беспорочную службу не дожدهшься».

Она входила и выходила с гостями: кто-то опаздывал, а кто-то рано уходил, как Плющ (у которого жена лежала с гриппом).

Вскоре Брода увидела щедрого Атаманчука: он вышел и лег на сугроб. Она его стала расталкивать с возмущением: тебя потом не будет, и кто тогда еще накормит меня колбасой! Гость продолжал лежать и нагло охлаждаться. Тогда она сорвала с него шапку и, забежав в теплое бурное веселье, положила ее посреди стола.

— У животных есть чувство юмора. — Отец Иры, Николай Мироныч, объятый жаждой просвещения, поднялся на ноги. — У нас на ипподроме однажды лошадь за всеми гонялась и зубами снимала с мужчин кепки. Затем подождет, когда человек подойдет к ней за своей кепкой, усмехнется — и отбежит.

Саша вытарачился на дверь: щас зайдет Генка Атаман за шапкой. Но Ира сказала:

— Брода ведь не лошадь! — Гости перевели взгляды: в самом деле — не похожа. — Принесла шапку — значит, он лежит где-то на морозе!

Компания выпивших ведет себя, как густая жидкость. Они не сразу высыпали спасать Геннадия — одни долго шарахались в поисках одежды, другие сидя призывали немедленно броситься на выручку: «Человек замерзает! А мороз двадцать восемь!» — «Кого — двадцать восемь? Тридцать восемь!» — щедро откликнулись третьи.

Женская половина компании, куда более свежая, накинула шубейки и — во главе с теткой Иры — приволокла колоду Геннадия. Одни стали его растирать, тормошить, а другие — хвалить и угощать Броду, так что у простодушного животного закружилась от внимания голова, мечты пошли: вот бы они каждый в сугроб падали, а я бы спасала, спасала, а мне бы — колбасу, колбасу!

Когда Геннадий очнулся, Сашин дядя и в самом деле станцевал радостный этюд, выхлестывая ноги выше головы.

И верно: совсем как гениальный чеченский артист...

Был такой разговор потом:

— Что с Атаманом сегодня? Что-то он слишком устремленно пил. — Ира огорчалась, что они с Сашей слишком слабо сияют и все поглощаются гостями, а до Геннадия вообще не доходит.

— Ира, он возит директора нашей макулатурки, и тот ему говорит позавчера: «Если не женишься на моей племяннице, то уволю». И Геннадий сразу подал заявление. Ушел.

«Два литра зеленого чаю, добавить две столовые ложки уксуса, подержать двадцать минут. Ноги не будут потеть НИКОГДА».

Саша прочитал и забормотал: надо проверить — мы посмотрим...

Это они молодожены, Ира в цветущем блаженстве, а Саша в деловитом.

И вдруг — письмо. Ну, Саша не знал, что такие письма нужно прятать или сразу рвать. Прочитал — бросил на подоконник.

А Ира развернула да и прочла:

«Неизвестный мой Саша! Видимо, это судьба. Хорошо, что у тебя нога, — мне так необходимо о ком-нибудь заботиться. Сегодня племянник забирал старые „Оляпки“, и я случайно (о нет, это судьба!) открыла альманах на твоём письме. Почему я раньше, в детстве, его не заметила. Нет! Все было не зря: я успела разочароваться в красивых, здоровых, благополучных. Я работаю реабилитологом, вытаскиваю людей из такой уже дали, откуда никто порой не возвращается. Чувствую, что в этом мне помогают ангелы, которых я вырезаю из бумаги. У меня их в комнате восемь свисает с потолка (нимбы делаю из фольги). Вырезаю я сейчас его для тебя. И чувствую, что я становлюсь похожа на твоего ангела-хранителя.

Ты бы видел, как они летят, когда я открываю форточку, мои ангелы! Это про нас написал Брюсов:

Ты слышишь, друг, в вечернем звоне:
„Своей судьбе не прекословь!“
Нам свищет соловей на клене:
Любовь и Смерть, Смерть и Любовь!»

Подпись была: Розик.

В конверте еще шуршали две вещи, но ангела Ира только осторожно развернула, а на фотографии уж оторвалась. Но сначала долго ее разглядывала. Тут все было, что нужно мужику: волнистая прядь, перпендикулярная грудь, но главное — тоже, как и у Иры, родинки, о которых бредил Саша: бунинский тип, бунинский тип!

Подошла к мужу, boldly вклеила ему фотографию в губы:

— Вот тебе твой тип — ешь его!

Оделась и ушла. Первые полчаса Саша был в хорошем настроении: до этого никто его не ревновал, и он вновь и вновь находил тут приятные моменты...

И вдруг: а если навсегда ушла со своей тупой пылкостью?

Африканские страсти на Урале, среди снега, как-то не очень проходят. Ладно, если только простудится, вылечим. А для лечения нужен чай с медом, а для чая — свежий батон.

Он пошел в булочную. Это были субботние густые сумерки, прошитые строчками снега. На улице никого. А навстречу шел столбик снега, ни на что не похожий, но Саша узнал в нем жену. Он встал у нее на пути и по дождал, пока она в него тукнется.

— Девуска, — пожаловался он. — Мне зена выбила фотографией жуб.

Она ему тоже пожаловалась:

— А я три часа и четыре минуты ходила под снегопадом. Из-за мужа.

И вот они дома. Пробежали в чрево квартиры — на кухню, резко согрелись чаем, тепло, поднявшись во весь рост, размахнулось из кухни в комнату и победило все.

У Иры над бровями ходили светящиеся облака. На самом деле это были нарушения в ее мозговых сосудах. Она думала, что не подает виду. Но ученики все равно понимали кое-что — по ее каким-то несфокусированным шалым взглядам — и жалели ее.

В коридоре одна медсестра позвала другую и глазами показала на больного, которому вырезали геморрой и который ходил, как начинающий кавалерист, враскорячку: «У меня радость! Попочка прошла!»

Ира часто лежала в больницах: то операция, то обострение.

Однажды ее навестила Таня Плющева (жена Плюща). Почему одна? А собрала чемодан и отправила мужа в санаторий, перекрестилась: отдохну от него.

Того не понимала, что вернется он не общипанным петухом, а павлином, потому что в санатории на мужиков спрос. Так потом сказала Ире соседка по палате.

Но она ошибалась. На самом деле, пока Плющ ехал на автобусе из Усть-Качки, его перья хвостовые манящие начали по одному вылетать, грудь впала, а шея сморщилась. И вылез павлин в городе тем же петухом общипанным...

Хотя Плющ стал художником, он много пил, и посреди улыбки Тани мелькали какие-то горькие волны: «Все кончено! Жизнь пропала!»

На серебряную свадьбу Плющ подарил Саше с Ирой обнаженку: обтекаемые зеленые груди, заточенные под Модильяни, и изношенные глаза под бабу Нюру с рынка. Видно, что он бился над раскрытием тайны дев. И Саша сказал:

— Да, женщина нележкой судьбы.

— Вы же знаете, у меня есть такая игра, — поспешно припомнил им Плющ. — Смотрю на ноги и пытаюсь угадать, какая голова у человека. Как часто не совпадают тело человека и его глаза, потому что глаза не совсем к телу относятся, они на грани...

Перед самой серебряной датой у Иры что-то еще с шеей случилось:

— Голова не поворачивается! Я только слева вижу... Как я буду общаться с гостями?

— А всех гостей посадим слева от тебя! — бодро нашелся Саша.

Атаманчук на серебряную свадьбу подарил пятьдесят пачек стирально-го порошка (он тогда им торговал):

— Помню, в детстве с матерью ходили по магазинам и она спрашивала: «„Новость“ есть?» Я думал, что это ее знакомые и она про новости

спрашивает. Лишь потом понял, что так называется стиральный порошок... У меня сын ходит на скрипку, а я все еще заслушиваюсь скрипом двери.

Потом у Атаманчука наступил свой трудный путь обнищания. Купил два киоска, а тут мэр приказал снести все — пришла новая эра павильонов. А на них у Геннадия денег не хватило. Но опять уральский ВПК поднял бронированные веки, получил новый заказ. И радостный Атаман вместе с остальным радостным народом вернулся на завод выпускать смертельные штуки и отравлять воздух родины.

А еще у Атаманчука наступило великое переселение волос: с головы многие из них перебрались в брови.

Иногда по утрам Саша читал Ирин взгляд так: хочу замереть и умереть. А он в ответ ей сигналил: у нас болят мои ноги и твои руки, давай помогай нам! И она начинала шевелить пальцами и сжимать их в кулаки.

Внутри однокомнатной квартиры все больше и больше становилось перепадов места, и с годами целый мир вырос необъятный — от шифоньера до телевизора. А тот мир, который приходил через дочь, зятя и внука, через окно и телевизор, — эти два мира, как два литых шара на Сашиной гантели, одинаково весили.

Считалось, что со дня серебряной свадьбы прошло три года, а на самом деле — один миг или тридцать лет. Событий у Саши и Иры в минуту столько! Ну, это примерно как если бы здоровый человек выходил на улицу, а его встречали хищные звери, заросли лиан, змеи. И так каждый день.

Соседка Шамильевна с палочкой врывалась всегда с таким напором, как будто была здоровее их обоих.

— Люди! Что вы молчите, как мухи! — кричала она. — Я звонила вам, звонила! Опять, что ли, телефон отключили? А у меня батареи совсем холодные! Идите добивайтесь! — («Я с больших низов поднялась», — любила повторять она. Проработала двадцать лет начальником цеха и даже сейчас хотела быть начальником жизни).

Саша ковылял ставить чайник. Шамильевна осмотрела отцветшую фиалку и вздохнула то ли о фиалке, то ли о себе:

— Оттрудилась. — Затем лились новости: — Вчера я травила тараканов карандашом «Машенька». — Сказала «Машенька» ласково, будто вспомнила про внучку, которой у нее нет. — Но не пугались! А как стала рисовать «Машенькой» серп и молот — разбежались...

— Раиса Шамильевна, вам разбавить, как всегда, холодной водой?

— Да. А у вас там не паутина ли будет? Можно костью снять.

Ира вслух вспомнила, что у ее покойной мамы было любимое выражение: «С грязи не треснешь, с чистоты не воскреснешь». Но сдержать натиск соседки оказалось невозможно. Она, в своем стремлении к наведению порядка во всем мире, бодро прогрохотала в угол, рванула костью и сняла невидимое что-то. Но потеряла равновесие, завалилась за телевизор, крича: «Спасите немедленно!» К счастью, Саша ее чудом затормозил, и телевизор как металл новости, так и мечет.

Отдышавшись, Шамильевна сказала вместо извинения:

— У меня кот с котихой где дотянутся, там паутину сдирают. Конечно, они за пауками охотятся, но по пути мне помогают с чистотой. — Она пила чай ложечкой, чтоб задержаться здесь на подольше, не уходить в свое одиночество; Ира и Саша переглянулись и налили ей второй стакан.

— Вы сходите насчет моих-то батарей, похлопочите! Я звонила, но этот хреноплет только обещает, — вместо благодарности распорядилась Шамильевна, уходя.

— Немедленно похлопочи о приходе весны, — тоном соседки приказала Ира мужу.

Письмо из Израиля было отправлено три месяца назад. Сначала Ира подумала, что наша улиточная почта его долго везла, но штемпель пермский говорил: пришло уже две недели, как... Просто долго пролежало в почтовом ящике. Раньше газеты проталкивали письма вниз, а теперь прессу выписать — денег нет. А протолкнула письмо открытка от ученицы:

«Ирина Николаевна, на открытке много ярких цветов, и пусть в Вашей жизни их будет побольше!»

Некоторые ученики Иры все еще общаются с нею, а двоечник Коробко, ставший депутатом, иногда привозит дорогие лекарства. И даже один раз на «ауди» свозил ее к зубному. Он тогда еще, пыхтя, встал на колени (очень упитанный) и застегнул ей сапожки. А недавно даже пообещал, что купит им биотуалет!

Регина написала: от нее ушел муж. Саша обрадовался, что неприятная новость опоздала, сэкономили сколько жизни! Он колченого обежал вокруг стола:

— Только не включай программу поволноваться! А то у тебя рука отнимется или нога.

— Но Регина ведь моя лучшая подруга!

— У тебя много лучших подруг! А рук всего две. И ног.

— Да, он еще перед отъездом, когда они приходили прощаться, то снимал, то надевал обручальное кольцо. Проговаривался в жестах.

Саша пустился на кухню поставить чайник. Он был очень доволен: удалось снова отразить Ирино волнение. А кухонное радио ему подбросило: к Перми приближаются два самолета с террористами. Началась эвакуация населения.

Опять прошляпили! И это после заложников на Дубровке! Ведь клялись, что все под контролем, мышь не проскочит!

На минуту тот шар, внешний, перевесил: он огромный, в нем много мест, в них можно спастись.

Но наш мир с нами, мы в нем уже сколько лет спасались, там у них 2002 год, а у нас уже 2030-й.

Тоже тут чайник о чем-то завздыхал, забормотал на правах многолетнего советника: нет, ты не прав, надо уходить в леса, я вам там буду варить не только чай, но и картошку.

Он выключил радио и зашел в комнату с бытовым видом озабоченности:

— Пожалуй, покрашу я батарею на кухне не сегодня-завтра... А почему ты выключила телевизор?

— Да спрашивают меня с экрана: «Не хотелось ли вам стать свиньей?»

— Так эти же вопросы вчера задавали.

— Ну... нам ведь каждый день предлагают стать свиньями.

Он испугался, что Ира тоже услышала местные новости и тоже скрывает. Но все же была надежда, что не услышала. Была — и вот нет ее, потому что в дверь уже барабанила Шамильевна:

— Помогите мне эвакуироваться — немедленно! Самолеты на подходе! С чеченцами!

Они ее пустили и накапали ей и себе пустырника, чтобы ей не было — что? А то же, что и им, — пусто и страшно. Тут же уронили на пол полиэтиленовую пробочку. Выбежала из-под плинтуса мышь и начала жадно лизать с пробочки лекарство.

— Пошла отсюда! — скомандовала ей Шамильевна и пристукнула палкой. — У вас-то какие могут быть террористы? И когда они закончат эту войну?! Я в Пермской области не все города знаю, а до чего дошло — чеченские города наизусть: Аргун, Гудермес, Хасавюрт, Толстой-Юрт.

Саша оживил, уже не таясь, радио, там передали, что отбой, самолеты приземлились в аэропорту Большое Савино. Их ждали ОМОН, МЧС,

«скорая помощь», мэр, губернатор, два полка гарнизона и сотня безмятежных встречающих, которым объявили, что все это учебная тревога.

В следующие два часа — минута за минутой — всем пермякам телевидение объясняло: «Продолжается расследование странного происшествия с двумя самолетами». Был просто снегопад версий: от изношенности оборудования до магнитной бури.

— Что вы дочке не звоните? — спросила Шамильевна.

— Марина лежит в больнице с аллергией — унты нам везла из Кирова. Ипподром ее послал в командировку, а она решила унты нам... вот теперь вся в пузырях.

Ира посмотрела в окно. Там было дерево ясень. Вдруг оно в глазах дернулось, сдвинулось влево и снова вернулось на место. «Плохо показывают», — подумала она. Так по ТВ узнают о купюрах. А сейчас Высший Режиссер сделал ей купюру? Но зачем?

— Где у нас вода святая? Побрызгай на меня.

У Саши дрожали руки, и он налил ей полное ухо святой воды. Стал наклонять голову жены и выливать...

К вечеру у Иры началась рвота, и впервые у Саши не было почти никакой надежды, издавала только один раз промерцала мысль: а может, это всего лишь подействовали вчерашние, разогретые сегодня, макароны? Через час, после того как Иру увезла «скорая», он позвонил в больницу: инфаркт.

Шамильевна носилась тут же, стуча костылем, и призывала Сашу с Ирой идти биться за Шамильевну на телевидение, чтобы не пугали, заразы, ее зря, а то такое давление ей нагнали!

— Вы что, не понимаете: Ира лежит в кардиологии!

— Кочетов, не сдавайся: ты же кочет, а не кочка! Выпишут ее как новенькую! И тогда сразу звоните! А то все меня забросили.

Но на следующее утро власть Шамильевны над реальностью закончилась: из кардиологии позвонили и спросили, когда Кочетов заберет тело жены. Ира скончалась во сне — через пять минут после полуночи.

Он позвонил дочери на сотовый, и Марина начала привычно, сильным тренерским голосом, как в общении со своими гривастыми питомцами:

— Папа! Держаться! Мы должны выстоять! — И закончила нормальным жалким голосом: — А помнишь, как вы меня в первый раз повезли на ипподром? Дедушка еще меня взгромоздил на мерина Прогресса... Дедушка был в узорчатой такой ру...башке.

Тут в трубке забурлило море бурное, и Саша сказал:

— Ну, что делать... ты звони мужу, я Ириным ученикам сообщу.

Он был весь какой-то сплошной внутри и ничего не думал... вспомнил: Ира говорила, где лежит последнее необходимое. Да, в нижнем ящике...

Достал оттуда оба пакета. На Ирином платье просвечивал сквозь пластик конверт. Там лежала открытка Ире от Сашиной мамы — к 8 Марта: «Поздравляю, родная! Я верю! Ты всегда будешь хорошая, веселая, моя дорогая чистюлька». Ира один раз назвала свекровь «свекровище-сокровище».

А дальше было пожелтое письмо от Розика, которая «Смерть и Любовь». Но не то, первое (его Саша выбросил, а в ответе написал, что женат). Этого второго письма он никогда не видел. Зачем Ира его скрыла? И почему сохранила? Теперь не спросишь. Розик писала двадцать восемь лет назад:

«Саша, возвращаю письмо о вашей жене, зачем оно мне. Передайте его ей».

А он ей тогда написал, оказывается, вот что:

«Роза, из-за тебя мы поссорились. Может, ты и не понимаешь, но семейная ссора — это гражданская война не только между двумя людьми, но и внутри одной души. Ира говорит, что обида — это один сорняк внутри, а корней-то, корней напускает: и в сердце, и в мысли, и в ноги. Я ее вче-

ра нашел ушедшую из дома — еще немного, и она совсем была бы под снегом. Просто не знаю, что ей подарить на день рождения, чтобы она за-была твое письмо».

Он прочитал аккуратно все до конца. Хорошо, что эта Розик, эта ссо-ра — все случилось, ведь потом столько шуток было по этому поводу. «Иди, твой Розик ждет, прижимая Брюсова к груди», — если он где-то за-держивался. А он глуповато вытаращивался: «От вашей ревности, мадам, я шкоро лишусь всех жубов».

Саше показалось, что в окно виден дождь. Почему-то он вспомнил, что дождь индейцы называли «слезы богов»... Это последний дождь в этом году, подумал он.

Руки холодеют. Можно вызвать «скорую», но лучше уйти сегодня вече-ром вдогонку за женой, поэтому он поспешил все приготовить: выложил на стол документы, деньги. Как мало сделал, а ног не чувствую, значит, я уже на выходе. Взял молитвослов, начал читать покаянный канон, но бук-вы задвоились на «иже дела и мыслями осквернився».

Изнеможенный, он прилег.

Вздохнувши, один Светоносный над ним сказал другому Светоносному (голос такой звучный):

— Здесь наша служба вокруг них заканчивается.

На поминках депутат Коробко сказал так:

— Вот поздравлял я Ирину Николаевну с Новым годом. А она — меня. И сказала: «Желаю, чтоб не было хуже, чтобы статус-кво...» А я сразу: «А если невзначай новый год будет лучше, мы его примем, так и быть, — хотя бы в третьем чтении?» А Саша, простите, Александр Палыч, кивнул: примем!

Зазвонил телефон. Марина прогарцевала к аппарату большими краси-выми ногами, потому что соблезнований хочется без конца. Но это был Филипп, сын Регины.

— Маринка, я сейчас в израильской армии. Звоню тебе с поста по мо-бильнику. Говори быстро, а то сейчас мефакед придет...

— Кто придет?

— Да командир! Слушай, я тут заглянул на сайт Перми. У вас новый маршрут пустили троллейбуса, тринадцатый, расскажи подробно, где он ходит.

— Филя, мы поминаем маму-папу, они умерли в один день.

— Марина, дорогая, отбой, я сейчас маме сообщу...



АНАТОЛИЙ НАЙМАН



ПОМИНКИ ПО ВЕКУ



Не следует убеждать. В особенности меня.
А вообще-то всех, все мы родные братья.
Ну еще пьянь и бомжа пусть попилит семья —
больно они... А прочих — бессмысленное занятие.

Пьянь и бомжи бесстыжи: грязь напоказ и вонь.
Попрошайки, зверье. Тут паденье наглядно.
Прочие же в порядке. Тебя не глупей. Не тронь
прочих: знают, как жить. А нет — прижились, и ладно.

В особенности меня. Что на что мне менять?
О милосердые скулеж — на подготовку к сиянью?
А прочие как? К примеру, умершие. Скажем, мать.
И сам я — стать не сумевший даже бомжом и пьянью.

Поминки по веку

Кто висел, как над трубами лагеря дым,
или падалю лег в многосуточных маршах,
или сгнил, задохнувшись на каторжных баржах,
обращается к молодым
через головы старших —
тоже что-то бубнящих, с сюсюком нажим
чередующих этаким быстрым, особым,
наглым, модным, глумливым, угодливым стёбом,
что от воя казенного неотличим
над публичным пустым его гробом.

До свиданья, идея идеи идей.
Спи спокойно, искусство искусства, величье
пустоты, где со сцены ничтожным злодей
уходя, возвращается в знаках отличья
от людей. От людей.
Дух эпохи, счастливо. Знакомый привет.
Незнакомым — тем более: ходят в обнимку
те и эти, слышать, соответствуя снимку,
хоть засвеченному, хоть которого нет,
но ведь был же — а что еще век, как не снимки?
Будь, фотограф. Будь, свет: ляг, где лег, холодей.
До свидания, сами поминки.

И до скорого, мать, и до встречи, отец.
 С Богом, мной обернувшееся зачатъе
 в спешке, в августе, в схватке без цели. И счастье
 от ключами во мне закипавших телец,
 мной клейменных... Пока, но отнюдь не прощайте.
 Факт, увидимся. Здесь не конец.
 Закругляйтесь. Кто хочет добавить,
 то есть кто-то другой, не как я, не такой,
 добавляй. А столетию — вечный покой.
 Веку — вечная память.

Веку то, веку сё, веку Богом отпущенный век —
 и в архив! Как альбом, как досье, как кассету — на полку.
 Потому что в раскопках искать его после — без толку:
 он был цель, то есть будущее и разбег,
 просто множил число человек
 на число километров и ставил под оперный снег,
 засыпающий действие, как новогоднюю елку.
 Сам уют — симуляция ласк и индустрия нег —
 для культуры не слой. Обернем мокрой тряпкой метелку
 и протрем на прощанье светелку.
 И загоним под плинтус просроченный чек
 и иголку —
 ту, которой нам Хронос навел на запястье наколку,
 ставя нас на ночлег.

*(А теперь бормотну я с кутьей на губах
 самому ли себе, завершённой ли прелести летней,
 что усопший — не начал отсчет, а последний
 оказался в последней полсотне. Навесим собак
 на него: он проклятьем пришел. Но не сплетней,
 как новейший. Который, возможно, один
 и пребудет — в ошметках оборванных нитей,
 в жажде, все заменив, стать других знаменитей:
 вместо хлеба земля, вместо воздуха пламя, мазут вместо льдин.
 Вместо дней просто время. Точнее, его заменитель.)*

На Волге

Волна набегает, и берег давай говорить —
 о веслах, винтах, парусах и канатных паромках.
 Она отвечает, но речи потеряна нить.
 Доносится лишь: — Я не дура. — Я тоже не промах.

И было б забавно взаимное их хвастовство,
 не бейся там сдавленный всхлип и мольба. Опозданье —
 от века в ней свойство природы, тогда как его
 природы ядро — неназначенных встреч ожиданье.

Лаская губу ль его заячью, волчью ли пасть,
 щекочет она изъязвленное ею же нёбо.
 И чья, непонятно, в их кашле натуга, чья власть.
 И кто задохнулся, она или он? Или оба?

* *
*

Здесь кукушка из лесу благовестит,
дескать, вот, пощусь и тащусь.
И глотает гусеница пестицид,
от себя, мол, сама лечусь.

Это в городе пьют с карамелью чай,
но пути туда топь да гать,
топь да гать километров тыща, считай,
не видать отсель, не слышать.

Это там телевизорный есть король,
на все руки мастак-мудрец.
А у нас он ноль, босота и голь,
на дырявой дуде игрец.

А ведь мы уж не то чтоб совсем куку,
не шаляй-валяй — ведь у нас
жмудь-страна приснилась раз мужику
и не Шяуляй — Каунас!

И хоть наша кровь не из тех европ,
а сама собой по себе,
но на вкус и запах она — укроп,
истолченный с солью к зиме.

Да не с той, что под веки сует себя,
солью зренья. А с той, что с век
вдруг слетает на теплую пыль, шипя,
как сухой не вовремя снег.

* *
*

Цезий, ванадий — как ты, наш брат металл,
едуший в Венгрию из заполярных зон?
Как ты, брат бог, брат герой наш — кадмий, тантал?
Август, сентябрь — как ты, наш брат сезон?

Как ты, кузен наших блатных судеб,
тетки-природы дальняя кровь, племяш
редких земель и полнозвездных неб,
пестрый ландшафт? Как ты, спектральный наш?

Ты, ультрасиний, ты, инфракрасный, как?
Мы же родня, а вся заодно родня.
Даром что вы наждак, а на мне пиджак —
если родня, как же вы без меня?

Я не любви прошу — хороша любовь
свекра к заре! Но прахом идут миры,
если принять, что не родственница моя кровь
братьев азота, стронция. Солнца-сестры.

* *
*

Я видел во сне документ —
от жизни и смерти отдельно.
Всегда и на каждый момент
он следовал им параллельно.

Как клавиши немец кропил
con brio и скусывал ноготь —
таким документ этот был,
чтоб жизни и смерти не трогать.

Он был протокол. Протокол
мгновений и шага за шагом.
Он все их булавкой сколол —
лукав и до фактов не лаком.

Я помню, сильнее, чем спать,
хотелось сойтись с ним поглубже.
Стать милым ему — чтоб читать
себя он давал мне по дружбе.

Тем более тем, что затих,
вальс требовал слова и жеста
взамен себе. Точных. Таких,
чтоб сами вставали на место —

на то, что назначили им
в инструкции, если не спится,
чернила и перьев нажим
с пленительных лент самописца.

* *
*

Последним блюдом подают пирожное
здесь на поминках, полагая, что оно,
как лак, покроет натюрморт, поскольку прошлое
уопших не блестяще. Но

евреям умирать в Германии
хоть и привычно, а совсем несладко. Им
в общественном внимании род мании
мерещится. Увы, пекарен горек дым,

кондитерски дурманящий купечество,
чей нос торчит крючком и в обрамлень астр
на их пути в небесное отечество,
где Нибелунг, и Зиг, и Фриц, и Зороастр.

* *
*

После северо-западного, ночью вывшего «у!»,
стало бело и ровно и, так сказать, красиво.
Но все равно летунью, севшую на метлу,
утром еще, как пьяную, боком к метро сносило.

В городе снежная буря — развлеченье, эффект.
Фары и в окнах свет тут компаньоны плохие,
как для небесного пламени — тусклые догмы сект.
Что тебе люки, снег? Что вам асфальт, стихии?

Только и радость, что ночь, только пурге и надежд,
что балдахин, обрушивающий кружево паутины:
белые вспышки хлопьев — и слепота промеж,
как экран за мгновение до начала картины.

Что ж это нам показывали? То ли как хороши
стены цивилизации? То ли как плющат сушу
кости воды и воздуха? То ли что у души
у мировой есть способы сплачивать наши души.

Кусты

1

Еще из жизни прежней
следят за мной глаза,
а я уже нездешний,
прозрачная лоза.

Меня возводит в степень
созвездий — и в костер
ботвы кладет, как стебель,
ночной смятенный двор.

Туннель прута безбытен,
суха внутри струя —
признайтесь, что невиден
вам даже тенью я.

Тогда и я, хоть слов нет,
скажу, что воспален
зрачок мой, как шиповник,
шиповник, мой шпион.

Шиповник вне сезона,
вне замысла и чувств,
в твой короб, Персефона,
зерно стряхнувший куст —

чей корень рвет мне сердце,
как пурпурный шифон,
к потусторонней дверце
приколотый шипом.

2

Куст, изгибы судьбы,
как Минотавр и Минюст,
выводящий в шипы,
больше не куст, а Пруст.

Сгинул лес, где его
дядя Том как фантом
окружающего
звал, пугаясь, кустом.

То, как, дрожью пронзен,
прыскал он кровь и тряс
белый прах в чернозем,
было не битвой рас,

а франтовской примеркой
слов корневого гнезда,
скрытого бутоньеркой
аристократа куста.

* *
*

Дети здесь хороши, розовые, в кудрях,
вздрагивающих, как под легким дождем гиацинты.
И старики, которые каждый, как камень, дряхл,
выветренный до трещин, вычерченных, как цифры.

Как на надгробье. Или — в справочном словаре.
Первые три-четыре — заросли сада в детстве.
Три-четыре последних — золотая в старье
пуговица с гербом, грош, запеченный в тесте.

В общем, восточный точный, то и другое — рай.
Что-то всегда промотанное — и кой-какой запасец.
Счастье — но от и до, воля — но не за край.
Зной, дыханье пустыни. Плещущий ключ, оазис.

* *
*

Медленно мимо лба пролетает комар.
Индифферентно: сентябрь — не до игр, не до лакомств.
Просто гудит, он один тут такой неформал.
Но не кадит — а звезда был сезонных диаконств.

То есть ни вправо, ни влево, ни стоп, ни зигзаг.
Но на природу, распластанную на гробе
собственном, неподвижно, маняще, в слезах,
не покушаясь: сентябрь — не до игл, не до крови.



ОЛЕГ ЧИЛАП

*

МОЙ СТАРШИЙ БРАТ

Рассказы

КАК ЛУЧ СОЛНЕЧНЫЙ ИЗ-ПОД ОБЛАКОВ...

Если хотите знать, самый лучший из всех — это мой брат! Столько всего рассказать может — закачаешься! Он умный просто. Потому что читает день и ночь. Как начнет всякими важнецкими словами сыпать — челюсть у всех отвисает. И еще... Он сильный! Если надо — любому за меня по ушам нахлопает!

Правда, когда я узнал, что он уже старше меня на шесть лет, то расстроился жутко. Получалось, что он, того... староват для жизни нормальной. И тогда я заперся в ванной, включил воду погромче и... заплакал втихую. Очень мне жалко его стало — жить-то ему оставалось не так уж и много. А таких людей больше не сыскать. Он ведь по-настоящему хороший! Он меня на велике учил кататься. А осенью таскал мне в своем портфеле каштаны, чтобы я до ста считал. Тетрадки и учебники по пути из школы в руках нес, а ранец из кожи крокодиловой каштанами для меня набивал. И даже за пазуху запихивал. Целые кучи каштанов! Потом, когда я все числа запомнил и запросто уже до ста считал, даже дальше, мы эти каштаны в костер бросали. Они так взрывались громко... Здорово! Хотя и страшновато немного...

Да и при чем здесь каштаны! Мой брат всегда за меня горой стоял. Даже в тот раз, когда родители ругали меня сильно. Это когда я ему же, брату своему, без разрешения папин клей «БФ» на голову из тюбика выдавил. Брат в это время читал и пока сообразил, что к чему... А я тогда целых полтюбика не пожалел!

И вот пока я обо всем этом думал, то решил не плакать больше. Все равно он, как старики ветхие, не умрет никогда. Потому что, во-первых, он — мой брат! А значит, ничего плохого с ним случиться не может. А во-вторых, он веселый. А веселые люди, мне кажется, стареть не умеют...

А еще он меня на ипподром с собой брал. Ему там дядька один разрешил ухаживать за лошадей полудохлой. И мы той лошади все бутерброды и яблоки скармливали, которые мама нам с собой заворачивала. Потому что нам животное лечить доверили. А когда лошадь наша поправляться стала, то однажды откусила пуговицу с пальто моего брата. Вроде знак нам подала, что за своих признала. И мы гордились страшно. Потом, правда, она исчезла куда-то. Дядька тот, с ипподрома, еще сказал нам:

— Все, братцы, больше не приходите. Отошла ваша лошадакка...

И я-то понял так, что мы ее вылечили окончательно и что теперь ее в другое место переправили, где бойкие лошадины находятся. А брат мой почему-то помрачнел и сказал, что *веретинаром* станет, когда вырастет. И

хотя я не знал, кто такой *веретинар*, брату своему я поверил. Потому что, когда он задумал чего-нибудь, точно сделает... Если, конечно, не передумает потом.

Вообще-то о лошадях мой брат рассказать может все, что хочешь. Впервые, он кучу книг про индейцев читал. И даже сам когда-то индейцем был, недолго, правда. А уж после того как однажды летом съездил в лагерь пионерский, совсем на лошадях помешался. Просто в этом своем лагере он сильно привязался к одному мустангу. И хотя меня тогда еще и в живых-то не было, историю эту я знаю очень хорошо...

Брату перед отъездом родители сказали, что лагерь «что надо!» — спортивных секций в нем полно и кормят одной вкуснотой. А значит, скучать в таком месте не придется.

Мой брат и хотел бы согласиться с родителями, но только в лагере том ему совсем не понравилось. Делать там было абсолютно нечего — один какой-то чахлый кружок по выжиганию и сбор колосков на колхозном поле. Тосчища смертная! И мой брат слонялся целыми днями в дурацкой чужой футболке с десятым, как у Пеле, номером и грустил невыносимо. Единственное, что его занимало, так это лошадь одна, которая паслась неподалеку. Хорошая лошадь, настоящая вполне. Иногда ее запрягали в телегу и туда-сюда возили на ней барахло всякое.

И вот, чтобы скучать не приходилось, мой брат решил эту сивку-бурку прикармливать. И полсмены лагерной потихоньку таскал ей из столовки все свои «очень вкусные» порции ненавистой манной каши и перловки несчастной.

Сказать зачем? Да чтобы, не дожидаясь конца смены, сбежать на иноходе из лагеря того чудесного...

Мой брат к тому же не один такой счастливый там был, многие ребята хотели удрать с ним вместе. Но бежать решено было верхом — телега ведь громадная, ее быстро погоня могла настичь. А потому мой брат отобрал только двух самых стойких друзей — остальные верхом не уместились бы — и стал разрабатывать план побега.

Но в назначенный день, когда все уже готово было, возникла одна сложность жуткая. Та благодарная лошадка, пока уплетала завтраки моего брата, сильно прибавила не только в весе, но и в росте. Вымахала — будь здоров! И как на нее влезть — не знал никто. Один из беглецов, Побельк, предложил было стащить у сторожа длинную лестницу, прислонить к лошади и забраться. Но мой брат сказал, что самой лошади это вряд ли понравится.

— Если бы к твоему туловищу лестницу прислонили, ты бы потом проскакал до города с тремя седоками? — спросил мой брат Побелька. — Не, не то все это. Я-то их привычки знаю, — хвастался он. — Если приставить лестницу и полезть, то лошадь обязательно в сторону отбежит.

И пока его друзья восхищались знанием лошадиных повадок, мой брат подумал и решил:

— Вот что! Для успеха операции нам надо подвести лошадь к дереву и крепко привязать ее двойным морским. А потом залезть на это самое дерево и прыгнуть сверху на круп.

Те двое, что собрались бежать с моим братом, про *круп*, наверное, впервые в жизни-то слышали. Но куда им деваться было? Они согласились.

Животное осторожно подвели к дереву, затянули петлю на задней ноге, а другой конец веревки два раза обмотали вокруг ствола.

Первым на дерево посадили моего брата. Он вскарабкался, прицелился, зажмурился и-и... прыгнул. Гнедая, не ожидавшая такого предательства, рванула так, что мой брат кубарем слетел на землю. Лошадь понеслась в поле, и с тех пор ее никто ни разу не видел.

Перепуганные беглецы кинулись в лагерь, но потом вернулись и стали ощупывать моего брата — он все еще лежал на земле, хотя, к счастью, остался жив. Побельк протянул:

— А говорил, повадки знаешь... Может, лучше было все-таки лестницу приставить?

— Просто двойной морской плохо завязали, — ответил мой брат, — а так бы...

Теперь ясно, какой у меня брат старший?! Тертый калач, не то что там! Он к тому же еще в технике всякой сечет как нечего делать. Ему какой-нибудь механизм разобрать — раз плюнуть. А если время будет, он и собрать попробует... Однажды он вообще придумал *эропланом* собственным обзавестись, чтобы летать где вздумается. И вот день и ночь он твердил мне о таком *эроплане* и о том, как он меня с собой возьмет. И тогда мы с ним будем — повсюду — как луч солнечный из-под облаков. У меня аж голова кружилась — так мне хотелось! И-и-и... с *эропланом* этим целая история потом приключилась, расскажу как-нибудь...

Пока *эроплана* у нас не было, мой брат решил, что нам срочно нужна своя собственная сторожевая собака. А иметь свою собаку?! Живую?! В это даже не верилось...

Вообще, о собаке каждый мечтал. Когда ребята во дворе собирались и во все, что можно, уже было сыграно, все шли в круглую, с лавками, беседку и начинали придумывать, как бы они своего песика назвали...

А у брата моего, наверно, самая любимая книга — это «Белый Клык». Про волка, который почти что собакой стал и потом жил в доме у хороших людей. Ну, может, читали, знаете... Отличная книга! Конечно, мечтать о своем волке даже не приходилось — родители точно не разрешили бы, но вот собака... Мой брат каждый вечер мне рассказывал, как это здорово, когда у тебя своя собака есть. Как она может другом настоящим стать, если за ней ухаживать хорошенько и кормить ее к тому же... А главное — как она защищать будет от всяких гадов при нападении...

И вот когда однажды мой брат по привычке смотрел в окно и о чем-то там думал, он вдруг хлопнул себя по колену и заорал мне в ухо, что у него план есть насчет собаки. И, выпучив глаза, побежал куда-то. Я увязался было за ним, но мне велено было ждать во дворе. И я остался ждать — сами понимаете, ради своей собственной собаки можно было любое вытерпеть. Даже — если надо — сидеть на одном месте хоть сто лет.

К счастью, ста лет не понадобилось — в тот же день мой брат обнаружил в наших окрестностях призывно повизгивающего щенка грязно-бурого цвета. Хвост его был задиристо вздернут, и уши — смешные такие, висячие.

— Ты что, думаешь, он шелудивый какой-нибудь? — угрожающе спросил меня брат. — Да это чистокровная восточноевропейская овчарка! Сразу видно — прекрасная родословная.

Я-то как раз был согласен, мне тоже сразу видно было, что щен прекрасный. И вполне даже *родом славный*. Но предстояло еще маму в этом убедить. За папу мы были спокойны. Предполагалось, что он, когда с работы придет, обрадуется не меньше нашего.

Для поддержки с нами отправились все, кто гулял во дворе. По пути брат объяснял мне, как надо уговаривать маму. Он сказал, что ему вряд ли разрешат, а риск в таком деле недопустим. Зато мне, как младшему, отказать не должны.

Мы позвонили, и как только мама открыла дверь, я, подпираемый дюжиной дворовых оборванцев, заныл строго по заготовленному тексту:

— Мамочка, ты только посмотри на этого щенка! Он один живет, без родителей. И он очень, очень голодный. А ведь это чистокровная восточноевропейская овчарка! Спаниель называется, — добавил я от себя все, что знал на собачью тему. — Мы тебе честно обещаем в своей комнате убирать, за хлебом ходить. И мусор еще выносить. Можно, он жить у нас будет, а, мам?

Мама явно не была готова к такой перемене блюд. Она ошарашенно стояла в дверях и с беспомощным видом разглядывала нашего мухтара. Было ясно, что мама совершенно не знает, что делать. А *чѐ* тут делать-то? Я бы точно согласился, второй раз так уже не повезет.

— Какая это овчарка? — спросила мама, приходя в себя.

— Восточноевропейская, — выдохнул я, застревав на букве *эр*.

— Чистокровная, — подтвердил мой брат.

И в этот же момент все ребята, что столпились на лестничной площадке, занудили как по команде:

— Можно, а? Ну *чѐ* вам, жалко, а? *Разшиите, пожалста, а?*

Мне показалось, что мама готова сдаться. Но тут на шум выполз из соседней квартиры хрыч старый, Евграфыч. Он вечно с балкона своего кричал, чтобы мы по газонам в футбол не гоняли. А что нам, смотреть, что ли, на газоны его несчастные?! Деда этого все ребята во дворе не любили. Даже один раз на дверь ему доски поставили, позвонили и убежали. Евграфыч, когда очухался, такой дурниной кричал! И милицию грозился вызвать. Но милиции не было, все видели, как «скорая» только приехала.

Нехорошо, конечно, но Евграфыч тоже гусь! Те доски себе забрал. Отличные, кстате, доски были. Новые совсем.

Хотя чего их жалеть-то? На стройке за домом их вон еще сколько...

Ну так вот, вышел Евграфыч, посмотрел на всех ребят, на песика чудесного, на маму нашу, с ног до головы растерянную, и сказал, что щенка этого никак нельзя в квартире держать.

— Такие породистые собаки должны охранять государственную границу, — просипел Евграфыч. — Чтобы надежно охранять рубежи нашей Родины и никого не пропускать.

Все мгновенно затихли. Кажется, впервые в жизни все наши с уважением отнеслись к этому сварливому дедку — многие мечтали стать пограничниками. Если, конечно, пиратами не получится. А мама вдруг с живостью подхватила:

— Ну да! Это же настоящая восточноевропейская овчарка! Она должна помогать при охране границы. А в домашних условиях этот замечательный щенок обязательно захандрит. По природе начнет скучать. И, того и гляди, зачахнет еще.

Такого никто не ожидал. Но, к сожалению, все было убедительно. Особенно насчет «того и гляди». Кто же захочет, чтобы собака *чихала*? Все наши, вся подмога, переминаясь, тоскливо шморгали носами. Деваться было некуда.

И только мой брат не растерялся. Потому что он умный. И всегда знает, что делать надо.

— Мамочка, — рассудительно произнес он, — ведь эта собака уже обрадовалась, что ее хорошие люди подобрали. А мы что ж, теперь, как гады какие-нибудь, выгоним ее?

Я давно заметил — не часто, но все же бывает, что взрослые сразу все свои объяснения забывают, когда ребята маленькие правду им скажут. Может, вспоминают, как сами учили всегда правду говорить? Вот и тогда. Мама помолчала. Улыбнулась. И... согласилась впустить щенка.

— Ненадолго! Только переночевать...

— И то хлеб! — сказал кто-то сзади. — Мне *ваще* никадабы не *разшиили*.

Конечно, мы с братом были на седьмом небе! У нас хотя бы на сегодня, но была теперь своя собака! А мамина популярность в глазах всего двора выросла до уровня космонавта.

Понятное дело, в тот раз мы полночи бесились и все играли с нашим щенком. И придумывали ему имена звучные. И обсуждали, как нам утром уговорить родителей, чтобы песик наш, породистый очень, остался жить у нас насовсем... А потом как-то незаметно я провалился в огромное распах-

нутое небо, которое мы с братом пронзали — как луч солнечный — на своем собственном *эроплане*. И у меня в руках заливисто тьякал от радости вислоухий щен. И это было самое лучшее из всего, что до тех пор случилось в моей восхитительной жизни.

Окончилась вся эта собакиада достаточно прозаично — под утро песик улизнул в комнату родителей и, пока они еще спали, забрался к ним на тахту со всеми вытекающими. И хотя я бы на месте взрослых только обрадовался — за своих ведь признал! — участь нашего щена была решена. И мы вынужденно отдали его другу моего брата. По-моему, тоже на «переночевать».

И остались мы без собаки...

Вот почему в тот же день мой брат решил стать пограничником — «там собаку дают»...

Щенка того мы еще долго встречали в окрестностях за домом. И, конечно, таскали ему на подкормку еду всяческую — котлеты, борщ в кастрюле, компоты с морсами — да все, что мама нам на обед оставляла, когда на работу уходила. А чего добру пропадать-то?!

Потом у нас жили кролики, черепаха, котенок, живые карпы в ванной, какая-то прибулдная старушка и настоящий речной рак... Еще — недолго, под кроватью без разрешения, — большая рыжая собака. Тоже очень чистокровная, хотя она и съела мою любимую елочную игрушку. И уже чуть позже — ежик, опять котенок и канарейка. Мой брат всерьез подумывал о кенгуренке или крохотном ручном крокодилчике, но, к счастью для родителей, это осталось в планах...

А пограничником мой брат тоже не стал. Не успел просто. Однажды без спроса включил папин приемник, услышал там внутри музыку и как будто с ума сошел — тут же принялся гитару выпиливать. Сказал — импортную. А после гитары — какие уж там пограничники?..

Брат и меня тогда разбудил. Ну, когда приемник тот включил. И в ухо мне заорал, чтобы я слушал внимательно. Ну, я и стал слушать. А что мне оставалось делать?!

ВЕЛЬВЕТОВЫЕ ДЖУНГЛИ

Не скажу, что я пижон и что мне обязательно надо только модное что-нибудь на себя напялить, чтобы все потом глазели с утра до ночи. Нет, конечно. Тем более, что в те Яблочные Времена в наших краях модная одежда вообще мало у кого водилась. Разве что у тех, чьи предки раз в сто лет за границу ездили. Или у спекулянтов разных. А так — где ее достанешь, одежду эту? В магазинах почему-то ничего такого сроду не продавалось.

Но ведь и ходить черт знает в чем тоже не будешь, девчонки смотрят. Да и вообще... А то бывает, слоняется какой-нибудь тип — штанины выше щиколоток. И все до одного думают про него, что он как придурок. А если он брюки немного пониже спустит, чтобы щиколотки прикрыть, то сзади попа провисает. И тогда уж и думать нечего — точно придурок. Понятно теперь?

Конечно, если бы у меня джинсы были...

Американские джинсы, если честно, считались самой большой мечтой любого, кто хоть что-нибудь в жизни понимал. Правда, почти никто не знал, как они выглядят, джинсы эти, потому что многие о них только слышали, но ни разу в глаза не видели. Но зато те, кто видел, чудеса рассказывали. Например, что на джинсах куча заклепок и кожаных нахлобучек на задних карманах, а вместо пуговиц — молния. Что штаны эти — вечные, потому что сшиты то ли из чертовой кожи, то ли из крокодиловой. А потому когда их снимают, то в угол ставят — такие они крепкие, что колом стоят. И надевать их нужно лежа, иначе не втиснешься — уж очень они узкие.

Еще говорили, что настоящие джинсы трутся на коленях, и чем больше они протерты, тем модней выглядят. Для этого их надо варить в уксусе, а потом кирпичом тереть — они только лучше становятся. А главное, получалось, что джинсы можно никогда не гладить, стрелки дурацкие не утюжить. При этом счастливицы сыпали модными словами — «Левиса», например, или «Врангель». Или еще «Супер-Райфл» какой-то. В который влезть хотелось из-за одного только названия.

Правда, родители некоторых ребят говорили, что джинсы — одежда буржуазная. Или того хуже — белогвардейская. Потому что Врангель — это каждый с пеленок знал — был бароном, который давно еще хотел всю нашу страну захватить и всех покорить. Но те, кто джинсы носил, называли их небрежненько «джинсы» и чихать хотели на эти разговоры. А другие им только завидовали...

Зато мне повезло: у одного друга моего старшего брата — Рыжего, хиппи настоящего, — джинсов полно было, ему предки из-за границы привозили. Так что я все эти заклепки и нахлобучки сто раз вблизи видел. А мой брат один раз даже мерил джинсы нашего Рыжего. Правда, не лежа, врать не стану. Но выглядел он в этих штанах — закачаешься! Хотя Рыжий ни разу кирпичом их не тер и в уксусе не варил. Но то, что они на коленях трутся, — клянусь, я своими глазами видел. Поэтому уж кто-кто, а я-то знал, что такое настоящие американские джинсы.

Но в наших краях настоящие американские джинсы заменяли тотально болгарские техасы. Тоже, кстати, неплохие штанцы. Правда, они по шву расползались до того, как их начнешь носить. И линяли еще до первой стирки. Но все равно в таких штанах ты чувствовал себя настоящим ковбойцем.

Хотя и техасы тоже надо было где-то доставать. А потому носили их только те, кому повезло сильно.

Уже постарше ребята заказывали себе брюки в ателье. Если, конечно, номер очереди подойдет. Или сами в обычные штаны клинья вшивали. И тогда получались настоящие клеши. Это считалось самым шиком. А если еще и пиджак или синяя куртка джинсовая, «Супер-Райфл», волосы длинные и очки круглые, то, считай, все — Джон Леннон!

Мне мама однажды тоже куртку купила. Не джинсовую, конечно, а похуже, типа техасы. К тому же черную всю, как у гробовщика. И хотя мама счастливая такая домой пришла, я сказал, что это — не «Супер-Райфл». И что носить такую куртку не стану. И мама так расстроилась! Все твердила с беспомощным видом, что не знает, где этот *суперай* продается.

Мне вообще-то плевать, я и в мешке могу ходить. Но тут повел себя, как гад настоящий, заупрямился и не то что носить, примерить эту куртку отказался. И тогда мама вдруг тихо так говорит:

— Зря ты такую куртку носить не хочешь. Это ничего, что она не *суперай* какой-нибудь. Зато она *абсолютно битловская*.

Она прямо так и сказала — *абсолютно битловская*.

Я сразу оторопел весь — такое от мамы услышать! И тут же в куртку ту неказистую влез и уже не снимал ее, ну, лет сто, наверное. Даже спал в ней иногда — такая она оказалась битловская!

Но модная вещь — это ведь не обязательно только одежда. Есть же еще куча всяких штукювин. И я от брата своего всегда знал, что считалось самым модным.

Во-первых, конечно, «Битлз». Хотя об этом можно и не говорить — и так ясно. Кроме «Битлз» были еще группы, пусть и хуже в сто раз, но их пластинки очень модными были, и такую пластинку хотя бы в руках подержать — это вообще!

Потом, иностранная артистка одна, Софи Лорен. Очень красивая. Правда. Мне брат рассказывал, он ее видел, когда на фильм «дети до 16» ходил. Она так-кая вся!..

Вообще-то модными считались все иностранные фильмы. Или про индейцев — «Чингачгук — Большой Змей», например, «Виннету — вождь апачей», или французские — с тетками красивыми. Да и просто любое кино, если там сначала на автомобилях гоняют, а потом кофе пьют и целуются.

Модно было знать одного боксера негритянского, его Кассиус Клей все звали. Он однажды треснул какому-то Джо Фрезеру и стал «чемпионом мира среди профессионалов», как важнецки сказал мне брат. Этого несчастного Джо потом до одурения полотенцем обмахивали. Причем дрались они — не поверите! — пятнадцать раундов. Зато в пятнадцатом Кассиус ему так вклеил, что у того искры из глаз посыпались. Сильно! А в наших краях всего три раунда боксируют. Если, конечно, сразу в лоб не закатают. Это потому, что у нас спорт любительский, не то что за границей. А когда Кассиус Клей стал «чемпионом мира среди профессионалов», то придумал себе имя второе — Мохаммед Али. И я еще подумал: на кой черт ему два имени сразу?

Но мода была не обязательно только на заграничное. Наш «Кругозор», например, — это вообще! Покупаешь обыкновенный журнал, правда с дырочкой посередине. А потом выясняется, что это не просто журнал, а там еще внутри пришпандорены синие пластинки гибкие. Вы где-нибудь такое видели?! Хочешь читать — читай. А пластинку послушать — *пожалста* — продень проигрыватель в дырочку журнала и слушай себе. Не слабо придумано!

Хотя... Пластинки те шипели дико. И у проигрывателя от них иголки ломались. Но зато журнал с пластинкой — любому понятно — настоящая модная вещь!

Еще модными были: автогонки, заграничная машина «жучок» — *фольцваген* какой-то, значки с Гагариным, «гаврош» — прическа такая у теток, «Кабачок 13 стульев» и пани Моника, «Запишите на ваши магнитофоны» — это по радио передача, журналы про спорт, любые иностранные газеты, шариковые ручки, шампуневые флакончики, модели самолетов, и, конечно, *жувачка* — за нее вообще могли полжизни отдать. У некоторых родители собирали еще от заграничного вина бутылки пустые. Или этикетки — это тоже очень модно было. Ну и, конечно, выражения на английском — «герла», «шузы», «хелло, беби!». Или «о'кей, ребята!». Кстати, мой брат всегда что-нибудь *такое* говорил. Бывало, как сказанет: «*Ай кен гет, ноу сатис-фэксен*».

Что такое эта *фэксен* — я не знал. Но брату я верил. Тем более у него произношение английское — чистейшее: *ФЭКШН*.

А уж после того, как Наши Ребята — хоккеисты — играли с Кленовыми Листьями, с профессионалами канадскими, стало модно называть имя какого-нибудь игрока иностранного. Просто так взять и сказать небреженько: «Пит Маховлич». А тебе в ответ: «Эспозито».

Одно время самым модным выражением было битловское «кам тугеза!». Так какой-то болван объединил это с канадским хоккеистом, и получилось «Кам тугеза! Пит Маховлич». Глупость, конечно, но очень модным считалось...

Как-то раз в одном журнале — совсем, правда, не модном, потому что назывался он не то «Молодежь села», не то «Село молодое», не помню, — написали огромную статью про «Битлз». Дурацкая статья, если честно. «Битлз» там обзывали «жуки-ударники» и ругали за длинные волосы и рогатые гитары. Дядька, который статью написал, уверял всех, что у «Битлз» не музыка, а так, шум один и скоро все их забудут.

Конечно, мы с братом сразу поняли, что он самый настоящий придурок.

Еще там было написано, что «Битлз», когда прославились, носили «простую одежду рабочих кварталов Англии — вельветовые пиджаки без

воротников». И что «западная молодежь, бездумно подражая своим кричащим со сцены идолам», тоже захотела такую одежду носить. И началась повальная мода на вельвет. А в Англии в то время с вельветом вообще плохо было, на всех не хватало. И тогда срочно пооткрывались вельветовые фабрики и тысячи английских безработных получили работу. И «производство вельвета на британскую душу населения» сильно увеличилось. И уж после этого в вельвете стали ходить все поголовно.

Я читал и сильно радовался за английских безработных. И думал: «Вез-зет же *нектрым!* Вон англичане — как „Битлз“! Ходят себе в вельветовых пиджаках без воротников, и им хоть бы что».

— Представляешь, — мечтательно сказал я брату, — наверное, у них там в их «Доме тканей» джунгли настоящие.

— При чем здесь джунгли? — удивился мой брат.

— Джунгли при том, — сказал я внушительно, — что вельвета в Англии завались и выше. Читал, что написано? У них там, наверное, один сплошной вельвет. Вельветовые джунгли.

— Хм! Молоток! — неожиданно похвалил меня брат. — Неплохо звучит — «вельветовые джунгли». Прямо как название какой-нибудь группы.

Он опять нырнул в журнал, затих и вдруг как вскинется. И как заорет мне в ухо:

— Да пока я с тобой здесь сижу, весь мир в вельвете ходит.

Засобирался и исчез куда-то.

— А чё делать-то надо, скажи! — крикнул я ему вслед. Но он меня уже не слышал.

Вообще-то мой брат понимал толк в моде. Однажды, например, он из матрасной материи такие широченные клеши себе пошил, парашют прямо. Когда брат в этих штанах по улице шел, на него все оборачивались. Шикарные штаны были!

Но вельветовый пиджак без воротника? Как у «Битлз»?!

Через два дня моему брату удалось где-то раздобыть канареечного цвета вельвет. И на следующее утро — пораньше, в семь часов, — волнуясь и предчувствуя счастье, он помчался в ателье.

Эту историю мой брат потом столько раз рассказывал, что я ее чуть ли не наизусть выучил...

Еще до открытия народищу у входа столпилось — не продохнуть. А потом предстояло лет сто внутри толкаться. Но ради битловского пиджака без воротника можно было вытерпеть все...

Наконец эта дурацкая очередь доползла и до моего брата. К нему вышел портной, жующий дядька с красным носом.

— А-а, молодежь! — заулыбался дядька.

И, продолжая жевать, повел брата в примерочную кабинку с зеркалами. Там портной развернул братовский сверток, вытер о вельвет руки и бодро спросил:

— Ну, что шить будем?

Брат, переполненный знаниями о «производстве вельвета на британскую душу населения», начал было говорить:

— Мне бы простую одежду рабочих кварталов Англии... Вельветовые джунгли. В смысле — пидж...

— Понял, — перебил моего брата портной. — Модное нужно, правильно? — Он заулыбался во весь набитый свой рот и похвастался: — Что я, не знаю, что ли, что молодежи нравится: чтобы расклешенное все, правильно? Последний фасон.

Мой брат попытался договорить:

— Да, конечно... Фасон... Да. Но только, знаете, главное, чтобы без воротни...

— К молодежи ведь как? С душой надо! — опять перебил брата портной. — Не бойсь, сошью все по высшему разряду. От невест отбоя не будет.

Он хрипло засмеялся и, не давая сказать моему брату ни слова, быстро, будто фокусы показывал, стал обмерять его с ног до головы. Брат крутил головой, смотрел в зеркало и пытался поспеть за портным. А тот снял мерку, записал все размеры на листочек и вдруг негромко так говорит:

— Если по квитанции, то через месяц на примерку.

Отвернулся и стал ногти свои булавкой чистить.

Не знаю, как вы, а я этого просто не выношу — когда при тебе кто-нибудь ногти свои чистит. Так только придурки поступают, точно говорю.

Но брату моему уже не до ногтей было. Во-первых, дядька был жутко болтливый, такой запросто мог напутать все и сделать обычный пиджак, с воротником. И во-вторых, мой брат уж как только себя не представлял в этом пиджаке битловском, а тут еще целый месяц ждать надо...

— А пораньше нельзя? — с надеждой промямлил брат.

— Отчего же? Можно и пораньше, — оживился портной. — К молодежи ведь как? С душой надо! — Он взял еще один лист бумаги, вывел на нем карандашом «25» и сунул в нос моему брату.

— И завтра будешь расхаживать в настоящих вельветовых джунглях, — пообещал красноносый, пряча листок в карман.

«Двадцать пять рублей! — пронеслось в голове у брата. — Больше половины стипендии. Где их взять-то? Черт, но пиджак...»

— Мугу, да, — выдавил из себя мой брат. — Только... у меня сейчас не хватит. Я тогда завтра принесу, можно? И еще, знаете, — попытался он произнести на прощанье, — пожалуйста, не забудьте, что без воротни...

— Что я, не знаю, что ли, что молодежи нравится? — не дослушав брата, опять заговорил портной...

На следующий день мой брат сломя голову неся в ателье. Недостающие деньги он «до стипендии» занял у ребят в институте. Родителям про «25» решено было даже и не заикаться, мама этого точно не одобрила бы. Не потому, что денег было жалко. Просто пошить пиджак в ателье стоило 12 рублей 39 копеек. А брату вообще 13 рэ дали.

Приемщица вызвала портного, и, пока тот шел, брат переминался в нетерпении с ноги на ногу и пытался представить себе, какой он, его вельветовый битловский пиджак без воротника...

Наконец вышел портной. Без пиджака. Мой брат окаменел. А портной, увидев его, кивнул головой и пошел в примерочную кабинку с зеркалами. Брат обреченно отправился за ним. Дядька задернул шторы и не разжимая губ спросил:

— Деньги принес?

Покраснев, мой брат разжал кулак. Мятая, вспотевшая, но заветная сумма ждала своего нового хозяина. Дядька довольно хмыкнул, сунул деньги в карман и, ни слова не говоря, вышел из кабинки.

«А вдруг обманет? — испугался мой брат. — Вдруг пиджака и нет вовсе, а он уже деньги взял и смылся? Тогда ведь — все, никаких вельветовых джунглей...»

Но портной не обманул. Через три минуты он снова вошел в примерочную, и сердце моего брата бешено заколотилось — в руках дядька держал канареечного цвета мешок.

— На, молодежь, примеряй свои джунгли, — усмехнулся портной, всучил брату мешок и вышел из кабинки.

Брат мгновенно скинул с себя куртку, схватил свой долгожданный пиджак и...

О ужас! Все вдруг поплыло перед его глазами, самое-самое в этой жизни модное: «Битлз», Софи Лорен, автогонки и журнал «Кругозор» с пластинками внутри... Пот градом лил с моего брата. До него дошло, что вме-

сто битловского пиджака без воротника он держит в руках... широченные штаны.

Отчаянье сдавило ему горло. Цепляясь за последнюю надежду, мой брат на всякий случай сунул руку в брючину и попытался было натянуть штаны на плечо...

Занавеска в кабинке колыхнулась, вошел жующий, с красным носом портной.

— А где пиджак? — едва слышно просипел мой брат.

— Ну, — бодро сказал дядька, не слушая брата, — примерил уже? А чё ты руку-то в них засунул? Ха! На руках, что ли, штаны носить будешь? Ну, молодежь! — тараторил портной. — Ну, то, что носить будешь долго — я те обещаю, — посерьезнел он вдруг. — И потом, я же те такие модные брюки сшил — последний фасон, клеш от пояса. Все невесты твои. — Он опять заулыбался: — Что ж, я не сделаю, что ли? К молодежи ведь как? С душой надо!

Портной стащил с братовской руки свой «последний фасон» и, не переставая говорить, стал заворачивать в бумагу грязно-серого цвета эти джунгли, полные вельвета...



ВЛАДИМИР САЛИМОН

*

КРАЕМ ГЛАЗА

* *
*

Едва заметно прикоснется,
но вся осыпется тотчас
сухая елка у колодца
бесшумно на глазах у нас.

А ястреб лишь, взмахнув крылами,
продолжит начатый полет.
Как на параде, перед нами
гвардейской выправкой блеснет.

* *
*

Подноготная доселе
остается в стороне,
хоть душа зеленой ели
кажется бесплотной мне.

Бестелесного создания
между небом и землей
скрыто место обитанья
от незрячих вечной мглой.

Но кому судьбой дарован
от рожденья острый глаз,
мирустройством очарован
тот в отличии от нас.

* *
*

Лишь краем глаза иногда
я вижу, как она кружится,
и облак белый изо рта
выпархивает, точно птица.

Ее катание назвать
 фигурным можно лишь с натяжкой,
 но между тем седую прядь
 стыдливо прячу под фуражкой.

* *
 *

Луч фонаря в пустыне снежной
 могилу роет сам себе,
 и лампочка во тьме кромешной
 едва мерцает на столбе.

Порывом ветра между делом
 ее задует, как свечу.
 Всем существом — душой и телом —
 я холод смертный ощущу.

* *
 *

Ежегодно — ясным днем
 в проруби крещенской вижу,
 как звезда, горя огнем,
 с неба валится на крышу.

Как рождается дитя
 у Пречистой Девы в муках,

ясно вижу я, хотя
 очень в точных слаб науки.

Но не скоро в телескоп
 разглядит астроном
 то, что вижу я, в сугроб
 падая со стоном.

* *
 *

Загребущие лопаты,
 что у дворников в руках, —
 так грохочут только латы,
 разлетаясь в пух и прах.

Часто после снегопада
 раздается грохот вдруг.
 Деревянная лопата
 издает железный звук.

* *
 *

Словно струйки дождевые,
 реки снежные текут,
 и друг дружку, как слепые,
 мы ошупываем тут.

Чтобы сразу было ясно,
 кто стоит перед тобой, —

с дорогим дружком напрасно
 не затеять мордобой.

Иногда глаза и уши,
 широко раскрытый рот
 выдает родные души.
 Медный крест — честной народ.

* *
*

Что духовые вверх берут,
понять не слишком сложно.
Они, казалось бы, не врут,
но на душе тревожно.

Солдаты ли чеканят шаг,
топочут по брусчатке —
победно марширует враг,
нас одолевший в схватке?

Я слышу барабанный бой.
Труба зовет во мраке.
И новобранцев за собой
ведут на смерть рубаки.

* *
*

Любое объяснение
приемлемо, Бог весть,
что *полное забвение*
на самом деле есть?

Могилы безымянная.
В дни свадеб ребятня
толчется полупьяная
у Вечного огня.

* *
*

Параллельно существую,
чтоб не сосуществовать —
не ходить в одну пивную,
не делить одну кровать.

Пуп земли во тьме крошечной
отыскав с большим трудом,
я готов в пустыне снежной
для себя построить дом.

Много меньше, чем другая,
нагоняет на меня
страха крепость ледяная,
та, что строит ребятня.

* *
*

Кустарь-одиночка, кому по плечу
на свете любая работа,
из тех, что печурку сложить Ильичу
при случае сможет в два счета.

Смотрю, как работает он, и ловлю
себя я на мысли порочной —
завидуя мастеру, я не люблю
в поэзии рифмы неточной.

Всегда обращаю внимание на цвет,
но прежде всего замечаю,
что тонкий рисунок похож напросвет
на жиденький куст молочая.

* *
*

Фигурки рыбаков на льду водоканала.
Напротив пристани баржа на якорь встала.

Вдали на берегу высоком — новостройка.
Она по склону вверх карабкается бойко.

Не человеческой чтоб обладать вершиной —
мир здешний держится лишь силой лошадиной.

* *
*

Детишки шепчутся во тьме.
Ворочаются с боку на бок.
Порой сопутствует зиме
холодноватый запах яблок.

Когда доносится до нас
их дух медвяный из подполья,

вдруг слезы сыплются из глаз,
как в час веселого застолья.

Казалось — жизнь не удалась.
Но разве дружеская шутка
не может, Бога не боясь,
легко лишить тебя рассудка?

* *
*

С черным ранцем за плечами
гимназист бредет чуть свет.
Чтобы нам не спать ночами,
это — повод или нет?

Для меня — в какой-то мере.
Для иного — верный путь:
крепко запертые двери
в мир запретный распахнуть.

Гимназист бредет куда-то
с черным ранцем за спиной.
И кружит в лучах заката
в небе черного квадрата
черный ворон надо мной.



ЭРИХ СОЛОВЬЕВ



ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТАЛИОНА

Карательная справедливость и юридический гуманизм

Статья первая

Возможно, самое жуткое, что есть в современной России, — это ее «места заключения», пенитенциарное царство, заселенное почти миллионом человеческих существ. Журналистика, которой в конце 80-х впервые позволили заглянуть за колючую проволоку, ныне окаменела в усталом отчаянном сострадании.

Суды присяжных (пока что пробные, «опытные») отказываются выносить обвинительные приговоры, влекущие за собой сколько-нибудь длительное лишение свободы. Присяжные понимают, что даже двух-трехлетнее пребывание в нынешних тюрьмах и колониях сплошь и рядом означает либо скорую смерть (от туберкулеза, тифа, СПИДа, хронической дистрофии и «неожиданных внутренних кровоизлияний»), либо пожизненное вовлечение в мир неисправимой преступности, стянутой, как к властному центру, к преступности организованной.

Оторопь перед Зоной (и перед легко доказуемой невозможностью ее оздоровления в предвидимом будущем) гонит активистов судебной реформы к проектам сострадательно-снисходительного правосудия.

Многое, что при этом предлагается, заслуживает безусловной поддержки.

Верно, что существуют целые категории преступлений, которые по разуму и совести должны караться вовсе не лишением свободы, а, скажем, денежным штрафом, или выдачей под залог («на поруки»), или условным (то есть до следующего правонарушения отлагаемым) приговором. Верно, что нам необходима более широкая практика избирательных, индивидуализированных амнистий. Сто раз верно, что режим следственного изолятора должен качественно отличаться от тюремного режима и что всего лишь подозреваемый не может содержаться в одних камерах с уже осужденными.

И все-таки, не опускаясь до полного пренебрежения к идее правозаконности, невозможно ратовать за правосудие, которое действовало бы с постоянной оглядкой на негодность существующей системы исполнения наказаний и каждый раз *примеривало* свои решения к этой негодности. Соответственно нельзя не видеть, что корень проблемы не в том, как оградить *хотя бы некоторых* правонарушителей от нынешнего пенитенциарного ада, а в том, как избавить от адского варварства *всех*, кто все-таки попадает в Зону. Как ни горька реальность, мы не вправе терять интереса к вопросу об образце, эталоне «мест заключения», который от начала был ключевым для ответственной *пенологии* (теории наказания).

Соловьев Эрих Юрьевич — историк философии. Родился в 1934 году, окончил философский факультет МГУ; доктор философских наук. Автор книг «Экзистенциализм и научное познание» (1966), «Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время» (1984), «Прошлое толкует нас» (1990), «И. Кант: взаимодополнительность морали и права» (1993). В «Новом мире» впервые выступил в 1969 году со статьей о творчестве Хемингуэя.

Задача, которую я пытаюсь обрисовать, не противоречит, я надеюсь, соображениям гуманности. Вместе с тем она ни в коем случае не выражается такими понятиями, как «гуманизация пенитенциарной практики» или, того краше, «борьба за оптимальную комфортность тюрем и колоний».

«Комфортные тюрьмы» — хотя таковые и встречаются (скажем, в Нидерландах, Бельгии или Швейцарии) — явление, сомнительное для любого уровня цивилизованности и издевательски-оскорбительное для социально-бытовых условий сегодняшней России, где, по самым щадящим статистическим выкладкам, четверть населения живет за чертой бедности. Идея «гуманизации пенитенциарных учреждений» не может вызвать здесь ничего, кроме оправданного (пожалуй, даже священного) гнева в отношении «дворцов для злодеев и негодяев»: она отбросит значительную массу людей к традиционно-варварской народной мудрости: «Поделом вору и мука».

Сострадательная пенология всегда отзывалась популистским карательным неистовством, коренящимся в сострадании к потерпевшим. Приверженцев двух этих антагонистически противостоящих друг другу *партий сострадания* бессмысленно сажать за один стол и вести к консенсусу. Речь идет о конфликте, поддающемся только третьейскому решению по известной *мере*, уже никакого отношения к гуманности и состраданию не имеющей. Как это ни парадоксально на первый взгляд, но такой *объективной мерой* является осознаваемая самим преступником *заслуженность наказания*, принадлежащая к априорным элементам вменяемости. Обобщенным и формальным выражением этой заслуженности является *карательная справедливость*. И мстительное сострадание к потерпевшему, и жалостливое сострадание к осужденному преступнику должны признать нормативный приоритет этой справедливости и именно таким способом обуздать себя в качестве самостийных страстей. Только подчиняясь началу карательной справедливости (только включаясь в культуру совершенно особого *юридического гуманизма*, который ставит во главу угла понятие заслуженного жизненного удела), сострадание и милосердие к осужденному перестают оскорблять неутоленную мстительность тех, кто терпит от преступлений.

Уличенное преступление должно рассматриваться прежде всего как *отношение* виновного и потерпевшего — отношение конфликтное, которое надо незамедлительно разрешить и сделать «равновесным».

Уже состоявшийся акт насилия создает опасность ответного насилия со стороны потерпевшего (и тех, кто мог бы за него вступить). Вслед за этим «вторым насилием» последует «третье», и таким образом возникнет бесконечная цепь «карательной войны». Отвечая на насилие соразмерным ему насилием, власть выступает как хранительница гражданского мира и останавливает страшный маятник взаимной вражды. Данная цель выше всех других целей, которые могло бы иметь наказание, и должна безусловным образом предпочитаться последним.

Связь наказания с преступлением в акте *возмездия* является безусловной, надситуационной связью, которая в наименьшей степени зависит от изменений общественного контекста. Если суть наказания видят в устрашении, предупреждающем новые преступления, то это открывает неограниченный простор для конъюнктурно мотивированных жестокостей или послаблений. Конъюнктурная компонента (хотя это не сразу заметно) присутствует и в наказании, практикуемом как исправление: *в кого* хотят перевоспитать осужденного преступника, зависит от господствующих в данный момент представлений о лояльном, достойном, образцовом поведении. Это, естественно, отражается на тяжести «исправительных мер». В наказании же, осуществляемом в порядке возмездия, репрессия мотивируется только составом преступного деяния, как он оценен на момент суда, и потому находится с ним как бы в «надвременной» связи. Можно спорить о том, является ли возмездие моральным актом, но оно так же бескорыстно, неутилитарно, свободно от прагматического субъективизма, как и чистые моральные акты.

Все, что я только что изложил, — фрагмент достаточно давней, основательно продуманной и основательно забытой «теории воздаяния», которую Б. Н. Чичерин аттестовал однажды как «единственную, опирающуюся на глубочайшие основы человеческого разума и человеческой совести». Теория эта — детище классической криминологии и пенологии, сформировавшейся в конце XVIII — первой трети XIX века благодаря усилиям таких, например, юридических реформаторов, как Ч. Беккариа, Ж. П. Бриссо, Л. М. Лепелетье, П. Л. Лакретель, А. де Токвиль (Франция) или И. Г. Фихте, К. Хайденрайх, А. Фейербах (Германия), — авторов, принадлежавших к различным направлениям *политико-правового либерализма*.

Сегодня либералов не позорит разве что ленивый. Я не только не намерен поддаваться этому постперестроечному поветрию, но и попытаюсь ответить на него безапелляционной апологией классического либерализма. Я не позволю себе потешиться ни над одной из допущенных им очевидных нелепостей (иногда комичных, иногда оскорбляющих нас в наших лучших гуманистических чувствах). Я рад тому, что за недостатком места могу не приводить пространные цитаты, которые сразу обнажили бы весьма и весьма уязвимые пункты в рассуждении вышеназванных пенологических авторитетов. Я буду кратко и *наивыгоднейшим для них образом* пересказывать их ключевые установки. Кое-где я рискну мыслить за них, кое-где заставлю их мыслить за себя. Я разрешу себе достаточно вольно переноситься из их времени в наше время (и наоборот). Я буду отстаивать их достоинство не только в противовес никак до конца не вымирающему «социалистическому праву», где любого рода справедливость отступала перед мотивами «социальной защиты» и «социального перевоспитания», но и в противовес новомодной пенологии Запада (например, нидерландской, эталонно постмодернистской, по сути дела, утратившей всякую связь с юриспруденцией и вернувшейся к толстовской органической неприязни в отношении любого уголовно-правового возмездия). К критике либеральной пенологической классики я позволил бы себе перейти лишь после того, как выжал бы из нее все, что представляется мне существенным и важным для решения задач нынешней пенитенциарной реформы. И могу добавить, что критику эту я повел бы прежде всего с позиций, обозначенных *неолиберальной* философией наказания, как она заявила о себе в конце XIX — начале XX столетия.

Телесное наказание

Классическая либеральная пенология располагала, если угодно, собственной философией истории, наиболее основательно продумывавшейся в немецкой послекантовской литературе. Сопоставления со сколько-нибудь компетентной историографией преступления и наказания философия эта не выдерживает и все-таки содержит в себе убедительное и по сей день существенное *генеалогическое разъяснение основных смыслов*.

В истории выделяется три типа (три стадии, три фазы) отмщения: отмщение *варварское, государственно-деспотическое и просвещенно-правовое*.

1) Отмщение варварское — это нравственно мотивированное кланово-общинное действие, эталоном которого можно считать *кровную месть*. В. С. Соловьев позднее так выскажется о нем: «Убийство или другая обида, понесенная одним из членов группы, ощущается всей ее совокупностью и вызывает общее чувство мстительности. Поскольку сюда входит сострадание к потерпевшему, здесь должно признать присутствие нравственного элемента, но преобладает в этой реакции на обиду, конечно, инстинкт собирательного самосохранения»¹.

Как инстинктивная реакция кланово-общинное отмщение тяготеет к неумности. Сколь бы незначительным ни был его исходный повод, оно растет и

¹ Соловьев Вл. Право и нравственность. М., 2001, стр. 47 — 48.

ширится во времени подобно пожару: «Единичные столкновения переходят, таким образом, в войну целых обществ»².

Нужно живо представить себе беспощадную лавинообразность этого процесса, чтобы по достоинству оценить древнейшую максиму карательной справедливости — правило талиона («око за око, зуб за зуб»). Отталкивающее для нашего слуха, оно было тем не менее великим нормативным завоеванием.

Правило талиона выросло из глубокого знания людей — из понимания того, что они не так страшны в преступлениях, как в слепоте, неистовстве, коварстве и безмерности последующих отмщений.

Оно однородно с «золотым правилом нравственности» («не делай другому то, чего сам себе не желаешь»).

Оно не просто клятва, подразумевающая неотвратимость возмездия (мотив наиболее слышимый). Оно включает в себе начало юридического гуманизма: тяжесть карательного насилия *ограничивается* тяжестью преступления (происходит *минимизация* драконова правила насилия, склонность к которому всегда есть у какой-то части общества).

Оно утверждает, наконец, начало сравнительно-распределительной (дистрибутивной) справедливости: менее тяжкое преступление влечет за собой менее тяжкое наказание³.

Начиная с XV века инстанцию соблюдения талиона все чаще видели в государстве. Для либеральных криминологов конца XVIII века третьей роль государства в разрешении кланово-общинных конфликтов по единой мере — это едва ли не главный мотив в договорном учреждении единой верховной власти.

Серьезной заслугой классического либерализма надо признать понимание того, что практика варварских отмщений отнюдь не канула в Лету. Скорее она лишь обуздана и вытеснена более поздними системами уголовного наказания. Стоит такой системе потерять эффективность, а тем более вконец ослабеть, как общество тотчас ответит на это возрождением кланово-общинной карательной чрезмерности, особенно страшной в популистских выражениях. Преступника, которому не воздается по закону, подстерегают расправа, линч или оплаченные карательные действия мафиозных судилищ. Опыт показывает, что никакое воспитание в духе ненасилия и гуманности не может отвратить массу от подобных архаических практик. Приверженность к ним тем прочнее, чем острее социальное неравенство и чем выше степень криминализации населения. Самым верным хранителем архаического насилия (отмщения по схеме кровной мести) является *организованная преступность*.

О том, что в обществе всегда достаточно сил, готовых на самосуд и расправу, легко было бы напомнить с помощью меры, которой современное правосудие не пользуется, хотя, принципиально говоря, имеет ее в своем арсенале. Речь идет о формуле «поставить вне закона». Для классического либерализма она была необходимым и фундаментальным негативным допущением, подпиравшим всю теорию правомерного наказания.

Разъясняя смысловое строение уголовно-правовой нормы, И. Г. Фихте предлагал читателю вообразить следующую судебную процедуру. Уличенный правонарушитель сперва просто «оставляется по ту сторону закона». Он делается *vogelfrei* (свободным, как птица), то есть получает возможность творить все, что ему в голову взбредет. Но зато и все другие свободны в отношении его: каждый волен безнаказанно «употребить» преступника по своему желанию, то есть подвергнуть его надругательству, обратить в раба или просто убить. Не очевидно ли, говорит Фихте, что, оказавшись в подобном положе-

² Соловьев Вл. Право и нравственность, стр. 48.

³ В прекрасной статье «Талион и золотое правило: критический анализ сопряженных контекстов» Р. Г. Апресян замечает: «Талион <...> вопреки морализирующей критике то и дело оказывается востребованным в практических отношениях людей как насущный регулятивный, конфликто-разрешающий и сдерживающий избыточную, деструктивную агрессивность инструмент» («Вопросы философии», 2001, № 3, стр. 72 — 73).

нии, преступник сам попросит для себя наказание, предусмотренное уголовным кодексом.

Мысленный эксперимент Фихте непосредственно имеет в виду проблематику уголовно-процессуального права. Но достаточно очевидно, что он может быть применен и к праву пенитенциарному.

Места заключения — пространство изоляции осужденного преступника от общества. В чем смысл этой изоляции? Разумеется, прежде всего в том, чтобы оградить общество от правонарушителя. Общество делает это в порядке «необходимой обороны». Но нельзя не видеть и другой стороны проблемы. Тюремные стены или колючая проволока ограждают *самого осужденного* от сохраняющейся в обществе карательной архаики. Теоретико-пенологически последняя должна мыслиться как *всегда возможная*. Да и практика правосудия знает немало случаев, когда преступник, оставаясь на воле, видит себя в ситуации обложенного волка и вынужден искать в местах заключения свое... правовое укрытие⁴.

2) Пройдя через жестокую школу варварского отмщения, общество вступает в следующую фазу пенитенциарного опыта. Это — карательная практика сословно-централизованных и абсолютных монархий. Государство здесь — уже не просто блюститель, наблюдающий за соразмерностью независимо от него совершающихся возмездий. Оно инстанция, которой все возмездия *рекомендуются* (словно бы по ветхозаветной формуле: «Мне отмщение и Аз воздам»)⁵.

Как режим, преодолевший кланово-общинную месть, абсолютизм должен был стать эпохой полного господства талиона. И действительно, коронные суды сплошь и рядом соблюдают данное правило с отвращающей натуралистической буквальностью: за изнасилование кастрируют, вору отрубает руку, клеветнику или злостному хулителю вырывают язык. На эшафотах разыгрываются кровавые спектакли, где убийца с дотошной методичностью подвергается именно тем насилиям, которые он сам совершил над жертвой⁶. Подданные абсолютных монархий делают зрелищем педантично вымеренных, регулярно учиняемых *телесных наказаний*, невиданно многообразных и изощренных.

Но как раз это-то и заставляет сперва заподозрить, а затем отчетливо увидеть, что талион не может быть адекватной реализацией подразумеваемой им идеи справедливости. В самом деле, разве страдания и ущербы поддаются строгому измерению? Разве вырванный язык эквивалентен обиде, которая причина клеветой? Разве не очевидно, что око, хладнокровно выколотое в застенке, — это куда чудовищнее, чем око, выбитое в драке? А если так, то не вправе ли мы утверждать, что почти всякое телесное наказание представляет собой садистскую гиперболу того, что оно должно бы всего лишь «возместить»?

Эти сомнения в талионе усугублялись еще одним, возможно самым существенным, обстоятельством. Дело в том, что в карательной практике абсолютизма идея наказания как отмщения чем дальше, тем больше подчинялась

⁴ Случаи подобного рода выразительно представлены и в художественных произведениях криминально-детективного жанра. Таков, к примеру, известный фильм Артура Пенна «Погоня» (1965).

Из тюрьмы бежит осужденный преступник, — бежит в родной тexasский городок. Обстоятельства так складываются, что жители городка узнают об этом. Однако одновременно их ушей достигает полицейское сообщение об убийстве, которое беглец совершил в пути. Сообщение ложно — в его основе всего лишь правдоподобное подозрение. Но и его достаточно, чтобы разжечь массовую мстительную злобу. Тexasский городок готовится к линчеванию, — готовится как к празднику. Лишь немногие свободны от общего карательного опьянения. Один из них — шериф. Ему необходимо опередить расправу, арестовать беглого заключенного и вернуть его в *спасительное пространство заслуженных наказаний*.

В фильме нет счастливого финала. Шерифу удается захватить беглеца, но перед самым прибежищем (полицейским участком) фанатик, вырвавшийся из толпы, стреляет арестованному в живот.

⁵ Полная монополия государства на карательную репрессию — принцип, который сохраняется и в государстве правовом. Это великое цивилизационное завоевание эпохи абсолютных монархий (правда, деспотически деформированное уже при появлении на свет).

⁶ См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., «Ad Marginem», 1999, стр. 67 — 68.

идея *устрашающего наказания*. При этом монархическая юстиция стремилась внушить не только страх перед повторением преступления, но еще и священный ужас перед самой властью, поддерживающей порядок, и перед монархом-сувереном, в котором эта власть концентрировалась⁷.

Блестящий анализ этой юстиции мы находим в книге Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы»⁸.

Понимание наказания как устрашения прежде всего выразилось в нарочито публичном, зрелищно-ритуальном его исполнении. Перед подданными, как выражается Фуко, разыгрывалась своего рода «карательная литургия», тем или иным способом включавшая в себя компонент пытки. Она длилась до тех пор, пока наказуемый стопами, криками и покаянными показаниями не демонстрировал *полное торжество* коронного правосудия. «Недостаточно, чтобы злоумышленники были справедливо наказаны. По возможности они должны были еще судить и осудить себя сами».

Существенно, далее, что всякому преступнику вменялся не только тот ущерб, который он нанес потерпевшему, но еще и покушение на законный порядок и — как логическое следствие — оскорбление монарха, являющегося высшим воплощением и олицетворением порядка. «Во всяком правонарушении предполагалось *crimen majestatis* (покушение на его величество) <...> Соответственно в наказании всегда должна была присутствовать доля, принадлежащая государю. Именно она являлась наиболее важным элементом уголовно-правовой ликвидации преступления <...> В самом ничтожном преступнике подзревался потенциальный *цареубийца*». Что касается *цареубийцы* реального, то он трактовался как «тотальный, абсолютный преступник <...> Идеальное наказание для *цареубийцы* должно было представлять собой сумму всех возможных пыток <...> бесконечную месть»⁹.

Благодаря всему этому возможность садистской эскалации насилия, содержащаяся в талионе как законе телесных наказаний, превратилась в чудовищную реальность. Режим, в исторической легитимации которого видное место заняла идея эквивалентного воздаяния, на практике оказался режимом крайнего деспотизма и систематической терроризации населения.

Объем насилия и мучительства на стороне наказующих во много раз превзошел объем злодеяний, допускаемых преступниками (можно сказать, что под прикрытием формулы «око за око, зуб за зуб» методично осуществлялась экзекутивная работа, отвечающая правилу «око за зуб»). Государственная судебно-карательная система обнаруживала ту же (если не большую) тенденцию к неумеренной, безмерной репрессии, что и стихия варварских, кланово-общинных отмщений¹⁰.

К середине XVIII столетия об этом с горечью говорит множество свидетелей. Одновременно делается очевидным еще и следующее скандальное обстоятельство: именно из-за своей рутинной регулярности практика устрашающих

⁷ Действуя под знаком формулы «Мне отмщение и Аз воздам», то есть присвоив себе прерогативу ветхозаветного карающего Бога, абсолютная монархия вполне последовательно претендовала также на *почитание и трепет*, которые причитались ему по Писанию.

⁸ Не могу не отметить, что анализ этот (глава «Казнь») целиком остается в русле той критики монархического деспотизма, которую в конце XVIII — начале XIX века предложил классический либерализм: она лишь углубляется и радикализируется с помощью жанрово-стилистических приемов постмодерна, приковывающих внимание к «технологии господства над телом».

⁹ Фуко М. Указ. соч., стр. 52, 57, 72, 76, 80 соот.

¹⁰ Знаменательно, что огражденными от этой безмерности оказывались лишь те, кто подвергался *карательной изоляции*. Заточение в середине XVIII века было сословной привилегией. В подвалах замков или крепостей (тюрем в строгом смысле слова еще не существовало) содержались главным образом дворяне. Они не выставлялись на публику и не подвергались карательным пыткам. Скорая смерть считалась их льготой (кстати, гильотина была изобретена и впервые применена именно как убийственная машина *для знати*). «Места заключения» до конца XVIII века вообще достаточно редки: это острова в океане регулярных, жестоких и театрализованных *телесных наказаний*.

телесных наказаний уже никого не впечатляет и не пугает¹¹. Зрители «карательных литургий» все чаще испытывают отвращение к их жестокости, а порой решаются на бунтарские акции. Ш. Монтескьё в «Духе законов» оглашает факт, который войдет во все позднейшие хрестоматии по криминологии: карманные вору нигде не работают с такой наглой уверенностью, как в толпе, созданной на казнь карманного вора.

Пенитенциарная система абсолютизма вступает в полосу кризиса и упадка. В этой ситуации (в ответ на нее) на свет рождается идея *просвещенного правового отщепенца*, которая и станет ядром классической либеральной пенологии.

3) Представители классического либерализма видят глубокую сомнительность натурального начала талиона, каковым являются *страдания человеческого тела*. Истязуемая плоть не поддается соизмерению и соизмерительной лимитации. Отсюда — выдающаяся цивилизационная инициатива конца XVIII века: осуждение телесных наказаний, борьба сперва за их ограничение, а затем и за полное устранение из карательной практики. К середине XIX столетия этот процесс становится необратимым; а где-то за чертой 1850 года мы уже не встречаем ни в юриспруденции, ни в социальной философии, ни в философии права ни одного авторитетного защитника телесного наказания. Истязания плоти изгоняются из процессуального права (запрет пыток как «побудительной меры»), из права уголовного и, наконец, из пенитенциарных кодексов (дольше всего — вплоть до наших дней — этому противится концепция и практика карцера).

Вытесненные из области узаконенного уголовного возмездия, телесные наказания находят свой последний (подпольный) приют в сфере захолустного самоуправства и — что особенно существенно! — в мире организованной преступности. Именно здесь (и сегодня, возможно, даже чаще, чем прежде) людей, нарушивших криминальные кодексы чести, жгут, ослепляют, кастрируют, «опускают» и «мочат»...

Отвергнув телесное наказание как способ отщепенца, классический либерализм оказал, однако, перед нелегким вопросом. А чем, собственно, его заменить? Какие тяготы выплачивать за правонарушение? Какая осязаемая, да еще и измеримая материя должна занять место выколотых глаз и выбитых зубов?

Возможность решения этого вопроса открыла новое понимание права, завоеванное граждански-политическим опытом, философией и юриспруденцией последней трети XVIII века. Образцовым его выражением можно считать формулу, выкованную Кантом: *равенство в свободе по всеобщему закону*¹². В авангардном правоведении начала XIX столетия это понимание постепенно подчиняет себе все подразделы теории справедливости и с особой энергией заявляет о себе в трактовке справедливости карательной.

Свобода — единственно надежная мера в сопоставлении преступления и наказания. Суть преступления — в покушении на свободу, суть наказания — в лишении свободы. Тяжесть преступления измеряется степенью преднамеренного насилия над свободой другого, тяжесть наказания — временем лишения свободы (сроком содержания в неволе)¹³.

Классическая пенология сплывается в следующих основных установках: начало талиона, хотя бы в значении абстрактной идеи «равнотяготности», принципиально неустранима из строго правовой теории наказания;

¹¹ См.: Фуко М. Указ. соч., стр. 93 — 95.

¹² В статье «О поговорке „Может быть, это и верно в теории, но не годится для практики“» (1793) она впервые вводится так: «*Право* [как таковое] есть ограничение свободы каждого условием ее согласия со свободой каждого другого, насколько это возможно по всеобщему закону...» (Кант И. Соч. в 4-х томах на немецком и русском языках. Т. 1. М., 1994, стр. 283).

¹³ Доводя это рассуждение до конца, правоведение нашего времени признает, что бесспорная пожизненная неволя есть полное отрицание свободы, а стало быть, юридический эквивалент умерщвления. Но если так, то смертная казнь юридически избыточна. Она — последний реликт телесных наказаний.

лишение свободы (а точнее, ее кардинальное ограничение, или «поражение в правах») — единственная форма наказания, которая может быть признана цивилизованной: наказания телесные, увечашие и позорящие (например, клеймение) должны быть запрещены;

задача справедливого (эквивалентного и цивилизованного) отщепенца первична по отношению к задаче исправления преступника, более того — на исправительный эффект можно рассчитывать лишь в том случае, если преступник сознает, что его не исправляют, не переделывают, а именно наказывают и что применяемые к нему карательные меры и в целом, и в каждом конкретном случае справедливы.

Установки эти непреходящи, и сегодня на них вновь необходимо твердо опереться, принимая на себя риск и трудности актуального логически последовательного рассуждения.

Заглянув в последние годы за стены тюрем, за проволочные ограды, мы ужаснулись тому, до какой степени наши исправительные учреждения не соответствуют понятию «исправительных», сколь часто получается, что на деле они вконец разлагают, ожесточают осужденного и формируют преступника-рецидивиста.

Опираясь на наследие классической либеральной пенологии, я отваживаюсь утверждать следующее: исправительный эффект наших исправительных учреждений низок прежде всего потому, что они не годятся в качестве учреждений пенитенциарных в строгом смысле слова, то есть *наказательных*. Пора наконец отказаться от повторения сентиментально-гуманной, насквозь фальшивой фразы: «Общество не мстит преступнику» — и честно сказать: «Через карательные органы государства общество отщипывает преступнику преступление, но именно поэтому видит свою задачу в освоении и развитии юридической культуры наказания».

Азбука этой культуры — понимание того, что неволя есть единственная кара, положенная преступнику по строгому праву. Он не должен наказываться сверх того ни уродующей работой, ни дистрофией, ни специфическими лагерными эпидемиями, ни полускотской стадностью барачного быта (все это — лишь лицемерная, трудно уличимая разновидность телесных, увечаших и позорящих наказаний). Говоря языком Канта, преступление (в строго юридическом понимании) полностью отщипывается тем, что человек, его совершивший, изымается из мира признанной автономии и попадает в мир институционализированной *гетерономии* (букв. — «чужезаконности»), то есть пребывает в изоляции от общества и ведет поднадзорное, регламентированное, принудительно-трудовое существование.

Подневольный труд

Сосредоточимся на последнем пункте этого перечня — на принудительном труде, которому суждено будет занять центральное положение в пенитенциарной практике XIX и особенно XX века.

Начну с существенных оговорок.

Принудительный труд не должен трактоваться как единственно допустимый для всех сегментов и отсеков пенитенциарного царства.

С одной стороны, вполне мыслимо одиночное тюремное заключение, при котором арестант не выполняет никакой — а значит, и принудительной — *общественно полезной работы*.

С другой стороны, в местах заключения, которые сегодня именуется колониями общего режима, рядом с принудительным трудом может допускаться наемный труд, подчиняющийся нормам общего трудового законодательства. В колониях же, которые считаются реабилитационными (у нас это пока большая редкость), он даже делается неременной и доминирующей формой арестантской занятости.

Но сфера, где принудительный труд должен властвовать безраздельно, не допуская рядом с собой никакой работы по свободному найму (и даже ника-

ких симбиозов с этой работой), — это места заключения *со строгим режимом*, в которых обретаются люди, радикально «пораженные в правах».

Классическая пенология не должна была делать этих оговорок (и даже не поняла бы их), поскольку вообще еще не знала дифференцированной Зоны. По сути дела, она обстоятельно продумывала только проблему тюрьмы и внутритюремного труда. И сегодня наработанные ею понятия и модели пригодны (и поучительны) лишь применительно к той категории осужденных преступников, которые она отнесла бы к числу безусловно заслуживающих тюремного заключения.

Есть основания утверждать, что «по логике истории» принудительный труд призван был заместить телесное наказание в структуре талиона и стать давно искомой «новой материей» справедливого отмщения: выразительно временной, делимой, строго отмериваемой. Но чтобы это произошло, принудительный труд прежде всего не должен был сам представлять собой *разновидность или хитроумную модификацию телесного наказания*. Между тем и в пору формирования классической пенологии, и в дальнейшем (в XIX и особенно в XX столетии) он существовал и наново утверждался как род еще не виданного телесного мучительства.

Во-первых, классическая пенология оказалась свидетельницей высшего расцвета *каторги*.

Учредителей каторжного труда мало интересовала его полезность: каторжник на каменоломнях или в рудниках, как и те, что угодили на эшафоты, в застенки, на столы для порки, должен был прежде всего *отстрадать* свое преступление. Его держали под плетью, отягощали цепями и кандалами (зачастую вопреки всем резонам производительности), пытали зноем, стужей, жаждой, неудобоваримой пищей. Обдуманые проекты *рентабельного* употребления каторжного труда появились лишь тогда, когда абсолютные монархии вступили в фазу высшей экономической озабоченности и хозяйственного (физиократического) просвещения. Во Франции это началось при Кольбере (колотников стали сгонять на галеры и на строительство дорог). Труднейшие проблемы обороноспособности и казны заставили сообразить, что, пожалуй, будет разумно, если каторжанин станет жить чуть лучше, а работать подольше.

Во-вторых, одновременно с классической пенологией, ломавшей голову над моделью разумно-справедливого принудительного труда, на свет рождается его коммерчески-промышленный ублюдочный двойник — практика *работного дома*. Рождается стихийно-экономически, без всякого внимания к выкладкам криминологической мудрости.

Работные дома возникли в Англии как лицемерные пенитенциарно-филантропические учреждения (сперва государственные, а затем частные). В них заключали представителей криминализированной безработной массы, назначая им в качестве наказания (и одновременно предоставляя в качестве милости!) *товаропроизводительный труд на полный физический износ*. Ничтожная часть стоимости, произведенной этим трудом, обеспечивала полуголодное казарменное существование работника; остальное поступало в карман работодателя. Работные дома совмещали в себе дегенеративную тюрьму и эмбриональную раннекапиталистическую фабрику. Они заняли одно из самых позорных мест как в истории уголовного наказания, так и в истории экономической эксплуатации.

Впрочем, не нам, уроженцам XX века, разглагольствовать о позоре каторги, какой она была во времена Кольбера, или о позоре работного дома, каким его знали подданные короля Георга III. Все, что Новое время сумело нашкодить по части принудительного труда заключенных, оказалось лишь присказкой к поистине inferнальной сказке, которую преподнесло только что минувшее столетие и которая, как это ни горько признавать, сказывалась прежде всего на просторах нашего отечества. Не вспомнить об этом, рассуждая о труде как наказании, было бы бесчестной тенденциозностью.

В истории большевистского ГУЛАГа можно выделить три этапа.

Первый — подготовительный, «беломорканальский», когда под громкие отрицания «буржуазных концепций отмщения», под лозунгами трудового перевоспитания («перековки», «трудотерапии») закладывались основы невиданного по масштабам государственного лагерного рабовладения.

Второй этап — предвоенное пятилетие, по многим приметам самое жуткое. Отваживаюсь утверждать, что это был период, когда ГУЛАГ работал в режиме *суперкаторги*, который задавался основным смыслом тогдашних политических судебных процессов.

Преобразование осужденных «врагов народа» в бессрочных каторжников было неизбежным следствием *юридической лжи большевизма* — результатом массовой фабрикации политических обвинений с помощью «признательных показаний». Чтобы ложь не раскрылась, осужденный должен был *навечно исчезнуть за воротами тюрьмы и лагеря*. Выход на волю тех, кто получил приговоры по пятьдесят восьмой и другим «контрреволюционным» статьям, был явлением крайне редким. С помощью добавления сроков все заключенные этой категории превращались в *пожизненных узников*.

В 1936 — 1937 годах (в период ежовщины) карательная верхушка партократии явно тяготела к *поголовному уничтожению* осужденных «контрреволюционеров». В местах заключения проводились секретные массовые ликвидации (посредством расстрелов, потоплений и вымораживаний). Судя по всему, потребовалась особая инициатива палачей-реформаторов, чтобы убедить власти, что массовая ликвидация может осуществляться с помощью *особо интенсивной производительной утилизации*, дающей как-никак еще и известный прирост первому в мире рабоче-крестьянскому государству. Эта установка и превратила ГУЛАГ в суперкаторгу. Заключенный не уничтожался, но его принудительный труд должен был стать мученическим, жизнеразрушительным трудом — *телесным наказанием высшей пробы*. Десятки секретных документов тех лет свидетельствуют о том, что *пенитенциарное эксплуатационное убийство политических* сделалось стержневым мотивом, определявшим всю организацию и дисциплину Зоны (под нее — хотя со многими послаблениями — подпадал и уголовный элемент).

Любой приговор, вынесенный «врагу народа» («десятка», «восьмерка», даже «пятерка»), трактовался как насмешливая аллегория пожизненной (и отнимающей жизнь) пыточной работы. Этот садистский императив подчинял себе все иные, в том числе и хозяйственно-эксплуататорские соображения, превращая «исправительно-трудовые лагеря» в лагеря смерти.

Рудники, прииски, «спецработы» — это газовые камеры сталинских лагерей. Основная масса узников находилась здесь в состоянии более или менее длительного *трудового умерщвления*, и государство готово было довольствоваться тем, что можно извлечь из труда умерщвляемых (по пословице «с паршивой овцы хоть шерсти клок»)¹⁴.

¹⁴ Самой глубокой и исчерпывающей характеристикой режима трудового умерщвления являются «Колымские рассказы» В. Шаламова — великий документ антропозономической истории XX века.

Арестованный в 1929 году, а вторично — в 1937-м, Шаламов провел около двадцати лет в лагерях и ссылках, из них пять лет на Колыме, которая, по словам А. И. Солженицына, представляла собой «*полюс лютости* этой удивительной страны ГУЛАГ». В течение нескольких лет работал в преисподней золотого прииска. Свою прозу, сознательно и последовательно противопоставляемую сочинительской культуре повести и романа, Шаламов называл «прозой, выстраданной как документ». Судьба гулаговского раба-каторжника нотариально заверена им от лесоповала и забоя до мученической смерти (подлинность которой проверялась разбиванием черепа) и братских могил-холодильников, выдолбленных в вечной мерзлоте. С научной точностью и мифопоэтической силой Шаламов документирует основной смысл тоталитарного лагерного насилия: «Труд и смерть — это синонимы». Заключенный работает под страхом смерти: «Расстреливают за три отказа от работы, за три невыхода». Угроза смерти загоняет в режим убийственных «уроков» («четырнадцатичасовой рабочий день <...> в резиновых чунях на босу ногу в ледяной воде золотого забоя»). Умерщвляющая работа поддерживается «тремя китами»: голодом, холодом и побоями. Каждое из этих воз-

Рентабельность при низкой эффективности — такова парадоксальная особенность всякого труда невольников, известная со времен римского плантационного рабства. Но еще никогда в истории парадокс этот не был столь кричащим, как в преступном хозяйстве ГУЛАГа, экономически завершавшем преступность большевистского следствия и правосудия. Труд зека был предельно рентабелен вследствие почти нулевых затрат на поддержание его рабочей силы. Труд зека был предельно неэффективен, поскольку его исполняли *изможденные каторжники*, «лагерные доходяги», организованные на началах почти что «стадной кооперации» и вооруженные самыми примитивными орудиями.

В литературе 80 — 90-х годов нередко высказывалось мнение, будто в предвоенное время принудительный лагерный труд составлял чуть ли не главную массу труда, использовавшегося в социалистической экономике. Эксплуатируемого зека искали на всех стройках социализма и даже в фундаменте индустриализации. Само образование ГУЛАГа сводилось при этом к экономическому резону — к мотиву применения предельно дешевой рабочей силы.

Это мнение ошибочно: оно одновременно является и преувеличенным, и слишком слабым, слишком щадящим обвинительным вердиктом.

Не приходится отрицать, что дно Беломорканала устлано костями зеков, что при строительстве Днепрогэса, Магнитки, Сталинградского тракторного в достаточно больших масштабах использовался лагерный рабский труд. И все-таки нельзя считать его ни одним из рычагов, ни тем более ферментом ускоренного индустриального развития. Этого не допускала предельно низкая эффективность. Во второй половине 30-х ГУЛАГ *опозорился* на строительстве комбинатов в Соликамске и Березовске, а также на ряде объектов оборонного значения; он все труднее монтировался во все усложняющуюся архитектонику пятилетних планов¹⁵.

Почему же тогда ГУЛАГ не только сохранялся, но и расширялся? Не было ли это результатом просто слепой (сверхутилитарной) классово-социальной злобы?

Нет, ГУЛАГ рос прежде всего по мотивам той выгоды, которая всегда стояла за *телесным наказанием*. Речь идет о *социально-политическом интересе устраниения и терроризации*, который подчинял себе соображения экономической выгоды и позволял мириться с недостаточностью последней. Для большевистской власти была желательна и нужна Зона, в которой люди умерщвлялись каждодневно и беспрепятственно. Десятки миллионов истязаемых невольников (примерно население Швейцарии) позволяли держать 140 миллионов советских людей в состоянии государственного крепостничества и полукрепостничества — в режиме модернизаторских мобилизаций и энтузиазмов.

Напрашивается вопрос: а возможно ли, чтобы лагерный труд как телесное наказание производил устрашающее воздействие без всякой его демонстрации?

Каторжные работы никогда не демонстрировались, и все-таки люди представляли себе, что это такое. Кроме того, здесь нелишне вспомнить известное изречение Екатерины II: «В России всё под секретом, но нет никаких тайн».

действий и дестимулирует (ослабляет, уродует, убивает), и побуждает (то есть гонит все дальше в жизнеразрушительный труд).

В случае с побоями это очевидно. Но и холод воздействует как стимулятор — как кнут, который взяла в руки сама природа. Вот что говорит лагерный десятник только что прибывшему лагерному воспитателю: «Работу из них [зеков] выжимает только мороз <...> Они машут руками, чтобы согреться. А мы вкладываем в эти руки кайла, лопаты — не все ли равно, чем махать, — подставляем тачку, короба, грабарки, и прииск выполняет план».

Судьба лагерника — умереть до срока (до срока освобождения и до срока кончины, положенного природой). «Зек-долгожитель — это чудо и бельмо в глазу лагерного начальства». «Социально-опасный элемент», который не был изведен (то есть утилизирован *в кратчайшие сроки полностью и до конца*), свидетельствует об опасном изъяне в пенитенциарном порядке. Все делались равно ничтожными трудящимися смертниками, и официальным дискурсом этой уравниловки была издевательская патетика. На воротах лагерей красовалось не цинично-нацистское «Каждому — свое», а ханжески-советское: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» (См.: Шаламов В. Несколько моих жизней. М., 1996, стр. 433, 152, 129, 230, 34 соот.)

¹⁵ В своей характеристике предвоенной пенитенциарной системы как суперкаторги я основываюсь прежде всего на данных, собранных в «Справочнике по ГУЛАГУ» Жака Росси (ч. 1 — 2, М., «Просвет», 1991).

Люди опаснейшими способами получали вести из лагерей — вести, достаточные для понимания того, что *страшнее этого ничего не бывает* и что *это может постигнуть каждого*. Да и то понимали большевистские каратели, что самый стойкий страх должна вызывать как раз расправа, завешенная секретностью: существование здесь, на этой же земле, иного, запредельного мира, из которого *никто не возвращается* и который, подобно Тартару, пробуждает ужасы воображения.

После Отечественной войны (возможно даже, в последние ее годы) ГУЛАГ вступает в свой третий этап. Из суперкаторги он мало-помалу превращается в гигантский *рабочий дом*. Определяющим мотивом становится целенаправленная государственная эксплуатация бесправия, в анализе которой Марксовы понятия «прибавочного продукта» и «прибавочной стоимости», пожалуй, могут работать даже лучше, чем при интерпретации фабричного капитализма XIX века (без обильного смазочного материала «опосредований»). Формируется современное *доходное рабство*, прочно включенное в плановую экономику (в этом, если угодно, основная примета бериевщины и ее основное отличие от ежовщины). Зона постепенно захватывается техническим прогрессом, подвергается расчленению по квалификациям, в ней возникают очаги наукоемких технологий («шарашки») и особо ответственные отсеки, связанные с оборонной промышленностью.

Никакого роста «комфортности» при этом не происходит. «Хрен редьки не слаще»: труд зека по-прежнему остается телесным наказанием высшей пробы — работой на износ, на инвалидность; средняя продолжительность жизни в ГУЛАГе не делается более высокой¹⁶.

И все-таки основное целеназначение (*causa finalis*) принудительного труда меняется — садистская компонента перестает быть доминирующей. Экономическая выгода получает приоритет над социально-политическим эффектом устрашения (который тем не менее, конечно же, сохраняется). В лагерях появляются минимальные возможности для признания достоинств профессионализма и осмысленной работы¹⁷.

Если бы не смерть Сталина и не XX съезд КПСС, большевистская судебно-карательная система почти наверняка достигла бы такого состояния, когда политические приговоры фабриковались бы по запросам Зоны как особого технолого-экономического образования, включенного в «единый народно-хозяйственный организм» (каждый год арестовывалось бы заранее запланированное количество физиков, химиков, геологов, инженеров, бульдозеристов, монтажников и т. д.)¹⁸.

По счастью, этого не произошло. При авторитарно-полицейском режиме КПСС, пришедшем на смену тоталитарному режиму ВКП(б), лагерная система подверглась умеренной либерализации: число политзаключенных сократилось на два-три порядка, принудительный труд перестал быть умерщвляющим, у заключенных появилась возможность зарабатывать, пересылать деньги семье и даже делать сбережения. И все-таки советская Зона и при Брежневе, и при Андропове, и даже при Горбачеве по-прежнему оставалась государственным рабочим домом, то есть изолированным пространством еле-еле лимитированной интенсивной эксплуатации бесправия. Выжимание прибавочной стоимости осуществлялось на пенитенциарных предприятиях средней производительности, все прочнее прилипавших к военно-промышленному комплексу. По выдаче туфты и по припискам они мало чем отличались от большинства советских предприятий, а щедрые бюджетные дотации на «оборонку» позволяли и им перебивать полосы позорной неэффективности.

¹⁶ Нельзя не отметить, что значительная часть колымских рассказов В. Шаламова непосредственно имеет в виду послевоенное время.

¹⁷ На мой взгляд, наилучшие представления о третьем этапе ГУЛАГа дают романы А. И. Солженицына «Раковый корпус» и «В круге первом».

¹⁸ Репетиция такого мероприятия произошла в 1948 — 1949 годах, когда повторному аресту были подвергнуты десятки тысяч людей, в основном специалистов высокой квалификации.

Ситуация резко изменилась в начале 90-х годов, когда, с одной стороны, началась конверсия, с другой — решающее значение для выживания предприятий приобрел критерий конкурентоспособности. Места заключения постигло то же бедствие, что и российскую экономику в целом, — стремительно растущая безработица. Наследницей умерщвляющего интенсивного принудительного труда 30 — 40 — 50-х годов стала вынужденная и разлагающаяся арестантская праздность!

Чтобы вернуться к центральной теме этого очерка, необходимо четко обозначить следующий решающий момент: принудительный труд в варианте суперкаторги и в варианте общегосударственного работного дома никогда не находились в непримиримом конфликте. Они постоянно совмещались и достаточно легко уступали друг другу целевые приоритеты. Более того, они представляли собой два выражения, две модификации *одного и того же явления*, а именно *трудовой утилизации заключенного*. В одном случае (суперкаторга) он до смертного предела употреблялся в аспекте социально-политического интереса, в другом (общегосударственный работный дом) — в аспекте выжимания полезностей и прибыли.

Практика ГУЛАГа наглядно (как любил говорить Маркс, «ослепительным образом») продемонстрировала, что труд как обременительная целесообразная деятельность, создающая продукты и стоимости, не может быть надежным мериллом справедливого карательного возмездия. Он содержит в себе столько возможностей утилизации способностей, сил и здоровья, что в качестве жизненного отправления бесправного человека неминуемо будет склонять к *беспредельному властному насилию*.

Вот эта-то констатация и позволяет вновь вспомнить о пенологии классического либерализма. После повествования о мерзопакостях советской судебно-карательной практики, развернутого на предыдущих страницах, восстановление теоретического контакта с ней кажется почти невозможным. Тема талиона перечеркнута. В разговор вторглись документальные свидетельства и понятия, которые, казалось бы, и привидеться не могли людям, жившим два века назад и негодовавшим — Боже ты мой! — по поводу деспотизма *anciene régime*.

Насчет документальных свидетельств спорить не приходится. Но вот что касается понятий — тут дело обстоит по-другому. Чтобы продемонстрировать это, обращусь к косвенному свидетельству, взятому, правда, не из криминологии и пенологии непосредственно, а из того раздела философии Нового времени, который в последнее время именуется политической антропологией¹⁹.

В каждой из великих политических антропологий, созданных в Новое время, присутствует (подразумевается) свой исходный, *базисный страх*. У Гоббса — это страх перед насильственной смертью, которой состояние *bellum omnium contra omnes* грозит каждому естественному индивиду. У Локка — страх перед экспроприацией частной собственности (перед бедственным положением человека, который вынужден вести борьбу за природное выживание, не имея ни земли, ни орудий труда).

А вот любопытно, какого рода базисный страх подразумевался учением Канта, который был высшим философским авторитетом для либеральных криминологов-классиков?

В своей работе «И. Кант: взаимодополнительность морали и права» я попытался показать, что самым страшным из всего, что может ожидать нас в этой земной жизни, Кант считал *утилизацию человека другими людьми*. Да, именно ту утилизацию, которая, как показано выше, представляла собой самое абстрактное измерение каторги и работного дома, а затем — суперкаторги и лагерного доходного рабства.

Доказывая, что протест против утилизации является одним из основных мотивов трансцендентально-критической моральной философии, я обращался

¹⁹ См.: Н ö f f e O. Politische Gerechtigkeit. Frankfurt am M., «Suhrkamp», 1987, S. 5 — 21.

к малоизвестным и редко обсуждаемым кантовским текстам. Но, в сущности говоря, это можно усмотреть и куда более простым способом.

Знаменитая вторая формула категорического императива налагает решительный, безоговорочный запрет на отношение к человеку «только как к средству»²⁰. Но такое отношение и есть утилизаторская стратегия! Кант требует, чтобы представители рода *Homo Sapiens* отнеслись к ней как к главной опасности, которая всегда может их подстергать, и соответственно никогда не позволяли подобной стратегии себе самим.

Понятие утилизации Кант и его последователи трактовали чрезвычайно широко: они знали, что подвидом обращения с человеком «только как со средством» может быть превращение его в пушечное мясо (милитаристская утилизация), в объект полового наслаждения (сексуальная утилизация), в объект заклятия (окультурная утилизация), в объект устрашающей расправы (эксеквтивная утилизация). Но чем дальше, тем чаще их внимание обращалось на *утилизацию в режиме труда* (на порабощение и эксплуатацию). Мы встречаем этот ход мысли в рассуждениях молодого Фихте о понятии *Unrecht* («неправье»), а затем в сочинениях молодого Гегеля, где «овещвление» (*Verdinglichung*) рассматривается как наиболее существенная примета рабского состояния.

Эта тенденция послекантовской философии не могла не воздействовать и на образ мысли тогдашних криминологов и пенологов.

Ни один человек не застрахован от утилизаторской экспансии общества (особенно если это общество, далекое от идеала правоупорядоченности), — так что же сказать об осужденном преступнике, потерпевшем поражение в правах! Его незащитность и принудительность его работы распалют утилизаторские вождения *по всем измерениям труда* (обременительность, полезность, доходность). И классическая либеральная пенология ищет возможности для аксиологического (ценностно-нормативного) вычисления этих измерений. Ищет и находит, причем на удивительно простом пути.

Как я уже упомянул, главной заботой пенологов-классиков было проектирование разумно устроенной тюрьмы (нового пенитенциарно-правового института, который, строго говоря, не был известен ни восточным, ни западным традиционным обществам²¹). Принудительный труд конституировался прежде всего как труд внутритюремный.

Существенную роль в реформаторском проектировании разумного тюремного порядка играло переосмысление веками формировавшейся *монастырской дисциплины*.

Монашеская келья стала прообразом одиночной тюремной камеры (места обдуманного персонального раскаяния); монастырские уставы — прообразом детальных тюремных регламентов. Монастырская дисциплина речи, пресекавшая сквернословие и суесловие, была принята за образец при продумывании дисциплинарных мер, которые нанесли бы наибольший урон жаргонной сплоченности преступного мира (или, если воспользоваться вполне уместной в данном случае лексикой постмодерна, — *подпольному и анархическому дискурсу господства*).

Эти секулярные перетолкования привели к неоспоримо ценным результатам, которые, увы, по сей день не освоены нашими отечественными институтами наказания.

Последним из них стало размышление над монастырской *трудоустройкой*.

Аскетическое трудовое усилие было известно со времен незапамятных, однако регулярное применение получило не ранее XV века. Именно с этого вре-

²⁰ В лучшем на сегодняшний день русском переводе формула эта звучит следующим образом: «Поступай так, чтобы ты никогда не относился к человечеству как в твоём лице, так и в лице всякого другого только как средству, но всегда в то же время и как к цели».

Несколькими строками ниже этот запрет на утилизацию появляется в форме философско-антропологического утверждения: «...человек не есть вещь, т. е. то, что может употребляться *только* как средство; он должен рассматриваться при всех его действиях одновременно и как цель сама по себе» (Кант И. Сочинения в 4-х томах на немецком и русском языках. Т. 3. М., 1997, стр. 169).

²¹ См. об этом: Подорога В. ГУЛаг в уме. — «Index», 1999, № 7-8, стр. 99 — 117.

мени в монастырях утвердилось достаточно отчетливое понимание того, что, если более древние («страдательные») виды аскезы (скажем, строгие посты или самобичевания) действительно необходимы для обуздания буйствующей порочной плоти, то «трудовые уроки» представляют собой наилучшее лекарство, во-первых, от лени как волюнтаривной основы пороков, а во-вторых, от самоуверенности и гордыни. Или, если выразиться совсем коротко и просто, — наилучшее лекарство от безволия и своеволия.

Следуя основному библейскому определению труда («в поте лица будете рабатывать хлеб свой»), монастырская мудрость, естественно, стремится к тому, чтобы труд был усилием в достаточной степени «потогонным» (физически обременительным). Однако она вовсе не требует от трудовой аскезы изнурения или мучений, то есть такой интенсивности, которая явным образом не предполагается задачей добывания хлеба насущного. Самое существенное здесь не страдание, причиняемое плоти, а *послушное самопринуждение*, или *приневоленная воля*.

Вместе с тем (по крайней мере после Реформации) подчеркивается, что трудовая аскеза не должна иметь индугентного смысла: Богу угодны (а потому важны и для укрепления духа) не полезности и стоимости, которые оказались результатом аскетически-трудоого усилия, а само это усилие (то есть опять-таки *послушное усердие*).

Вот эти-то мотивы новая пенология и ставит во главу угла, разом отмежевывая свое понятие принудительного труда от каторжной практики и практики работного дома.

Заклученный не должен пребывать в праздности или своевольно распоряжаться своей рабочей силой. Тюремный порядок *переподчиняет его волю*: как способность самопринуждения, как хозяйка над телом, воля каждодневно выводится из-под власти былых (прежде всего криминальных) привычек и принципов. Каждодневно и методично идет сламывание противоправной гордыни, которая заставляет осужденного преступника упорствовать в нераскаянности. Изнурительность, позорность и пыточность труда *избыточны для решения этой задачи*.

Но не только мучительность каторги относится к разряду избыточного. Туда же попадают и некоторые характеристики труда вообще, получившие совершенно специфическое значение в эпоху генезиса капитализма.

Классическая либеральная пенология — ровесница классической либерально-буржуазной политэкономии (учений У. Петти, А. Смита, Ж. Б. Сея, Д. Рикардо). Концепции эти образуют смысловое единство: ядро классической политэкономии — трудовая теория стоимости; существенная компонента классической пенологии — трудовая версия справедливого воздаяния.

Но вот что особенно интересно.

Классическая политэкономия отстаивает рыночно-свободный, эффективный и рентабельный труд. Классическая пенология закрывает ему доступ в царство правомерного наказания и с большей или меньшей последовательностью защищает труд, отъединенный от рынка и безразличный к требованиям производительности и рентабельности.

Какие потребительские ценности создает трудящийся узник, искусен ли он и сколько будут стоить созданные им продукты — все это несущественно для принудительной трудовой аскезы. Это адиафора в горизонте реформированной пенитенциарной морали — то, что не порицается, но и не ставится в зачет.

Некоторые представители классической либеральной пенологии не останавливаются даже перед допущением того, что труд заключенных вообще может быть бессмысленным, сизифовым трудом²².

²² Знаковым для их образа мысли можно считать новшество, введенное в 40-х годах XIX века в образцово-показательной филадельфийской тюрьме. Ее заключенные должны были ежедневно по 8 часов вручную приводить в движение странный — можно сказать, покafkaнски странный — агрегат. Более всего он напоминал мельницу, которая, однако, ничего не молола.

Законопослушным гражданам, которые посещали тюрьму в порядке просветительных экскурсий, говорили: «Вот злодеи, которые теперь каждый день делают не то, что им хоте-

Допущение безжалостное, но, как это ни парадоксально, представляет собой крайнее (гипертрофированное, фарсовое) выражение вполне правильного общего принципа, принадлежащего к первоначалам юридического гуманизма. Он может быть сформулирован так: *труд как наказание должен лежать за пределами всякого расчета выгод*. Ни выгоды принуждаемых, ни выгоды принуждающих не могут влиять на режим подневольной работы, ибо это неминуемо поколебало бы карательную справедливость.

В одном из сочинений А. Фейербаха (выдающегося представителя немецкой просветительской криминологии, отца философа Л. Фейербаха) продлевается такой мысленный эксперимент.

Предположим, что меру труда как наказания мы стали бы видеть в объеме и стоимости произведенного им продукта. К чему бы это привело? Во-первых, рассуждает А. Фейербах, идея справедливого отмщения сразу приобрела бы индультентный смысл. Но если труд как наказание мыслится индультентно, то уже ничто не помешает просто откупаться от такого труда. А это неизбежно приведет к привилегиям на стороне богатых правонарушителей и к дискриминации правонарушителей бедных. Принцип эквивалентного отмщения преступлений будет грубо поправен.

Продолжая рассуждение А. Фейербаха, можно сказать следующее: беднейшие из правонарушителей, не способные откупиться от подневольного труда, тут же оказались бы в положении эксплуатируемых невольников, из которых государственная карающая власть в кратчайшие сроки, всеми правдами и неправдами, выжала бы товарную массу, соразмерную (по ее оценкам!) тяжести содеянных преступлений.

Как бы предупреждая эту чудовищную метаморфозу тюрьмы, лучшие представители новой пенологии настаивают на *сверхутилитарном и самоцельном, постоянном и равном принуждении к труду*. Сам заключенный должен понять, что стоит ему получить возможность что-либо заработать с помощью своего подневольного усилия, как общество тотчас начнет зарабатывать *на самом заключенном* и притом с возрастающей интенсивностью.

Но если заключенный не должен ничего зарабатывать сам, то откуда могут взяться средства на его содержание? Наиболее радикальные представители классической либеральной пенологии без обиняков отвечают на это: скудное жизнеобеспечение осужденного преступника общество в лице государства обязано *целиком взять на себя*. Обоснованию данного тезиса помогает обширная просветительская литература (К. А. Гельвеций, П. А. Гольбах, Ж. П. Марат), показывающая, что общество так или иначе виновно в большинстве человеческих преступлений. Сознывая свою вину, оно обеспечивает прожиточный минимум всякому осужденному, сколь бы сурово он ни наказывался. Государственное содержание осужденных — *необходимая предпосылка* внеутилитарной и самоцельной, постоянной и равной принудительности их труда. Только благодаря этому труд осужденных остается компонентом гетерономии (карательной несвободы), но не делается объектом никаким правом не сдерживаемой эксплуатации.

Вернемся к понятию гетерономии (чужезаконности), введенному в конце первой части этого очерка.

Можно сказать, что гетерономия — это этическое обозначение рабства. Оно имеет в виду не рабство как институт (не экономический облик рабовладения), а рабство как наихудшее политико-юридическое состояние. Заключенный предельно ограничен в целеполагании («живет по-назначенному», не является «господином себе самому»); у него нет никаких прав, кроме права на жизнь, права совести и права апелляции. Первое препятствует тому, чтобы

лось бы». Спустя некоторое время это новшество («наказание для наказания», как «искусство для искусства») было отменено по общегуманным соображениям: в нем увидели работу, «унижающую человека своей нелепостью».

любой приговор оказался смертным приговором; без второго немислимо раскаяние; третье оберегает от надзирательского произвола и садизма. Жизнь заключенного подвергается едва ли не поминутному надзору и регламентированию.

Но как это ни удивительно, именно такое *политико-юридическое* рабство (или почти рабство) оберегает осужденного преступника — даже самого злостного! — от *рабства экономического*: от доходной утилизации его аскетической бедности.

Скудное пропитание, которое он получает в форме гарантированного пайка, — такая же компонента карательной несвободы, как и чистота его камеры (поддерживаемая из-под палки), как режим молчания и, наконец, принудительный труд. Все они *рядоположены друг другу*, и прожиточный минимум заключенного никак не влияет на рентабельность его труда. Арестант искупает свою вину не трудоднями и трудочасами, а просто днями несвободы, одним из компонентов которой является подневольная трудовая аскеза вкупе с созданными ею полезностями (симптомами и показателями того, в какой мере человек не был «господином себе самому»).

А теперь снова перепрыгнем через два века и вернемся в нашу сегодняшнюю, удручающе горькую российскую реальность. Какие уроки мы могли бы, размышляя о ней, извлечь из мудрости классического либерализма?

Отвечая на этот вопрос, я прежде всего хотел бы дать следующее разъяснение. Было бы очевидной ошибкой видеть в классическом пенологическом наследии пособие для построения *проектов* улучшения пенитенциарной системы. Самое большее, о чем может идти речь, — это обдумывание ее *идеала*²³.

Такие выражения, как «идеал тюрьмы», «идеал исправительно-трудовой колонии», оскорбляют наш слух. Они, казалось бы, звучат еще более абсурдно, чем «горячий лед» или «деревянное железо», поскольку задевают наше нравственное разумение. Однако, если мы вспомним, что тюрьмы и колонии — это образования *пенитенциарно-правовые*, принадлежащие структуре *правового государства*, обсуждение их в горизонте идеала едва ли покажется нам сомнительной, нравственно нелепой затеей.

Обсуждать идеал — значит говорить не о рецептах, а об ориентирующих принципах известного обновления или улучшения. Именно ориентирующие принципы (не более того) и подсказывает нам пенологическая классика.

Начну с того, что представляется наиболее важным, — с принципиальных суждений, касающихся *экономического статуса Зоны*.

Если говорить об идеале, я решительно настаивал бы на следующем:

1) Заключенные должны быть аскетически умеренными иждивенцами государства. Содержа своих арестантов, общество в лице государства оплачивает собственную вину за существование преступности (этот тезис классической либеральной криминологии я считаю абсолютно правильным). Вспомним, что в добрые старые времена тюрьмы по типу их финансирования не отличались от лечебниц и домов призрения.

Общество не имеет права не только наживаться на осужденных правонарушителях, но и экономить на них. Мстительная скупость в отношении заключенных отвратительна и недопустима. Пятьдесят восемь копеек в день на содержание несовершеннолетнего колониста — это так же позорно, как и заработная плата, составляющая 14 процентов прожиточного минимума²⁴.

2) Государство не только должно обеспечить скудный прожиточный минимум заключенных, оно обязано также целиком инвестировать производство,

²³ О коренном различии проекта и идеала см.: Смазнова О. Ф. Темпоральность правовых норм. (На материале социально-философского анализа русского правосознания XIX — XX веков). Кандидатская диссертация. Великий Новгород, 2003, стр. 43 — 89.

²⁴ Данные 1996 года.

организуемое в тюрьмах и колониях, и отказаться от получения какой бы то ни было прибыли. Мне кажется, наиболее подходящей продукцией пенитенциарных предприятий мог бы быть ширпотреб, отвечающий самым элементарным, самым примитивным массовым запросам. Государство должно целиком забирать эту продукцию, но *не должно выносить ее на рынок*. Выработку тюрем и колоний следует просто раздавать (в порядке благотворительности) самой нуждающейся части населения (тем, среди которых наиболее часты, наиболее вероятны «преступления бедности»). Этим достигалось бы простейшее решение вопроса об искупительном характере труда-наказания.

Как это ни удивительно, но самая радикальная реформа пенитенциарной системы в эпоху рыночных реформ состояла бы в том, чтобы вообще отделить допускаемое в этой системе производство от развивающегося рынка. Тюрьма и колония должны быть с самого начала защищены (ограждены государством!) от непосильного для них требования конкурентоспособности.

Только благодаря этой решительной мере создаются надежные условия для того, чтобы:

а) подневольный труд полностью отвечал понятию *принудительной трудовой аскезы*;

б) *гетерономия* всей жизни заключенных не превращалась в предпосылку их экономической *утилизации* (в предпосылку доходного лагерного рабства разных степеней насилия и интенсивности);

в) принудительный труд мог стать «*новой материей*» талиона и был застрахован от превращения в *телесное наказание*.

3) В правовом государстве монополией на наказания обладает государство. Поэтому учреждения, организующие и культивирующие труд как наказание, могут быть только государственными учреждениями. Последнее приходится специально подчеркивать, поскольку в 90-х годах в США появилась в высшей степени сомнительная инициатива создания *частных* тюрем и других исправительно-трудовых заведений. Зараза быстро докатилась и до наших краев: два-три совместных предприятия уже выступили с соответствующим почином. Даже хорошо отлаженные проекты позволяют разглядеть, что речь идет об организации *рабочих домов*, или, если угодно, о рафинированном приватном ГУЛАГе. Потворствовать подобным модернизациям ни в коем случае нельзя: первое, о чем следует позаботиться при проведении пенитенциарно-правовой реформы, — это о предотвращении регрессий к чудовищному прошлому, в которые может вдруг забросить до цинизма новаторское новаторство.

«Хорошо, — скажет читатель, — пусть так! Но ведь то, что вы предлагаете, — это новые бюджетные расходы. А откуда взять средства? И что делать при их нехватке — сейчас, немедленно?»

Вопросы эти не относятся к обсуждению идеалов (к выбору принципиальных ориентиров, или, если хотите, — путеводных звезд). Вопросы эти — по ведомству *проектов*. И все-таки я попробую откликнуться на них (хотя, признаюсь, без достаточной прагматической уверенности).

Вконец обездолив Зону, государство, мне кажется, могло бы помочь ей временно перейти в режим *хозяйственной автаркии, самообеспечения*. Для этого надо позволить пенитенциарным предприятиям производить низкосортную продукцию (другой они не выработают) и сбывать ее по минимальной цене, ничего не отнимая у этих предприятий ни в форме отчислений, ни в форме налогов. Есть основание предположить, что соответствующей выручки Зоне хватило бы, чтобы справиться с голодом и даже мало-мальски повысить комфортность быта. Кроме того, разве рабочая сила заключенных (особенно в условиях безработицы!) не может непосредственно направляться на обустройство их собственного скорбного дома — на внутризонное строительство, на ремонты, на огородничество... (Кстати, монастыри веками жили в режиме хозяйственной автаркии. И им было чем похвалиться!)

«А коррупция! — спохватывается читатель. — Зона, введенная в режим самообеспечения, в два счета будет обобрана собственным зонным начальством!»

На это я могу ответить только одно: контроль нужен! — беспощадный контроль: государственный и общественный (правозащитный)...

Вернемся, однако, к идеальной модели: поразмыслим о том, к чему следует стремиться даже без надежды на успех.

Хочу предупредить, что все, что я намерен сказать далее, прямо и непосредственно относится лишь к местам заключения *со строгим режимом*. Если правосудие справедливо (а мы ведь как-никак обсуждаем идеалы), места эти заселяются эталонными правонарушителями, своего рода криминальной элитой.

Места заключения со строгим режимом — это пространство, где лишение свободы должно переживаться сполна и во всей его тяжести. Между тем о лишении свободы (или, если быть юридически точным, — о кардинальном поражении в правах) нельзя всерьез говорить там, где сохраняется *товаропроизводительная свобода* — причастность к рынку и меновым отношениям. Поэтому, оглядываясь на классическую пенеологию, позволительно сформулировать следующий «пенитенциарный категорический императив»: эталонный заключенный — это человек, который не отчуждает и не приобретает, не продается, но также и не продает, не эксплуатируется, но также и не зарабатывает. Самоцелью подневольный труд, труд-наказание, не допускает никаких наймов, никакой оплаты, никакой конкуренции и предприимчивости. В пространстве кардинального поражения в правах он должен быть чисто исполнительской, послушнической, урочной работой, по возможности одинаковой и продолжающейся «от сих до сих», «от звонка до звонка». Перевыполнения, лидерства, «зачеты» — категорически недопустимы. Как показывает опыт, все эти состязательные игры давно освоены на криминальный манер и являются базисом самой беспардонной туфты и эксплуатации «мужиков» «урками» и «шестерок» «тузами». Заинтересованность и увлеченность работой, конечно, не возбраняются, но не могут и вознаграждаться. В местах со строгим режимом осужденный преступник должен плотью ощутить, что материальная заинтересованность — это привилегия свободных!

Меновые отношения (более того — сами их предпосылки) должны быть по возможности исключены также из организации потребления и из быта заключенных, который сегодня насквозь коррумпирован, хотя счет идет в одних случаях на сотни долларов, а в других — на рубли. Поэтому («в принципе и в идеале») — никакой зарплаты, никаких «передач с воли», способных вызывать имущественное неравенство. Деньги запрещены и безжалостно изымаются. Потребление поднадзорно и регламентировано по критерию нужды. Никто не голодает, но все получают питание лишь в форме пайка. Нечего украсть и нечем подкупить тех, кто надзирает. В местах строгих режимов осужденный преступник должен хорошо понять, что деньги и отчуждаемое имущество — это привилегия свободных!²⁵

Отлучение от материальной заинтересованности и предприимчивости, от денег и рыночного обмена — логически необходимая мзда, которую верхние этажи Зоны должны заплатить за избавление всей Зоны от нелегитимированной

²⁵ Может возникнуть вопрос, а не подвожу ли я места заключения под картину Чевенгура, под казарменно-коммунистический идеал? Да, подвожу, и это неудивительно. Давно бы пора понять, что реально-исторически доктринерски-чистый коммунизм — это *лагерный Город Солнца*. Утопия *земного рая*, как она мыслилась Томасом Мором и Томасом Кампанеллой, Мабли и Бабёфом, Троцким и Сталиным, достаточно реалистична именно при реформировании *пенитенциарного ада*. Опыт трудоварий, продразверстки, коммун, бригадного коллективизма и бригадных соревнований может с большой пользой изучаться специалистами из ГУИНа...

Но может быть, самое знаменательное в этом трагическом воспроизведении фарсов заключается в том, что казарменно-коммунистическая фактура строгого наказания была бы максимально пригодна для уличенной криминальной элиты эпохи нынешнего «дикого капитализма». Поставить представителя этой элиты в положение безжалостно понуждаемого коммунара — это, мне кажется, наилучшее средство для сламывания его противоправной воли и престижно-потребительской спеси.

Хочу напомнить, что я утверждаю это, отталкиваясь от установок классической *либеральной* криминологии и в развитие ее догадок.

экономической эксплуатации, зачеркивающей все усилия по цивилизованному переосмыслению талиона (последнее, в сущности говоря, является бесконечной пенитенциарно-правовой задачей).

И еще одно обстоятельство, которое при этом надо принять во внимание.

Места заключения со строгим режимом — это пространство наказания, куда (при всех горьких российских оговорках) попадают осужденные представители нынешней *организованной преступности*. Именно они заведуют вовлечением арестантов-новичков в сплоченное «делинквентное сообщество» (термин М. Фуко). Именно они входят в генералитет *теневой пенитенциарной системы*, которая существует внутри Зоны и практикует самые архаичные, самые варварские насильственные меры, лежащие ниже черты талиона. Жесткое обуздание этого генералитета, его бескомпромиссная изоляция как от внешнего, экономически свободного мира, так и от других отсеков самого исправительно-трудового хозяйства, — это необходимое условие сохранения карательной справедливости, предусматриваемой законом. И как раз в этом сопоставлении с теневой расправной практикой, все более пышным цветом расцветающей, она (карательная справедливость, предусматриваемая законом) вновь выявляет заложенное в ней классически-либеральное начало юридического гуманизма.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ГУСТАВ ШПЕТ



«Я ПИШУ КАК ЭХО ДРУГОГО...»

Письма к жене

Вильгельм Дильтей однажды заметил, что письма выявляют такие моменты жизни человека, осознание и интерпретация которых позволяет создать целостный образ мыслителя. Они являются своеобразным жизненным контекстом, тонально окрашивают философское слово автора, открывают внутренние смыслы его творчества. Исследование писем имеет особое значение при работе с текстами русских философов начала XX века, в силу объективных причин не успевших завершить многие свои замыслы. К числу таких мыслителей принадлежит Густав Густавович Шпет (1879 — 1937), большинство писем и философских сочинений которого сохранены в семейном архиве (источнике предлагаемой публикации). Заметим, что до нас дошли, к сожалению, лишь письма самого Шпета. Ответы, как правило, он уничтожал. Как отмечает его дочь М. Г. Шторх, такое отношение к письменным свидетельствам возникло у него после первого обыска и ареста «за марксизм», еще в студенческие годы.

Густав Шпет родился в Киеве в обедневшей дворянской семье. Благодаря усилиям матери, Марцелины Иосифовны, он получил классическое образование. Окончив 2-ю Киевскую классическую гимназию в 1898 году, Шпет поступил в Университет св. Владимира на физико-математический факультет, с которого был исключен без права продолжать обучение за участие в революционном «Союзном совете». Как и многие современные Шпету мыслители — С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, П. Б. Струве и другие, — он увлекался в юношеские годы марксистской философией, но не смог найти в ней ответов на многочисленные вопросы, которые ставила действительность. Он обратился к изучению Канта, Гегеля, Шеллинга, проявлял повышенный интерес к русской истории и литературе. Интерес этот во многом предопределил его выбор дальнейшей профессиональной деятельности, и в 1901 году Шпет вновь был принят в университет на историко-филологический факультет, где в эти годы читали лекции Г. И. Челпанов, кн. Е. Н. Трубецкой, С. Н. Булгаков и другие. В этот период Шпет публикует свои первые философские сочинения: «Память в экспериментальной психологии» и дипломную работу, удостоенную золотой медали, «Проблема причинности у Юма и Канта» (1905). В 1907 году Шпет вместе с Челпановым переехал в Москву, где участвовал в создании Психологического института, преподавал философию и логику в гимназиях и университетах. В 1912 — 1914 годах Шпет стажировался в Геттингенском университете, слушал лекции Гуссерля и работал в библиотеках. Результатом стажировки стал труд «Явление и смысл» (1914), в котором представлена интерпретация гуссерлевских «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии». Свою диссертацию («История как проблема логики. Ч. I») Шпет защитил в Московском университете в 1916 году. После революции 1917 года Шпет продолжает научную и преподавательскую деятельность заведующим философской секцией, а затем вице-президентом Российской академии художественных наук, организованной в 1921 году (РАХН, с 1927 года — ГАХН), со-

здает Этнографический кабинет (Кабинет этнической психологии) при МГУ. Он активно участвует в научных дискуссиях Московского лингвистического кружка, общается с Р. Якобсоном, М. Кенигсбергом, Г. Винокуром и другими. Является членом правления Российского союза писателей, во главе которого стояли Б. Зайцев и Н. Бердяев, а после их отъезда — Б. Пильняк. Входит в художественный совет МХАТ, по приглашению К. С. Станиславского становится профессором Академии высшего актерского мастерства. В этот период Шпет работает над «Историей как проблемой логики», издает отдельные части этого труда в виде самостоятельных работ: «Эстетические фрагменты», «Введение в этническую психологию. Вып. 1», «Внутренняя форма слова» и др., пишет «Очерк развития русской философии». После чистки и ликвидации ГАХН (1929) Шпет был полностью отстранен от философской и педагогической деятельности и занялся переводами художественной литературы: Диккенса, Шекспира, Байрона и других. В 1935 году арестован и сослан в Енисейск, а затем в Томск. Его последняя философская работа, выполненная в Томске, — перевод «Феноменологии духа» Гегеля. Расстрелян 16 ноября 1937 года. В 1956 году посмертно реабилитирован.

Язык писем Шпета, его стиль изложения очень своеобразны. «Я пишу как эхо Другого», — эти строки из письма Шпета к невесте как нельзя лучше характеризуют его «слово», ему одному свойственное специфическое выражение мыслей. Действительно, при чтении и философских текстов Шпета, и его писем возникает ощущение, что ты ведешь разговор и с ним самим, и с его адресатом. Иначе говоря, Шпет демонстрирует мастерское владение «цитированием». И вместе с тем в текстах его усматривается «остаток», нередуцируемое смысловое ядро, которое и представляет особую ценность для исследователей его творчества.

Письма адресованы разным людям, и содержание их меняется в зависимости от адресата. С одной стороны, в них выражается отношение Шпета к современникам: Л. Шестову, Э. Гуссерлю, Б. А. Фохту и другим, содержатся его размышления о текущих событиях, будь то Первая мировая война, Корниловский мятеж или революционные события 1917 года в России. С другой стороны, в письмах раскрываются сложности и конфликты, возникающие в жизни и деятельности философа, проясняются не только отдельные факты его биографии, но и некоторые моменты, касающиеся его философских произведений и уточняющие их смысл. Эти письма — и литературный факт, и бытовая, и автобиографическая, и интеллектуальная информация. В них — философские размышления, разговор об отношениях с жестокой действительностью, признания в любви...

Здесь, в письмах, тот же постепенный уход от сложного и изысканного, те же поиски простоты и строгости, которые так характерны для философского и жизненного пути Г. Шпета. «Давно замечено, — писал он, — что легче всего сокрушаются всякие теории, школы и академии людьми в 15 лет, когда голое „не“ кажется самым убедительным аргументом <...> но труднее всего его произнести, когда школа, академия пройдены. Вот тут только подлинно великие произносят свое „не“ и начинают свой непротоптанный путь» (письмо к сыну Сергею от 21 ноября 1936 года — «Начала», 1992, № 1, стр. 57).

Творческий путь Шпета — это непрерывный поиск, постоянное волнение и преодоление себя, самовыражение и неуспокоенность, работа «усердия и сердца». Он считал, что лучший способ работы — обдумывать ту или иную проблему и одновременно писать. Иначе «она „оцветет“ в уме и выполнять ее явится <...> тяжестью» (письмо к Н. К. Шпет от 7 июля 1914 года — из архива семьи Шпета). И чем сложнее были жизненные ситуации, возникавшие на его пути, тем интереснее, ярче, глубже становились его мысли, которые находили свое воплощение не только в статьях, монографиях, очерках, рецензиях, но и в его письмах к жене, детям, друзьям.

Наибольшую часть эпистолярного наследия Шпета составляют письма к жене, Н. К. Шпет (урожденной Гучковой). При расставании Густав Густавович и Наталия Константиновна писали друг другу каждый день, таковы были условия устного договора между ними, верность которому они сохранили до конца. Обширнейшая переписка (только за 1912 год — около 130 писем) охватывает 1911 — 1914 годы — в основном время обучения Шпета за границей, а также

письма из ссылки 1935 — 1937 годов (последние опубликованы в книге «Шпет в Сибири: ссылка и гибель», Томск, 1995*). Сохранились отдельные письма и других лет.

При чтении писем Шпета становится очевидным, что Густав Густавович и Наталия Константиновна сумели сохранить душевную теплоту и отзывчивость сердца на протяжении всей супружеской жизни. Можно ли сказать, что отношения между ними всегда были безоблачными? Нет, конечно, хотя письма Шпета полны самых нежнейших любовных признаний. Требовательность к себе и взаимное уважение помогли им преодолеть трения, возникавшие в совместной жизни, и уже с середины 20-х годов их можно было назвать «счастливой семьей». Мир подлинной любви для Шпета — тот, в котором происходит слияние душ. Этот «жизненный мир» он анализировал в своих философских сочинениях и подчас — в своих письмах. Поэтому весь свой откровенный «разговор» (общение в письмах) с Н. К. Гучковой Шпет пытается направить в «любовное» русло. Но эта любовь — особая, как говорил сам Шпет, метафизическая, «когда два Я интимно сливаются в единое целое — Мы». Он пытался найти в отношениях с Наталией Константиновной такое духовное родство, которое, по его мнению, и рождает семью, и является путеводной нитью для счастливого брака. Любовь и духовную близость Наталия Константиновна сумела пронести через все жизненные испытания, выпавшие на ее долю. В 1935 году Шпет писал ей из ссылки: «Кто бы мог сказать о той девочке, которую я узнал 25 лет тому назад, что из нее выйдет такая замечательная женщина и жена!»

Шпет не раз подчеркивал, что его жизнь — это жизнь в философии, своеобразная «*Philosophia Natalis*», он делится с любимой женщиной творческими планами, рассказывает о работе над диссертацией, описывает сложности, возникшие при переводе «Феноменологии духа» Гегеля. В письмах содержится подробный план его философского труда «История как проблема логики. Ч. II», публикация и текстологическая реконструкция которого осуществлена исследователями совсем недавно («История как проблема логики. Критические и методологические исследования. Материалы». В 2-х частях. М., 2002). Иначе говоря, благодаря эпистолярному наследию Шпета уясняется взаимосвязь между внешними проявлениями творческого процесса и внутренними размышлениями, идейными замыслами, достигается целостное понимание личности этого оригинального мыслителя.

В настоящей публикации авторская пунктуация по возможности сохранена, орфография приближена к современной; курсивом выделены слова и фразы, подчеркнутые автором один раз, дважды подчеркнутые слова выделены полужирным курсивом, трижды — полужирным курсивом вразрядку. Мы благодарим внучку Г. Г. Шпета — Е. В. Пастернак — за предоставленные материалы и помощь в комментировании писем.

Т. Г. Щедрина.

Москва, 2 Неопалимовский, 4.
12 XI 1911¹.

Дорогая Наталия Константиновна!

Вы хотели, чтобы я написал Вам, но Вы и представить себе не можете, как это трудно. Столько сразу, — не мыслей даже, — а течений мыслей, что трудно остановиться на чем-нибудь одном, и притом какая-то общая усталость, бездейственность, никакой напряженности. Такое впечатление, как будто все мысли в жидком состоянии и смешались все. Я сам как будто «избит», не хочется шевельнуть ни одной мыслью, подобно тому, как после длинной, длин-

* См. рецензию Юрия Кублановского на это издание в № 4 «Нового мира» за 1996 год (Примеч. ред.)

¹ Письмо это — начало переписки. Весной 1911 года Н. К. Гучкова окончила 8-й класс Алферовской гимназии, где Шпет преподавал логику в выпускном классе.

ной ходьбы, усталый, разбитый, не хочешь шевельнуть ни одним членом. Надежды?.. Даже их теперь нет, — как будто даже вообще нет будущего времени, я, например, даже не могу представить уже завтрашний, послезавтрашний день. Какое-то длительное, бесконечное настоящее... да смутное, грязное прошлое. Но и о прошлом не думается. Здесь только чувство обиды, сожаления. Вспоминается иногда первая юность, она кажется чистой, а потом вдруг становится грязной, затасканной, захватанной грязными руками. Боже, кто только не хватался, чьи руки не оставили своих следов? Как это можно было допустить? И вот тут опять мысль: и опять будут все хватать, опять позволишь, опять тебя самого не будет видно за слоем новой грязи, нет, *сам* ты не очистишься... и т. д. По отношению к Вам? — Здесь уж окончательно полная спутанность, такая спутанность, что не знаешь, где кончается действительность и начинается греза. Я не могу, например, вполне восстановить вчерашнего разговора, многое кажется видением, иногда как будто просто перерыв в сознании. Вы сами становитесь для меня каким-то недоступным мечтанием, я теряю представление о нашей пространственной разделенности, и мне кажется, что Вы — во мне, какой-то мой лучший идеал, который, вот, я хочу осуществить, а сил нет. Во *мне* самом как будто происходит борьба: победите Вы, и это победа хорошего, победит то, что и сейчас владеет, старое лицемерие, ложь... нет, об этом я не могу думать, — это означало бы даже не победу, а надругательство, если во мне меня победит старое, я буду не просто побежден, а раздавлен, втоптан в ту самую грязь, из которой я так хочу выкарабкаться. Я не могу вынести картины, которая мне при этом рисуется: это будет какое-то издевательство цинизма *во мне надо мною*, — поверил, мол, в возможность очищения, поздно, вот открыл свою душу, похвастался своей грязью, кому нужны твои старанья, — нам, циникам, они смешны, им, нашим врагам? — но разве они не замкнутая каста, куда пускают только рожденных ими самими? Ведь мы, мы, циники, во имя человечности протестуем против их «порядочности», у нас сердце, у них — справедливость!.. И вот вдруг перед глазами Ваш образ... и нет, нет, все не так, а как, я не знаю... Тут я окончательно сбиваюсь с толку, тут Вы, только Вы могли бы мне сказать, что нужно думать и делать... И вот опять другая мысль: да ведь она тебя не любит и, значит, не может тебя любить, что же ты пристаешь, зачем мучаешь ее, еще не знающую всей грязи жизни и, даст Бог, не узнающей, ты сам уже пачкаешь ее своим приставанием... Если в тебе есть что-то хорошее, о чем ты говоришь, то что же ты пристаешь к ней, к ребенку? — И у меня нет сил дальше думать, писать, что я могу на это сказать? Ведь я люблю, но какую ценность имеет твоя любовь? Кому она нужна? *Ей* она не нужна! Ты злоупотребляешь ее добротой! Ты сравни-ка себя и ее!.. И все равно... и это не выражает и сотой доли моих мыслей. И это Вам будет больно... Лучше оставить, но Вы хотели, и я стал писать.

До свидания! Ваш... (нет, — почему Ваш? — ничей, никому не нужный!!!..)
Г. Шпет. 1911 XI 12.

Göttingen, Groner Ch., 22/I
1912 июнь 24 (11)².

Дорогая Наташенька! Ты или почта причиной тому, что опять я провел день отвратительно? Только к 1/2 5 принесли письмо. Кажется, — ты, потому что письмо писано спешно, утром и как будто даже не кончено, остановилась на запятой... А может быть, ты позабыла вложить 2-ой лист? — Разговор с папой очень интересен, хотя ты и не подробно изложила почему-то. — Как я и предвидел, материальная сторона доставит мне немало неприятного, хотя *знаю*, что ты будешь моей союзницей... Очень мне только смешно, что кто-то 12 тыс. жалования считает «нищенским»!.. Мои самые смелые мечтания в этой

² К лету 1912 года Шпет стал считаться женихом Н. К. Гучковой, хотя развод с первой женой, М. А. Крестовоздвиженской (сценический псевдоним — Крестовская), еще не был оформлен.

области никогда не достигали такой суммы! У меня как-то есть предел: столько-то хотелось бы получать, а дальше такого-то уже можно фантазировать. Что миллион, что 12 тыс. — это для меня одно. Даром-то ведь не платят, а время свое я ценю дороже миллиона. А все-таки это очень печально... Ведь когда папа узнает, на что мы с тобою должны будем в действительности жить, он в ужас придет... А насчет «банков» и все такое, то я на все согласен, ежели окажусь пригодным, но, разумеется, если облегчит мне возможность заниматься диссертацией, а ежели это несовместимо, то несовместимо, ничего не поделаешь, придется бегать по урокам. Насчет «думы» это очень серьезный вопрос, ибо это уже общественная работа. Тут большая ответственность... Но главное, это — фантазия. Обстоятельства складываются так, что мне придется слишком много времени тратить на заработок, чтобы я мог еще уделять время общественной работе. Я очень высоко ставлю общественную работу, чтобы позволил себе просто украшать своим присутствием время от времени Екатерининский, или какой там еще, зал... А из твоих слов мне одна фраза не понравилась, а одно слово очень понравилось. Фраза следующая: «Он так влюблен в нее (философию), что не бросит». Зачем так, Наталик? Надо было сразу же ответить серьезно (все не научусь по-твоему «серьезно» писать!..), что каждый выбирает ту дорогу жизни, которую считает наиболее достойной, — философия не есть нечто, стоящее сбоку или по пути, не есть и средство развлечения, а есть определенная форма самой жизни с вечным углублением и совершенствованием, что для целого общественной жизни такая форма не менее, а более еще необходима, чем те формы, которые на первый взгляд стоят ближе к повседневной заботе человека. Бросить философию значит бросить жизнь. Ты должна была сразу же сказать и какое место ты тут занимаешь, что для меня слито: дышать и жить тобою и философией... Да, ты заметила, что важнейшую роль в моей философии играет «жизнь», а источник жизни — рождение, одна из основных, нет, не «одна из...», а самая основная здесь проблема. Теперь смотри, мое рождение духовное — в тебе! И это обозначено твоим именем! Буквальное значение твоего имени и есть «относящийся к рождению» — *Natalis*. Поэты употребляли это слово еще в значении *lux* (свет), *hora* (час), *templum* (храм), *solum* (солнце), *astrum* (звезда), Юнона, богиня рождения, обозначалась таким же эпитетом *Natalis*. А как существительное *Natalis* обозначает *день рождения*, в поэтическом языке *бог* или *гений рождения*... Видишь, что ты для меня, Наталик! Моя философия есть *Philosophia natalis*, но я всегда буду писать с большой буквы: *Philosophia Natalis*, и это будет — правда... Вот это и еще многое другое ты и должна была ответить папе... А теперь, — что понравилось? Всего одно твое словечко, но такое хорошее, такое хорошее... коротенькое словечко, — «да!»... Это ответ на его первый вопрос... Ой, как хорошо, Наталик, Наталочка, Наточка моя, золотая моя! Значит, ты «окончательно» решила быть со мною? Да? — Вот это «да» стоит передо мною! За что такое счастье? Наталик мой, люблю тебя бесконечно! — — — Знаешь, я сейчас посмотрел в окно, тут недалеко — из фабричной трубы вдруг вырвалось облако дыму, из него выделилось громадное плотное кольцо (как некоторые пускают папиросный дым изо рта), громадное! Быстро пронеслось через облако дыму и медленно, как корона, стало подниматься в воздух... я смотрел, пока мой глаз видит, — оно все поднималось, не рассеивалось... Красиво!.. А я думал, вот, вот, к этому «да»... оно увенчано!.. Радость моя, ненаглядная моя! Люблю, целую, целую, твой собственный Густик.

Göttingen, Groner Ch., 22/I
1912 июль 12 (июнь 29).

Дорогая Наталочка! Сегодня опять письмо с недоразумением: получил утром, но писано тобою 22 июня, а штемпель (всего один, обычно два, с двух сторон, и двух последовательных дней) 25 июня... Впрочем, меня сегодня заставляет молчать и дальше не ворчать твое признание, что в опаздывании пи-

сем не всегда Шехмань³ виновата!.. Но только я не понимаю, почему ты пишешь, что и в опоздании моих писем не виновата Шехмань? Я думал, вам доставляют письма с почты, а если вы сами их получаете, то почему же нельзя организовать так, чтобы получать аккуратно? Ну, во всех случаях, даже в судах сознание вины смягчает ее, а уж если мне моя Наталочка сознается в вине, то я ее (вину, а не Наталочку — Наталочку невозможно забыть...) сейчас же забываю и только крепче целую мою золотую преступницу. — Ужасно мне захотелось с тобой в лодке покататься! Ну, прямо ужасно! Я ужасно люблю воду и лодку... Когда-то я не худо греб, теперь, верно, разучился, скоро уставать буду, а раньше (в Киеве) часов по 8 мог грести, любил один далеко, далеко, верст за 10 от Киева уехать... И потом хорошо ночью, в тьму, когда нет луны, а только звезды, лечь на дно, смотреть в небо, и тебя несет по течению (на Днепре очень сильное течение)... а издали доносится хоровое пенье (в Киеве на Днепре всегда поют хором)... Или еще лучше в бурю, волны колоссальные, тебя бросает как щепку, весь в воде, в лодке воды тоже полно (еще лучше в байдарке, когда сидишь с одним веслом на дне, а коробка, в которой сидишь, полна воды), а все-таки тут и чувствуешь свою человеческую силу... с волны на волну... Ух, как хорошо!.. Когда я вел «неподобающий» образ жизни, я никогда не ездил, а только в хорошие минуты... вода и небо!.. это как-то очищает, приподнимает... потому я любил один ездить... и тосковал... и мечтал... теперь только знаю, о ком... поэтому так хочется с тобою... на веслах или, еще лучше, парус... Ой, как хорошо!.. Это лучшее, что есть в природе!.. А говорят: любить надо природу, красота в природе!.. Вздор, это говорят люди, выдумали люди, которые уже потеряли чувство природы... Это источник жизни, из которого нужно черпать, а не любоваться им!.. Как хорошо об этом пишет Мопассан!.. Вот это ты можешь и теперь прочесть... «романа» тут никакого нет... а только его впечатления от воды и думы, ею навеваемые!.. Правда, поговори с мамой⁴, это, наверное, можно (называется: «На воде», «Sur l'eau»)... А знаешь, я никогда, ни разу не ездил вдвоем с женщиной или девушкой, к которой я чувствовал какое-нибудь увлечение... как-то инстинктивно не хотелось... мне казалось, что, если я покажу ей эту ночную тишину, небо (мое!), звезды (мои!), водную гладь, в которой они отражаются, они перестанут быть «моими»... Тут есть какая-то тайна!.. Тут ясно чувствуется бессмертие... Это я тебе должен показать!.. Вот я даже знаю причину, почему я не мог никому это показать: потому что малейшая фальшь разрушила бы тут мою «земную» иллюзию «земной» любви, а тут тайна — в таинстве, это — таинство обручения, навеки нерасторжимого... Мне чудится, что тут-то ты меня и полюбила бы навсегда, угадала бы какую-то «мою» тайну, узнала бы меня всего... потому что тут как-то я уже не-я, т. е. не этот, что всегда «на земле»... и как-то это настоящее мое Я тут от меня отделяется, остается *при* мне, *около* меня... и тут его надо только взять... видишь, я, значит, имел все основания «его» беречь, беречь для тебя... и всегда тосковал... значит, и сам в чем-то нуждался... нужно тайну сообщить другому, чтобы она стала источником действия... без этого она мертвый клад, зарытый в землю... «на земле» поэтому ее и нельзя отыскать... а тут она выходит сама собою... и таинство обручения тут в том и состоит, что тайна сама собою становится уже тайною не одного, а двух... и когда они сойдут на землю, они именно ею связаны неразрывно... Боюсь, что сейчас это покажется тебе бредом... но это все-таки... из глубины, из сокровенного моего... и сейчас ты только поверь... когда мы так будем с тобою в природе, обрuchимся этой тайной, найдем здесь источник для себя, тогда, ты увидишь,

³ Шехмань — уездный городок в Тамбовской губернии, через который проходила почта в Знаменку. Знаменское — фамильное имение рода Рахманиновых, которое управлялось Ю. А. Зилотти (тетей С. Н. Рахманинова и бабушкой Н. К. Гучковой). Семья Гучковых проводила там летние месяцы.

⁴ Варвара Ильинична Гучкова (1868 — 1939), мать Наталии Константиновны, не позволяла дочери читать произведения Мопассана, полагая, что Наталия Константиновна слишком молода для чтения книг этого писателя.

мы будем молчать об этом, будем говорить: нет, мы *не* любим природу!.. Это ведь единственное средство скрыть тайну, раз нельзя ее открыть всю!.. А откровением ее может быть только уже вся жизнь... так и будет... — Я написал тебе сегодня такое, Наталик, что только *для тебя*, — тут все недоговорено, но я обещал тебе *показать*, — я маму очень, очень, очень люблю, а об этих моих настроениях ей все-таки не говори... А сама пойми, в чем дело, и не хвали при мне природу... Прижмись только покрепче, а остальное уже я буду понимать!.. Видишь, как я люблю тебя!.. Твой весь, собственный Густик. <...>

Göttingen, Groner Ch., 22/I
1912 июль 29 (16).

Дорогая моя Наталочка! Сегодня получил письмо утром, и хорошее, и потому и сам чувствую себя лучше. С удовольствием зачеркнул сегодня еще один: до первого августа остается всего две недели, а там какие-нибудь пустяки, и мы увидимся! — А знаешь, Наталичек, — что кривить душой-то, — хотя очень тебе хотелось, чтобы я испугался твоего обморока в церкви, но... но я не очень испугался... Думаю, что, если бы я был там, в церкви, конечно, гораздо больше испугался бы! Это ведь все твое малокровие, а это не так страшно... Зато жалко мне тебя, бедненькую, очень. Только вот в письме это не выйдет, а увижу тебя, пожалею. — Хотя, знаешь, мне почему-то сейчас показалось, что я не умею быть нежным... как тебе кажется?.. Золотая моя девочка! Ужасно жалко тебя! А знаешь, еще жалко и себя! — Почему я не был вот возле тебя? Другие помогли тебе, поддержали, а не я... Ну, у нас этого не будет, то есть не будет обмороков, — вот сама увидишь! Милая моя! — Очень меня тронуло, что Надсон тебе «вообще» нравится. Я-то его не люблю: стихи плохие, рифмы бедные, все однообразно, очень много весьма нравственных рассуждений и мало образов, риторично очень... «вообще» это даже и не поэт. Но вспомнилась моя юность, 4-ый, 5-ый класс гимназии, тогда Н[адсон] трогает: хорошие слова, благородные мысли, никакого напряжения эстетической интуиции, а главное, все понятно, значит, уже и себя немножко взрослым считаешь. Потом вспомнил уже старшие классы, — мое эстетическое воспитание шло нелепо, и *теоретически* я продолжал считать, что чем «благороднее», тем красивее, «неблагородных» поэтов я не читал (помилуйте, Фет — крепостник, Тютчев — цензор, сам Пушкин сомнителен и т. д.), поэтому Н[адсон] еще оставался для меня «поэтом», но его «благородство» уже стало казаться очень «газетным», и, помню уже, я забавлялся чтением только оглавлений или так по строчке из стихотворения, — все равно выходят настоящие н[адсонов]ские стихи, но только умнее, чем у него, потому что сам-то он очень уж «не умен» в своих стихах. Но «новое» как-то само надвигалось... Первый меня поразил, пожалуй, Верлен (русские, Бальмонт, Брюсов и др., уже начали писать, но я находился под впечатлением соловьевской (Владимира) критики и их не читал⁵), но случайно натолкнулся и на русских, первый был Бальмонт. Тут я набросился и на «стариков», тут начал любить и понимать Пушкина, Фета, Тютчева... И... Надсона мне стало жалко, то есть жалко было себя, что я так поздно пришел к серьезной поэзии, но было и его жалко, хотя я и сердился, как будто он «нарочно» меня обманул. А жалко все-таки его, ибо его предсказания на нем не оправдались: Кумир поверженный — *не* Бог, как, впрочем, и неповерженный кумир⁶. А сейчас меня даже как будто трогает, что его не совсем забыли, что все-таки он себе находит, — хотя и юных (в

⁵ Шпет имеет в виду пародии, написанные В. С. Соловьевым в связи с полемикой, завязавшейся между ним и В. Я. Брюсовым после выпуска трех поэтических сборников «Русские символисты» (1894 — 1895). По поводу полемики Брюсова и Соловьева Андрей Белый писал: «...мы его [Брюсова] впервые „дикие“ стихи затвердили и пародии на него В. Соловьева...» (Белый А. Начало века. М., 1990, стр. 171).

⁶ Шпет перефразирует строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Я не люблю тебя: страстей...» (1830): «Так храм оставленный — все храм, / Кумир поверженный — все Бог!»

эстетическом отношении, а по большей части и буквально), но все-таки поклонников. Сам-то он, мне кажется, все-таки искренно был убежден, что это и есть самая настоящая поэзия... А еще его жалко (опять как-то за себя), потому что он не будит даже того, что будит все-таки, например, Тургенев. Тургенева ведь иной раз и перечтешь, — сам-то он пуст, но как-то сразу встают те юные переживания, которые он когда-то вызывал, и, несмотря на его пустоту, искусственность, поверхностность, он производит какое-то теплое впечатление: добрый дядя из воспоминаний детства. А такое чтение бывает очень приятно. Еще в нынешнем году я перечитывал из-за этих же воспоминаний «Грабители морей»⁷. Это уже совсем чепуха, а что-то вот связывается, отсюда, из детства. У Н[адсона] даже этого нет. Ну, и Бог с ним! — Слепцова⁸ я тоже не люблю. Вообще из народников я люблю одного Левитова⁹, и то главным образом его «городские» рассказы. О Наполеоне я дал тебе прочесть очень интересную вещь; Ковалевского¹⁰ — не знаю. Сам люблю в истории читать мемуары и автобиографии и письма. Для удовольствия советую прочесть Заметки Бенвенуто Челлини¹¹, а для удовольствия и пользы Записки Никитенко¹² (это непременно нужно, — кстати, знаешь, меня огорчает, что ты плохо знаешь нашу русскую литературу и историю), потом, если хочешь и если эти вещи тебя интересуют, назову еще (кстати, а Göthe «Dichtung und Wahrheit»¹³ ты читала? Неужели нет?). — А неужели, Наталик, это правда, а не шутка, что «из-за гостей» ты можешь прервать мои занятия?.. Как это странно! «Из-за гостей» ты едва ли бы прервала мою лекцию на середине, а дома допускаешь возможность прерывания, — а ведь важнее-то занятия дома, а не чтение лекции! Почему же можно сказать: «Он на службе», «он на лекции» и т. п., а нельзя сказать: «Он у себя в кабинете занимается»?.. Нет, на это я не согласен! Вот если тебе самой будет скучно и ты захочешь поболтать, это — другое дело! Да, если еще позволишь мне поцеловать тебя, — ну, тогда можно и отложить дело (потому что само оно от этого только выиграет: после того, как тебя поцелуешь, ведь все лучше пойдет!..), и этим можно даже злоупотреблять! А от «гостей», наоборот, ты должна меня оберегать! Э! Это непременно надо в «пункты»¹⁴. Целую тебя крепко, крепко... до обморока!!... Твой весь собственный Густик.

Göttingen, Groner Ch., 22/I
25 июня (8 июля) 1914 года.

Золотая моя Натуся! Очень тяжелое впечатление на меня произвело твое сегодняшнее письмо — должно быть, в связи с моими последними размышлениями. <...> Но буду совсем краток. — 1) вот насчет «натуры» моей. Сейчас я ничего не буду писать, потому что ничего не имею прибавить к тому, что писал в воскресенье по поводу «свободы». Я только думаю, что всякое ломание своей «натуры» и с моей стороны, и с твоей привело бы к печальным резуль-

⁷ «Грабители морей» — произведение Жаколио (Jacolliot) Луи (1837 — 1890), французского писателя, одного из любимых Шпетом в детстве, эта книга впоследствии стала любимейшей книгой его детей Марины и Сергея.

⁸ Слепцов В. А. (1836 — 1878) — русский писатель, автор повести «Трудное время» (1865).

⁹ Левитов А. И. (1835 — 1877) — русский писатель, автор произведений «Московские норы и трущобы» (1866), «Жизнь московских закоулков» (1875) и др.

¹⁰ Имеется в виду Ковалевский М. М. (1851 — 1916), русский историк, социолог, политический деятель, автор ряда трудов по истории феодализма.

¹¹ Челлини Бенвенуто (1500 — 1571) — итальянский скульптор, ювелир и медальер, написал знаменитую автобиографию.

¹² Никитенко А. В. (1804 — 1877) — русский литературный критик, историк литературы, цензор, академик Петербургской академии наук (1855); главный труд — «Дневник (моя повесть о самом себе)» (1893).

¹³ Шпет имеет в виду автобиографический литературно-философский труд И. В. Гёте «Поэзия и правда» (1811 — 1833).

¹⁴ Шпет и его невеста условились составить основные правила («пункты») их будущей семейной жизни.

татам, как я уже не раз говорил, я хотел бы, чтобы ты брала меня таким, как я есть. Я все думаю об этом и нахожу, что единственно, это достойно попытаться предоставить друг другу *полную свободу*. Если выяснится, что это — невыносимо, то нужно тщательно обдумать, *что именно невыносимо*, и поступать в соответствующих пунктах по *соглашению*. Это — не будет *полное* единение, какого ты хочешь (а я еще больше!!), но, по мне, единение может быть только при полной же свободе. Только при полной свободе можно быть с другим, «как с самим собой», — *неудовольствие* по поводу того, что другой поступает не так, как мне хочется, уже *не* есть полная свобода. — 2) *Самое тяжелое* в сегодняшнем письме! Ты говоришь, что тебя заботит не внешнее, а внутреннее. И делаешь пояснение: «а вот „внутреннее“ больно делает... покажется иногда, что немного ленишься и распускаешься, и так что-то защемит внутри и т. д.». Самое ужасное выходит то, что ты *даже не подозреваешь*, что вот — это-то *и есть внешнее!* Подумай, неужели человек, который живет только своими внутренними интересами, для которого собственное творчество дороже всего, что для такого человека может иметь значение «лень»? Да, может, это — естественная реакция духовного организма, *сон духа*, который так же необходим, как сон физический, и при котором точно так же, как и в физическом сне, продолжается бессознательная работа! Может быть, именно напряжение преодоления этого было бы только пагубно, потому что что-то не было бы доведено до своего естественного конца, не было бы «доношено», не созрело бы. Творчество ведь тоже свободно и не терпит *сроков* и спешки, а ведь что значит тут лениться, как именно *не спешить?* Или ты думаешь, что эта лень — одного порядка с ленью пригостишки? Так ведь его же «внутреннее», может, не в приготовлении уроков, а в игре! Представь себе, что ты его внутреннее захотела бы поддерживать, тогда ты вместе с ним должна была тяготиться его «уроками». Так ведь для человека, у которого «внутреннее» не в игре, игра может быть только необходимой передышкой!.. Во всем этом нехорошо то, что, защищая лень как принадлежность «внутреннего», я, выходя, стремился *оправдать собственную лень!* Но ведь ты должна понимать, Натулик, *что этого нет*, что я говорю совершенно *вообще*, принципиально защищая *право и свободу* на лень, а собственно лень я сам порицаю. Мне важно только показать тебе, до какой степени ты сама не понимаешь разницы между внешним и внутренним, когда говоришь, что не стремишься к внешнему. Разве это не лень, что Шестов в теч[ение] *5 лет* не написал ни строки, Гуссерль за *14 лет* не нашел время исправить свою книжку и уже два года не выпускает свое 6-ое исследование¹⁵, — таких примеров я тебе приведу тысячи! Я не хочу себя сравнивать ни с Гуссерлем, ни с Шестовым, ни с кем-нибудь еще, — все это должно тебе только показать, в чем твоя ошибка. Понимаешь, точно так же неверно твое определение «внешнего», когда ты его характеризуете как такое, что для «светской жизни создано». Нет, это слишком-слишком узко. Правда, я все-таки думаю, что тебе «светская жизнь» больше подошла бы, но именно потому, что тогда то, что ты называешь «внутренним», было бы *действительно внутренним* и ты жила бы *полнее*. Но когда приходится такое внешнее совсем даже без рассмотрения оставить, а то, что ты называешь «внутренним», превратить во внешнее, тогда с новым «внутренним» тебе трудно. — 3) о «практичности». Есть практичность и практичность. Возьмем 2 крайности: Конст[антин] Иван[ович]¹⁶ — живет без жизни, накапливает неизвестно для чего, всем недоволен, немного находит и для себя среди своих же! И другая крайность, Анна Елизаровна¹⁷. За две недели жизни я убедился, до чего она практична, каждый сантиметр на счету, но *не для того*, чтобы копить и

¹⁵ Речь идет о «Логических исследованиях» Э. Гуссерля, написанных в 1901 — 1902 годах. Шестое исследование вместе с приложением составляет вторую часть второго тома «Логических исследований». Она вышла значительно позже первой части, в 1921 году.

¹⁶ Гучков Константин Иванович — отец Наталии Константиновны (1866—1934), в 1917 году эмигрировал во Францию.

¹⁷ Березовская Анна Елизаровна (1870 — 1962) — жена Л. И. Шестова.

откладывать, а для того, чтобы *сейчас же прожить*. Я узнал, их бюджет около 5000 руб. Но, смотри, квартиру они берут подешевле, едят — очень просто, одеваются — скромно. Но все это для того, чтобы «не отказывать себе». Что значит это на их языке? Это — значит, они живут скромно, но нужно было Анне Елизаровне поехать поучиться в Лондон, или Париж, или Бреславль, и она едет! Нужно было Л[ьву] И[сааковичу]¹⁸ купить Herzog'a¹⁹ для справок, и он покупает! Нужно детям экскурсии, они делают (я только теперь узнал, что экскурсии обходятся в 100, 200, а то и больше франков!)! Вот тебе — другая практичность! Конкретнее и детальнее сама уже можешь дорисовать себе, к какой же ближе твоя? — Ну вот, не сердись на меня, Натулик, все это думается, потому и пишу. Все меня задевает, потому что люблю тебя, потому что хочу, чтобы у нас непременно все хорошо наладилось. А не наладится, тогда это — сплошное мучение, — гораздо хуже жить с нелюбимым человеком! Что же тогда, разойтись? Но для этого я тебя слишком люблю! Слишком люблю, чтобы мог отказаться от тебя и обойтись без тебя. Родная моя! Твой Густик.

Москва, Б. Царицынская, 7.
1915 июнь 2⁰.

Золотой мой Натулик! Ты все спрашивала, буду ли я скучать без тебя? Пока я еще этого хорошенько не знаю, но вот все больше убеждаюсь, что люблю тебя. Сейчас это так мне стало ясно, что решил прямо довести об этом до твоего сведения. Распространяться теперь некогда, — довольно одного *факта*, тем более, что он — *весьма прочен*. Впрочем, может, скоро начну и распространяться... — Сегодня был Максимов²¹. Он говорит, что к погрому²² наших квартир подстрекал бывший дворник, которого он изгнал за пьянство, что таким образом дворник, собственно, хотел отомстить ему, Максиму. Но так как это было «отложено» на пятницу, то ничего и не вышло. Хочет указать этого дворника приставу. — Получил силуэты, сделанные тогда у Гершензона. Твой, по-моему, плохо, мой — недурно. — Целую (тебя, конечно, а не силуэты, как ты уже подумала!...) ²³, несколько раз даже!

3 июня. Получил твое письмо за 6 копеек! Это, в общем, недорого, но лучше без этого! — В жизни моей событий нет. Так как Л[ев] Ис[аакович] уехал, то я даже не хожу гулять, да и 1, холодно, а 2, «сердце России» — помойная яма и идти некуда. — Подробностей погрома и мы не знаем. Слухов, как всегда, тьма, но все — явный вздор. Верно только, что меньше всего пострадали немцы. Говорят, они еще готовы бы заплатить миллион, чтобы это повторилось! Больше всего пострадали русские, иностранные подданные нейтральных и союзных держав будто бы пострадали на 27 миллионов, — это, конечно, придется заплатить. Говорят, Государь уже повелел уплатить это. Начало следствие, уже привлечено несколько сот, — это в наших газетах, должно

¹⁸ Лев Исаакович — Шестов Л. И. (1866 — 1938), русский философ, близкий друг Шпета.

¹⁹ Herzog — Герцог Иоганн Яков, протестантский богослов (1805 — 1882), издатель обширного словаря «Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche» (1853 — 1868).

²⁰ Письмо послано в фамильное имение семьи Гучковых Знаменское, где Н. К. Шпет с детьми в то время отдыхала.

²¹ Максимов — владделец дома на ул. Большая Царицынская, у которого Шпет снимал квартиру.

²² Немецкий погром в Москве произошел 28 мая 1915 года. Главноначальствующий над г. Москвой генерал-адъютант кн. Ф. Ф. Юсупов сообщил: «28 мая на улицах Москвы произошли печальные события. Начавшись под влиянием стремления удалить с заводов поданных враждебных нам государств, эти события мало-помалу вылились в самые безобразные формы. Собравшиеся толпы не только били стекла и громили магазины, владельцы коих носят иностранные фамилии, но и грабили находившиеся в магазинах товары. В этом постыдном деле принимали участие также женщины и подозрительного вида подростки» («Русские ведомости», 1915, 29 мая, стр. 3).

²³ В письме Шпета фраза, данная здесь в скобках, представлена в виде подстрочной ссылки.

быть, и у вас есть. Если что будет интересного в газетах, вырежу и пришлю. — К сожалению, не только папа и мама отнеслись ко всему так спокойно, но, как я убедился, и люди, от которых можно было бы ожидать более глубокого понимания государственных и общественных интересов. — Устроился я совсем не худо и только теперь вижу, до какой степени вы мне «мешали». Не обижайся, Натулик, потому что я не в виде упрека, — приедешь, я даже очень обрадуюсь! Просто нужно будет подумать, как лучше сделать. Теперь мне кажется, что мне не «мешают», потому что нет хождения через библиотеку. Ты еще подумай, может, в самом деле переехать мне в спальню. Вставание мое пока регулярно, ибо позже 10 не начинаю читать газету, но и раньше $\frac{1}{2}$ 10 — тоже. Вставать в 9 надежду еще не потерял. Жаль, что отменили распоряжение не выходить позже 12, — это помогло бы, а то пойдешь куда-нибудь, непременно засидишься. — Напиши про маму свою «жалобу» непременно. — <...> Поцелуй маму, если она меня еще признает. Так и скажи ей! А тебя сам целую, сколько хочю.

Твой Густав.

Москва, Б. Царицынская, 7.
1915 июнь 13.

Собственно, совершенно напрасно я отправил тебе сегодня письмо, так как от тебя опять ничего нет. Но это уж сделано и, Бог с тобой, возвращать не буду! Но зато больше ничего и писать не буду!

14 июня. <...> Получил два письма сразу. <...> — Когда я говорю «московская школа», то вовсе не думаю специально об университете, а *все* в Москве больно уж хорошо! Такие Нарциссы, что куда же лучше? А что «протестуешь», так это только показывает, что ты сама московской школы. И когда ты пишешь: «все московское хорошо», то тут и вылезает московская школа со всеми своими ушами и раздвоенными концами! Главное, что ты это всерьез, и все вы, москвичи, не то что самовлюблены, а прямо самоопьянены! «Сердце России», «совесть народная», «дух народа русского»!.. Видал, видал, — и за кулисами, и на разных сценах! Что там университет? Хороша Дума, хорошо общественное мнение, хороша и улица (особенно 28 мая!)²⁴ Да, хороша Москва, что и говорить! Нет уж, поистине, неудовлетворенная свинья лучше самодовольного Сократа! А Москве-то еще до Сократа столько, сколько от пят до лба!.. <...> Целую тебя очень и люблю. Твой Густав.

Москва, Б. Царицынская, 7.
1915 июнь 22.

Натулик! Ты уж меня прости, что сегодня ничего не пишу. «Зазанимался», уже 4-ый час и очень устал. А хотел немножко позаниматься и написать тебе ответ на твое большое письмо. Я сегодня получил опять письмо, которое при других обстоятельствах меня очень обрадовало бы, но теперь, т. е. после твоего категорического заявления, что я тебя «не люблю», оно меня только огорчило и расстроило. Ну, все-таки иду спать. Спокойной ночи! Целую.

Июнь 23. Итак, 12 часов! <...> Да и вообще у меня теперь другие чувства! «Теперь», т. е. после погрома. В свое время киевский погром²⁵ произвел на меня гнетущее впечатление, а этот — еще больше! <...> — Ваш «пессимизм» о войне я *не* разделяю. Конечно, больно, что война затягивается, но что немцев

²⁴ Немецкий погром в Москве (см. примеч. 22).

²⁵ Еврейский погром в Киеве произошел 18 — 19 октября 1905 года, непосредственно после объявления Манифеста 17 октября 1905 года. В результате погрома были разрушены Городской дом на Крещатике, купеческие лавки в Гостином дворе на Подоле, разорены несколько больниц, жилые дома еврейского населения (см. «Известия Киевской городской Думы», 1905, № 10). Шпет вспоминал, что они с матерью укрывали евреев в погребке во время погрома.

побьют, я не сомневаюсь. И как ни грустно, но именно последние поражения вызвали у нас большой подъем энергии. Верится, что все это не в пустоту! — <...> Ты думаешь, что мне только «почудился» твой тон, и вот «появилось сомнение насчет будущей зимы». Нет, дело не так. Мне до такой степени хотелось (и хочется) того, о чем я мечтал, что я просто *забывал* действительность, но, — это я давно заметил, — ты боишься дать моему «забвению» такому *застояться*, и твои письма быстро водворяют меня на полагающееся мне место в действительности! — Ты все-таки хочешь изобразить наши отношения так, как будто действующим лицом являюсь я один, а ты — пассивна, как вещь! Я слишком много люблю, чтобы жить врозь, и мало, чтобы вместе?! Это — твой самообман. Для меня он печален, потому что из-за него ты не видишь даже той простой вещи, что где есть «отношения», там всегда есть *минимум две* стороны! Но я бы согласился принять это, если бы твой самообман действительно успокаивал тебя. Увы, боюсь, что этого нет, а тогда нужно ли тебе к нему прибегать, — большой вопрос! — И вот опять! Ты «веришь», но «как в чуде»! Но это и значит, что ты *абсолютно не* веришь! В чудеса люди, конечно, *верят*, но только в чудеса *уже* совершенные или совершившиеся, а ты веришь как в чудо в то, что еще *должно* совершиться! Но, конечно, опять-таки ты сама — в стороне и пассивна! Это имеющее быть чудо, предмет твоей веры коснется только меня одного! Наконец, я «в корне» должен стать другим, тогда и т. д.! Не знаю, узнала ли бы ты меня, если бы я действительно «в корне» стал другим?? Да и то, что «в корне» становится другим, вырывается из своей почвы и переносится на другую (например, шотландскую или новозеландскую!). *Тогда* тебе будет хорошо? Теперь уж я могу сказать, что *ты* действительно достаточно любишь меня, чтобы жить врозь!.. Но что же теперь сказать о фразе, которая — во вчерашнем письме: «Тебя, по-моему, и я ни за что люблю (даже несмотря ни на что), Марцелина Осиповна²⁶ тоже». Мама, конечно, «ни за что» (но отнюдь не «даже несмотря ни на что», — всякое «несмотря» она отвергает, ты в этом могла убедиться!). Итак, ты меня любишь «ни за что», но в чудо моего коренного преобразования веришь как в благо для себя!.. Ну, спроси маму или Л[ьва] Ис[ааковича], они тоже верят и хотят, чтобы я «в корне» *другим* стал??... Целую тебя, как люблю. Твой Густав.

Москва, Долгоруковская, 17.
1917 июль 21.

Дорогая Наташа! Только что получил письмо, посланное тобою с Мих[аилом] Ан[атольевичем]²⁷. Дать мне успокоиться и дать мне работать ты, по-видимому, не считаешь себя вправе. Бог тебе — судьба! Ясно только, что из моих мечтаний ничего не вышло. Вопрос о «расхождении» пока оставлю, но так как продолжать жить в создавшемся аду я не могу, то попробую еще одно: отказаться от мечтаний и вернуться к прежнему. Я не предъявляю к тебе теперь никаких претензий, но сам буду вести себя, как *я хочу* и считаю нужным. Это — все.

На психологию твоего письма я отвечать не собираюсь, но одно место, касающееся не психологии, а существа дела, не могу оставить без разъяснений. Да, я писал, что я устал от «свободы», — именно так, в кавычках, и было это слово, потому что я хотел выразить ту мысль, что устал от ложно понимаемой свободы. Но это не значит, что я признал прелести автократизма с его капризами, немотивированными требованиями и с принципом: чего моя нога хочет! Мой отказ от «свободы» находится в тесной связи с моими «мечтаниями», которые ты так жестоко разбиваешь. Если только можно говорить *о почве* для мечтаний, то она состояла в моем предположении, что за 4 года общей жизни ты поняла, в каком направлении не нужно *злоупотреблять* моим отказом от

²⁶ Шпет Марцелина Иосифовна (ок. 1860 — 1932) — мать Шпета.

²⁷ Мамонтов Михаил Анатольевич — книгоиздатель, художник, друг семьи Гучковых.

своей воли и твоим своеволием. Мое предположение оказалось в корне ложным, можно сказать даже, оно извращает действительное положение вещей. Существенное, единственно для меня ценное содержание моей жизни составляют кроме тебя — моя работа и мои дети. И вот, сдержанная в своих капризах и своеволии, что касается всего остального, в этих трех пунктах ты делаешь все, чтобы, — пользуясь твоей терминологией, — «известить» меня: ты не уважаешь *себя* и, зная, как я люблю твою чистоту, словом и делом стараешься убедить меня, что теперь ты — «не та», что ты «изменилась к худшему»; ты мешаешь мне в моей *работе*, зная, как сильно я выбит из колеи и как мне трудно наладиться и в силу общих условий, и в силу несомненной неврастности; ты портишь мое отношение к детям, зная, как я мучаюсь оттого, что они — в руках женщины сумбурной и едва ли нормальной, и зная, как мне трудно противостоять ее влиянию на них²⁸.

Обо всем этом прошу тебя очень подумать, но отвечать на это не считай для себя обязательным. Пора прекратить эти ни к чему, кроме волнений, не ведущие разговоры и предоставить каждому свободу поведения — вплоть до расхождения, когда выяснится, что общая жизнь окончательно невыносима. — Люблю и целую тебя, твой Густав.

Енисейск, ул. Иофе, 12.
935 IX 15.

Моя золотая, замечательная Натуленька <...> мысль, которая мне часто теперь приходит в голову и которую я тебе высказывал, — мысль о том, что кто бы мог сказать о той девочке, которую я узнал 25 лет тому назад, что из нее выйдет такая замечательная женщина и жена! Дома я сразу почувствовал к Марине²⁹ то чувство отъединения, которое предвидел частично: я сейчас могу думать только о тебе, — а она?.. Но мне было приятно, когда на мой вопрос, кому она сейчас напишет, она ответила, что тебе! Золотая моя, ты сегодня сказала одну вещь, правду которой я тогда воспринял только головой, а вот сейчас чувствую всем сердцем: *сейчас я больше с тобою*, чем когда ты была здесь!.. Я действительно чувствую, что живу тобою!..

<...> Моя золотая, золотая, бесценная, любимая, и еще одно ты сказала правильно: мне немного осталось жить, так не лучше ли бросить все хлопоты и заботы и жить хотя бы в тундре, но быть с тобою, ведь быть с тобою вдвоем, забыв все на свете, было мечтою самой розовой моей любви к тебе! И все мои Шекспиры³⁰ останутся с нами и любовь детей!

Обнимаю, целую, тоскую, но живу тобою, — и от этого я крепче и сильнее!

Твой.

Томск, Колпашевский пер., 9, кв. 2.
936 IV 28.

Золотая моя, писем нет, а мое настроение к тебе что-то растет!.. Может быть, это отчасти объясняется тем, что приходится полностью таить его в себе, то есть даже в тех пределах не с кем поговорить, в которых я мог говорить с Мариной. Другая причина — в том, что ты побывала здесь, но провела со мною слишком мало времени. А третья причина — совсем странная:

²⁸ Речь идет о первой семье Шпета: жене (Марии Александровне Крестовоздвиженской) и детях (Норе и Маргарите).

²⁹ Марина Шпет — дочь Шпета, в замужестве М. Г. Шторх, в семье ее называли Мариной. Первый год ссылки Шпета в Енисейск и Томск Марина жила вместе с отцом.

³⁰ В 30-е годы Шпет вошел в рабочую группу издательства «Academia» по подготовке комментированного издания переводов Шекспира, но вследствие ареста и ссылки ни одного перевода и комментария Шпета не было опубликовано. В семейном архиве Шпета сохранились отрывки подробного комментария к трагедиям Шекспира.

если исключить утра, когда я себя по-прежнему чувствую отвратительно, в общем, мне несомненно лучше, — и опять-таки знаю, что это без тебя.

С Е[лизаветой] Н[иколаевной]³¹ в целом идет все хорошо; во всяком случае, я не ожидал, что выйдет так легко, — «гостьи» в ней я не чувствую. Конечно, это — не та простота, которая была с Мариной; нечего и говорить, что нет нежности, которую проявляла Марина, — ведь если бы ее стала проявлять Ел[изавета] Н[иколаевна], то это было бы скорее смешно, чем трогательно. Но, собственно говоря, нет и полной сердечности в наших отношениях, которая могла бы быть, если бы она относилась к тебе с меньшим холодком. С этой точки зрения у меня теперь вызывает сомнение приезд Натальи Ильиничны³², относительно которого я уже склонялся было к положительному решению; я уверен, что никакой нетактичности она себе не позволит, но достаточно мне будет заметить какое бы то ни было непризнание тебя, и меня это будет расстраивать. А это «непризнание» я чувствую уже из того тона, в котором она принимает и выполняет мои дела и поручения: ей хочется во всем тебя «перекрыть», и она не понимает, не улавливает той простой вещи, что, если бы ей это и удалось, все равно твоя забота для меня ценнее, дороже, жизненно необходимее. <...>

Ну, целую крепко, и до вечера (это пишу утром, 12 ч.).

А продолжаю ночью в 12. <...>

Работа подвигается теперь гораздо скорее: и времени больше, и как-то больше вошел в язык Шиллера; к I/V не успею все (что у меня) сделать, но скоро после первого кончу; очень жалею, что не успел просмотреть всего, что ты увезла с собою, — попроси Н[аталию] И[льиничну] просмотреть повнимательнее, особенно места, так или иначе отмеченные; может быть, она достанет комментированное издание, тогда многое будет яснее; перечитывая, я заметил, что иногда пропускаю слова; кое-где можно облегчить синтаксис; хорошо бы, если бы она все это досмотрела. <...>

Томск, Колпашевский пер., 9, кв. 2.
936 V 9.

Золотая моя Натуля, письма от тебя есть, и жить — веселей <...>

Сегодня хорошая погода, и ходил с Ел[изаветой] Н[иколаевной] на Воскресенскую гору, но мне легче сидеть дома: очень на этих прогулках хочется тебя видеть около себя!

Гегель — пока не надоел — просто увлекает, иные фразы сперва разгадываешь, как шараду, а потом хочется передать так, чтобы понятно было. Сейчас идет самое трудное: «Введение», — потом пойдет все легче. Во «Введении», по моему изданию, 50 страничек: и кладу на это месяц. Останется 470 стр.; если считать тех же 2 стр., — что будет совсем нетрудно, — то потребуется 235 дней, т. е. 8 месяцев *maximum*; значит, этим темпом к февралю должен кончить, а срок — 1 апреля.

Мариначка переписывает прямо замечательно! Даже почерк стал чудный: уву, сдаюсь, лучше моего!.. Значит, не совсем забыла и покинула своего старичка среди... пригорья, подгорья и загорья³³... <...>

³¹ Коншина Елизавета Николаевна — друг Шпета, подруга Н. И. Игнатовой (см. ниже), в течение нескольких десятилетий сотрудник Рукописного отдела ГБЛ.

³² Игнатова Наталья Ильинична (1898 — 1956) — редактор, переводчик, сотрудник библиотеки ГАХН, ученица, а впоследствии друг Шпета, дочь И. Н. Игнатова, редактора журнала «Русские ведомости».

³³ Игра слов — фамилия соседей (мужа и жены), живших по соседству со Шпетом, была Пригоровские — ссыльнопоселенцы, много помогавшие Шпету, когда он оставался один в Томске. Оба арестованы и расстреляны в 1937 году.

Томск, Колпашевский пер., 9, кв. 2.
937 X 23.

5 час. — Побелевший пейзаж все-таки дает несколько умиротворяющее впечатление. — На улице не холодно, однако, хотя есть ветер; рядом со снежными площадками — лужи и грязь. Я очень люблю настроение, вызываемое первым снегом: тише на душе и в то же время подъем энергии, которую хочется обнаружить... Даже это (т. е. простое настроение) отнято! Ты советуешь налечь на перевод статьи Гегеля³⁴; это — правильно, и одно *одиночество* этому не мешало бы... Но когда весь сжат в комок напряженных нервов, трудно сосредоточиться. <...> — Состояние чертовское! Говорят, нельзя испытывать двух чувств сразу; но тогда есть какое-то третье чувство — синтез двух: нервного напряжения и тоски. Малейший шорох, — и весь напряжен, сердце бьется, а тоска не перестает сжимать груди и тянуть, тянуть <...>

Томск, Колпашевский пер., 9, кв. 2.
937 X 26³⁵.

5¹/₂ час. — Очень хорошо на дворе: много снега, воздух крепкий, ветра нет; будь душевное состояние чуть лучше, совершил бы хорошую прогулку... <...> Торжество — подали свет!!!

7 час. Ну вот, свет есть, а мое состояние — не лучше... Правда, этот свет — даже не полусвет, а скорее полутьма, но все же — не свечи. Значит, Натуленька, это не от свечей!.. — 1¹/₄ — к 12 посветлело и стало, правда, чуть «веселей»... Но холодновато: у меня едва 14°, хотя вчера топили, а топить ежедневно — рано еще. Не зря ли я остался в этой комнате? Из передней здорово дует. — Сегодня первый раз взялся за большую книгу, которую читал при тебе, и... первое время не мог читать: все тот же комок в горле! Завтра не жду от тебя письма, если только не опустила еще одного в Свердловске и непосредственно за ним. <...>

27/X, 2 ч. — нечаянная радость! От тебя открытка и письмецо из-за Свердловска. Ты — умница, — догадалась опустить в поезд № 42. — Улыбнулся на то, как меняется психология по мере удаления от Томска: тебе «приятно», что моя телеграмма послана *в 1 час*, «значит, не очень поздно встал», — не «очень поздно», если раскачался к 5-ти? — Получил еще открытку от Елизаветы Николаевны. — ³⁶

³⁴ Перевод «Феноменологии духа» Гегеля был к этому времени завершен Шпетом. Речь идет о статье Гегеля «Различие между философскими системами Фихте и Шеллинга» (1801). Перевод статьи, выполненный Шпетом в 1937 году, сохранился в ОР РГБ.

³⁵ Последнее неоконченное письмо Шпета, оставшееся лежать на письменном столе после обыска и отправленное Наталии Константиновне хозяйкой квартиры.

³⁶ На этом письмо обрывается. Наверное, вскоре и «пришли!» Виленчики (хозяйева квартиры, где жил Шпет) говорили, что это произошло не ночью.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР МАКАНИН



РАКУРС

Одна из возможных точек зрения на нынешний русский роман

1

Чеховский дядя Ваня живет жизнь, делая, в сущности, только одно довольно обычное дело — он спасает усадьбу. А молодая героиня, которая помогает ему спасти усадьбу, произносит знаменитую фразу: «Мы отдохнем!..»

Смысл фразы спустя век вдруг раскрылся по-новому... Онегины, Болконские, Обломовы, Карамазовы... Мы их хорошо знаем. Как не знать!.. Они так и остались в своих неразоренных усадьбах. Они там навечно. Они там влюбляются или расстаются. Размышляют, *что делать* и *кто виноват*. Они сколько-то и скучают. Они отдыхают. **ГЕРОИ РУССКИХ РОМАНОВ ОТДЫХАЮТ В УСАДЬБАХ.**

А лучше нас, пишущих русских, этих заслуженно отдыхающих героев знают только слависты — особый народ!

2

Славист — частый гость в Москве. И он честный гость. Он знает, скажем, что Москва — еще не Россия. Он видит свежим глазом. И вот (с миролюбивой улыбкой европейца) он все чаще задает один и тот же забавный (для нас) вопрос:

— Почему герой в нынешнем русском романе так подчеркнута беден, когда в Москве много вполне обеспеченных людей?.. Почему, когда вокруг немало богатых? И даже очень богатых?

Вопрос к авторам... Вопрос, разумеется, не к персонажам... Когда чеховские персонажи там и тут предлагали вырубить сад, а вместо усадьбы настроить много дач, они еще и знать не знали, что это лишь начало. Им казалось, что делить усадьбу — это, конечно, грустно, но, в сущности, просто — им думалось, что они делят бесконечный загородный воздух.

Однако, понижая образный ряд, можно сказать, что именно тогда с героя русской прозы снималась его первая одежда, можно сказать, шуба! **ПЕРВОЕ РАЗДЕВАНИЕ В ЧЕХОВСКОЙ ПРИХОЖЕЙ**, это если коротко. Но ведь и впрямь казалось — ничего особенного. Шубу ведь и положено в прихожей снимать!.. Человек у дверей может и прикрикнуть на зазевавшегося:

— Шубу, барин!..

Мир Чехова — прихожая XX века. Вот только из прихожей герою предстоит пройти дальше. В этот русский XX век...

Туда, где его уже ждут наши знаменитые романы-вехи.

3

Эти романы обжалованию не подлежат. Совершенно не важно, что думает и как гневается булгаковский профессор Филипп Филиппович — все равно к нему придут и кого-нибудь шумно подселят: его «уплотнят». Его квартира сожмется (уплотнится) в комнату-две, а его душа — сожмется и озлится.

Совершенно не важно, в кого стреляет и кого рубит шашкой казак Мелехов... Красных... Белых... Зеленых... Никакой разницы... Все равно казачество поручено, и то, что землю у казака отнимут, дело самого скорого будущего. Стриптиз — это когда герой от минуты к минуте раздевается сам. Когда героя — от романа к роману — раздевают другие, это о нашем романе XX века. Это как затекстовые отсветы русского максимализма. Нет такого значительного романа в русской литературе XX века, где бы раздевание отсутствовало. «Ски-давай!» — общий глас.

С другой стороны, совершенно не важно и то, что расхаживающие по мукам герои Алексея Толстого поддерживали большевиков и честно принимали условия новой власти. Не спасло. Раздевание, хотя и добровольное. Раздевание, хотя и на виду у всех. Смотрите, как я сам, сам! Смотрите, как мы сами и на ваших глазах, обобществляясь, станем голенькие!.. Трагизм перерастал в ёрнический комизм. После Алексея Толстого самораздевание ускорилося, став еще и радостнее, еще и веселее — скажем, в «Поднятой целине». И реакция на непосредственного предшественника в литературе, разумеется, не исключалась. Писатели как-никак повязаны. Чувственным образом... Дыша друг другу в затылок... Автор — автору. А что? А вот обобществим сами себя. А вот кто больше отдаст свое и разденется, а после и поглядим-ка — останется ли там загадка (или вдруг разгадка) этой самой таинственной русской души?!

Еще заметнее было с мелкотой — с второстепенными героями и второстепенными романами. У них обобществление становилось наркотическим. Автор ликовал, когда у его героя отнимали дом, жильё, лошадь, корову, у кого-то, помнится, в миг кульминации обобществили лошадь и кучу песка...

Однако если по порядку и о главном за полвека, то вот:

в «Петербурге» Андрея Белого разрушается особняк — *отчуждается дом*;

в «Собачьем сердце» уплотняется жильё — *отчуждается квартира*;

в «Тихом Доне» разрушается казачий уклад, а с ним вместе — *отчуждается земля*;

в «Мастере и Маргарите» — буквальное раздевание людишек; *отчуждается всё, включая даже и саму рукопись романа*. Булгаковское письмо особенно наглядно. И даже не сразу скажешь, кто из знаменитой пары (писатель — реальная содействительность) проявил себя откровеннее и злее.

В целом же, перефразируя веселую частушку, можно было бы спеть:

Что ни роман — то вешка,
Сымается одежда.

Но вот странный герой Андрея Платонова, казалось бы, выбивался из ряда. Ан нет!..

4

Герой платоновского романа, как мы помним, обуреваем уникальной мыслью опережения: «Слишком медленно мы раздеваемся!.. А нет ли где уже готового? нет ли где Чевенгура — нет ли где такого места, или городка, или хоть поселка, где все уже прежде нас разделись сами по себе? уже голые? как Адам!.. Нам их надо найти! Необходимо найти!..» — и герой ищет: скачет и скачет по оголяющейся России.

ЧЕВЕНГУР — ЭТО УЖЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ... Герой раздет, а торопится быть голым. Такое ощущение, что русскому роману теперь мала скорость века.

Русский роман сам торопится раздеться. Ни счеты к раздевателям-большевицам, ни проклятие особы России, ни ироническая оглядка (своя, своя собственная, авторская!) на столь опростоволосившегося героя — уже ничто не объясняет... Процесс перекликающихся романов уже слишком сам в себе.

В этом ракурсе русский роман XX века, на мой взгляд, недооценен. На первой же странице всякого текста едва народившийся авторский взгляд уже ищет, что можно с героя снять и, если удастся, обобществить. Это не социум — это уже метафизика. Метафизика самой литературы, ее включившееся самодвижение.

И уже независимо от авторов, от их намерений и даже их таланта русская проза оказалась захвачена этой метафизикой «раздевания». Задействовались, подталкивая друг друга, наконец все... И на столь крутой наклонной плоскости литературный герой (тех лет и тех романов) все сползал и сползал вниз к своей праоснове, устремляясь туда, откуда он когда-то пришел. Устремляясь — к голой, к обнаженной сущности *героя античной драмы*.

Гениальное предчувствие — это как обязательное ускорение. Платонов много раньше других проинтуичил, куда движется герой русского романа. Его не пугало. Более того! Он ждал... Нагота, если сама по себе, притягательна для художника. Нагота не стыдлива, если она абсолютна. Нагота антична.

5

НО ГЕРОЙ РУССКОГО РОМАНА ВДРУГ ОГЛЯНУЛСЯ... Это как последний поклон. Героя звали Юрий Живаго... В раздеваемо-обдираемом мире русского романа исторически запоздалый (и так романтически влюбленный в женщину) Живаго сам по себе никому не мешал... Его по ходу романа просто не успели раздеть. Но, конечно, раздели бы... Автор отлично понимал происходящее... Стихи в финале — как пронзительная фигура умолчания. Героя ждал спрос. Ему не спрятать лица. И потому на нескольких страницах автор осторожным волшебством дает ему (и себе) забвение.

Этот живой Живаго оказывается — где?.. В усадьбе!.. Вдруг! Очнулся! Вспомнил! Вот она!.. Образ выпрыгнул — как выстрелил. Но можно ли там жить или хотя бы выжить? — вопрос быта уже не возникал. Роскошная русская зима. Мороз. Усадьба в снегу, хрустальная, вымерзшая. Она — настоящая и уже не настоящая. Она — фантом. Совершенно пустая, заснеженная, стеклянная, замерзшая. Усадьба ностальгическая. Усадьба былых лет... Фантом *той* России и *той* литературы.

Отчасти этим объясним случившийся с «Живаго» скандал. Усадьба была местом, с которым попрощались. Литературный контраст вылился в жизнь: в страстную рознь и травлю!.. Не надо забывать, что бок о бок, на соседних страницах соседних книг и соседствующих авторов, толпилось великое множество второ- и третьестепенных персонажей — родственники и друзья, сослуживцы, соседи, просто люди, свидетели, охранники... толпа, как ни назови... И все они спешили — с уже внушенным пристрастием снять с кого-нибудь одежду. Содрать лишнюю рубашку... Азарт!.. Они не могли бы прожить без этого и главы! И двух-трех страниц!

Не надо забывать и идейных — тех, кто от романа к роману «раздевался» сам и по-честному помогал «раздеть» близкого. Тоже ведь персонажи, тоже авторы — те самые, кто страстно спешил делать и свое, и чужое добро волнуяще общим, *волнуяще ничьим* и общественным. Это называлось коллективизмом, обобществлением, колхозом... как угодно!

6

И нагота воплотилась. Нагота оказалась внезапной и ослепляющей, как и положено истинной нагоге. Русский роман знал, чего он хотел. Не до грез! Уловив свою звездную минуту, роман резко ускорил «снятие последних

одежек» и, уже вне стыдливости, содрогнулся — завершился отъятием у героя всякой его собственности. Завершился наготой — «раздеванием», достигшим совершенства. Русский роман явил идеально обобранного героя. А литература тем самым демонстрировала свой максимализм и пресловутую литературоцентричность российской души, так и не уступив первенства ни живописи, ни музыке, ни театру — ни даже всеядному кино.

Наконец-то! Вот он, герой... ЗЕК.

Есть и точно что-то эллинское в Иване Денисовиче. В его предельной понятности. В его самодостаточности. В его выставленной скульптурности. В этом смысле Иван Денисович или другой рядовой зек архипелага ГУЛАГ — *правильное* продолжение всех их: и казака Мелехова, и булгаковского профессора Филиппа Филипповича, и Юрия Живаго тоже... Наш последний значащий романский герой. Зек *со своей ложкой*.

Точка, на которой замер (или замерз) русский роман. Потому что замер (или замерз) его герой, доведенный до античной наготы и силы.

7

Пришло новое поколение писателей-романистов. А за новым — еще более молодое и совсем уже новое. Однако, осознанно или неосознанно, с одеждой романного героя (вернее, с античным ее отсутствием) — без перемен. От автора к автору... Прибедненность — как эстафетная палочка. Были уже первые попытки эту навязчивую прибедненность осмыслить. Монументальность зека — победа, но также, мол, и беда. После скульптуры, мол, непросто вернуться опять к живописи... Так что если у героя вдруг и почему-то большая квартира или какая-никакая машина, то, извините, наверняка не своя... Если дача — то самая захудалая. (Где-то сбоку поселка. Да и та — теткина или тещина.) Если деньги, то скромные. Неизвестно как получаемые... Чуть ли не нашел на дороге... Чуть ли не у старушки-процентщицы в конце концов герой все-таки выпросил.

Родня — да. Родня может быть преуспевающей и сытой (и в связи с этим *слегка мерзкой*), но не сам герой... Никак не он!.. В самые-самые последние годы писатели осмелились посадить своего героя за руль. Но, разумеется, *машина у него — чинить и чинить... непрестижная... плохонькая... ободранная... зачуханная*. (Всё цитаты. Всё из романов.) Мало того, еще и спешная оговорка где-нибудь в скобках. Непременная винящаяся авторская оговорка — случайно, мол, наш герой даже такую машину приобрел.

Автор боится. Автор осторожнее и подозрительнее налогового инспектора.

На протяжении десятилетий русский романист (а с ним его текст) все еще комплексует перед зекком. Зоркий славист, отметивший, как охотно прибедняется герой нынешнего нашего романа, сказал, что на русском герое все еще ватник. Номер зековский, правда, неразличим. Номера нет — и на том спасибо...

8

Я принадлежу к поколению писателей, для которых эта эволюция русского романа в XX веке представляется слишком грандиозной. И слишком давящей. Эволюция, а наезжает как танк. Наезжает как вульгарная социология. Эволюция, но как из-под нее выбраться?.. И потому пишущие моего поколения предпочитают строить роман на его экзистенциальных составляющих — как на угловых камнях. Как на сваях, на сегодняшней день более прочных.

Однако и мы, надо признать, не сумели объяснить, почему у всей нашей новизны на плечах столь застарелый ватник зека. И я — не исключение. Собратья по перу уже ткнули пальцем в мой роман «Андеграунд», где героем — непризнанный писатель Петрович, сторож чужих квартир, не имеющий ни жилья, ни собственности. Не имеющий ничего. У него заемные даже чашка и ложка, а ведь ложку зек все же носил с собой. «Андеграунд» — также роман «неодетого» героя.

Более того! Один умный славист заметил, что андеграундный Петрович оказался более «раздет» и более нищ, чем Иван Денисович. Потому что классический зек был гол и раздет подневольно. (Убери вертухаев с вышек, убери собак и колючку, и — глядишь! — Иван Денисович приоденется. Огород заведет. А то и коровенку...) Петрович, в отличие от зека, ничего не имеет по собственному выбору судьбы. Никаких вертухаев. Он сам такой.

Тот же ядовитый славист заметил, что Петрович явился следующим шагом «раздетого героя» в русском романе и что он был необходим *после зека*. Он был, пожалуй, обязателен. Не найдя пути, Петрович лишь уверенно продлил русское романное время.

Я, конечно, возражал, что в русском романе герою как бы и не нужна собственность. Традиционно, мол, герою и не надо машин и квартир. Он, мол, обойдется! Душа и еще раз душа! Кто виноват и что делать...

На что славист отвечал, что дело, мол, не в дачах и не в машинах — герою нужна не столько собственность, сколько статус. Ему нужно стоять на ногах. Он должен жить. И не без усмешки добавил — мол, писатель-то живет. Нынешний писатель держит в черном теле именно героя, но никак не себя.

9

Разумеется, никто, ни славист, ни я, не настаивал при этом, чтобы герой в русском романе явился наконец богатым. Отнюдь!

С тихим ужасом я жду роман-рифму ко всем героям тех былых времен, ко всем нашим отдыхающим — к Онегиным, Обломовым и Болконским. А ведь роман непременно появится. Пошлый роман со скоробогатым героем — зато без комплексов. И вот уже на самых первых страницах молодой рок-музыкант (и немножко оболтус) Женя Онегин знакомо поедет к умирающему дяде... А почему нет?..

Роман-рифма — всегда сколько-то роман-пародия... Посмеиваясь, молодой Онегин крутит руль своей пока что плохонькой машины, покуривает и размышляет — как там родной дядька? умрет ли в самом деле?.. Позвонил старый чудак и говорит: приезжай... умираю!.. Забавный мужик! Навестим, так и быть!

А дядя, как легко уже догадаться, олигарх из средних. Лежа в постели, он успевает протянуть слабой рукой нашему Жене бумаженцию. Завещание... Там — собственность: загородный дом, вписанный в десять гектаров земли, с прекрасным садом, и гаражом, и службами.

Молодой Онегин бумагу небрежно взял, пробегает глазами и говорит:

— Спасибо, дядя... Спасибо... Это дача, да?

Но умирающий произносит ему в ответ другое слово. Забытое... Старик хрипит:

— Уса-аадьба.



Р Е Ш Е Н И И . О Б З О Р Ы

СУП С КОТОМ

Асар Эппель. Травяная улица. СПб., «Симпозиум», 2001, 331 стр.;
Асар Эппель. Шампиньон моей жизни. СПб., «Симпозиум», 2001, 495 стр.;
Асар Эппель. Дробленный сатана. СПб., «Симпозиум», 2002, 463 стр.

А потом — суп с котом.
Разное бывает.
Но всегда — позор и горе.
Даже если счастье.
Младенец, повторяю, сучит ножками.
История вот какая...

С этого диссонансного аккорда начинается рассказ Асара Эппеля «Разрушить пирамиду». Мне кажется, здесь автор попытался дать четкое самоопределение уклоняющемуся от ярлыков жанру, в котором он столь длительно и плодотворно работает. Это не совсем «рассказ» — при том, что Эппель давно и заслуженно признан одним из корифеев жанра и даже стал лауреатом премии Юрия Казакова по итогам 2002 года. Премии, присуждаемой, как известно, за лучший российский рассказ года. Это не «повествование» — хотя такой подзаголовок возникал в некоторых журнальных публикациях. Это именно «история». История, как честно предупреждает автор, «чистая, горестная, святая и слободская» — но она же и «огорчительная, несправедливая, всеместная».

Эппель рассказывает нам свои истории почти четверть века. С конца 80-х годов они начинают появляться в печати — и прочно завоевывают глухую «внутрицеховую» славу.

Для автора этих строк стал беспримесной радостью выход в свет в издательстве «Симпозиум» трехтомного собрания сочинений Асара Эппеля. «Симпозиум», как известно, специализируется на живых и недавно почивших классиках. Трехтомник Эппеля дарит российскому читателю бесспорного и — слава Богу! — вполне живого «классика».

Данное определение, при видимой провокативности, не имеет отношения к литературной табели о рангах. Эппель — «классик» в прямом, изначальном смысле этого слова. Его «истории» восходят даже не к классической традиции русской прозы — хотя и к ней тоже, — но к античности, к Гомеру и Гесиоду. Именно в этом смысл приведенной выше жанровой дефиниции: «рассказа» в те времена еще не было — «истории» же рассказывались, непредсказуемо отступали в сторону от основной сюжетной линии, обрастали мясом «сотворенной» реальности, перевоплощались в миф.

«История» — жанр изначально изустный. При всей своей прихотливости она обязана быть занимательной. Занимательность эта, помимо динамики сюжета, держится на универсальности («всеместности», используя определение Эппеля) ситуаций и персонажей. Попытка оскорбленного мужа вооруженным путем вернуть неверную жену и наказать обидчика легла в основу мирового эпоса. Трагедия юноши, убившего по неведению отца и женившегося на собственной матери, возведена в универсальный комплекс, повелевающий нашим темным бессознательным. Эппель, рассказывая мерзкую, на грани мелодрамы и ужастика, историю об одноглазой девочке, пытавшейся свести счеты с жизнью и изнасилованной местным ублюдком, походя замечает, что «подробностей этого случая имеется множество, однако рассказ пора заканчивать, хотя само событие из тех, какие в древности становились мифами».

Событие становится мифом на глазах. Изнасилованная девочка производит на свет двух уродцев, которые, «как показалось тем, кто при родах присутствовал, были в облике, скажем, котят». «Позор и горе» происшедшего возвышаются до космогонического символа: «Так что двое *прасуществ*, которых пока что в виде

двух котенков носит за пазухой по одному из художественных моих вымыслов некий маленький мальчик, вырастут и в свой срок совокупятся, породив наш мир, каковой утвердится на семи слонах, стоящих на полочке дивана с полочкой».

При всем многообразии любовно и вкусно выписанных реалий уходящего быта мир, воссозданный в историях Эппеля, лишь на первый — поверхностный — взгляд является миром памяти, воспоминаний. «Травяные улицы» до- и послевоенного Останкина играют здесь роль довольно удачно выбранных, но, в сущности, не столь уж обязательных декораций. В этом отличие эппелевской прозы от высоко ценимого им (и, кстати, поминаемого в одном из рассказов) «Альбома для марок» его друга, покойного Андрея Сергеева. Реальность «травяных улиц» у Эппеля, используя кальку с английского, «больше чем реальность». И этим она скорее сродственна фолкнеровской Йокнапатофе.

Но есть еще одна, более близкая и не менее очевидная, параллель мифологическим героям Эппеля — довлатовская книга «Наши». Под пером Довлатова его деды и дяди обращаются в грозных и гордых героев мифологического цикла, сохраняя при этом реальные черты живых, забавных, чрезвычайно колоритных людей. Рок, преследующий их, — это не просто разрушающая сила времени и не тупая, всеподавляющая сила государства, — это сам Кронос, пожирающий своих детей.

У Эппеля все обстоит несколько сложнее. Прежде всего — он не пишет эпоса происхождения, не героизирует предков. Такое впечатление, что он числит свою генеалогию не от реальных живых людей и даже не от «этнического компота слободы» — а от самого Времени, в котором «все размыто сложного состава вонючим, мутным воздухом». В этом воздухе человек не только не умеет отличить добро от зла — «он просто не знает об их существовании». Здесь происходят — и кажутся естественными — довольно противостественные, смешные, чаще жуткие, но всегда сумбурные истории — но «не сумбур это вовсе. Это таким образом — закономерно, хотя и своеобразно — пресуществляются Великие События на поросших травой маленьких улицах, иначе говоря, в бытованье простых людей».

Именно таких «простых», вполне ему посторонних людей и мифологизирует рассказчик очередной истории, «ибо пишет жизнеописание хотя и беллетристическое, однако претендующее на житийность». Чрезвычайно важно, что едва ли не у всех героев эппелевской прозы наличествует — вместо достоверных черт характера — некий суверенный изъян, свой вывих, который, странным образом, и делает их живыми, вполне достоверными: «на травяной улице остались в общем-то сплошь исключения». Таков «ужасно опасющийся *отбрасывать тень*» Вадя. Таков монструозный подросток Леонид, который, будучи лишен «возможности побеждать обстоятельства», «побеждает предметы». Таков Самсон Есеич — «совершенно одинокий предтеча грядущей цивилизации», «существо века бронзового», в «каменном веке» барака исхитрившийся устроить собственный санузел. Как тут не вспомнить довлатовского alter ego, страдавшего от необходимости прилюдного мочеиспускания!

В одной из своих историй Эппель как бы невзначай позволяет читателю подсмотреть за механизмом создания своей прозы. Речь идет о подпольной (по тем временам) бригаде, воссоздающей на фотобумаге портреты умерших: «...скромные заблыватели... убирали с фотографий то лишнее, что было лишним, а решительные ретушеры добавляли то лишнее, какое считали нелишним». Портреты, получившиеся из потертых полуслепых фото, оказывались куда живее и достовернее умерших оригиналов. Достоверность их оказалась обусловлена непрочностью вещества памяти, неизменно проигрывающей в своем противостоянии Времени. Не случайно в том же рассказе возникает мощная метафора забвения — айсберг, рождающийся из текущей на асфальт водопроводной воды: «И асфальт покрывается стеклом забвения, ибо в стекло это вмерзли мелкие остатки летней жизни, до сих пор считавшиеся всяким сором, а теперь ставшие объектом, вмерзшим в лед... на лед наслаивается новый лед, и стекло забвения постепенно теряет прозрачность и мутнеет».

Автору явно недостаточно растопить мутный лед забвения — в этом случае вмерзшие объекты снова станут тем, чем они были раньше: просто сором. Он стремится «заглянуть за амальгамную плесень», подарить умершим существование более живое и яркое, нежели выпало им при жизни.

«Что ж, начало рассказа составилось, и сейчас я убью воспоминание. Как это делается, сочинители хорошо знают», — констатирует Эппель и несколькими строками ниже продолжает: «Ты же, все проделавший, станешь хранителем разве что *апокрифа* собственной жизни». Но загадка в том, что, за редчайшим исключением, сам автор в этом апокрифе отсутствует. В лучшем случае он, как в «Шампиньоне моей жизни», является лишь отправной точкой для того, чтобы поведать миру об ином, некогда им встреченном, персонаже. Автор выступает в роли творящего демиурга, лишь иногда — баловства ли, ностальгии ли ради — посещающего ткань собственного текста. Яркий тому пример — «Чернила неслучившегося детства», где повествователь встречается с собой — школьником, страшащимся выйти на улицу.

Автор — как и положено рассказчику историй, самым родом занятий обреченному на актерство, — отчасти перевоплощается во *всех* своих персонажей: «Начиная рассказ, я встал уже, читатель, перед тобой и Внемлющим на колени, и не надо хотеть, чтобы, вспоминая давно прошедшее, я был в этом прошедшем собою только прошедшим; все ведь перемешалось, так что сам разбирайся, где я какой». При этом в нескольких историях присутствует другой, пунктиром прочерченный, намек на автопортрет: мальчик с двумя котенками, играющий роль стороннего, жадного наблюдателя. Автор-демиург даже сожалеет о том, что некому поведать его собственную историю, подобно тому как сам он рассказывает истории других обитателей «травяной улицы»: «А уж мальчик с *котенками*, тот сперва быстро вырастет и оттого перестанет быть, кем был в нашем повествовании. И про все это даже сочинить историю будет некому».

Замечательной чертой прозы Эппеля является тесная взаимосвязанность, взаимопереплетенность судеб всех ее персонажей. «А где-то по закоулкам торопился к ним всем доктор Имберг, о котором и о том, как его дочке выжгло глаз паровой искрой, как-нибудь в другой раз», — пишет Эппель задолго до создания рассказа «В паровозные годы», где речь пойдет именно об этих событиях. В другом месте он замечает: «Остальной проживавший на улице народ к нашему рассказу отношения не имеет, так что привлекать его к повествованию мы станем выборочно, хотя, если просто всех перечислить, получилось бы увлекательное и удивительное описание». За границами эппелевского повествования, придавая ему плотность и объем, незримо присутствуют неведомые до поры до времени «люди, для рассказа непригодные. Да и для жизни тоже, хотя сама их ненужность — сюжет громадный и трагический...». Это — естественная родовая черта останкинской Йокнапатофы. Густой, по-брейгелевски населенный мир «травяных улиц», кажется, целиком стоит перед мысленным взором его творца. Автор лишь выбирает, какую часть гигантского полотна он будет прорисовывать (ретушировать?) в данной конкретной истории.

При всей коммунальной густонаселенности человек в этом мире «один как перст, если не считать, конечно, перста судьбы». Символ этого одиночества — героиня рассказа «Темной теплой ночью», которая «одна, сама по себе, брела домой, чтобы дома тоже оказаться самой по себе и одной». Роль Христа в этом жутком мире играет огородное пугало — но любопытствующий взгляд человека ждет «от осовавиахимовских небес гораздо большего, нежели не существующего уже в них (небесах и любопытствующих) Бога». Обитатели «травяных улиц», как правило, бедны («...того, что они хотели, у них не было, а это располагает человека к мечтам и капризам») — и «бедняцкую свою бедность» усугубляют отчаянным стремлением «дорваться до украшательского пайка эпохи». При этом, даже обладая подлинными ценностями, воспользоваться ими они не умеют — не умеют «вернуть вещам их правильный смысл». Так, обладая запасами довоенного бразильского кофе, продолжают герои Эппеля заваривать в кастрюле цикориевый суррогат.

Звуковой ряд этого мира состоит по преимуществу из «разговора, всегда похожего на скандал», прослоенного «незамысловатой грустной похабенью». Визуальный ряд простирается от снежных заносов, в которых «помоями у крылечек должны прогнаться дырки», — до «видом и вкусом» «напоминающей макаронны пофлотски» весенней свалки.

Свалка, грязь — едва ли не доминирующие атрибуты эппелевского ландшафта: «Я вынужден обвинить прекрасную литературу нашу... Отсиделась в усадьбе. Оп-

рятной, благолепной, милой, иногда заросшей, запущенной, но не утонувшей в грязи. А грязь непроходима и вездесуща, и кроме на дровнях обновляемого пути, проселочным путем скакания в телеге, кроме осени первоначальной — сплошь грязь. Не на песке же все стояло!..»

В этой грязи, на этой сверкающей «стекляшечными орденами» свалке и произрастают «шампиньоны жизни» самого автора и его героев. Их жизненный выбор прост: «...или навозная кочка, или грязный прилавок». Красота в исковерканном мире занесена в приходо-расходные книги и является объектом купли-продажи. И герой Эппеля «благовестит голосом вопиющего на свалке, что на прекрасном и желанном невозможно быть клейму»: «Деликатнейший и растерянный человек, он пытается мне довести, что единственное счастье не следует оскорблять пошлостью, лучше вовремя принять его горем, пусть и в опрокидывающих мир, зато сверкающих и неуголимых слезах».

Слеза же, по Эппелю, — «маленькая линза, которая изображение переворачивает, но, высохнув, обратно не ставит». Оттого-то жизнь на навозной кочке оказывается все-таки возможной. Оттого-то «грязь неопишуемая, но все сверкает». Весенняя грязь и распутица становятся символом живой жизни, гумусом, на котором единственно и могут произрастать в неестественном мире естественные человеческие отношения: «Мы же, умнейшие из людей, мы, дурачье, отвлеклись на мелочи, на задворочное суемудрие, на глубокомыслие напраслины ради. И ошиблись в главном. Обретя пару заносчивых прозрений, остальное все потеряли: весну потеряли, распутицу несусветную, бесстыжую раскисшую землю и голубое надо всем блюдечное небо».

В романе Юза Алешковского «Рука» приводится замечательное определение Дьявола: «Разум, лишенный Бога». Антиподом весенней распутицы, вечного бродилова жизни выступает у Эппеля именно лишенный Бога разум, пытающийся навязать (и навязывающий) свою волю обитателям нерегулярного окружающего мира. Одним из воплощений его является «со временем сложившийся в жесткого чудака геометрический педант Н.», который «окончательно пришел к выводу, что *щепоть* эллина, вращавшая головку античного циркуля, куда резонней, чем *щепоть* крестного осенения, ибо четверократные осенения руки — всего лишь пустое самообольщение. Как, скажем, квадратура круга». Впрочем, и он — как практически все герои Эппеля — запечатлен автором с неким сочувственным пониманием. «Человек, — по Эппелю, — получив через Нечистого... любопытство... то есть страсть к познанию добра и зла (не к познанию!..), своими неугомонностью и рвением неугомонно Сатану вызволяет... то есть собирает его по крупицам...»

Попросту говоря, человек не ведает, что творит. Но, неустанно убеждает нас автор, ничто не безнадежно: «...поскольку Земля все-таки кругла, а жизнь и все живое, повторяя ее круглоту, Землю облегают, то жизнь и уходит по кривой от человеческого разума, то бишь от его высшего проявления — идеи».

В одном из самых страшных рассказов Эппеля, «Aestas sacra», чудо первого соития происходит на плотничком верстаке. Девочка, героиня этой истории, по очереди одаряет любовью пубертатных подростков. У нас на глазах свершается невероятное: убогая групповуха преобразует случайный сарай, оплодотворяет и возрождает любовью даже «одинокие и мертвые чурбаки», которые когда-нибудь воскреснут и, соединившись, породят табуретку: «Они воскреснут, ибо что от плотника, тому воскреснуть, а что на столе, тому пропасть — и дальнейшее превращение его позорно. И позор этот почему-то нужен жизни, зачем-то всегда нужен жизни позор, за столом же сидят живые... на живых табуретках — живые...»

Но сама девочка-любовь, возлежащая на плотничком столе, обречена. Ее насилует и убивает хозяин соседнего сада — мясник. Насилует и убивает за неудавшуюся попытку украсть яблоко. Так творится на глазах у читателя новая мифология. Ибо невозможно прекрасным старым мифам жить в мире, где «давно уже обезглавлена Ника, давно, чтобы не царапалась и не кусалась, а отдавала бедра и груди для прямого использования, отбили руки и голову Афродите... Может ли мрамор противиться железу, скажем, мясниковых мышц, если тот наизусть знает все суставы и суставчики, по которым расчленяются божественные творения?..».

И умолкает, «набравши в рот воды творения», ужаснувшийся рассказанному автор. И прочь улетает ужаснувшийся увиденному крылатый Эрот. Но даже в этом беспощадном мире случайная старуха в телогрейке оказывается способной произвести «поразительную, почти сумароковскую фразу»: «Любовь — по естеству людям присуща!»

Любовь автора распространяется не только на героев рассказанных историй, но и на присутствующих где-то на заднем плане представителей животного, пернатого и даже насекомого мира. Более того, многие вещи увиденны именно их глазами: глазами паука, птицы, кошки. Заимствуя у малых сих неожиданную оптику, автор ни на секунду не забывает о свершающемся в природе безжалостном круговороте: «Из птичкиного клюва что-то свисает. Похоже, ноги примерявшегося к Вадиной руке комаришки». От приходящего на память Заболоцкого («Жук ел траву. Жука клевала птица. Хорек пил мозг из птичьей головы...») данную схему отличает включенность в нее человека: именно его, человеческую, кровь пил ставший очередной жертвой комар.

Любовь предоставляет героям эппелевских историй, по сути, единственный шанс выключиться из биологического взаимопожирания. То есть попросту стать людьми. Воплотиться в людей. Именно любовью, а не «какой-то недоудаленной химчисткой времени захватанностью подсознания» объясняется пристальное взглядывание Эппеля в мир прошлого. Любовью же объясняется и честная жестокость этого взгляда.

В одном из критических откликов «тотемом эппелевской прозы» был назван воробей — прозорливая юркая птица, воплощающая суету и неистребимость жизни. Думается, что куда более точным ее символом будет все-таки кошка — обладающая, как известно, способностью заглядывать в незримое. В воссоздаваемом Эппелем мире, где «все известные... следы замело снежным нафталином, ничем на морозе не пахнувшим», именно кошке приходится снова «прокладывать признаки жизни».

Кошка, расчесывающая обмороженное ухо, не есть ли заветный автопортрет повествователя, — кошка, которая «чесанула по самому что ни на есть своему страданию и достигла требуемой истомы, и прошла когтями задней ноги опять, и замелькала этой ногой, ибо демоны боли и чесательного сладострастия намертво теперь впились в ухо».

«Демоны боли и чесательного сладострастия», похоже, немало потрудились над эппелевским «обещанным в начале „супом с котом“, который будет „потом“» и который разительно отличает его прозу от «нехитрого супа» современной прозы, «хлебаемого ради питательного бульона грядущих поколений».

Виктор КУЛЛЭ.

*

НА СВЕТУ И В ТЕМНОТАХ ЛИРИЧЕСКОЙ САМОБЫТНОСТИ

Леонид Губанов. «Я послан к Музе на галеры...». М., «Время», 2003, 734 стр.

Творчество Леонида Губанова задолго до своего обнародования (а может быть, именно в силу того, что столь долго было под спудом) как-то само собой сделалось легендарным. Предшествовавшие ему шумные поэты хрущевской оттепели читали в переполненных залах, их стихи выходили неисчислимыми тиражами — так что набранных тогда оборотов успеха им хватило на всю дальнейшую жизнь, и житейские пертурбации были для них не более чем зыбь на воде.

Не то Губанов. Он жил истово, безоглядно, несколько раз попадал в Кашенко, аудитории его ограничивались вместимостью столичных квартир и, гораздо реже, библиотек, и тем не менее в «мифологии» 60-х и 70-х годов у него собственное прочное место. «То, как он читал свои стихи, — пишет в краткой преамбуле к данной книге Ю. Мамлеев, — потрясло до самых первоистоков вашего существова-

ния. <...> Да, это был и авангард, и есенинская надрывность, и „священное безумие”, и потайной смысл»¹.

Авторская декламация Губанова по силе эмоционального воздействия была вполне сопоставима с исполнением лучших тогдашних бардов, несмотря на то что не могла брать за горло струнными переборами. И слушавшие его в ту пору ценители через всю серятину последующей жизни пронесли полученный от него заряд-огонек...

И вот наконец слышанное тогда — уже отделенное от колоритного облика, голоса и манеры чтения — легло на страницы большого тома и может быть не только прочитано благодарными или поостывшими современниками Губанова, но и препарировано теми, кого с Губановым ничего по жизни не связывает. Одним словом, поэзия его в своем основном объеме стала общедоступна. А то, что там... «человек сторел» — так то теперь холодный факт литературной истории.

Юный Губанов был неутомимый излучатель поэтической энергии. Помню, начинаешь подкисать, подсыхать, не пишется, на душе остылость, а встретишься с Леонидом — и обязательно подзарядишься его неукротимой динамикой. Однако, слушая его, им заражаясь и попадая в его затягивающую орбиту, я, помню, все же старался не отдаваться его чтению полностью, как какому-нибудь шаманству или камланию, но вживаться в губановскую образную систему, близкую, пожалуй, разом и Хлебникову, и есенинскому имажинизму. И вот ведь тайна: почему одни образы, каким бы крайним сюрреализмом они ни отличались, пронзительно бережат сознание, тогда как другие кажутся случайными и бьют мимо цели? Во всяком случае, эстетические ориентиры Губанова были для тех лет очень неординарны и сразу выводили его за пределы тогдашнего официального литературного поля. Поэзия Губанова была исключительно необычна. «Скоро, одиночеством запятнанный, / Я уйду от мерок и морок / Слушать зарифмованными пятками / Тихие трагедии дорог». 1963 год на дворе — кто бы тогда так написал? Только семнадцатилетний Губанов.

Поколение до нас плохо мыслило себя вне печатания, даже Бродский при всей его тогдашней неординарности искал возможность публиковаться. Мы же страницами советских журналов брезговали почти изначально, правила социалистической поэтической жизни отвергали с порога. И это был, разумеется, не столько политический выбор — мы были тогда для него еще слишком незрелы и «неотмирны», — сколько *органичные установки свободной нашей эстетики*². И, встретившись в Москве с Губановым осенью шестидесяти четвертого, я, салага, провинциал, с ходу и навсегда примкнул к тому, что позднее начали называть андеграундом (который, увы, в посткоммунистические времена стал вдруг продавать себя со всех лотков и оптом, и в розницу).

Правда, в отличие от Леонида, я уже тогда полубессознательно понимал, что твердая литературная дисциплина необходима. Да и, как теперь говорится, «по жизни» надо быть аккуратнее, а то сторим ни за фунт изюма и ничего не успеем сделать. Можно заморозить слушателя, довести его до каления, но, в конце концов, не запрещенный ли то прием? «Действовать» поэту следует все же не голосом, а — со страницы, даже если это страничка папиросной бумаги, а шриффт скачет и бледноват. ...И вот теперь, сегодня, стихотворение за стихотворением читаю Лёнину книгу — и вновь звучит во мне порой его подзабытый голос. И когда звучит — вытягивает даже и слабый текст, а когда нет — остаешься с книжными столбцами один на один, и тут вступают в силу свои безжалостные законы: законы стихотворчества и временного устаревания. Обладал Губанов, повторяю, очень мощным воображением и отнюдь не спешил его обуздать. Нагромождение образов плюс ко-

¹ Дельные соображения о поэтике Л. Губанова см. также в «Книжной полке Дмитрия Бака» — «Новый мир», 2003, № 12.

² «У меня разногласия с советской властью чисто эстетические», — обронил однажды Андрей Синявский. Меня, раскаленного антикоммуниста, эта его фраза, помню, шокировала. Теперь, когда в силу естественных причин такая раскаленность угасла, я лучше понимаю, что он имел в виду. И солидарны с ним могли быть многие литераторы, которых не печатали потому, например, что они не были «реалистами».

ловращение языка заставляют его стихи сходствовать порою с импровизациями, которые, в свою очередь, кажутся рожденными чуть ли не в сомнамбулическом состоянии. И, как правило, на протяжении одного поэтического фрагмента есть попадание разом и в молоко, и в самое яблочко. И это не спишешь просто на творческую незрелость, но есть имманентная специфика дара, когда прозрение то перетекает в нелепость, а то вдруг фокусируется в замечательный образ: «Уснуть под красным одеялом / Ржаного теплого заката» — как хорошо. Или еще сильнее: «Как сладко зарастает черной клюквою / Заснеженный сюртук слепого Пушкина». И какая пронзительная лирика — это в восемнадцать-то лет, в 1964 году:

Только ты им не верь и не трогай с крыльца
В тихий, траурный дворик «люблю».
Ведь на медные деньги чужого лица
Даже грусть я тебе не куплю.

.....
Снова лес обо мне, называет купцом,
Говорит, что смешон и скуласт.
Но стоит, как свеча над убитым лицом,
Серый конь, серый конь моих глаз.

...Понимаю, банально вопрошать: откуда? И все же невозможно не изумиться: и впрямь, откуда в среднеарифметической советской и московской среде в «евтушенковские» 60-е годы такое чудо — с таким словарем, воображением, сложнейшими интонационными переливами от романса — до плача, заговора или прибаутки?

Я за тобой не пойду,
Кончится, кончится, кончится...
Яблони будут в бреду,
В красных ботиночках творчества.

Вот тайна настоящей поэзии: даже и в голову не приходит удивиться — да почему? Почему яблони будут «в красных ботиночках творчества»? Будут — и баста. Лирическая правота в чистом виде. И надо не иметь поэтического уха, слуха, чтобы пытаться ее оспорить³.

...Жить в 70-е годы так, как жили в 60-е, было уже нельзя: не выдержало бы никакое здоровье. Уже и общество в эту пору где посерьезнело, а где поскущнело. Да и специфики дарований и творческих психологий, естественно, разводили в разные стороны. Вот почему и меня, да, думаю, и многих поздние стихи Губанова, опубликованные сегодня впервые, не только обрадовали, но и заставили в значительной степени уточнить и ревизовать прежние представления. Оказывается, Губанов вовсе не топтался на месте и отнюдь не превратился в некоего угасшего и образумившегося Артюра Рембо, как кому-то казалось. Его поэзия выиграла в прозрачности, детская душа его, душа самородка, отчетливее выступила сквозь текст на поверхность. Рубцов, Шукшин, Высоцкий — в старшем поколении они были ему ближе других — не по стилю, а по подспудной, полуюкрошенной, неистовой анархической жилке. «Белая лошадь славы / Вздернула удила. / Месяц моей державы — / Розовые крыла. / Я к вам пришел дать волю! / И чаевые роц. / Золота за собою / Много не увезешь. / Белая лошадь славы / Стала хрома, ряба. / Я — непутевый самый / Из твоего ребра!» — писал он в стихотворении памяти Шукшина.

И смотрите, как исподволь оспаривает он «Пилигримов» Бродского, смолоду словно закодировавшего в эту лирическую пьесу всю дальнейшую психологию своего лирического героя: горьковатый скепсис и экзистенциальную оппозицию Божественному миропорядку. У Бродского: «И быть над землей закатам, / И быть над землей рассветам. / Удобрить ее солдатам. / Одобрить ее поэтам». У Губанова: «Родина, моя родина. / Белые облака. / Пахнет черной смородиной / Ласковая рука. /

³ Догадываюсь, что отчасти замешана тут фонетика: ч в двух последних словах сильно споспешествует их спайке (ср. у О. Мандельштама: «Чепчик счастья...»). Но правота образа одной фонетикой, разумеется, не исчерпывается.

Тишь твоя заповедная / Грозами не обкатана, / Высветлена поэтами, / Выстрада-на солдатами».

Губанов — талант очень национальный, русский до мозга костей. Россия, Родина ему и мать, и мачеха, и жена.

И поздняя его лирика — лирика поэта, знающего, что такое катарсис. В свинцово-безнадежном начале 80-х, оттесненный судьбой на периферию культурной жизни, он пишет стихотворение такой лирической силы, что невозможно не изумиться.

Твоя грудь, как две капли, —
Вот-вот — упадут.

Какое простое и замечательное перетекание единственного числа — во множественное: тут все — и соблазн, и тяжесть, и материнство.

Я бы жил с тобой на Капри —
А то — украдут.
Золото волос и очи —
Дикий янтарь.
Я бы хранил, как молитву к ночи,
Как алтарь.
Псов сторожевых разбросал букеты, —

поразительный «на грани фола» образ: цепные псы рвутся с поводков в разные стороны —

Чтоб знал всяк вор,
И перевешал бы всех поэтов
У ближних гор.

Безусловная точность эпитета: попробуйте заменить на «дальних» — ничего не получится. И дальше — так же прекрасно, тогда как у другого было бы безвкусно:

Я бы осыпал тебя цветами
Всех сортов.
Пока не стала бы ты — седая,
Как сто садов.
Твою невинность и невиновность
Боготворя,
Я бы приказал вести как новость
В букварях...

Казалось бы, штамп на штампе, порой доходит до примитива, а все вместе свежо и сильно.

Тогда не знали мы еще таких понятий, как «энергетика» и «моторика», которые склоняются теперь критиками к месту и не к месту во всех падежах. Но как раз именно их-то, мнится, и не хватает современной поэзии, сплошь и рядом словно высосанной из пальца. И этого не способна прикрыть никакая критическая раскрутка. А у Губанова за текстом такая энергия, что нередко держит на плаву даже провальное. Держит часто, но, конечно же, не всегда. А потому чистота и захлапленность у него соседствуют, увы, повсеместно.

Впрочем, а у кого этого нет? Плохих стихов не писали разве что Пушкин, зрелый Лермонтов, а в прошлом веке — Ахматова, Мандельштам; старался не писать Ходасевич. За что, впрочем, и был бит Г. Ивановым, противопоставлявшим ему Блока: «Стихи Блока — „растрепанная“ путаница, поэзия взлетов и падений, и падений в ней, конечно, в тысячу раз больше»⁴. А у Ходасевича, мол, «пресное, постижимое совершенство». Быть может, и так, но чрезмерная не... отцеженность текстов Блока по сравнению с вышеупомянутыми мастерами очень заметна, не

⁴ Иванов Георгий. Собрание сочинений в трех томах, т. 3. Мемуары. Литературная критика. М., «Согласие», 1994, стр. 514.

хватало ему поэтической экономии, требовательности к из-под пера выходящему... И это при гениальнейших его взлетах.

Еще хуже — обилие «ватных» текстов в целях симуляции «эпического начала» и укрупнения гонораров, чем сплошь и рядом грешили советские стихотворцы.

Но если обойтись без таких привнесенных из житейского моря крайностей, то это только кажется, что поэт выбирает, каким путем идти: «путем зерна» или вольной песни. Тип сознания не выбирают, и авторская поэтика — не выработанный волею стиль, а дело природное. Одни пишут, словно впадая в транс, и суеверно боятся последующей рационалистической обработки. Другие ставят создаваемое под контроль совершенства. В первом случае поэту грозит творческое хлыстовство, во втором — превращение в «мраморную муху». Лучшие стихи осуществляются все-таки на спайке вдохновения с ремеслом. Весьма редкая спайка, но потому и прекрасные стихи — вещь не частая. Хотя в любом случае настоящее стихотворение прежде всего продукт вдохновения, а не задействованного стихослагательного умения. И накал вдохновенности, продиктовавшего стихотворение, остается при нем всегда и по большому счету не убывает во времени.

...После выхода книги Леонида Губанова нашлись новейшие литературные прокуроры, поспешившие вздохнуть чуть ли не с облегчением: дескать, лопнул наконец и без того зажившийся миф о Леониде Губанове. Подавай им что-нибудь эдакое, пусть и с матерком, но выверенное рефлексией и культурным расчетом. Губанов для них — варвар: слишком дик, самобытен, и текст у него сырой. Это правда. Но правда и то, что его «путаница» — процитируем вновь Г. Иванова — «вдруг „как-то“, „почему-то“ озаряется „непостижимым умом“ райским светом. <...> Этому никакой ученик не может научиться и никакой мастер не может научить. Да, таким был для нас Блок и никогда не был, никогда не будет Ходасевич».

...Несмотря на массу реминисценций, губановская поэзия первична по сути. Казалось бы, о чем речь, и так понятно, что первичность, то есть преобладание лирики над конструкцией, — само собой разумеющаяся главная составная в творческом деле. Но так далеко ушло ныне стихослагательство от жизненно-сердечного опыта стихотворца, что первичность и впрямь выглядит порою экзотической диковиной и реликтом.

И именно таким лириком «на разрыв аорты» был для нас Леонид Губанов и никогда не были, никогда не будут постмодернистские ловкачи и искусники.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



УМЕРШЕЕ ЗЕРНО

Надежда Улановская, Майя Улановская. История одной семьи. Мемуары. СПб., «Инапресс», 2003, 464 стр., с ил.

Книгу воспоминаний Надежды и Майи Улановских можно было бы счесть вторым изданием этих мемуаров, если бы не справочный аппарат, которым снабжена теперь книга (именной указатель, примечания), и приложения, где помещены стихи Майи Улановской и лагерная переписка отца (Александра Улановского), матери (Надежды Улановской), дочери (Майи). Судьба анархистов во время Гражданской войны, советских контрразведчиков в 30-е годы, зеков в 40-е и их дочери — участницы антисталинского молодежного кружка, потом — лагерницы, потом — диссидентки, — все это оказывается неожиданно актуальным в наше время на постсоветском пространстве.

Это — революция. Прежде всего — тон. Рассказ. Беседа. А вот еще был такой случай. А вот еще... Время от времени — резкая констатация факта: «В общем, суки они — иностранные коммунисты». Бескомпромиссность вспоминающего человека в сочетании с разговорной интонацией создает необходимый эффект.

Доверительности? Нет, не то слово. То есть доверительности тоже имеет место быть, но что-то другое создает обаяние текста. Главный герой? Анархист, совет-

ский контрразведчик, зек, персональный пенсионер, в доме у которого «гнездо антисоветчины», — да, Александр Петрович Улановский, которого близкие друзья зовут Алеша, на редкость обаятелен.

«Во время Шестидневной войны у него пробудился интерес к Израиллю. И часто он шокировал старых товарищей своими высказываниями... Однажды старый большевик Васька, когда-то хороший, смелый парень, отсидевший много лет, позвал нас в гости по случаю своего восстановления в партии. Пришли, едим, пьем, Алешу все обожают. В его присутствии и прежде никогда не пили ни за Сталина, ни за партию, и на этот раз пили за здоровье престарелой Пати, которая получала кремлевский пак, и все, что было на столе, дадено ею. И вдруг отец говорит: „Предлагаю выпить за единственного генерала, которого я уважаю, — за Моше Даяна“. Они все вздрогнули, а я [Надежда Марковна]: „Ну, этот тост я поддерживаю“. Что тут началось!»

Это жест. Назовем чудовище его настоящим именем. Это — жест революционера. Перед нами — рассказ о революционере. Жена революционера и его дочь рассказывают о своих судьбах, но главным в их рассказе остается он. Глава семьи, анархист, контрразведчик, таинственный, странный, очень умный и не то чтобы скрытный, но просто-запросто по англосаксонски (недаром он так долго пробыл в англоязычном мире) сдержанный человек. «Кому какое дело, какие проблемы у меня? Мои проблемы, моя жизнь, моя судьба — и я сам как-нибудь с ними разберусь. Без посторонней помощи».

Цитирую: «...при большом обаянии всегда между ним и людьми существовало какое-то расстояние. С ним невозможно было делиться жизненными проблемами. И сам он никогда ни с кем не делился и не жаловался, если ему было больно. Всегда он был углублен в себя, что кажется странным в таком внешне компанейском и не слишком интеллектуальном человеке».

(Господи, до чего же я таким завидую! Сам-то непременно хочешь словить кого-то за рукав, лацкан, пуговицу и выплакаться властью.)

Но главное — в другом. Рассказ о революционере, с одной стороны, уж очень несвоевремен, потому как кто же сейчас не знает, что революция — заведомо проигранное дело, социальная катастрофа, которой следует всеми силами избегать, заблудившийся, сошедший с ума трамвай, с подножки которого нужно спрыгивать как можно быстрее? А с другой стороны — очень и очень своевременный рассказ, потому что как же еще назвать все то, что происходит в стране с конца 80-х годов прошлого века, как не революцией, общественной ломкой, в которой каждый из современников принял посильное участие? Иными словами, для восприятия книги Улановских создан великолепный контрапункт, так это назовем. С одной стороны, непонимание и неприятие опыта жизни революционеров, доходящие до скверного злорадства, а с другой — у кого-то осознанное, а у кого-то неосознанное ощущение себя, самих себя революционерами после революции, над головами которых ярче реклам сияет мотто всех удавшихся революций: «За что боролись — на то и напоролись!»

Николай Островский, Джордж Оруэлл и другие экстремисты. «...В последние годы он постоянно с горечью думал о напрасно прожитой жизни. И мало разговаривал. Ходил по комнате и молчал. Или напевал вполголоса старые песни, все чаще вспоминая песню на идиш, которую слышал в детстве, — об исходе евреев из Египта».

Жизнь прожита напрасно, поскольку потрачена сначала на участие в русской революции, потом на создание шпионской советской сети за границей, между тем как энергию стоило бы потратить на совсем другие вещи. Все ж таки я бы рискнул по-другому проинтерпретировать завершающую фразу книги. «Исход из Египта» всегда казался мне метафорой не только национального, но и социального освобождения, вообще — любого освобождения. Что же до напрасно прожитой жизни, то какой думающий и чувствующий человек не согласится с этим печальным ощущением?

Оруэлл, с которым у Александра Улановского немало общего, верно сформулировал: «Всякая жизнь, рассмотренная изнутри, есть сплошная череда поражений». Да что там Оруэлл! Когда вспоминаешь по сто раз прокрученные в советской школе слова Николая Островского насчет умения жить, «чтобы не было му-

чительно стыдно за бесцельно прожитые годы», внезапно соображаешь, какую же боль надо нести в душе, чтобы вот эдак выдать: «мучительно стыдно», как же надобно давить в душе все и всяческие сомнения, чтобы уговаривать себя и окружающих: «Умей жить и когда жизнь становится невыносима...»

Вообще, куда читаешь книгу двойных воспоминаний матери и дочери, сам вспоминаешь две культовые (как это нынче говорится) советские книги: «Молодую гвардию» (извините) и «Как закалялась сталь» (ничего, ничего, пожалуйста, пожалуйста). «Молодая гвардия» поневоле приходит на ум, когда читаешь «Рассказ дочери» о подпольном кружке послевоенной молодежи, марксистском, идейном, антисталинском. Трех ребят (Слущкого, Гуревича, Фурмана) расстреляли, остальным (в том числе и Майе Улановской) понакидали срока.

Ну а ребята первой части книги — «Рассказ матери» — как раз самые что ни на есть герои романа Николая Островского или, скажем, Виктора Кина. Молодые парни и девушки из слоев «ниже среднего класса», «рожденные революцией»: «Буржуазия обложили контрибуцией, при этом каждый имел право оставить себе, например, по две пары ботинок. Подумаешь! У меня тогда ни одной целой пары не было. Я присутствовала при такой сцене: одна женщина жаловалась Алеше: „Нам оставили по две простыни на человека!“ Он возразил: „Ну и что? Я без простынь всю жизнь спал“».

Казалось бы, вот уж кто совсем не похож на Павку, так это Александр Улановский. Не похож даже не столько заинтересованно-трезвым взглядом на жизнь, недаром он в 30-е годы шпионил в разных странах Европы, Азии и Америки, сколько удивительной лихостью. Обаятельной лихостью. Авантюризмом прямо-таки битническим.

«Бежать из ссылки он решил, главным образом, чтобы поддержать свою славу. Иначе — какого черта ему бежать, никогда он так хорошо не жил [как в Туруханском крае]: среди образованных людей, имея возможность вдоволь учиться и кормиться. Он бежал летом 1913 года вместе с анархистом Израилем Клейнером, арестованным с ним по одному делу... „За границей“ он не хотел жить, как другие эмигранты, — например, Калинин, который прожил в Париже несколько лет, не усвоив по-французски ни слова, не видя ни одного француза. Из чистого любопытства пошел работать на завод Рено, даже успел организовать там забастовку. Но потом заскучал, захотелось посмотреть мир, и он отправился пешком в Германию».

Свобода и жажда жизни — вот что изумляет в Улановском. Он и в других, пусть и оказавшихся по другую сторону баррикад, ценил те же свойства:

«После освобождения Крыма Алеша был свидетелем (не участником) массовых расстрелов белых офицеров. Раз он видел, как расстреливали группу офицеров, и один из них, уже немолодой, в чинах, когда пришла его очередь, попросил разрешения помолиться. Красноармейцы были настроены добродушно: уже столько перестреляли, старый хрыч хочет помолиться — ладно! Стал на колени, начал бить поклоны и вдруг вскочил и побежал. Вероятно, далеко не ушел, но попытался же! На всю жизнь остались у Алеши воспоминания о зверствах, которым он был свидетель. И если он не согнулся под их тяжестью, то, наверное, потому, что и сам в любой момент мог погибнуть...»

О том офицере Алеша рассказывал с восхищением. Говорил, что и он так же, до последнего момента, даже стоя у стенки, пытался бы спастись. Он и правда не раз спасался от смерти благодаря своей ловкости и мгновенной реакции».

Но вот этот вопрос: «Что тебе дала революция?» — вопрос «буржуазки» Тони Тумановой к Павлу Корчагину — он не в шкурническом, в историософском, этическом смысле беспокоит всех революционеров после победы революции, будь то насмерть серьезный Павка (Николай Островский) или ироничный Алеша Улановский. «В те годы в нашей новой квартире у Красных ворот бывало много молодежи. Приходили, делились новостями, приносили самиздат. Приезжал... и подолгу гостил у нас М. П. Якубович, приходил Солженицын и расспрашивал Якубовича и отца о революции, гражданской войне. Приезжали иностранцы, привозили книги. Тогда мы прочли роман А. Кёстлера „Мрак в полдень“, Конквеста „Великий террор“. И отец, помню, сказал: „Теперь мне все окончательно ясно, можно спокойно умирать“».

Гнев, обращенный внутрь. Конечно, это самое интересное: что же стало «окончательно ясно» анархисту времен Гражданской войны, советскому контрразведчику 30-х годов, зеку 40-х, жена которого загремела в концлагерь за то, что во время войны привела австралийского журналиста Блондена, у которого была переводчицей, в простую советскую коммуналку, а дочь отправилась в концлагерь, расположенный поблизости, за участие в (повторюсь) марксистском антисталинском кружке?

Чего такого не знал Улановский, рассказывающий всевозможные интересные истории Солженицыну, что знали Конквест и Кёстлер? Одни крымские расстрелы чего стоят! Цитирую: «Я была уверена, что Алеша в Крыму вступил в партию. Почти все левые эсеры и анархисты, которые боролись за советскую власть, к этому времени решили, что активно влиять на ход событий можно, только находясь в партии большевиков. Но Алеша мне сказал: „Знаешь, я видел эту партию в действии и еще подожду вступить“. Он рассказал, что уже после победы большевики расстреляли в Крыму 30 тысяч белых, которые уже никому не могли причинить вреда. Никаких причин убивать, кроме кровожадности, не было... Рассказав о том, что творилось в Крыму, Алеша прибавил: „И я подумал, что не готов делить с ними ответственность за зверства“».

Потом еще раз, в разгар Большого террора, напомнил об этом жене: «Когда при очередном аресте я недоумевала: „Что же делается? Почему? За что?“ — Алеша мне спокойно ответил: „Что ты так волнуешься? Когда я рассказывал, как расстреливали белых офицеров в Крыму, не волновалась? Когда буржуазию, кулаков уничтожали, ты оправдывала? А как дошло дело до нас — ‘как, почему?’ А это с самого начала так было»».

Здесь — самый важный вопрос книги, которая написана о судьбах матери и дочери, но недаром же посвящена памяти Александра Улановского, главы семьи, создателя семьи. Книга о нем как главном герое, о его, если угодно, загадке. Если он так много понимал и знал, то почему так служил этой системе? И почему в нем не появилось ни надлома, ни раздвоенности, почему сохранились обаяние, ум, порядочность?

Есть, однако, кое-какие данные абрисом объяснения: «Алеша считал, что ему в России делать нечего. Революция победила, установилась советская власть. Смотреть, как распоряжаются большевики, ему не хотелось... Некоторые анархисты уже тогда считали, что с советской властью надо бороться, но для Алеши этот путь казался невыносимым. Какой бы ни была советская власть, объективно она играет в мире революционизирующую роль. После Кронштадтского восстания он был арестован как анархист. Он сказал на митинге в Одессе, что... сам факт восстания матросов, передового отряда революции, говорит о том, что власть ведет себя неправильно, и об этом надо подумать, а не искать вину в восставших... Алеша просидел всего несколько дней... Поехать за границу предложил Алеше... большевик Затонский, старый эмигрант, который знал его еще в Париже... Возникла идея послать за границу своих людей, чтобы посмотреть, что делается и что можно сделать для распространения революции. Затонский вспомнил об отце, и тот охотно принял его предложение».

Шпионаж как некое подобие эмиграции — это интересная тема. Здесь происходит, по всей видимости, любопытный негласный договор. Большевикам, ставшим правящей партией, вовсе ни к чему были экстремисты — пускай они на Западе и на Дальнем Востоке потрясают основы, — а свободолюбцы и революционеры рассчитывали революцией на Западе и на Дальнем Востоке добиться больших результатов, чем в России.

В письмах из инвалидного дома в Караганде жене и дочке у Александра Улановского встречаются удивительные, волящие толкования места.

Он человек 10 — 20-х годов, когда привыкли соотносить себя с мировой историей. Для него это так же естественно, как и цитаты из переписки Маркса и Энгельса в письмах к жене. «Энгельс... специализировался на военных вопросах. Но это не академический интерес к науке о войне... „Вопрос о том, заключался ли оперативный план Наполеона в 1812 г. в том, чтобы сразу идти на Москву или в первую кампанию продвинуться только до Днепра и Двины, снова встанет перед

нами при ответе на вопрос, что должна делать революционная армия в случае удачного наступления на Россию". Но меня, признаюсь, больше трогают поэтические места в этой переписке. Говоря о позорном поведении прусского правительства, „сбросившего пышный плащ либерализма и представшего во всей наготе перед миром", Маркс говорит, что это заставляет его закрывать глаза от стыда, и дальше высказывает прямо замечательную мысль: „Стыд — это уже революция... стыд — это своего рода гнев, только направленный внутрь"».

Письмо написано в сентябре 1955 года. Улановский имеет в виду не только давно прошедшие времена, но и современность. Еще совсем недавно, казалось, было недалеко до большой войны (Солженицын вспоминал, как в разгар корейской войны зеки кричали охранникам: «А... будет и на ваши головы — атомная»), но опасность большой войны миновала, зато подошло время большого стыда. Может, оно — плодотворнее? Улановский, по сути дела, рассуждает о двух путях революции: внешняя экспансия (чем же он и занимался на Западе и на Дальнем Востоке, как не экспортом революции?) и «гнев, направленный внутрь». Последний — важнее.

Стыд как движущая сила общественного развития, что и говорить, необычная, можно сказать, антигегельянская тема. Вместе со стыдом в историю приносится личное, личностное, то, на что можно и не обращать внимания, если служишь объективным силам исторического развития. А Улановский обращает внимание, с удовольствием выписывает из письма Фридриха Энгельса уничижительную характеристику героев Французской революции, рыцарей террора: «„Мы понимаем под [последним] террором господство людей, внушающих ужас; напротив того, это господство людей, которые сами напуганы. Это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые для собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх". А далее идет такая резкая, без оглядки на литературные и иные приличия оценка деятелей Французской буржуазной революции, что я просто не решаюсь ее тут привести».

Не исключено, Улановскому захотелось, чтобы цензор, читающий письма, заинтересовался и сам бы прочел про якобинцев у Маркса — Энгельса: де навалившиеся со страху в штаны мелкие буржуа предстали отважными рыцарями. Какое заблуждение!

Конечно, не об одних якобинцах речь, а о доблестных современных Улановскому героях, расстреливающих и сажающих в концлагеря детей. Видать, со времени своей разведывательной, шпионской работы у Александра Петровича сохранилась к этой компании стойкая брезгливость: «...за границы действовали и „соседи" — контрразведка ГПУ. По техническим вопросам он был с ними связан, знал кое-кого лично, но дела их были совсем другими. Между ГПУ и военной разведкой существовал давний антагонизм... Как-то в Америке Алеша рассказал мне об одном возмутительном деле... Оказывается, НКВД ворует машины. Не сами, конечно: крадет какая-то банда, а они скупают и отправляют в Советский Союз, а там на них разъезжают члены правительства. Что воруют — черт с ними, они вообще заняты грязными делами, но машины могут быть опознаны, и тогда произойдет международный скандал». В общем, да, скандал по Салтыкову-Щедрину — мы-то от вас злодейств ожидали, мирового пожара или по крайности пожара парламента, а вы... чижика съели. «Форд-мустанг» слямзили. Стыдно-с. А Улановскому, человеку, который умирает, как герой баллады Кипплинга, прежде всего не хочется, чтобы было стыдно.

«Умер он в 1971 году от инфаркта, умер, как жил. Боль, наверное, была страшная, но, когда отпускало, он расспрашивал знакомых врачей, Меира Гельфонда и Ирочку о новостях, как будто ничего особенного не происходит. Он... считал, что смерть — его личное дело и не следует по этому поводу поднимать шума. Он сказал Меиру: „Если это конец, я предпочитаю отправиться в больницу, чтобы не тревожить близких". И потом, с носилок, крикнул внуку обычным бодрым голосом: „Всего хорошего, Шурик!"»

Человечность. Личное, личностное начало не переставало интересоваться, заниматься Александром Улановским. Он был как раз из тех, кто за лесом видел деревья. Ему было интересно явление не en masse, но en cognoscite. Значительность от-

дельного человека перевешивала у него значительность «объективных исторических процессов». Его рассуждение о «Форсайтах» Голсуорси стоит процитировать, он ведь, как обычно, думает и о своей жизни, о революции, в которой участвовал, об обществе, которое из этой революции возникло: «В книге Голсуорси все время полемизирует со своими героями, шаржирует их и ругает. Сомс Форсайт, собственник, — прямо отвратителен. За 20 лет отношение Голсуорси к своим героям значительно изменилось, в особенности к Сомсу. Из черного злодея он постепенно превратился в положительного героя и даже очень симпатичного человека. Но даже в этой первой книге „Саги“, несмотря на откровенно отрицательное отношение автора к героям, они производят какое-то двойственное впечатление. Цель их жизни — зарабатывать деньги, и это вызывает отвращение, но они сами очень значительны и как-то симпатичны, человечны. Для любой цели в жизни нужны значительные люди. Это и нам нужно». «Нам» — то есть революционерам, борцам за справедливое общество. Тут и становится виден антигегельнский подход к общественным явлениям старого анархиста, медленно, но верно становящегося либералом!

Для гегельянца все равно, что за человек выполняет ту или иную общественную функцию. Не мытьем, так катаньем — все идет в ход: зло, коварство, жестокость, трусость, — важен результат, исторический итог. Для Улановского это было не так, действовал он всегда в согласии с этой формулой: «Для любой цели нужны значительные люди»...

Надежда Улановская помещает отрывок из воспоминаний американца Чеймберса, как раз под началом Улановского работавшего на советскую разведку в 30-е годы, а впоследствии разочаровавшегося и в коммунизме, и в революции. Но... тем внимательнее всматривающегося в прежнего своего руководителя: «Было что-то обезьянье во взгляде его карих глаз, то озорных, то тоскливых. Эти глаза наблюдали жизнь на четырех континентах... Они смотрели на все спокойно, проникая за пределы, очерченные политическими теориями и доктринами с безотчетным милосердием, замаскированным под иронию, с мудростью человека, знающего, что насмешка над безумием жизни начинается с насмешки над самим собой... человечность была сильнее других его качеств. И он обладал редкой способностью видеть вещи с точки зрения другого человека».

И Чеймберс приводит замечательный пример этой человечности, этой способности видеть вещи с точки зрения другого.

«Однажды Макс Бедахт (американский коммунист, осуществлявший связь между компартией и советской разведкой, как указано в примечании. — *Н. Е.*) дал мне клочок бумаги с именем и адресом одного врача... „Доктор оказался троцкистом, — сказал Бедахт, — и Ульрих (под этим именем Улановский действовал в Америке. — *Н. Е.*), наверное, захочет что-то предпринять по его поводу“. „Что-то предпринять“ означало, как я полагал, тайное давление, угрозы и, возможно, смерть.

Впервые моя совесть вступила в конфликт с требованиями подполья... Порвать записку? Сделав это, я нарушу дисциплину, связывающую меня как коммуниста и в особенности как работника подполья... Я передал записку Ульриху и сообщил то, что мне сказал Бедахт. Он взглянул на нее и сунул в карман без комментариев. Через несколько недель он вынул из кармана эту записку и показал мне. Твердо глядя на меня, он сказал: „Не думаю, что дядя Джо (Сталин) этим заинтересуется. У него есть дела поважнее“. Слегка улыбаясь, он скомкал записку и бросил ее прочь.

Этот случай был... также поворотным пунктом в моих отношениях с Ульрихом. Сделав то, на что у меня не хватило смелости, — нарушив дисциплину, — он этим поступком сознательно отдавал себя в мою власть. С этого момента наши отношения — подчиненного и начальника — превратились в дружбу. Многозначительный взгляд Ульриха, сменившийся славной его улыбкой, означал... что мы — революционеры, а не охотники за черепами».

Анти-Гегель. Человечность, способность увидеть вещи с точки зрения другого, готовность к невыполнению бесчеловечного приказа — все эти особенности нетрадиционны для того, кого привычно нынче считать революционером вообще, русским революционером в частности. Совершенно не важно, кто будет запряжен в

повозку прогресса, важно, чтобы она доехала, — этот подход — привычнее. Вот с ним-то анархист Улановский и не согласен. Вплоть до неприятия знаковой для всех русских прогрессистов и западников фигуры — Петра Первого.

Станный западник, странный прогрессист, непривычный революционер. Сформулируем так: антигегелевский революционер. По его мнению, очень даже важно, какая кляча запряжена в повозку прогресса. Соблазн исторического результата любой ценой — этот соблазн его миновал.

Объясняет в письме дочке-школьнице:

«На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел...

Всего две с половиной коротеньких строчки — и перед тобой встает как живой могучий образ преобразователя России! Читаешь и невольно забываешь, что за время царствования Петра население сократилось ровно наполовину, что это он создал ту бюрократическую машину — чиновничий рай, — которая высасывала все соки из народа, что он превратил страну в сплошной военный лагерь (и только ли военный?). А главное — его успех окрылил сотни больших и малых Пьер ле Гранов, то прорубающих, то заколачивающих окно в Европу. Забываешь и многое другое: его страшную жестокость, массовые казни, безудержное пьянство и разврат, казнь стрельцов, когда он собственными руками пытал и рубил головы стрельцам. Такова сила таланта Пушкина, к тому же помноженная на силу привычных, высочайше одобренных представлений».

Он неплохо разъяснил неразрывную связь этики и эстетики. В воспоминаниях его дочки есть эпизод, свидетельствующий: урок пошел впрок. В концлагере Майя познакомилась с женщиной, которая была посажена по донесениям провокатора. Настоящего, доподлинного стукача. После отсидки Майя узнала, что этот провокатор, погубивший не одну ее подругу, а многих, стал известным композитором, пишет прекрасную музыку. Ни на секунду она не может предположить, что изломанная, испуганная, но не убитая, мучающаяся душа может создавать великие произведения искусства. Я-то вполне могу себе это представить...

Победа и поражение. Но меня в данном случае интересует не искусство, а рассуждения анархиста, служившего делу коммунистической революции. Он-то не может не видеть, чем дело закончилось, каким любопытным поворотом винта истории. Сидя в инвалидном доме в Караганде, «сактированный» из концлагеря, он-то не может не понимать, что, удайся революция, допустим, в США, — и загрохотали бы вагонзак из Вашингтона на Аляску — золото добывать.

Жалоб — никаких. Сетований — никаких, но один-единственный раз внезапно в письме к жене прорывается многожды (как видно) обдуманное: «Что такое „победоносная революция“ и какая революция — неудачная? Что было бы, если бы заговор декабристов завершился бы 14 декабря удачно и к власти пришли бы вместо Николая I Ермолов, Сперанский и Мордвинов? Польское восстание подавил бы тогда не генерал Паскевич, а Ермолов. Пестель был бы, вероятно, казнен не Николаем, а Рылеевым и Трубецким. Неизвестно, упразднили ли бы крепостное право, но земли крестьяне не получили бы наверное, так как на этот счет у декабристов было почти полное согласие — не давать крестьянам земли. Декабрьское восстание, Парижская коммуна, революция 1905 года — всё неудачные революции, но так ли это? Интересно и поучительно сравнить их результаты с результатами победоносных революций».

Мысль — понятна. Речь идет о том, что революция должна проиграть, потерпеть поражение, чтобы победить по-настоящему. Что-то вроде евангельской притчи о зерне, которое только тогда и принесет урожай сторицей, если умрет.

Если учесть, что дочь анархиста, Майя Улановская, оказалась участницей диссидентского движения, разгромленного так, как не было разгромлено ни одно из общественных движений в России, то можно сказать, что и здесь урок отца не пропал даром.

Банкроты? Надежда Улановская пишет о том, как ее муж, Алеша Улановский, виду не показывал, но отдавал себе отчет в «напрасно прожитой жизни».

А ведь глядя из «сегодня» во «вчера» и имея в виду «завтра», понимаешь, что вовсе не напрасно. Ну да, он боролся за то, чтобы не было бедняков в его стране, — в результате во всей стране все стали бедняками; но во всем мире благодаря его борьбе бедняков стало меньше. Применим научный оборот: Улановский победил на микро- и на макроуровне. На микроуровне создал семью — единственный и самый естественный оплот консерватизма во всем мире. Воспитал дочь Майю, которая понимала его и была согласна с ним и которую он понимал и был согласен с ней...

Для этой книжки, написанной мамой и дочкой, вроде бы подошел эпиграф: «Революция, как Сатурн, пожирает своих детей», поскольку это ведь рассказ о том, как жажда социальной справедливости всегда остается неутоленной; всегда из революции вырастает империя еще более жуткая и несвободная, чем та, которую революция сокрушила. Но вот тут, в этом самом месте, очень печальная, очень тяжелая книга начинает приобретать странные, едва ли не оптимистические черты. Это ведь не просто «история одной семьи», это — история несокрушимости семьи, незыблемости семейных ценностей, история поразительной верности друг другу. Казалось бы, весь мир, вся история, вся «великая держава» со всей своей «властной вертикалью» и подонками в мундирах ополчились на эту семью, а она выстояла.

В этом смысле «Историю одной семьи» можно считать, скажем, противобудденброками». Томас Манн описывал распад семьи при внешнем житейском карьерном успехе, а Улановские описывают незыблемую крепость семьи. Младший Будденброк, обладающий всеми материальными и духовными благами, может упрекнуть отца: «За что ты выпихнул меня в чужой, враждебный мне мир, меня, тонкокожего, тонко чувствующего, не приспособленного для этого мира?» Майя Улановская, в девятнадцать лет попавшая в концлагерь за участие в подпольном антисталинском марксистском кружке, ни словом, ни помыслом не упрекает своего отца, знакомого с Кобой еще с Туруханской ссылки, в создании вот этого пореволюционного мира, в котором расстреливают и дают огромные сроки за создание студенческих подпольных кружков.

Будденброк-старший воспитал детей, для которых чужды и едва ли не отвратительны были его ценности; Улановский-старший воспитал дочь, которая так же, как и он, ненавидит насилие, несправедливость, несвободу. Он сидел в царской тюрьме, она — в советской. (Впрочем, в советской он тоже сидел.) Он был анархистом, она диссиденткой — они были союзниками! Так это же счастье! Ты говоришь со своими детьми на одном языке. Им не приходится объяснять очевидные для тебя вещи. Это — победа на микроуровне, но есть и макроуровень. Что бы ни говорили поклонники капитализма, конкуренции и прочего, прочего, но мир кардинально переменялся в немалой степени благодаря таким, как Улановские. Что бы ни говорили консерваторы, но я до сих пор не знаю убедительного возражения на главный тезис всех революций: «Каждый человек на земле имеет право есть».

Никита ЕЛИСЕЕВ.

*

ПРИБЛИЖЕНИЕ К СРЕДНЕВЕКОВОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Словарь средневековой культуры. Под редакцией А. Я. Гуревича. М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003, 632 стр. («Summa culturologiae»).

С самого начала надо оговорить, как нужно понимать название «Словарь средневековой культуры»: перед нами не справочное издание. Этот словарь — не языковой, не толковый и не энциклопедический. Цель его — не в том, чтобы давать краткие фактические сведения о возможно большем количестве реалий и деятелей средневековой культуры. Если вам где-то встретилось незнакомое слово, относящееся к Средневековью, или вы хотите уточнить дату постройки какого-нибудь сооружения, то вам лучше обратиться к другим словарям, энциклопедиям или моногра-

фиям. Составители «Словаря средневековой культуры», как гласит предисловие, «предпочли дать ограниченное число словарных статей (чуть больше ста), но таких, которые посвящены детальному и углубленному рассмотрению предмета». Причем рассмотрению под вполне определенным — историко-антропологическим — углом зрения. Такой взгляд на культуру изначально сложился в практике социальной антропологии, занимавшейся неевропейскими народами, и был постепенно заимствован историками, причем главным образом специалистами по истории европейского Средневековья и раннего Нового времени — сначала французскими, а потом и работающими в других странах. В центре историко-антропологического исследования, подчеркивает А. Я. Гуревич, «находится человек, представитель социальной группы, член коллектива, с которым его объединяет общность мировоззренческих установок, система мировосприятия и социального поведения». Такое внимание к человеку не означает, что исследователь игнорирует экономические процессы, государственные учреждения, ход войн, общественную мысль и прочие сюжеты традиционной историографии. Просто эти сюжеты изучаются иначе. Историки, принадлежащие к историко-антропологическому направлению, «убеждены в том, что ни материальное производство и обмен, ни юридические и государственные институты, ни художественные достижения не могут рассматриваться обособленно, вне той социально-психологической среды, ментальной атмосферы, которая характерна для изучаемой эпохи».

Такой подход накладывает отпечаток и на форму, и на содержание словарных статей, что неизбежно имеет последствия для читателя «Словаря...» — хочется сказать именно «читателя», а не «пользователя»: это не та книжка, которую вытащил с полки, раскрыл на нужной букве, посмотрел, захлопнул и поставил обратно, — раскрыв ее, вам не только придется, но скорее всего и захочется читать, читать дальше, читать еще. Статьи занимают от двух до десяти страниц убористого текста в два столбца. Потому что как можно втиснуть «ментальную атмосферу» в тесные рамки обычной энциклопедической статьи? Как обрисовать в двух словах социально-психологическую среду эпохи?

Авторы некоторых статей почти вовсе отказались от фактической канвы и тем более — от претензии на исчерпывающий характер информации. Например, в статье «Крестьяне» мы не найдем детального описания крестьянского хозяйства, ритуалов зависимости, аграрных культов или сельскохозяйственных технологий. Цель статьи другая: в ней рассказывается то, что интересно в плане исторической антропологии крестьянства. Что мы знаем, например, о пространственно-временных представлениях средневековых крестьян или что мы знаем о крестьянине как индивиде? Разумеется, здесь невозможно было бы охватить все регионы Западной Европы и все Средневековье. Скудость источников обуславливает пунктирный характер изложения: что-то об английских крестьянах XIV века, что-то — о норвежских XIII века. Но это «что-то» — по большей части именно то, чего большинство российских читателей (кроме тех, кто прилежно изучал монографии и статьи Гуревича) никогда не читали о европейском крестьянстве и чего они не найдут ни в одном справочном издании. Только недавно переведены на русский язык книги «Возвращение Мартена Герра» Н. З. Дэвис и «Сыр и черви» К. Гинзбурга, а также некоторые другие работы западноевропейских историков о средневековом крестьянстве, в большей или меньшей мере созвучные историко-антропологическому методу и отчасти давшие материал для описываемой статьи. Это микроисторические исследования, а в статье «Крестьяне» на их основе предпринят синтез, то есть сделано то, что в свое время и было заявлено как цель микроистории.

Синтез возможен тогда, когда исходный материал — результаты множества аналитических исследовательских усилий — имеется в достаточном количестве и достаточно однороден. Поскольку историческая антропология работает под лозунгом идиографической истории, то есть истории, изучающей индивидуальное и не пытающейся вывести из множества индивидуальностей всеобщие законы, сбор такого материала выглядит проблематичным. Сколько индивидуальных случаев нужно проанализировать, чтобы можно было сказать, что их достаточно для убедительного синтеза? Теоретический ответ на этот вопрос так пока и не найден, что не мешает, однако, историкам проводить исследования и — выпускать «Словарь

средневековой культуры», представляющий собой, по крайней мере отчасти, попытку именно такого синтеза. Ибо синтетическими являются и само понятие «средневековая культура», и, в частности, понятие «средневековый европейский крестьянин», и значительная часть других понятий, вынесенных в заголовки статей словаря.

В этой связи необходимо вновь сделать уточнение. Статьи в словаре располагаются, так сказать, на разных уровнях абстракции. В то время как одни из них — скажем, «Дьявол», «Сага», «Грехи и добродетели» (примеры выбраны наугад) — отправляются от понятий, существовавших в сознании людей Средневековья, другие описывают предметы, сконструированные историками Нового и Новейшего времени: «Картография», «Возрождения средневековые», «Феод». С одной стороны, соседство столь разноприродных категорий может вызвать сомнения, но, с другой стороны, оно и весьма поучительно, ибо показывает лишний раз, как тесно переплетаются в нашей — в том числе и научной — картине прошлого элементы различного происхождения: эвристические конструкты, слишком часто принимаемые за реалии изучаемой эпохи, и понятия, которые пришли к нам из далекого прошлого, проделав по пути порой головокружительные превращения. К счастью, авторы словаря отдают себе отчет в этих методологических проблемах и уделяют им внимание в статьях.

О том, в каком смысле используется в «Словаре...» слово «культура», обстоятельно говорится во введении. Не вдаваясь в пересказ, отметим лишь, что понятие это значительно расширено по сравнению с тем, как оно употреблялось в советских учебниках и монографиях, где его содержание сводилось к «выдающимся творениям» литературы, архитектуры, музыки, живописи и ваяния, передовым достижениям научной и философской мысли и некоторым аспектам религии и теологии. В сферу культуры авторами словаря вовлечены такие явления, как представление о смерти и о чести, парадоксальные практики (вроде унижения святых) и агрономические эксперименты, ритуалы и пытки, понятия об устройстве и характере Священной Римской империи и о королевской власти. Культурными феноменами предстают сон и сновидения, болезнь и Страшный суд. Историко-антропологический подход позволяет, в частности, увидеть, насколько разным могло быть в разные века и в разных контекстах содержательное наполнение тех или иных слов, понятий, которые нам сегодня кажутся ясными и однозначными.

В значительной мере именно концепцией издания объясняется и отсутствие в нем статей на ряд тем, без которых немыслима средневековая культура, в том числе — или даже в особенности — при историко-антропологическом ее толковании. Составители сочли возможным выпустить в свет словарь без отдельных статей об архитектурных сооружениях (церковь, собор, замок, мост), о техниках и произведениях письменности (манускрипт, грамота, книга, хроника), о гастрономической культуре (ее представляет одна короткая статья «Еда»), о войне и связанных с ней культурных институтах... Список того, чего *нет*, можно было бы продолжать еще и еще. Такие лакуны остались, однако, не из-за того, что предметы эти были сочтены неважными или не относящимися к культуре. Как раз наоборот, именно потому, что важно было бы дать именно историко-антропологическую их трактовку как явлений культуры, оказалось трудно, а порой — особенно в обстоятельствах нищенского существования гуманитариев и нарушения многих традиционных научных связей в середине — второй половине 90-х годов, — к сожалению, и вовсе невозможно найти в России или за рубежом авторов, которые согласились бы на предложенных условиях написать и представили бы статьи на эти темы, соблюдая при этом не только установленные сроки и объемы, но прежде всего принципиальный замысел издания. Как отмечает в предисловии Гуревич, «пришлось убедиться в том, что почва для создания подобного словаря в отечественной медиевистике все еще не подготовлена, в историко-антропологическом ключе работают лишь немногие исследователи. В результате не все включенные в словарь статьи в равной мере продиктованы обрисованным выше способом воспроизведения истории», а от некоторого числа поданных материалов составителям пришлось скрепя сердце отказаться именно по той причине, что они, при всей эрудиции авторов и при всей массе сообщаемой фактической информации, являлись собой традиционные энциклопедические статьи, а не образцы историко-антропологического подхода.

Разумеется, создатели «Словаря...» отдавали себе отчет в том, что полностью обойти молчанием некоторые темы нельзя даже при всех вышеописанных трудностях. Поэтому многие статьи в той или иной мере охватывают наряду с основным своим предметом также и смежные, более частные или более общие темы. Так, например, о войне идет речь в статьях, посвященных рыцарству, крестовым походам, «Божьему миру», и в некоторых других; о хрониках — в статье «Историография» и т. д. Таким образом, хотя бы часть пробелов удастся как-то восполнить. Множество досадных, зияющих лакун тем не менее остается. Взыскательный читатель, наверное, сочтет это (а не, скажем, отсутствие оглавления) основным недостатком «Словаря...». На такой упрек можно дать три ответа.

Во-первых, целью настоящего проекта было не описать *всю* средневековую культуру, а представить те взгляды на нее, которые выработаны на сегодняшний день исследователями историко-антропологического направления. Поскольку историки эти, как было сказано, немногочисленны и к тому же не универсалы, а работают в более или менее ограниченных тематических полях, то вполне естественно, что за недолгий срок существования исторической антропологии в России «освоено» ею отнюдь не все многообразие тем. И потому пробелы в «Словаре средневековой культуры» можно рассматривать как вехи, отмечающие те сюжеты, которые еще ждут своей разработки.

Во-вторых, «Словарь...» изначально задумывался как двухтомное издание. Первый том должен был быть посвящен реалиям, второй — персоналиям. Обстоятельства — как научные, так и вненаучные — позволили подготовить и выпустить пока только один том. Составители, однако, не оставляют надежды на то, что работу удастся продолжить. Если проект будет развиваться дальше, то наряду с подготовкой второй его части может быть расширена и первая, и тогда «Словарь средневековой культуры» в некотором неопределенном будущем явился бы перед читателем в обновленном виде, дополненный желанными новыми статьями. Динамично развивающиеся контакты между учебными и исследовательскими заведениями России и Запада дают основания надеяться, что на научную сцену будут выходить новые поколения молодых историков — приверженцев историко-антропологического подхода, которые смогут своими работами расширить осваиваемое тематическое поле.

В-третьих, вышедший несколько лет назад в Париже под редакцией Жака Ле Гоффа и Жана Клода Шмитта «Толковый словарь средневекового Запада» содержит статьи на многие из тем, не представленных в русском словаре. Было бы снобизмом заявлять, что всякий историк должен читать по-французски (тем более, что далеко не во всякой российской библиотеке этот дорогостоящий пухлый том имеется). Однако отечественные специалисты тем или иным способом получают доступ к его материалам; детище французских историков становится известно в России, а это при нынешних темпах и масштабах научно-переводческой деятельности вполне может привести к тому, что в обозримом времени появится его русский перевод.

Но пока такой перевод еще не появился, и наш «Словарь средневековой культуры», пусть в нем чего-то и *нет*, достоин всяческих похвал за то, что в нем *есть*.

Авторы ста с лишним статей (по числу статей этот словарь, кстати, обгоняет французский), хотя и не во всем претендуют на новизну материала, знакомят читателя с подходом, который разительно отличается от привычных большинству россиян советских вариантов исторического материализма и позитивизма. Многие статьи написаны авторами по результатам недавно законченных исследований. Можно без преувеличения сказать, что над словарем потрудились ведущие отечественные медиевисты старшего, среднего и молодого поколения.

Наряду с российскими историками к участию в работе удалось привлечь и нескольких западноевропейских коллег — вышеупомянутых мэтров французской исторической антропологии Жака Ле Гоффа и Жана Клода Шмитта, а также Петера Динцельбахера и Яноша Бака. Среди авторов французского «Толкового словаря средневекового Запада», где представлены авторы из семи стран, к слову сказать, всего один российский историк. Это свидетельствует о том, что российской медиевистике еще предстоит заявить о себе на западноевропейском, в особенности на французском, научном рынке. О том же говорит и такой факт: в списках рекомен-

дуемой литературы к статьям во французском словаре мы найдем всего одну-две ссылки на работы российских историков (хотя переведено их на европейские языки гораздо больше). Рекомендую читателям словаря ту или иную литературу, авторы статей тем самым показывают не только и, может быть, зачастую не столько ситуацию в мировой науке, но и собственную иерархию авторитетов. Так, в русском словаре приведены названия книг и статей на английском, французском, немецком, реже на итальянском, а также на русском языках.

Особо следует отметить высококачественные цветные вклейки с иллюстрациями, какими не избалован был до сих пор потребитель научной литературы в нашей стране. Подписи к изображениям, правда, не всегда логично расположены, но недоразумений это скорее всего не вызовет, ибо едва ли кто-то перепутает, например, карту мира с изображением сциапода — существа с одной ногой огромных размеров, с помощью которой оно и передвигается и при необходимости укрывается от дождя или солнца (о нем см. в статье «Чудовища»).

Остается поздравить тех счастливых, которые успели купить по экземпляру из заявленного полуторатысячного тиража. Вдвойне правы те, кто купил сразу два экземпляра: теперь они могут и сами наслаждаться, читая о визионерках и труверах, и порадовать замечательным подарком кого-нибудь из своих близких. Книга в основном доступна для понимания даже первокурсника, и более того, быть может, именно благодаря ей многие абитуриенты и студенты гуманитарных факультетов впервые заинтересуются историей.

Кирилл ЛЕВИНСОН.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА

+6

Фрэнсис Уин. Карл Маркс. Перевод А. Ю. Шманевского. М., АСТ, 2003, 428 стр.

«Страшилка крадется по Европе...» — так, по свидетельству Уина, новейшего биографа Маркса, книга которого вышла на английском в 1999 году, начинался Марксов «Коммунистический манифест» в первом английском переводе. Впоследствии, однако, для юмора места осталось мало. Почти полтора века бродила эта «страшилка» там и сям. И вот в момент, когда она почти пропала с горизонта, Уин написал свою книгу. Новейший писатель вынужден учитывать эту ситуацию полузабвения. Он делает выводы и находит выход. В Уине угадывается литератор искушенный и расчетливый: Маркса он представляет живописным, великолепным, восхитительным монстром, «мегалозавром», безудержным мечтателем, гениальным маньяком, вулканом любви и ярости, ожесточенным спорщиком и фанатичным шахматистом, фонтаном ярких слов, нищим аристократом — *сгустком противоречий*. Но *масштабным сгустком интересных противоречий*. Уин даже рассказывает два анекдота о реакции Маркса на суждения скептиков о коммунизме. На вопрос, кто при коммунизме будет чистить ботинки, Маркс-де сердито отвечал: «Вот вы и будете». А на замечание, что жить в эгалитарном обществе едва ли приятно, он, согласившись, заметил, что «эти времена придут, когда нас уже не будет».

Был ли он хотя бы счастлив? Вероятно, был, поскольку видел счастье в борьбе и всегда находил, с кем бороться. Если ему было нужно, умело создавал себе врагов. Своим бедам он умел найти виновника в лице буржуазии вообще и конкретных своих противников в частности — и затем изошренно мстил им словом. Так что и нарывы в паху оказывались стимулом для создания «Капитала»...

«Мы не собираемся быть слишком жестоки к старине Марксу». Такова всегдашняя позиция Уина. Он аттестует дураками тех, кто считает, что идеи Маркса привели к ГУЛАГУ. Так начинается книга. Мне кажется, в России об этом едва ли можно судить столь легко. Что общего у идей Карла Гиршелевича, немецкого ев-

рея, жившего в бедности и страдавшего от фурункулов и болей в печени, — и теми, кто клялся, воевал и убивал его именем в XX веке? Быть может, только богоборческий пафос... Но разве этого мало? Впрочем, Уин о Марксе-богоборце подробно не распространяется. Не весьма его интересует также Марксова эсхатология, так неудачно примененная в XX веке теория класса-мессии и диктатуры пролетариата, и даже та идея, которая в разнообразной инструментовке жива и сегодня, — лозунг преодоления социального отчуждения. Эта проблема застревает в сознании, даже если давно уже пылятся где-то пресловутые первый и сорок второй тома собрания сочинений... Тем не менее и Уин пытается уверить нас в том, что Маркс актуален и многое предвидел правильно — по части глобализации и анализа капиталистического общества. У меня же есть ощущение, что в России я принадлежу чуть ли не к последнему поколению, в котором кое-кто воспринимал Маркса как актуального мыслителя. Быть может, я и ошибаюсь. Возможно даже, было бы неплохо в этом ошибиться. Будущее покажет, сохранил ли Маркс и в новом тысячелетии свой статус *учителя человечества* (если воспользоваться терминологией Ясперса). Правда, едва ли после появления этой подробной, тщательной книжки у учения Маркса прибавится адептов. Прибавится, возможно, сочувствия к ее герою. Которому, как известно, не было чуждо ничто человеческое.

Норман Роуз. Черчилль. Бурная жизнь. Перевод Е. Ф. Левиной. М., АСТ, 2003, 448 стр.

Личность — это миф. Биограф разгадывает ее или обличает. У Роуза, составившего подробное жизнеописание Уинстона Черчилля, специфический подход к предмету. Апология рождается сама собой, а герой формируется из недостатков и пороков, каждый из которых назван не по разу и подробно проиллюстрирован. Удивляешься, как такой нескладный человек мог стать чуть ли не самым великим (в смысле позитивного величия) политиком минувшего века. XIX век — век великих теоретиков. XX век — век великой практики и великих практиков. Что сделал для мира Черчилль? Он повернул ход истории, заставив Англию поверить в себя в тот роковой момент, длившийся год или два, когда от нее зависела судьба христианско-гуманистической цивилизации. Когда Англия осталась одна, лицом к лицу с тоталитарными монстрами. Сдавались все. Сдавали всё. Англия выстояла. ...Прочее — подробности. Некоторые освещены Роузом детально. Некоторые торопливо. О чем-то не сказано. Мне казалось, что у Черчилля был продуманный план — столкнуть Германию и СССР и измотать этих врагов свободы в поединке друг с дружкой. Если верить Роузу (а он довольно убедителен), плана не было. Просто так сходились обстоятельства, и никак не получалось открыть второй фронт на западе Европы, сил не хватало, были споры с США... За Черчилля поработало Провидение. И сам он выглядит орудием Провидения, не всегда и сознававшим даже, как уместен он оказался в нужное время и в нужном месте.

Так герой перед нами или орудие? Конечно, герой. Ибо помимо совпадений и мистических случайностей на фоне слабостей и пороков было еще мужество взять на себя эпоху, страну, культуру.

Фьоренцо Эмилио Реати. Бог в XX веке: человек — путь к пониманию Бога. Перевод с итальянского Ю. А. Ромашева. СПб., «Европейский Дом», 2002, 187 стр. («Западное богословие XX века»).

Богословие в понимании Реати призвано откликнуться на заботы и боли исторической эпохи. Он согласен с французскими священниками Мари Домиником Шеню и Жаном Даниелу: богословие — это вера, солидарная со своим временем; дело богослова — двигаться, подобно ангелам на лестнице Иакова, между вечностью и временем, устанавливая все новые и новые связи между ними. И именно этот нерв эпохи пытается он нащупать в теологических конструкциях. Есть события, в которых действует Бога проявляется явственнее всего. Именно их истолкование составляет повестку дня в «теологии знаков времени». Сам Реати исходит из факта небывалого духовного кризиса, утраты Бога в XX веке (свидетель —

Фридрих Гогартен, 1920: «Да, мы Его потеряли. У нас больше нет ни одной мысли, способной достичь Его...»). Его книга — о поиске человеком потерянного Бога. Автор производит обзор богословских исканий на Западе, корректный в изложении позиций и в отборе цитат, в целокупном видении духовного движения. Всякий раз точно определен фокус человеческого столкновения Бога в Его отношении к миру и к человеку. Как заповедь — диалектическая теология «Неизвестного Бога», «Совершенно Иного» Карла Барта и затем — «антропологический поворот» в теологии: экзистенциальная теология Рудольфа Бультмана, акцентировавшего неизбежность принятия человеком самостоятельного решения как результата слушания Слова; богословие человеческого совершеннотия и Креста, с требованием различения воли Божьей для совершения конкретного поступка у Дитриха Бонхёффера; теология естественного влечения человека к Богу Анри де Любака; богословие народа Божьего («мессианского народа») Жана Ива Конгара; трансцендентально-антропологическая теология Карла Ранера, идущая от обретенного человеком опыта самого себя, — богословие «человека на берегу тайны»; откровение Христа в богословской системе Ханса Урса фон Бальтазара; герменевтическое богословие в диапазоне от Шлейермахера до Гадамера, Фукса и Эбелинга; политическое богословие Метца; теология освобождения; наконец — феминистская теология. Обширное пространство взыскующего духа. Правда, есть у Реати и лакуны, иногда труднообъяснимые. Скажем, едва упомянутые Э. Мунье и другие французские персоналисты, Жак Маритен, Тейяр де Шарден... Вообще не очень ясно, где у Реати начинается и где кончается Запад. Русская мысль и вообще православная традиция к нему, как можно понять, пока не принадлежат, пусть даже религиозные мыслители этого направления проживали и публиковали свои труды во Франции, Германии, Англии или в США. Впрочем, обращение к опыту христианского Востока, вероятно, еще состоится, поскольку в справке об авторе сказано и о том, что он (профессор католической семинарии «Мария Царица Апостолов» и директор Санкт-Петербургского филиала Колледжа философии, теологии и истории им. св. Фомы Аквинского) работает над «Введением в православное богословие». Если не ошибаюсь, это будет уже четвертая книга петербургского францисканца, которая выйдет на русском языке. Предшествующие попадались мне на прилавках магазинов не чаще, чем в библиотеках знакомых православных священников. Дельная книга для богоискателей, предварительные богословские итоги XX века.

Джин Эдвард Вейз-младший. *Времена постмодерна. Христианский взгляд на современную мысль и культуру.* Перевод Евгения Терехина. [Б. м.], Фонд «Лютеранское Наследие»; «World Wide Printing», 2002, 240 стр.

Персонажи книги Реати упорно и настойчиво убеждали в необходимости для Церкви идти в секулярный мир, проникать в сумятицу времени, чтобы стать закваской мира. О том же говорит и Вейз-мл. Но по-своему. Реати обращен к прошлому, черпая из него важные для себя идеи. Вейз думает о том, как жить сегодня. И даже уже надумал. Христиане, как он полагает, должны находиться в непрерывном процессе «узнавания времени» (Рим. 13: 11), различать его значения. И целью своей книги он видит изложение того, что «должен знать христианин» о современном мире. У Вейза простой, здравый, ничем не замутненный взгляд на вещи, взгляд цельного и притом умного человека. Его бодрая, неплаксивая и неистеричная книга — это, во-первых, замечательно внятный портрет постмодернизма как духовного явления, социального, культурного и художественного феномена. Это трезвый анализ прагматичного критика, который стремится сначала вполне понять явление, а потом использовать его. (Оборотная сторона логической четкости у Вейза — некоторое спрямление житейских сложностей, неразличение противоречивости культуры, личного опыта. Автор, скажем, обличает модернизм оптом, почти не замечая религиозного его варианта; в экзистенциализме видит лишь атеистическую основу. Опыт личности он берет не в его полноте, а в качестве примера, иллюстрации. Но таковы, предположим, требования жанра и особенности авторского «я».) Вейз приветствует крушение модернизма, имея в виду антропоцентричные теории и практики Нового времени (христианин не может быть недоволен

тем, что безбожная культура рухнула, рассыпалась в прах), и вооружается на релятивистский плюрализм постмодернизма в твердом намерении не угодить духу времени, а побеждать его изнутри. «Христиане согласны с постмодернистами в том, что человек крайне немощен и изменчив, полон противоречивых желаний и побуждений. Также христиане могут согласиться с постмодернистами относительно тщетности идеалов гуманизма (речь тут идет об антропоцентрическом атеистическом гуманизме. — Е. Е.). Но вместе с тем христиане с присущей им категоричностью верят, что человек — все же больше, чем телеэкран. Ценность человеческой жизни проистекает <...> из образа Божия, дарованного каждой бессмертной душе». И далее: «Для пустого поколения Евангелие Иисуса Христа может стать поистине доброй новостью». Нужно использовать смерть модернизма, чтобы «исповедовать историческую библейскую веру потерянному и смущенному поколению». Христианство нашей эры, по Вейзу, — это христианство сопротивления и контракти. Компромисс — это предательство. «Век сей» не должен определять церковное служение. Церковь надлежит твердо держаться своего библейского основания, категорически противостоять духу века сего, не сдавая ему морали и истины, вернуться к своему доктринальному наследию и культивировать «конфессионализм» как «живую ортодоксию». Вот так вот туго закручивает Вейз свои гайки. И, в общем, убедительно, надежно закручивает. Может быть, это еще и оттого, что начинает и кончает он твердо заявленной убежденностью в том, что только христианство знает о свободе все.

«Сумма» — за свободную мысль. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2002, 720 стр.

После Вейза и Реати другими глазами смотришь на этот увесистый том. Первая-то, давняя мысль была другой: Боже мой, куда все делось? Стояли дурацкие времена, убогие советские 70-е годы — а внутри их была интенсивная духовная жизнь, было ненасильственное сопротивление режиму, был тот возвышенный идеализм, который заставлял пренебрегать опасностью, иногда смертельной, ради того, чтобы высказать истину. В 1979 — 1982 годах в Ленинграде Сергей и Нина Масловы выпускали машинописный реферативный журнал «Сумма» («СИГМА»). Собирали бесцензурный там- и тутиздат. Печатали отрывки из запретных книг, статей и заметок. Впечатляет емкость этого тома, включившего восемь номеров журнала. Как будто вся проблематика русского освободительного движения той поры сконцентрирована здесь. Настоящий большой кусок духовной жизни, с десятками имен, насыщенный идеями. Свободные люди в рабской стране. Свободные мнения и споры.

Наступил новый век — и где оне?.. В архивном издании «Звезды», выпущенном тиражом 700 экземпляров?.. Так я думал. А потом прочитал Вейза и Реати и решил, что никуда оно не делось. Просто дух живет, где хочет. Сегодня здесь, а завтра там. Да и что значит на весах вечности минута интеллектуального прозябания, духовной прострации? Тем более, что ситуация, кажется, вот-вот изменится. Уже меняется. Может быть, нижеследующий опус служит тому примером.

Григорий Ревзин. Очерки по философии архитектурной формы. М., О.Г.И., 2002, 144 стр.

Воинствующий индивидуализм архитектурного обозревателя «Коммерсанта» сопрягается с коллизией духовного одиночества, которое почти неизбежно маячит на горизонте современного искателя истины. Одиночество как осознанная, концептуальная основа творчества — не вообще и не в принципе, а сегодня и сейчас, как ответ на вызов расы, среды и момента. Такова позиция Ревзина. «В постсоветской ситуации гуманитарные размышления оказываются частным делом размышляющего и предпринимаются им на свой страх и риск; а ргіогі они никому не нужны, а postegіогі, возможно, они кому-то еще понадобятся. Но это не вопрос научных институтов или научных школ, распад которых в 90-е годы составлял фон написания настоящих очерков, а вопрос личного интереса и личного риска. Так

вот, нам хотелось бы понять архитектурную критику как предприятие, которым человек занимается на свой страх и риск, исходя из своих внутренних коллизий». В этом уединении вполне органично выглядит понимание архитектуры как экзистенциального жеста, как ответа на «центральный вызов бытия». Таков исследовательский посыл Ревзина. «Метод анализа экзистенциальных стратегий для автора — это попытка выстроить картину архитектурного творчества как ряд ответов на вызов смерти». Ни больше ни меньше. Разворачивается он, на мой взгляд, красиво и радует догадками автора, которые сразу же начинают казаться бесспорными. В архитектуре переживание смерти переводится в пространственные образы, подчиненные самой общей схеме: есть «мир этот», в котором мы живем, есть «тот», в котором мы умерли (в европейской традиции — «мир неких высших сущностей»). Стиль эпохи («глобалитет») — ее, эпохи, разговор со смертью. Эпоха разрабатывает сценарии разговора, «типичные экзистенциальные стратегии» увековечивания себя в форме. В самом общем виде их немного. Одна — остановка времени, когда архитектура противостоит протеканию времени и уничтожает его последствия. «...мы получаем вечное наслаждение на краю бездны — бездна присутствует, но найден способ туда не падать». Другая — стратегия переселения в мир иной. Смерть до смерти, «чтобы после нее ничего не изменилось»... Рассуждает автор и об извечной русской бесформенности. Он связывает ее с православием. Сие почти тавтологично, но более сомнительно.

±4

Ирина Грицук-Галицкая. Волнующие красотой (Херикун Кутуктай). Историко-приключенческий роман. Книга первая, в двух частях. Рыбинск, ОАО «Рыбинский Дом печати», 2003, 376 стр.

Феминизм атакует. Богословы, как о том рассказывает Реати, рассуждают о том, есть ли у Бога пол. Ну а в историческом романе из русской истории XIII века главные роли играют не мужчины, а женщины. Роковые, прекрасные, обаятельные, сильные даже своей слабостью. Мужчины только и умеют драться да друг дружке пакостить. А женщины способны к самопожертвованию, к сильным чувствам, к умной интриге. Женщины правят миром, владеют мужчинами, их помыслами и мечтами. Женщина — главная награда, лучшая отрада.

В сфере мифа, творимого Грицук-Галицкой на пространстве беззащитной от такого авторского произвола истории, в различных образах раскрывается архетип Великой Матери — сверхидея женского первоначала бытия, источника жизни, порождающего начала. Он замыкает горизонт сознания символическими образами Материнства и Женственности, представая в единстве своих извечных и актуальных манифестаций. Так и вспомнишь — ну хоть Юнга с его рассуждениями о хтоничных и оргиастичных событиях опыта, исходящих из триединого истока мифа материнства-женственности: «мать („Предвечная Мать” и „Мать-Земля”) как супраординатная личность („демоничная”, поскольку супраординатная), ее двойник *дева* и, наконец, — *анима* у мужчин». Еще Юнг говорил, что неизменным при актуализации мифа остается одно — тяжелая судьба его героини. Из каких недр вырастают образы у Грицук-Галицкой, я не готов сказать, но сон Юнга в этом романе сбывается.

Чем же я недоволен? Может быть, всякими там мелкими историческими анахронизмами, которые тормозят погружение в бездны мифа о *Херикун Кутуктай*.

Михаил Петров. Донжуанский список Игоря-Северянина. История о любви и смерти поэта. Таллинн, Издание автора, 2002, 352 стр.

«Интимную историю русского футуризма фальсифицировали в угоду пуританской морали». После такого заявления от Петрова можно ждать чего угодно. Но в его книге нет ни пошлости, ни сальностей, а есть острая заинтересованность, есть такое сживание с героем, что автору уже нельзя не быть субъективным, нельзя не

прощать, не жалеть. А потому воспета супруга поэта, Фелисса Лотарева, и в меру сил и таланта развенчана подруга его поздних лет Вера Коренева (кстати, «прораб духа», согласно аттестации Вознесенского, с которым Петров не согласен)... Стильная книга, для салона и будуара, выпущенная маленьким тиражом в зарубежье, что придает ей черточку раритетности. Не для всех. Вам не досталась. Честь по чести, все подруги поэта перечислены, наколоты в памяти, как бабочки в альбом. И они, и сам поэт не только описаны, но и представлены на фотографиях и рисунках. Итак, содержание книги соответствует ее названию. То есть речь идет, конечно, больше о любви, чем о смерти. Разве только припомнив греков и римлян с их отождествлением любви и смерти, можно согласиться и с тем, что Игорь Северянин умирал ежедневно и что каждая его встреча с женщиной оборачивалась для него погибельным романом. Петров выводит даже алгоритм любовных увлечений поэта. А с другой стороны, поэт жил, пока любил. Его донжуанство — не только натура, а и романтический опыт самореализации. Впрочем, автор умеет дать себе и читателям отчет и в том, что в жизни его героя бывало всякое, немало и глупого, мелкого, было «невероятное сочетание высокой поэзии и низкой прозы жизни, соленых огурцов и водки с бессмертными стихами»... Нельзя не сказать, что Петров с редкостной самоотдачей, самозабвенно посвятил себя своему предмету. Об этом помимо книги свидетельствует и петровский сайт в Сети об «Игоре-Северянине» (автор, кстати, настаивает именно на таком написании псевдонима — через дефис, и он, должно быть, прав).

Мария Чегодаева. Социалистический реализм — мифы и реальность. М., «Захаров», 2003, 216 стр.

Живая, эмоциональная книга о сталинском официозе в живописи. Предмет не нов. Зачастую Чегодаева не скрывает, что ее популярная книга адресована в первую очередь тем, кто ничего не знает о давней уже эпохе. Или хорошо ее подзабыл. Иногда Чегодаева опирается на собственные воспоминания и на свидетельства своего отца, искусствоведа Андрея Чегодаева. Тональность автора — обличительно-разоблачительная, демифологизаторская. Главный смысл СР — прославление власти, а художники-соцреалисты работали ради денег. Соцреализм — суть коммерческое и массовое искусство советской эпохи. Поиск счастья и живописание рая в инфантильной упаковке. В новом веке, в контексте внезапно обозначившейся квазиреставрации, что-то звучит даже злободневно. Автор склоняется к мысли, что Сталин ответил собой, своей политикой эсхатологическому пафосу русских народных чаяний. Возможно, на этот клавиш она нажимает слишком сильно. Подчас в книге ощущается чрезмерная стандартность формулировок, мне не всегда хватает ссылок и аргументированной научной полемики. Но есть тонкие соображения: о курсе на присвоение официозом классики и о противоречивых результатах этой практики, о развлекательном моменте в искусстве официоза.

Виктор Суворов. Тень Победы. Донецк, «Сталкер», 2003, 379 стр.

Непримиримо изживающий советское прошлое в себе и в мире, Виктор Суворов камня на камне не оставляет от репутации Георгия Жукова. Он победоносно атакует и саму личность маршала (мы видим не только бездарного военачальника, но и пьяницу, развратника, жестокого самодура и алчного мародера), и автопортрет в мемуарах, и позднесоветский государственный культ Жукова, перешагнувший в новое, постсоветское время («культ Жукова уже надежно заменил и вытеснил культ Ленина»). Причем делает это Суворов старательно. Как мыслящий человек — занимает позицию гуманиста, демократа и даже патриота. Как историк — знает источники, цитирует генералов и маршалов, ссылается на предшественников (А. Бушкова, Б. Соколова и В. Карпова, во всем различных меж собой), задает вопросы, на которые пока никто не дал ответа. Как литератор — владеет риторическими фигурами, пишет доступно, тщательно пережевывает свои выводы, так что даже самый закоснелый, твердый жуковец должен, наверное, содрогнуться и пасть... У Суворова работы хватает. Ведь, как он пишет, «вся история Советского

Союза выдумана». Знай разоблачай, вскрывай подоплеку. В этом устремлении угадывается такая мера сосредоточенности, что автор становится, пожалуй, слишком уж предсказуемым... Черчилль, Игорь Северянин и Жуков — современники. Но какие разные о них пишутся книги. Как будто герои их живут в параллельных мирах. Еще по Марксу (см. выше) известно, что жизнь эмигранта в Англии распадается почему-то к критике отечественных нравов и к правдоискательству. Тени Маркса и Герцена падают и на наше столетие. Я не ставлю под вопрос право докапываться до исторической истины, полагая, что всякая вера должна пройти через *горнило сомнений*. Вера нашей эпохи не может не быть рефлексивной. Есть мифы увенчания. Есть мифы развенчания, десакрализации. И вот Бродский, например, — автор стихотворения «На смерть Жукова», с его антикизирующими ассоциациями и трагической эмфазой: и как нам теперь с ним быть?.. (Впрочем, и у Суворова находим: «Жуков готовился стать диктатором. Нероном или Калигулой».) Где взять героев, как персонифицировать тяжкий ратный труд народа, ломавшего хребет нацизму? Если свет светил и в бездне, то где его источник? Где тот камень, на котором можно строить дом?.. Над этим обрывом еще не поздно думать.

Ярославль.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА

«Демон» Михаила Лермонтова. Режиссер Кирилл Серебренников. Премьера 28 апреля 2003 года. На сцене «Под крышей» Театра им. Моссовета.

«Вишневый сад» Антона Чехова. Режиссер Эймунтас Някрошюс (Литва). Премьера 10 июля 2003 года. На сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном».

Олег Меньшиков тяжело входил в театральный истеблишмент. Оставив некоторый след в театральной истории 80-х, который никто не станет преувеличивать, актер нарастил мускулы в кино и в середине 90-х стал предпринимать попытки вернуться в театр. Причем не как блудный сын, а как актер с заслуженными лидерскими позициями. Его дело — энергичная антреприза «Театральное товарищество 814» — сослужило ему хорошую службу. Не испытывая унижительного опыта мытарств по труппам крупнейших театров, ни с кем не деля славу, ни с кем не советуясь, Олег Меньшиков смог не просто влиться в театральный процесс, но и приобрести уже неотъемлемую, ценнейшую независимость.

В его жесте возвращения в театр хочется видеть знак особой смелости актера. Обласканный киномагнатами, приобретший мировую известность и истинно народную любовь, а с ними — и титаническую занятость, Меньшиков снова приходит в театр, где жизнь всегда сложнее, работа погрязнее и, увы, меньше возможности зарабатывать. Встав на пьедестал лучших актеров современной России, имеющий право разделить этот титул разве что с Евгением Мироновым и Константином Райкиным, Меньшиков поступил бесстрашно, предпочтя работу почиванию на лаврах, перейдя к актерскому «станку» в то время, как иные все еще оставались в зале для фуршетов.

Первые два его спектакля, «Горе от ума» и «Кухня», были построены на использовании манка — имени Меньшикова. Оно обеспечивало аншлаги на больших сценах, частые показы и триумфальное существование антрепризы. Но и здесь она не прекращала эволюционировать, каждый новый шаг был шагом вперед. В театральном мире редко кто вспоминает, что именно Олегу Меньшикову, тогда аутсайдеру в театральной иерархии, пришло в голову не просто использовать пьесу молодого автора (это сейчас все готовы рисковать, а на момент премьеры в ноябре 2000 года это считалось безумием), но и заказать ее Максиму Курочкину, обозначив гонорар (тоже невидаль!) и основные позиции сюжета.

В третьем спектакле — камерных гоголевских «Игроках» — Меньшиков резко меняет тактику. Все еще оставаясь режиссером собственных спектаклей и собственного успеха, он строит постановку так, что свою роль Утешительного не дела-

ет бенефисной, ударной. Меньшиков-актер сливается с ансамблем, уделяя больше внимание единству атмосферы и чувству локтя, атрибутам психологического, традиционного для России театра.

Четвертой премьерой «Театрального товарищества 814» явился «Демон», где впервые актер-«первач» Меньшиков доверил себя режиссеру-«первачу» Кириллу Серебренникову. «Демон» стал открытым шагом, шагом навстречу «театральному истеблишменту», попыткой слиться с театральным мейнстримом, попробовать себя не в собственном соку, а в руках признанного режиссера, чья «модность» пока не успела затмить очевидный талант.

Парадокс в том, что из симбиоза получился спектакль в большей степени Кирилла Серебренникова, чем Олега Меньшикова, и для бенефицианта это и новшество, и серьезное испытание. Актер легко подчинился воле режиссера. Но есть и обратное ощущение: кажется, что режиссер и актер играют друг с другом в поддавки взаимного доверия, стараются не мешать друг другу и в конечном итоге оказываются друг другу... малоинтересны. Вполне возможно, что эта разделенность устремлений только кажущаяся и все дело в подспудном соперничестве двух величин.

В поисках неочевидной театральности актеры находят в лермонтовском языке предмет для драматической игры. Они перебирают текст по буквам и ищут звуки, сочетания звуков, рождающих образные системы, которые можно разыграть, дать зрителю на ощупь. Движение спектакля — это перебор алфавита, шажки от буквы к букве, где «значимые», атмосферные звуки служат своего рода порогами, за которые цепляется и спотыкается язык спектакля, как цепляется за камни горная кавказская речка на своем пути.

«Печа-альный де-мон, дух-изгна-анья», — заунывно начинают спектакль запевалы-сказители, слепые рассказчики, бесстрастно передающие легенду о Демоне. С явлением Демона Олега Меньшикова — в черных сапогах, помятых истертых штанах, с отсутствующим видом уставшего, измученного странника — зал наполняется шипением и свистом, «с»-образными звуками, порождающими эффект не столько шевеления хладнокровного змеиного тела, сколько физически ощущаемой, вечной Скуки и тоСки.

«Вослед за звуком умер звуууууууууууу.....К!» — сухо читает Меньшиков, и за этой развороченной фразой восстает образность горного Кавказа, и опасного и близкого к небесам, Кавказа, где можно легко упасть, но легко и взлететь. Кирилл Серебренников дополняет метод аллитерации простейшим остроумным приемом: подвешивает остроугольный обломок булыжника на трос, и Демон качает маятник, ловко уворачиваясь от его опасного тяжелого хода. Эти игры с камнем рано или поздно дают зрителю ощутить крутой полет павшего ангела вблизи от выступов скал или под камнепадом. Не убится бы, не оступиться! Кавказ — это опасность, постоянный риск, это близость смерти и, если угодно, болевая точка России. В наше время кавказские образы классиков перестали быть далекими и отвлеченными.

В плаче по жениху Тамары, погубленному Демоном, слышатся троекратные «ал», «а-а-а-ал» — ритм «заплачек», музыка ритуальных похорон, терапевтические звуки утешения, примирения со смертью. У Серебренникова здесь вообще очень много этнографического, начиная от этнических музыкальных инструментов и заканчивая «медными» одеждами грузинки Тамары, кольчужкой, шлемом, который венчает граненое острие, персидскими цветистыми коврами. «Демон» получился очень плотским, пахучим спектаклем, с ароматами дикого, страшного и терпкого Востока, вступающего в противоречие с суровой христианской мистикой.

Неудавшаяся невеста Тамара, идущая в монастырь, — это женщина, ведомая бесом. Насильственное обуздание кипучей страсти — зло, изобретенное коварным Демоном. В этот момент Серебренников выводит на сцену стонущую ораву флагеллантов, самобичующихся религиозных фанатиков. Экстаз самоунижения, дикая, жестокая энергия злости к телу как средоточию страсти.

Сдерживающий чувственность монастырь — изобретение Демона, оковы для ароматного Востока. Узкие кельи, пульсирующий свет свечей для того и изобретены, чтобы разжигать сдерживаемую страсть. Тамара (Наталья Швец) в келье — невыносимый покой, душевные сны, томление. Демон мучит девушку на расстоянии,

жжет незримыми прикосновениями, колебаниями воздуха. Демон вопит: «Забвенья не дал Бог!» — и Тамара стонет вместе с ним, выгибаясь под воздействием неодолимой силы. Потусторонний шепот Демона, опытнейшего соблазнителя, и резкие удары по клавишам рояля, к которому Меньшиков стоит спиной, с силой захватывая то пригоршню низких нот, то высоких. Тамара понимает, что никуда не скрыться от притязаний беса, и, тая под его напором, умирает в святом экстазе.

Серебренников напустил в романтическую историю Лермонтова уйму мистериальных мизансцен и христианских аллегорий. Умиравшему жениху Тамары (Анатолий Белый) надевают железную маску на лицо и прибивают руки к полу ржавыми литыми гвоздями. Воскреснув и окунувшись в водный бассейн, жених преобразается в Ангела — заступника Тамары, который, впрочем, легко уступает победу Демону в сцене борьбы двух сил. Просто подчиняется воле Демона — Демону вообще все легко дается. Одно из самых красивых мгновений спектакля — восхождение Ангела на небеса с душой Тамары. В белом офицерском кителе, с аккуратным ранцем за спиной, и парит над грешной землей, где царствует и побеждает Демон. Поднимая Тамару к небу, Ангел сберегает ее душу: *«И благо Божие решение!»*

В Олеге Меньшикове нет ничего общего с модернистским манерным Демоном Михаила Врубеля. Это, если угодно, циник и негодай, везде ощущающий себя победителем: и на ложе Тамары, и в противоборстве с Ангелом, и в сцене убийства Жениха, зарезанного похода, исподтишка. В поэтической драме, поставленной Серебренниковым, Демон оказывается банальным вампиром, скрывающим за любовью желание души и уничтожить. Это странная сила, желающая зла и целенаправленно делающая свое зло. Спектакль — о бессилии человека перед циничной и всевластной силой и о благодати Божьего решения, расставляющего все по местам после смерти. Бес, сделавший свое страшное дело, посрамлен и гибнет в одиночестве, а душа человека, прошедшая нелегкое испытание, возвышается.

Литовский гений Эймунтас Някрошюс, которого в России всегда считали лидером мирового театра, никогда не работал с русскими актерами. Более того — он никогда не работал с такими сильными, харизматичными актерами. В его распоряжении всегда были спокойные западные люди, в меру прагматичные, в меру податливые. Набрав в Москве столь значительную звездную команду (Максакова, Миронов, Владимир Ильин, Алексей Петренко и другие), он был готов к послаблению своих принципов и к работе на сопротивление.

Так и вышло: собственно, к привычно «тиранической» режиссуре Някрошюса можно отнести только первый акт его «Вишневого сада». Чем дальше в лес, тем явственнее русские актеры сотворяют с режиссером незлую шутку: размягчают волю постановщика, отгесняют его идеи в сторону, играют в свой привычный психологический театр, забывая о литовской метафорике, и — самое фантастическое — делают Някрошюса бесконечно сентиментальным.

Весь «Сад» — это триумф русской актерской школы. Жирная, эмоциональная игра, «всемирная переживательность», вдумчивость и безупречное «чувство локтя» отличают всю компанию исполнителей. «Хороший театр» — это где-то здесь, в соединении умной режиссуры и чувственной игры, в которой «рвут рубашку» так же впечатляюще, как «держат паузу».

Никто и не думал, что сумрачный литовец когда-нибудь кого-нибудь пожалует, как жалеет он в финале обитателей вишневого сада. Под занавес все актеры надевают заячьи ушки, присаживаются на корточки у импровизированного леса и трясут от страха не только ушами, но и веточками кустарника. Теперь мы знаем, что такое звук лопнувшей струны, — это слабо различаемый охотничий выстрел. На зайцев ведется охота. Такой финал не может не обескураживать: сострадание к чеховской интеллигенции, теряющей былую вековую среду, было атрибутом ключительной перестроечной поры, когда модно было вспоминать о России, которую мы потеряли. Сегодня мы более жестоки и в своей правде жизни близки к Чехову, который, конечно, никого в саду не склонен был жалеть. Но, думается, мысль Някрошюса глубже и гуманистичней: стоит увидеть в охотниках не большевиков и торгашей (тем более, что Лопахин трясется вместе со всеми), а аллегория

вообще человеческих страданий, вечные мытарства людей на белом свете, их вечную зависимость от обстоятельств.

Вишневый сад — это круг ада, магическое место мучений, к которому привязаны, примагничены все без исключения герои пьесы. Някрошюс акцентирует внимание на одной теме, весьма актуальной сегодня: теме хозяев, пытающихся ушить обвисшую кофту жизни, и смирившихся невольников, кучкующихся вокруг барыни Раневской. Спектакль Някрошюса скорее о первых, чем о вторых. По крайней мере Евгений Миронов, Инга Оболдина и Игорь Гордин — актеры на роли Лопухина, Вари и Пети, трех неудавшихся хозяев Сада, — здесь лучшие.

Варя — грубая, суетливая, настоящий мужлан — безжалостно лупит по полу мокрой тряпкой, словно не находя, кого отлупить конкретно, еще не понимая, что в ее доме нашкодили не люди, а просто из домашнего воздуха вышел весь кислород. Меряет комнату широкими уродливыми шагами, все подбирает и все прибирает, машет руками, чтобы развеять папирозный дым. Ей кажется, что армейский порядок в доме — гарантия душевного покоя. Но и эта «философия хозяйства» так же утопична, как и мечты Лопухина о триумфе индивидуальной инициативы, напоминающей нэповские принципы, — вот когда все наконец займется делом, своим маленьким хозяйством на своей маленькой даче, вишневый сад расцветет коллективно и у каждого будет по деревцу.

Петя Трофимов находит выход в пошлой социальной философии, но, произнося свои бурные монологи, забивается под лестницу, как собачка, испугавшаяся собственного лая. Его речи агрессивны и провокативны, стоит их проигнорировать — и трибун уснет от скуки. Здесь его террористической агрессии люди просто боятся, уходят.

Лопухин Евгения Миронова обращается с Раневской, как школьник с учительницей, которую бесконечно любит и боится. Встает около нее по струнке и звонко поет ей песню про горлицу, как бы возвращая ей те колыбельные, которые Раневская пела ему, «мужичку», еще в детстве. Раневская навзрыд плачет, понимая, что Лопухин мог бы заменить ей утонувшего в пруду сына Гришу. Как человек деловой, коммерческий, он испытывает слабость к людям неделовым и особенно немолодым — они напоминают ему о безмятежности, которой он грезит. Лопухин искренне пытается спасти усадьбу для любимой женщины — это чистой воды безумство, сравнимое с прыжками через костер, который, кстати, присутствует на сцене.

Лопухин все еще ходит по усадьбе как деловой человек, примеривает дом для себя, вышагивает, пружиня, пробуя половицы на ветхость. Топчется по полу, прыгает, смотрит, не опадает ли штукатурка с потолка. Но стоило только купить сад, как Лопухин роднится с ним, как жертва роднится со своим мучителем, навечно приковылая к своей ноге мазохистское орудие пытки. Магнитофонная запись птичьего щебета из проданного сада, включенная Някрошюсом так, что в динамиках зашкаливают децибелы, застилает уши Лопухину, а заодно с ним и зрителям шепотом смерти.

В самый сильный момент спектакля мы понимаем, как вишневый сад навечно селится в душе Лопухина — в обличи ночного кошмара, призрака детства, который повсеместно мучая, не отпускает от себя ни на шаг. Люди «Вишневого сада» — рабы заклятого места, подневольные крепостные усадьбы. И не так уж не прав Фирс, который ворчит, что его «воля» — это беда, несчастье. Люди, опущенные самим ходом истории на свободу, все более задумываются о прелестях рабства, о прелестях привязанностей...

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

ОТЦЫ И ДЕТИ

В российском кино в очередной раз объявлено о приходе нового поколения. В 2002 году, когда дружно дебютировали «звездные дети» — Ф. Янковский, Р. Прыгунов, А. Стриженов с С. Гинзбургом, кинематографическая обществен-

ность слегка возбудилась, пожурила мальчиков за избыток гламура и прилежное списывание с хрестоматийных образцов — и затихла.

Дебютанты 2003 года наделали куда больше шума. Они взялись непонятно откуда, и фамилии их, за редкими исключениями, ни о чем не говорили даже знающим людям. Кто такие Б. Хлебников и А. Попогребский, П. Буслов, А. Звягинцев? Но когда «Коктебель» Хлебникова и Попогребского получил сразу несколько призов на Московском международном фестивале, «Бумер» Буслова собрал рекордные деньги в российском прокате, а «Возвращение» Звягинцева с триумфом прошло в Венеции, стало ясно, что эти люди способны изменить кинематографический пейзаж. Они молоды и не слишком — от двадцати шести до тридцати девяти, кино снимают очень разное, но в их фильмах улавливается какая-то общая нота, общее свойство, которое (весьма приблизительно) можно определить как уход от социальной обусловленности мировосприятия.

Пятнадцать лет наше общество пыталось избавиться от одной — советской — системы стереотипов, приспособиться (безуспешно) к другой — западной, вспомнить некую свою, российскую, — третью... Картина реальности, конфликты, образы персонажей, повествовательные структуры в родимом кино очень сильно зависели от мучительного процесса идеологической ломки. Будь то «циничная» «Москва» А. Зельдовича, где фрагменты разных культур сталкивались и крошились у нас на глазах, как льдины в ледоход, или пафосно-героический проект под названием «Брат» А. Балабанова, где культ силы постепенно окрашивался в тона откровенного национализма; будь то гламурные опусы «звездных мальчиков», демонстрирующие зрителю сияющие блага потребительской цивилизации, или почвенная, стихийная «Окраина» П. Луцика с ее кровавой борьбой простого народа против зажавшихся олигархов, — везде действовали герои — носители идей, отвлеченных ценностей, воплощения социальных позиций...

Но постепенно все эти идеи, ценности и позиции как-то перемешались, потерлись в труху, и выросло поколение людей, в сознание которых социум не вложил никаких готовых схем поведения и интерпретации действительности. В этой ситуации молодые режиссеры, пытаясь отразить собственный опыт, вольно или невольно обращаются к тому, что лежит *под* слоем социального, — к проблемам, конфликтам и коллизиям извечно-биологического порядка.

Одна из таких проблем — соперничество отцов и детей. Причем не на уровне столкновения «принципов», как в классическом романе Тургенева, но на уровне чисто возрастного конфликта, когда взрослый пытается навязать свою волю младшему, а тот, в свою очередь, стремится отстоять свое «я», свое маленькое «хочу» — любой ценой, иногда вплоть до смерти. Именно на этом строится сюжет «Коктебеля» и «Возвращения». И примечательно, что и в той и в другой картине этот природный конфликт разворачивается на фоне путешествия мужчины и мальчика (или мальчиков) «из ниоткуда в никуда». Женщины — хранительницы очага, равно как и всякая социальная устроенность и стабильность, остаются фактически за рамками фильмов. Герои движутся сквозь непредсказуемое, неструктурированное, разомкнутое пространство, где с ними на каждом шагу может произойти все, что угодно. В таком же точно сугубо «мужском» пространстве охоты, войны и кочевья существуют и герои картины «Бумер» — типичная безотцовщина (по тонкому наблюдению И. Любарской; см. ее статью о фильме в № 8 «Искусства кино» за 2003 год), «конкретные пацаны», которые катят по большой дороге на угнанном «БМВ» и вынуждены (чтобы элементарно выжить и ехать дальше) демонстрировать каждому встречному-поперечному свою запредельную «крутость». То есть ситуация агрессивного биологического соперничества самцов и здесь лежит в основе движения фабулы.

«Коктебель» Хлебникова и Попогребского предлагает наиболее мягкую форму конфликта. Отец — не до конца еще опустившийся интеллигент — и сын лет двенадцати пробираются из Москвы в Коктебель по дождливой осенней среднерусской равнине. Где пешком, где в товарных вагонах, где на попутках; перебиваясь случайными заработками, ночуя у случайных людей, а то и вовсе в придорожных канавах... Отец, некогда бывалый турист, поначалу еще умудряется держать под

контролем походный быт и гасить недовольство сына, которого потащил в бесприютное это скитальчество в последней надежде обрести хоть какой-то дом под крылом сестры в южном маленьком городке. Чтобы психологически ускорить движение, он вешает перед носом упрямого ослика-сына «морковку» — сияющий образ степного приморского рая, где теплые волны лижут берег, усыпанный полудрагоценными камешками, а восходящие потоки воздуха на холмах сами собой поднимают ввысь планеры. Сын бредит аэродинамикой, отец по пути рассказывает ему о том, как летают птицы и самолеты, а сам мальчик обладает странной способностью — «выйдя из себя», видеть мир с высоты птичьего полета. Коктебель для него — какое-то волшебное, заповедное место, где отменены законы земного притяжения.

Итак, маленький человек, которого неудержимо тянет летать, и взрослый, который «катится вниз». Отцу удастся удерживать лидерство в этом тандеме, лишь питая и поддерживая в сыне его мечту. Однако где-то посредине дороги отец ломается. Он долго крепится, не пьет, но, подрядившись чинить крышу в доме злобного и запойного, живущего вдаль от людей толстяка параноика, в какой-то момент срывается. И ребенок, упрямо торчащий на чердаке (взгляд снизу вверх на отца меняется на противоположный), хмуро наблюдает тяжелую вакханалию их обоюдного пьянства и проникается все большим презрением к папе. Дело чуть было не кончается трагедией, когда толстяк, упившись до белой горячки, обвиняет отца в краже денег и стреляет в него из дробовика. Но мир не без добрых людей. Раненый мужчина и мальчик находят убежище в доме местной рыжей одинокой, нестарой врачихи. У папы с ней, понятное дело, завязывается роман, и ему больше ничего так не хочется, как остановиться, залечь на зиму в теплой берлоге, никуда не двигаться, не предпринимать никаких усилий...

Сын, нетерпеливо стремящийся к морю, воспринимает все это как предательство. Он убегает в темную осеннюю ночь, прибывает к дальнобойщикам и в кабине грузовика доезжает-таки до заветного рая. Первым делом он влезает на гору и пытается запустить в небо листы бумаги — страницы, вырванные из книги про птиц. Это главный символический план картины — хрупкая мальчишеская фигурка с воздетыми руками на вершине холма, ветер — и вновь и вновь упрямо запускаемые в небо страницы; попытка воплотить мечту, заставить природный мир существовать по написанному, воображенному, вымечтанному...

Затем мальчик спускается к морю, продирается по набережной сквозь лес загорелых ляжек, бредет мимо орущих кафешек в густой пляжной толпе. Тетушки в Коктебеле, понятна, нет, она укатила на Север, оставив, правда, письмо и немного денег. И легкая горечь несбывшейся мечты о полете заедается вполне земными курортными радостями — обед в ресторане, мороженое... Мальчик деловито потребляет то южное счастье, какое уж есть, — загорает, купается, спит у моря... Но осеннее запустение постепенно сменяет суетливый сезонный бедлам, и когда пространство пустеет окончательно, в кадре, где ребенок одиноко сидит на краю земли — на самом краешке мола, упирающегося в потемневшее, неуютное море, — возникает отец, подходит к сыну, садится рядом... Мы видим их сверху — два человека, маленький и большой, разъединенные тем, что оказались на разных концах возрастной синусоиды, и объединенные незыблемой биологической связью. Перед ними — пустая стихия, неопределенность и хаос волн. И перед лицом этой стихии каждый из них — единственное, что есть у другого.

В «Коктебеле» мир не слишком хорош и не слишком плох. Он такой, какой есть: пошлый и поэтичный, унылый и интересный, доброжелательный и отчужденный, — он существует лениво, словно за счет инерции, за счет силы трения слежавшихся пластов, связей и отношений. Он не слишком опасен. В нем еще можно выжить. В «Бумере» П. Буслова мир совершенно другой: жестокий, волчий, до краев заполненный животной агрессией. Здесь все подчинено законам случайности, но каждая случайность неумолимо ведет к катастрофе. Четверо парней случайно влипают в историю: один из них, Димон, едучи куда-то на «мерседесе», кого-то неудачно подрезал, «мерседес» у него отобрали, он позвал друзей на разборку, во время разборки, когда страсти накалились, друг Димона по кличке Кила открыл стрельбу, убитым оказался эфэсбэшник, и теперь вся четверка вынуждена

смагиваться из Москвы на угнанном «БМВ» с неперебитыми номерами. Они оказываются на большой дороге без денег — всю наличку выудили из них на первом же гаишном посту, — без бензина, без «крыши»... Податься им особенно некуда, и они просто катят в неизвестность, рассчитывая лишь на самих себя. Их грабят, и они грабят, их пугают — они демонстрируют волчий оскал, в них стреляют, они отвечают тем же... Любое проявление слабости немедленно делает человека жертвой, а сила здесь синонимична насилию. Путешествие превращается в смертельный аттракцион; адреналина тут — море (чем и объясняется огромный успех у публики), но бешеный эмоциональный драйв сочетается в фильме с картиной ошеломляющей регрессии человеческого поведения до уровня чисто животных стимулов и инстинктов.

Грубое, прямое насилие как единственный способ взаимодействия с себе подобными низводит социум до уровня сообщества приматов. Интеллект тут имеет значение, но тоже в биологическом смысле — как возможность просчитать ситуацию хотя бы на шаг вперед и избежать по мере возможности смертельного кровопускания. Интеллектом в какой-то степени обладает Кот (В. Вдовиченков), по уровню агрессии в четверке лидирует Кила (М. Коновалов), Рама (С. Горобченко) обладает природной покладистостью и склонностью к солидарным действиям, а Димон (А. Мерзлякин) — слабак и трус — типичный самец «гамма» (если следовать обезьяньей классификации): в критический момент предает друзей, смагивается и остается в живых.

Волны агрессии распространяются в этом расчеловеченном мире, как радиация. Выстраивая сюжетные ответвления, рисующие гипотетическое будущее разных встреченных героями персонажей, режиссер и сценарист демонстрируют, что всё у всех в этом случайном сцеплении агрессивных импульсов складывается более или менее безнадежно. На бензоколонке герои сунули парнишке за халывный бензин бейсбольную битую, он ввязался в драку и получил этой самой битой по голове. Опустили и развели в придорожном кафе дальнобойщиков, заставив их платить и навязав себя в качестве «крыши», — ну а на стоянке дальнобойщики, сбившись в стаю, почуяли свою силу и так отметели пассажиров «бумера», что тем долго пришлось зализывать раны. Но и злобный водила — тот, что исподтишка пырнул Димона отверткой в живот, — в посвященном ему фрагменте «из будущего» сидит в инвалидном кресле и смотрит, как его жена водит мужиков.

В деревне, где парни застряли у местной знахарки, бабки Собахиhi (другой медицинской помощи для раненого Димона в округе не оказалось), они слегка присмилрили, стали чистить картошку, вытирать ноги и жить, подчиняясь суровым приказам непреклонной хозяйки. Рама от нечего делать тут же отбил невесту у местного дембеля-алкаша, заделал ей ребенка да и бросил. А как не бросить? Ехать надо, не век же в деревне торчать, тем более что алкаш уже настучал куму-участковому. А девушке с дитем остается только одно — выйти за местного жениха-ублюдка...

Дальше парни заехали в провинциальный городок, выпили, погуляли, расправили плечи и решили грабануть контору по торговле компьютерами. Тут что-то у них не срослось, Димон на «бумере» вовремя не подкатил, и положили наших ребят омонцов мордой в снег. А самый слабый скрылся с места преступления, бросил машину; вожденная крутая бандитская тачка, мигнув напоследок фарами, осталась ржаветь в снегу, а последний ее пассажир, тихо и скромненько сев на автобус, отправился восвояси.

О чем кино? О том, что полет в никуда и лихая езда по обледеневшей дороге обязательно кончатся крахом? Боюсь, в глазах зрителей, принесших в кассы кинотеатров почти миллион долларов, показанный в «Бумере» способ жить и выживать, бороться и не сдаваться выглядит отнюдь не экстремальным, а, наоборот, нормальным, классным... Чего еще настоящему парню хотеть от жизни? Ехать с ветерком, чтобы испуганно шарахались в стороны «терпилы» и «лохи»; трахать баб и пускать по ветру бабки... Чтобы свои уважали как крутого и конкретного пацана. Нынешний зритель без труда идентифицируется с героями, с их психологией, сленгом, с их вечной агрессивной готовностью «наехать» на всех и каждого... Радикальность режиссерского жеста в том, что он решает идти до конца и показывает «героев времени» как они есть — «никогда мы еще не видели нас так близко и

без купюр» (слова сценариста Д. Родимины). Дело, впрочем, не в «отсутствии купюр», а в отказе от всяких облагораживающих иллюзий и завитушек. В этих парнях есть только то, что есть, — неудержимый напор тестостерона с адреналином при полном отсутствии общепринятых представлений о том, «что такое хорошо, что такое плохо». Нет ни хорошего, ни плохого, ничего, — вперед, поехали...

В «Возвращении» Звягинцева подобный основанный на жестком насилии и бескомпромиссном подавлении чужой воли способ общения экстраполируется на внутрисемейные отношения. Два мальчика, Андрей (Владимир Гарин) и Иван (Иван Добронравов), выросшие без отца, который канул в неизвестность лет двенадцать назад. Старший его еще помнит, младший знает только по фотографиям. Неожиданно отец (К. Лавроненко) возвращается — незнакомый, немногословный, жутковатый и властный, готовый взглядом испепелить каждого, кто проявит малейшую склонность к неповиновению. Видимо, там, откуда он явился, иначе нельзя — сожрут. Отец берет мальчиков в путешествие, цель которого неясна. Они долго колесят по живописным лесам и озерам Карельского перешейка, ночуют в палатках, подъезжают к заброшенным, ржавым причалам, где стоят на приколе таинственные суда, потом на весельной лодке переправляются на необитаемый остров... Там отец вытаскивает из тайника какую-то железяку; что это — секретный прибор, адская машинка, что-то еще, — непонятно и для сюжета совершенно не важно. Важно, что отец, мотаясь по делу, решил совместить его с выполнением родительского долга, побыть, так сказать, с детьми. Он явно хотел как лучше, но не вышло. Прогулка превращается в ад.

Жестокая муштра и требования казарменной дисциплины — в новинку для городских мальчиков, воспитанных мамой и бабушкой. Старший готов подчиняться, маленький, не испытывающий к отцу никаких теплых чувств и обладающий такими же задатками крутого характера, но еще по-детски капризный, эгоистичный, несносный, — вступает в войну. Коса находит на камень. Страх, усталость, упрямство, недоверие и упорное нежелание Ивана подчиняться диктату отца приводят к постоянным конфликтам. Отец ломает Ивана, Иван не сдается, отказывается есть, когда заставляют, нудит, что голодный, когда еды поблизости нет; упрямо торчит под дождем, высаженный из машины прямо посреди дороги; пытается перечить, когда ему велят оторваться от любимой рыбалки в разгар клева, все время требует объяснений: куда, зачем, почему?.. Силы в этой борьбе не равны, победить ребенок не может, капитулировать — тоже, и мальчик идет ва-банк: в истерике после очередного холодно-жестокоего разноса он забирается на высоченную ветхую башню, запирает входную дверь и, захлебываясь криком, уверяет, что прыгнет вниз, если отец не оставит его в покое. Тот лезет за ним по наружной стене, случайно срывается и погибает.

Назад с острова потрясенные братья возвращаются в лодке, на дне которой — мертвое тело. Доплыв до того места, где оставили машину, они пытаются завести мотор, а плохо привязанная лодка отчаливает, отплывает и медленно тонет... Мертвый отец на глазах погружается в воду, а дети в слезах, в отчаянии, несчастные и беспомощные, кричат ему вслед: «Папочка! Папа!»

Все это один к одному — «первичная сцена» по Фрейд: сыновья, взбунтовавшись против безграничного деспотизма вождя-отца, свергают его и убивают, а затем, проникшись страхом и чувством вины, — обожают. С этого начинается человеческая культура, начинается социум, основанный на символической власти невидимого. Возможно, именно как неожиданная, психологически точная иллюстрация к Фрейд фильм и снискал столь шумный успех на Западе, в культуре которого идеи венского психоаналитика давно уже стали чем-то вроде греческих мифов. Западные люди почувствовали в фильме свое, понятное, увидели конкретную, частную историю, без всякой натуги на глазах дорастающую до очевидного универсального смысла.

Что ж, смысл этот есть, и для нас он неутешителен. Бунт детей против отцов, обусловленный внекультурными, чисто биологическими мотивами; ничем не смягченная агрессия, которая становится единственным способом регуляции отношений, — ситуация психологически настолько невыносимая, что неизбежно ведет к

новому вознесению погранных идолов и упрочению свергнутых авторитетов. Сильная власть вновь возникает из страха, растерянности и чувства вины. Это печальный закон самосохранения социума. Если разрушение обетшавших ментальных стереотипов ведет лишь к высвобождению биологических механизмов самоутверждения, если кризис «закона» не сопровождается выплеском «благодати», то есть духовного творчества, позволяющего обществу подняться на новую ступень, — все возвращается на круги своя и заканчивается укреплением «вертикали власти». Что мы, собственно говоря, и наблюдаем ежедневно и ежечасно.

Не имея сознательного намерения апологетизировать нынешнее начальство, новое, молодое кино просто зафиксировало этот момент мучительной неопределенности, чреватый тоской по возвращению «сильной руки».

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

«Вандалы клоак»

На одной из сетевых новостных лент мне попалась на глаза заметка, которая показалась необыкновенно характерной и типичной. Это — очередная декларация борцов с засильем высоких технологий:

«В свое время Достоевский писал: „Кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: 'Лучше поработите нас, но накормите нас'”. Его пророчество сбывается в нашем информационном веке — темном, управляемом корпорациями царстве, предсказанном такими легендарными художниками, как Брюс Стерлинг и Джордж Лукас...

Мы стремимся быть частью этой информационной среды и с появлением в нашей жизни каждого нового устройства, сервиса или цифрового подключения ощущаем новые потребности. От Интернета до пейджера, от радио до телефона — в информационном веке никогда не заходит солнце; мы постоянно включены в глобальную матрицу информационной сферы. Мы свыклись с ней и непрерывно купаемся в море электронных стимуляторов.

А в стремлении удовлетворить свой техноголод мы, получив новейшие и крутейшие устройства или хайтек-услуги, становимся все более зависимыми от этих продуктов и их производителей — настолько, что, когда что-то ломается или оказывается под угрозой, наша работоспособность падает или иссыкает. Принимая во внимание эти частые технические или юридические проблемы, можем ли мы считать себя свободными и сильными, во что нам предлагали поверить?

Технология затягивает, как азартные игры и героин. По собственному желанию или по чьей-то воле мы покупаем новые устройства и постоянно модернизируем свою технологию по целому ряду причин, как реальных, так и воображаемых, и без последней хайтек-„примочки” чувствуем себя некомфортно. Корпорациям это нравится, так как, приобретя и начав использовать их продукты или услуги, мы впадаем в зависимость. Кончится тем, что они, по существу, овладеют нашей информацией — а со временем обществом и нами самими» <http://zdnet.com.com/2100-1107_2-5085574.html?tag=zdnfd.comment>.

Это типичные слова новых луддитов — борцов с неслыханными скоростями информационного века: наркозависимость, невозможность нормального существования вне компьютерного мира, ненадежность производимой корпорациями высокотехнологичной продукции. Хотя никто уже не помнит, какое оно, это нормальное существование. Генри Торо тоже не всю жизнь прожил в лесу. И такими ли уж надежными были прядильные станки, которые громили исторические луддиты в 1811 году в Ноттингемшире? И что же защищал Джордж Байрон в палате лордов? Свободу от угнетателей или свое дешевающее на глазах родовое поместье от текстильных монополистов?

Но просто так отмахнуться от подобных высказываний не получится. На них придется отвечать по существу. И не только потому, что голоса противников тех-

нологического взрыва звучат все громче и среди них немало глубоких и мудрых людей. Можно вспомнить эссе Станислава Лема «Дорога без возврата», в котором фантаст и мыслитель поднимал те же вопросы, или статью Михаила Эпштейна «Информационный взрыв и травма постмодерна», посвященную проблемам, с которыми сталкивается человек, будучи не в силах справиться с потоками информации. Даже находясь внутри этого технологического прорыва, работая программистом или обозревателем достижений индустрии высоких технологий, невозможно не чувствовать, что все не так радужно, как казалось буквально четыре-пять лет назад.

Чтобы попытаться понять происходящее, я попробую вернуться к началу — к определению понятия количества информации, которое дал Клод Шеннон. Я напомним в общих чертах, что говорил основоположник. Мерой информации служит энтропия источника, то есть непредсказуемость и неопределенность каждого следующего символа в дискретном сообщении. Чем выше непредсказуемость, тем выше информативность. Грубо говоря, сенсация, неожиданность максимально информативны, а сообщение, десять раз пересказанное, давно известное, содержит количество информации близкое к нулю.

Сегодня складывается впечатление, что мы живем по закону Шеннона, то есть стремимся увеличить непредсказуемость и новизну, увеличить информационное насыщение окружающей нас действительности, но вся ли это информация, которая нам необходима, и та ли это информация?

Есть один крайне существенный аспект, который обычно не рассматривают — может быть, как раз ввиду его явной очевидности: максимальной информацией обладает сообщение, где каждый новый символ в сообщении абсолютно случаен, то есть полностью непредсказуем. Но в естественных языках — русском или английском — предсказуемость выше 50 процентов, то есть каждый второй символ в достаточно длинной фразе полностью предопределен. И, кстати, самый предсказуемый, предопределенный, а значит, самый информационно бедный язык — это язык поэзии.

Самое информационно ценное сообщение не может быть включено в естественный язык. С точки зрения человека, это сообщение — полная абракадабра, произвольный набор букв.

Я приведу пример случайного текста, который был создан компьютерной программой — роботом-писателем, причем довольно ученым: этот робот знает грамматику, но значений слов для него не существует — существует только их согласование. Он выбирает слова случайным образом из обширного словаря и произносит: «Исповедь без аур, познанная алтарем, будет философствовать о надоедливых целях с престолами; она возрастает, вандалом клоак обобщая промежуточные твердыни. Пело об упертостях, преобразившись над монадой капища, искусственное Божество нагвалей и обобщало честного ангела с аурой. Позор с воодушевлением будет позволять ходить под сенью существ с колдунами» <<http://www.necroman-cers.ru/about.html#>>.

Количество информации, по Шеннону, в этом высказывании вполне нормальное — среднеязыковое. Смысла в нем нет вовсе. Хотя мы и можем придумать какую-нибудь, даже вполне разумную, интерпретацию. Но это будет уже привнесенная нами разумность.

Любые битовые наборы, и те, что передаются по глобальным сетям, и те, что лежат на винчестерах наших дисков, это тоже — «вандалы клоак» и «обобщенные промежуточные твердыни». В них нет смысла. Смысл находится где-то на другом уровне, он теснейшим образом связан с мыслительным усилием человека — усилием понимания и объяснения.

Высокая пропускная способность каналов связи, стремительно растущее быстроедействие и прочие радости технологического бытия — не панацея и тем более не самоцель. Мы стали образованнее, мы завели множество знакомых по всему миру, мы успеваем заключать все больше сделок за день. Но нельзя не заметить, что все это — количественные показатели.

Пушкин как-то заметил:

Ученых много — умных мало,
Знакомых тьма, а друга нет!

Это про наш информационный век в куда большей степени, чем про век пушкинский.

Спросим себя: в чем смысл всех этих наших действий? Ответить на такой вопрос крайне непросто. Хорошо, если человека удовлетворяет ответ: таким образом я зарабатую еще больше денег. Это ответ безмятежного человека. Но он удовлетворяет далеко не всех. Деньги — тоже специфический вид информации, и простое его накопление — не ответ. Много информации по Шеннону — это может быть ничтожно мало по Достоевскому.

Страхи сегодняшних новых луддитов — это не только боязнь остаться аутсайдерами, не поспевая за информационной гонкой. Хотя и подобные опасения небезосновательны. В 1997 году ООН ввела такое понятие, как информационная бедность: оно отражает рост социального неравенства по принципу доступа к компьютерной Сети, потому что в нынешних условиях доступ к компьютеру — это доступ к знанию.

Но тревога новых луддитов — это еще и интуитивный страх перед утратой традиционного смысла.

Смысл предполагает не просто передачу посимвольной или побитовой информации. Смысл требует установления связей, по возможности всех связей данного слова, текста или образа. Смысл есть точка кристаллизации — узел в глобальной сети познания, и этот узел должен быть крепко стянут. Но порождение реального смысла требует большого времени на обдумывание. А вот этого-то времени у нас и нет. Проще всего проиллюстрировать представление о смысле на примере кроссворда. Кроссворд состоит из слов, образующих определенный рисунок, причем слова пересекаются по одной или нескольким буквам. Представьте себе, что вы выписываете все слова из кроссворда в линейную цепочку. Это абсолютная абракадабра покруче творений робота-писателя.

Но вы разрываете цепочку и начинаете строить пересекающиеся ряды из слов — по горизонтали и по вертикали. Слова пересекаются. Информационная ценность символов, стоящих на пересечении, не равна энтропии в каждой цепочке, ни даже сумме энтропий обеих цепочек. Эта ценность — в связи слов, образующих словарный рисунок. А вот он-то как раз имеет для вас смысл — смысл чисто эстетический.

Порождение новых смыслов и есть разгадывание подобного кроссворда, только слова в нем имеют неопределенное значение, и рисунок рождается вместе с ними. Поэт Сергей Гандлевский сказал, что стихи — это магический кроссворд с проблеском истины в перспективе. Вот этого проблеска истины мы и лишаем себя, замыкаясь в одномерных языках, требующих обязательного обновления и расширения, движущихся всегда в одну и ту же сторону, хотя смысл может лежать совсем не в той стороне, где рождается последняя новация высоких технологий.

Мы действительно сегодня получили некоторый перекос в сторону создания инструмента по сравнению с его использованием. Лучшие инструменты — старые. Дедов молоток, отцовские пассатижи. Они всегда по руке. Если инструменты меняются быстрее того временного промежутка, который требуется на их освоение, они становятся не просто не нужны, они становятся опасны — поскольку мы все превращаемся в полузнаек и неумех. А если к тому же старые инструменты оказываются неработоспособными, мы попадаем в ловушку. Старыми — нельзя, новыми — кое-как, «по умолчанию», то есть так, как их настроил для нас заботливый разработчик. А ведь и он ошибается, и ошибается часто, поскольку сам находится в той же самой ситуации, что и мы: он тоже использовал полузнакомые и непроверенные инструменты, скажем, применял при создании программ неряшливо написанные библиотеки объектов. Непрерывное выбрасывание новых инструментов в точности соответствует шенноновской мере информации: новое, непредсказуемое необыкновенно богато информацией. Но если это новое не было осмыслено, то весь процесс становится производством «вандалов клоак» и «обобщением упертостей», как говаривал наш знакомый робот. Поток информации непрерывно растет, и человек по-настоящему знает и понимает очень немного. Ему не хватает време-

ни на осмысление, не хватает времени на выстраивание и прояснение связей чуть более глубоких, чем те, которые возникают в поисковых системах, когда мы ищем глобальное вхождение в сетевой контекст слова или понятия, а в ответ получаем десятки или сотни тысяч ссылок, упорядоченных, вообще говоря, чисто механически. Если редкие слова — термины, названия — уяснить еще можно, то главные слова языка — любовь, ненависть, жизнь, смерть, добро, зло — начисто смыты сетевым штормом. С точки зрения Google или Яндекс, на них указывают миллионы ссылок, а значит, они не значат в точности ничего.

Осмысление и обобщение информации — это процесс медленный. Но его информационный выигрыш не просто больше, но больше в бесконечное число раз. Осмысление восстанавливает структуры порядка из окружающего информационного хаоса, и эти структуры способны адсорбировать на себя — кристаллизовать — неограниченно большие информационные объемы. Но нам не хватает времени на выращивание кристаллов понимания, мы слишком быстро живем.

Необходимость немедленно реагировать на информационные раздражители приводит ко многим неприятным последствиям. Если А передает сообщение Б, то на самом деле сообщением являются не сами слова, которые пишет А и читает Б. Слова — слишком сложные и громоздкие объекты, их коннотации очень разнообразны и не нужны для понимания сообщения. Обмен происходит общими, разделяемыми значениями, которые известны обоим адресатам. При этом А должен попытаться предельно минимизировать необщий индивидуальный смысл, который может быть доступен только ему, иначе Б придется не просто реагировать дежурными фразами, а задуматься над текстом, и это приведет к самым негативным последствиям: задержке ответа и неоднозначности интерпретации. Это ни для кого не желательно. Информация должна быть проглочена прямо на лету, она должна быть предельно ясна и однозначна, предельно формализована, как текст договора купли-продажи. Поскольку большинство участвующих в коммуникации заинтересовано в том же, информация подвергается глобальной нивелировке и подравнивается, теряя глубину.

Нам хватает времени на множество поверхностных действий и реакций и не хватает на то, чтобы продумать и структурировать информацию. Глубокая информация не нужна. Она не востребована, и потому ее становится все меньше. Не потому, что люди перестают думать над серьезными проблемами, а потому, что это «тяжелая» информация: она не летает по Сети, а еле-еле ползает, натываясь на множество фильтров: на элементарное непонимание и нежелание понять, на обыкновенный и повседневный цейтнот, в котором мы живем.

Новые луддиты — часто совсем неглупые люди, и не обязательно они громят закусочные «Макдоналдс» или взрывают опоры электропередачи. Они думают. Они смотрят на мир, он им не нравится, и они пытаются понять — почему.

Книга Томаса Хилланда Эриксона называется «Тирания мгновения. Быстрое и медленное время в информационный век» (Thomas Hylland Eriksen, «Tyranny of the Moment. Fast and Slow Time in the Information Age»). Эриксен пишет об острейшем дефиците медленного времени. Того самого времени, которое необходимо для осмысления и понимания. Того времени, которое необходимо для полноценного созревания и роста. Есть ощущение, что не все можно ускорить. Есть вещи принципиально неускоряемые. Говорят, если собрать девять женщин, они не смогут родить ребенка за месяц. Наша спешащая эпоха категорически не согласна с этим утверждением. Пусть одна вынашивает голову, другая — левую ногу, третья — правую и т. д. Потом склеим, и — гуляй, Вася.

Медленно вызревают действительно новые идеи, в том числе в науке и в технике. Наше программное обеспечение уже серьезно отстает от «железа». Несмотря на все попытки поставить разработку программ на технологический конвейер, люди пишут медленно и плохо, а машины писать не умеют.

Смысл или информационный узел нельзя измерить в битах линейного последовательного сигнала. Смысл неодомерен. Смысл не стоит в какой-то predetermined цепочке символов, но он перемыкает разные цепочки и тем самым порождает множество новых, небывших путей и связей. Смысл живет другими — нелинейными — ритмами.

Пытаясь выстроить наше существование с опорой на принципы линейного общения, требуя ежедневного, ежеминутного обновления информационной картины, мы развязываем, разрываем, растаскиваем смысловые узлы. Нам они уже мешают. И уходит на задний план настоящая поэзия, настоящая литература, то есть такая, которая не вкладывается в одномерное пространство однозначной коммуникации. И уходит фундаментальная наука, которая также занимается поисками и исследованиями пересекающихся, перекрученных, как ДНК, цепочек идей, и они уже мешают линейной новизне.

Остается масскульт, новостные ленты, новые компьютеры, новые средства связи. Они становятся все свободнее, все меньше остается заповедных мест, куда они еще не проникли. Они становятся все сильнее, все незаменимее. Приходится предположить, что они начнут думать за нас, то есть породить новые смыслы. Но здесь есть очень серьезные сомнения, и, во всяком случае, пока ничего подобного даже близко не видно.

Нет, я не призываю громить ближайший «Макдоналдс» или бойкотировать продукцию «Microsoft». Я понимаю неизбежность ускоряющегося процесса производства информации. Это связано, в частности, с тем, что для осмысления мира нам нужен эмпирический материал, который сегодня нам способны доставить только компьютерные модели и результаты подробнейших массовых измерений, сохраняемые в настолько больших информационных массивах, что человек без компьютера работать с ними не в состоянии. Я понимаю, что мир уже распался на биты, и, чтобы как-то удержать всю эту грудку в относительном порядке, нам необходимы все более мощные машины. Но главной потерей нашего времени становится смысл. Колеса информации нельзя остановить, но их необходимо хотя бы отчасти перенаправить в ту сторону, от которой мы сейчас стремительно удаляемся.

Роджер Пенроуз, нобелевский лауреат по физике, один из крупнейших ученых нашего времени, сказал: «Сознание представляется мне таким важным явлением, что я не могу поверить в его „случайное“ возникновение в результате сколь угодно сложных вычислений». Но компьютер может только вычислять. И эти слова Пенроуза звучат как гораздо более серьезное предостережение, чем выступления новых луддитов. Компьютер может не все, и, передоверив ему собственное существование, мы можем себя потерять.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«СВОИ» — «ЧУЖИЕ»

Уважаемый Андрей Витальевич, с некоторым опозданием из-за летних отпусков прочитал в № 6 Вашего журнала за 2003 год статью Александра Исаевича Солженицына, посвященную моему отцу Давиду Самойлову. Обидно, что А. И. тратит свое поистине драгоценное время на «разоблачение» все же не самых бездарных и вредных писателей, уже покойных. Но это мое личное чувство — его в сторону. Хотя я и не согласен с содержащейся в статье «Давид Самойлов» оценкой творчества и личности моего отца, не хочу пополнять число оппонентов А. И., которых вполне достаточно, как и сторонников. Вступать в личную переписку с Александром Исаевичем мне показалось излишне патетичным и даже нескромным. Однако я обязан указать на ошибки и неточности тем более досадные, что А. И. оказался пристальным читателем поэзии, дневников и мемуарной прозы Самойлова. Это стало бы для меня приятным открытием, если бы не — как сказать поточней? — невольная, конечно, слепота А. И. ко всему, что выходит за рамки, видимо, давно уже сложившегося образа. Даже когда речь идет о фактах общеизвестных. Возникают противоречия и в самой статье. Вот самое очевидное.

А. С.: *«В сорокалетие 50 — 80-х он (Самойлов. — А. Д.) спокойно сохранился в рамках дозволяемого в печати».*

Где же *спокойно*, если сам А. И. как раз и начинает справедливым замечанием, что Самойлов *вошел в поэзию со значительным опозданием, по сути лишь со своих 40 лет?* Разумеется, вошел так поздно не по собственному выбору и не из-за низкого качества стихов. Литераторы его поколения знали и ценили поэзию Самойлова еще с довоенных времен, а первая, тощая, книжечка («Ближние страны», М., 1958) вышла мизерным тиражом, когда ему действительно было уже под сорок. В пятьдесят выпустил всего третью книжку. А до того был рассыпан набор избранного — за подписанные правозащитные письма¹.

А. С.: *«И с этой страной (слова Россия он (Самойлов. — А. Д.) в лирике не употребляет) — он в моральном расчете».*

А как же *всеизвестные*, по определению самого А. И., «Сороковые, роковые»? «Война гуляет по России» (а не по *этой стране*). Не стал подсчитывать, сколько раз Самойлов употребил в своей лирике слово «Россия», но все же наскоро пролистал избранное². Попалось на глаза в стихотворениях «Зачем кичимся мы и спорим...», «Марине Цветаевой», «Россия одинока в мире...», «Уйти, раствориться в России...». Уверен, что это не все.

А. С.: *«Как явствует из многих стихов его, автор всю жизнь достаточно благополучен материально: у него большой выбор мест жительства для медлительных наблюдений за природой и большой досуг».*

Недоумеваю, какие именно стихи Самойлова привели к подобному выводу, примеров не приведено. Жил весьма скромно, что вполне отражено и в мемуарах, и в дневниках. А. И. сам же цитирует: «хорошо бы, если б не деньги и не заботы; нужно думать о деньгах; денег практически нет» и т. д. Лет чуть не до пятидесяти обретался в общих квартирах, коммуналках, а то и вовсе без своего жилья. Относительного благосостояния достиг только под старость. Давалось оно немалым трудом — болезни, полуслепота, большая семья (это к слову о досуге).

А. С.: *«Еврейская тема — в стихах Самойлова отсутствует полностью».*

Действительно, в эту тему Самойлов был погружен гораздо меньше, чем А. И., но все же она не отсутствует полностью. Взять такие стихи, как «Двое», «Еврейское неистребимо семья...», «Девочка».

¹ См.: Самойлов Д. Поденные записи. В 2-х томах, т. 2. М., «Время», 2002, стр. 335. (Дневниковые цитаты приводятся по этому изданию.)

² Самойлов Д. Мне выпало всё... М., «Время», 2000.

А. С.: *«К русскому фольклору Самойлов закрыт...».*

Напротив — всегда интересовался. Вот, к примеру, дневниковая запись: «Занимаюсь фольклором. Былины наивны, но места в них есть прелестные <...> Язык русских сказок, пословиц, загадок всегда меня необычайно притягивает. Я не копирую его только из стеснения» (26.5.1948). Да и уже такие его стихи, как «Скоморошина», «Про Ванюшу», или, скажем, интермедии в драматической поэме «Сухое пламя» свидетельствуют, что не закрыт.

А. С.: *«Итак: всю жизнь, в жажде покоя, остерегался Самойлов печатать стихи с общественным звучанием».*

Стихов с тем общественным звучанием, которое подразумевает А. И., у него попросту не было. Значит, не испытывал к ним душевного влечения, иначе имел возможность действительно спрятать в столе. А. И. вообще постоянно упрекает Самойлова в политической осторожности. Не так уж был пуглив по тем временам, смелей огромного большинства других, а ведь болезни, трое маленьких детей, престарелая мать — всех надо кормить. Диссидентом не был, но старался, сколь возможно, «жить не по лжи». Общеизвестно, что подписал письма в защиту Даниэля и Синявского, Гинзбурга и Галанскова. Открыто общался с Сахаровым и Чуковской, о чем А. И. поминает в статье, с тем же Даниэлем, которого в его трудные послелагерные годы снабжал переводной работой.

А. С.: *«Из биографии узнаем, что в 1941, в свой 21 год, войну начал с эвакуации в Самарканд, в конце 1942 отправлен на Северо-Западный фронт, рядовым, там ранен в первом же пехотном бою, за госпиталем — полоса тыла, писарь и сотрудник гарнизонной газеты, в начале 1944 по фиктивному „вызову“ от своего одноклассника, сына Безыменского (тоже эстафета литературных поколений) и вмешательством Эренбурга направлен в разведотдел 1-го Белорусского фронта, где и стал комиссаром и делопроизводителем разведоты („носил кожаную куртку“ — тоже традиционный штрих)».*

Таково краткое описание фронтовой судьбы Самойлова, кажется, с сомнением в ее героичности. Из книги «Памятные записки»³, откуда А. И. черпает сведения, узнаем, что война для Самойлова, как и многих его сверстников, началась с трудового фронта, где он заболел малярией (стр. 187). Затем последовала попытка вместе с его другом Павлом Коганом записаться в училище военных переводчиков (стр. 188). Павла приняли, и он вскоре погиб, Самойлова — нет, из-за плохого знания немецкого языка. Потом — действительно эвакуация в Самарканд, по пути — тяжелая болезнь (стр. 191). Окончательно оправившись от болезни, Самойлов добровольно записался в военное училище («...военкомат предложил студентам нашего института поступить в офицерское училище. Я не раздумывая написал заявление» — стр. 194). Дальше — полгода на передовой пулеметчиком⁴, ранение в бою, за который Самойлов был награжден медалью «За отвагу» (получил ее почти полвека спустя). После госпиталя действительно тыловая часть, откуда он вырвался на фронт с помощью Эренбурга. Ни сотрудником гарнизонной газеты (см. главу «Эренбург и прочие обстоятельства»), ни комиссаром (см. главу «Белоруссия родная, Украина золотая...») Самойлов не был. Был комсоргом разведоты (стр. 247), что, разумеется, не освобождало ни от участия в боевых действиях (см. главу «А было так...»), ни, добавлю от себя, от прогулок через линию фронта за «языками». Куртка была, я ее помню, однако могу удостоверить, что носить комиссарские куртки — вовсе не наша семейная традиция. Что же касается А. Безыменского, то к его творчеству Самойлов относился весьма прохладно, что следует из дневниковых записей.

Готов согласиться с излишней резкостью, даже, наверно, несправедливостью некоторых оценок в поденных записях Самойлова. Впрочем, он и сам это понимал, оговаривая, что дневники стоит читать «с поправкой на дурное настроение» автора. Отношение Самойлова к А. И. было противоречивым, менялось с годами, однако неизменно заинтересованным и уважительным. Его характеризует такая дневниковая запись: «Отослал поздравительное письмо Солженицыну. В нем — скрытый упрек за его отношение к интеллигенции. Восхищаясь им, еще раз уве-

³ Самойлов Д. *Памятные записки*. М., «Международные отношения», 1995. В дальнейшем, ссылаясь на это издание, просто называю номера страниц или названия глав.

⁴ См. опубликованный ниже дневничок, воссоздающий образ Самойлова военных лет.

рился, что возможны обстоятельства, когда мы окажемся в разных станах. Чем хуже будут обстоятельства, тем лучше будет Солженицын, тем значительнее его личность. Он человек воли и чести. Сочетание этих качеств, независимо от его воззрений, делает его первостепенной фигурой нашего времени» (10.12.1968). За подобные строки, попади дневник куда следует, как и за само послание, которое почти наверняка туда попало, тоже могло не поздоровиться. Это вновь на тему политической лояльности.

В связи с приведенной дневниковой записью хочу еще раз процитировать А. С.: *«Теперь понимаю, почему при единственной нашей с ним (Самойловым. — А. Д.) беглой, короткой встрече, году в 1971, он меня упрекнул: „Что же вы против своих?“ Я не понял сперва. Оказывается — Авиетта в „Раковом“: что писателям слишком хорошо живется финансово».*

Не берусь судить, по каким приметам А. И. только теперь понял, что Самойлов подразумевал богатство писателей, — в его случае мнимое (см. выше), да и вообще сильно преувеличенное общественным мнением. Но под «своими»-то имелась в виду интеллигенция, к которой Самойлов безусловно причислял А. И.

Хотелось бы, чтобы мое письмо было опубликовано именно в Вашем журнале, автором которого Давид Самойлов оставался долгие годы. Не сомневаюсь, что журнал заинтересован в указании на эти, конечно, вовсе не злонамеренные ошибки.

С уважением

Александр ДАВЫДОВ (Кауфман).

Р. С. В качестве своего рода послесловия к этому письму мною подготовлена публикация ранее неизвестного читателям дневникового текста Давида Самойлова. Его «Поденные записи», частично публиковавшиеся в журналах, не так давно вышли полностью в издательстве «Время». Однако уже после выхода двухтомника обнаружился блокнотик с еще несколькими датированными записями, имеющими, как мне кажется, самостоятельную ценность. Этот коллаж из краткой исповеди, пары стихотворных набросков, эстетического трактатика и подслушанных у однополчан и соседей по госпитальной палате незамысловатых армейских прибауток — эскизный, но вполне выразительный портрет юноши 40-х. Тут сочетание заливчатской позы с подлинным мужеством, натужного цинизма с душевной нежностью, одиночества с радостью жизни, подверженности догмам эпохи с добросовестной попыткой прорваться сквозь них к истине. А целиком дневниковый обрывок поражает уже недоступной нам полнотой жизни. Да и сам автор через пару десятилетий ностальгически упрекал своего дневникового двойника: «С чего он выдумал, щенок, передо мною красоваться!» Пусть и перед нами покрасуется этот суровый и ранимый мальчик.

Итак:

ДАВИД САМОЙЛОВ
Дневник
(март — апрель 1943 года)

13/III

Сегодня полгода, как я на фронте.

Хороша кашка, да мала чашка.

Шилом моря не подожжешь.

— А это нашего лейтенанта жинка.

— Что, кадровая или трофейная?

Два украинца играют в карты.

— Ты пойдешь до мэнэ, я пойду до тэбэ.

— Закурим, чтобы жинка не журилась.

Потом поют про Сагайдачного, «что променял жинку на тютюн, на люльку» — неудачно.

Раньше зыряне весело, однако, жили: С Покрова гуляли до первого зазимка.

Был Гаврило пьян.

Он стоял прям...

— Как вы мне приказали, я отсчитал сперва три кубка... А потом шли уже без счета.

Стихи Симонова «С тобой и без тебя» не столь бездарны, сколь холодны. И — безнадежный литературный консерватизм. Дух православия и народности. Недостаёт лишь самодержавия, чтобы стало совсем противно. Впрочем, это объяснимо. Несчастное поколение воспитано на лжемарксистских схемах. В погоне за «благородным металлом твердости» они обратились к традиции. Фабрика-кухня оказалась им безвкуснее поварни. Симонов уже начал разговаривать с господом богом. Заблуждение это опасно. Русское дорого нам, ибо звучит как мировое, а вовсе не ввиду мнимых преимуществ русского кваса над пильзенским пивом.

В бой пошли, там известное дело: кто в зомотдел, кто в здравотдел.

Ахмадеев.

Примета: дождь на голые ветки — голод будет.

Ни следу, ни огня, ни крику,
 Не брешут псы сторожевые.
 Да полно! Есть ли тут живые?
 Дома нахохлились, как совы,
 И спят, и двери на засовах.

Образ есть орудие искусства. Образ, как *орудие*. Эту аналогию можно провести со всей последовательностью и философской глубиной.

Глубочайшая идея и гвоздь марксистской теории познания есть идея, *что отношение к миру есть отношение к орудю*.

6/IV-43.

Апрель за окном. Грязная улица провинциального городка. В бараке, где я лежу, холодно. Разговоры солдат о еде, о воровстве старшин, о доме. Нищая, израненная солдатская Россия.

И вот, глядя на редкие хлопья апрельского снега, обдумываю я свою короткую жизнь. Что я знал? Что я сделал? Был ли счастлив?

В детстве я помню только зиму. В комнатах тепло. Я болен. Мне нравится эта бредовая белизна раннего детства. Я расту один, приучаясь к мечтам и лени.

В восемь лет я написал первые стихи.

В двенадцать ощущал себя поэтом.

В семнадцать мучился неверием в себя.

Мне было семнадцать лет; я не знал ни жизни, ни сильных страстей. Я много читал, мечтал еще больше. Жизнь текла спокойно, как надо. Мысли были абстрактны, мечты туманны. Ничто не побуждало к деятельности. Мир больших страстей был за окном. Эти страсти мне казались банальными. Я жил один в сравнении с другими, и честолюбие меня не тревожило. Но часто я чувствовал себя бессильным. Перо выпадало из рук. Да и о чем я мог сказать миру.

Осенью тридцать восьмого я встретил людей, впервые разбудивших мою душу. Осенью тридцать девятого состоялся наш союз шести, заговор равных против косности в литературе.

12 декабря я впервые выступил со стихами перед многолюдным собранием. И был встречен благосклонно. Была стенограмма этого первого диспута о нас. Вероятно, она утеряна.

Мне было уже двадцать лет, когда я впервые полюбил. Эта любовь не была счастливой. Она была отравлена ревностью и неверием, этими знаками недолгой любви. Эта любовь закончилась весьма печально anno domini 1941, ноября 16 дня.

Мне был двадцать один год и двадцать два дня, когда началась война. Она переменила мои мысли и всколыхнула душу. В голове моей родились дерзкие планы, которые осуществить мне не удалось.

В день, когда мне исполнилось двадцать два года, я стал солдатом, узнав перед этим голод и озверение бегства.

13 сентября года 42 я прибыл на передовую. Через полгода и 10 дней был ранен в левую руку. И вот я лежу здесь, в солдатском госпитале, среди солдат российских, беседующих о еде, и думаю, хороша ли была моя жизнь? Был ли я счастлив?

15/IV-43.

Госпиталь легко раненных. Рыбинск. По-весеннему неприбранный город. Волжский говор. Спешат по улицам дети и женщины. И все несут хлеб. Черный хлеб.

Мы лежим по двое на койках. Мой сосед — повар. Мы говорим о еде.

— Потом закладываем во фритюр, — говорит он.

Разговоры солдат о весне, об урожае, о конце войны.

Один рассказывает:

— Сажу на солнышке, вижу, старик идет. Маленький такой, без шапки, и волосы у него на лысине светятся.

— Здорово, боец. Скоро ли домой поедешь?

— Ой, отец, не скоро. Да и придется ли еще ехать.

— Нет, — говорит, — скоро домой поедешь. Этот год не пройдет — кончится война.

— Да год-то еще долог.

— Нет, боец, теперь скоро. — И пошел. Лысина блестит, и волосы светятся.

Все обсуждают происшествие.

Потом снова по-русски беззлобно ругают начальство. Шутят и — мать их кроет — все беды.

Кузменко, колхозник с Харьковщины. Яростный сторонник колхозов, «бурьяковод». Получал центнер сахару, 5 — 6 кг хлеба на трудодень (одной озимой пшеницы — 75 пудов), тысячу-полторы деньгами. Усадьба 0,8 га. Четверо едоков.

Колхоз — 320 хозяйств. Пахотной земли 3½ га.

Я знал торопливые ласки
Фронтowych девчонок.
Мы брали их по-солдатски,
С жадностью обреченных.

Поскольку прекрасное составляет содержание искусства, можно сказать иначе, что *содержание искусства есть свобода*. Гегель указывает, что лишь определенное содержание способно перейти в форму искусства. *Такой идеей является идея свободы. Идея свободы во всей ее философской, политической, социальной сложности составляет истинное содержание искусства*. Гегель ошупью подходит к этой формуле, но суть в том, что он не видит оснований для нового расцвета искусства. Его эстетика пессимистична по существу. Времена объективной свободы, гармонии человека с окружающим безвозвратно ушли, оставив лишь прекрасные обломки искусства Древней Греции. Стоит проследить всю историю искусства, чтобы убедиться, что борьба за свободу составляет его содержание. Эта мысль звучит как крайность, но следует учитывать, что свобода здесь понимается как все широкое многообразие личной и общественной деятельности, направленной на то, чтобы расколоть жесткую кору мира, освободить мысли, чувства и тело человеческое от всех видов рабства, в котором столько веков прозябали люди.

С этой точки зрения содержанием трагедии или, вообще говоря, трагического искусства является борьба личности с общественными обстоятельствами, так или иначе противодействующими ее субъективной свободе. Финалом трагедии является гибель героя, с одной стороны, а с другой — эта гибель содержит в себе высший пафос трагедии, ибо в ней герой достигает вершин субъективной свободы. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» — такова формула трагического искусства.

Но недостаточность его состоит в том, что деятельность героя неминуемо должна быть деятельностью разрушения, отрицательной работой, в результате которой он способен лишь не подчиниться обстоятельствам и остаться свободным сам, ибо он не способен единолично изменить обстоятельства и достичь объективной свободы. В определенных пределах эта отрицательная деятельность индивидуального разрушения, бунта личности разрушает прежде всего само искусство, как то было с футуризмом в начале нашего века. Отсюда можно понять, почему многие революции, особенно те, которые велись с участием мелкой буржуазии, не породили большого искусства. Их анархо-индивидуалистическая суть противна самой природе искусства, которое разрушает лишь для того, чтобы создать более прекрасное и *принадлежащее всем*.

Трагическое искусство поэтому спасает себя лишь тем, что обращается к подлинно народным движениям за свободу, ибо если народ и разрушает, то он способен создать нечто еще более великое.

Трагедия индивидуальности при всем ее величии неминуемо ведет к гибели искусства (символизм) [над строкой: «ибо сам Метерлинк»]. Наоборот, перспективы развития кроются в народной трагедии, отсюда начинается свое развитие *патетическое*, т. е. социалистическое, искусство, где человек побеждает обстоятельства и формула которого и есть формула нынешней войны: «Мужеством победить смерть и жить, чтобы строить».

17-й год — политическая победа пролетариата.

Колхозы, индустрия, пятилетки — экономическая победа пролетариата.

Отечественная война — идеологическая и психологическая победа социализма, «революция душ». Переход к «эстетической эпохе», к «эстетическому человеку», а в сфере искусства — к социалистическому реализму. Расцвет искусств после этой войны есть факт неоспоримой исторической необходимости. Политические условия смогут лишь ускорить или замедлить его, но не отменить, ибо все, откуда черпает свои силы искусство, созрело, чтобы его питать.

Умный пишет в газете,
А дураки в клозете.

Солдат спит, а служба идет.

Способность эстетического восприятия мира лежит в природе человеческого труда, в свободной деятельности, которую проводит человечество в целом или большая его часть, познавая, осваивая и изменяя мир.

Деятельность активного познания мира, превращавшая его из «предмета в себе» в «предмет для нас», лишенная рабского характера узкого практицизма и вожделия, является не только источником восприятия прекрасного, но и наивысшим эстетическим предметом. Существует упорное мнение в пользу того, что с окончанием войн и кровавых страстей на земле погибнет искусство, ибо оно черпает именно из этих областей человеческих страданий сюжеты лучших своих творений. В противность этому можно сказать, что, пока существует труд на земле, до тех пор будет существовать искусство. И чем больше свободы достигнет трудящееся человечество, тем сильнее и прекраснее будет это искусство. И если прежде ему и приходилось надевать доспехи, то только потому, что вся история человечества, начиная с разложения первоначальных патриархальных отношений внутри рабства, есть непрерывная борьба и война большинства против меньшинства за свободу.

Стоит взять хотя бы танец, этот древнейший вид искусства, чтобы убедиться, что в самых своих истоках он связан с мирным трудом, а не с войной. Работа Бюхнера в этом смысле весьма показательна, хотя вообще ее положения лишь формально отрицают природу искусства.

Павел Бондаренко. Тракторист из Курской области. Сознательный советский человек. Зарабатывал до войны 1000 — 1200 трудовней, 6 кг хлеба на трудовень, 2 р. 50 — деньгами.

Имел огород, сад, корову с подтелком, теленка, овец, свиней.
Колхоз малоземельный — 1500 га и 300 хозяйств.

18/IV.

Санпоезд. Эвакуация в тыл. Третий раз пересекаю Россию за время войны. Мои соседи: полунинтеллигентный механик из Ленинграда, паренек из-под Нижнего и до приторности любезный бурят со средним образованием. В конце концов, жизнь чертовски хороша!

22/IV.

Вчера мы проехали Пермь. Сегодня поезд идет по местности, пересеченной холмами, поросшими сосной и елью. В лесу еще не сошел снег. Тепло светит солнце. Радостно становится от сознания жизни и не думается о войне.

23/IV.

Город Красноуральск.

Зеленеющий луг не знает стилистических промахов, говорит Бальзак.

Мы, мужчины сороковых годов, воспитанные железной суровостью тридцать седьмого года, прошедшие сквозь ужас и кровь войны, видевшие смерть друзей, познавшие месть, привыкшие спать на могилах и спать рядом с трупами, отвык-

шие от домов, ожесточившие сердца, почти равнодушные ко всем тревогам, — мы становимся бессильны перед нежностью, внушаемой женщиной.

Стендаль написал книгу о любви. Нужно написать книгу о мужестве людей, забывающих себя ради дела. Это мужество лежит в самой природе человеческой; лишь мещане, глубоко испорченные трусостью и корыстью, не верят в него. Это мужество возвещало грядущий социализм задолго до первых утопий.

Идеальное есть конкретное [приписано сверху] единство общего и частного (единичного) [над строкой: «индивидуального»] и всеобщего, гармония субъективного и объективного. Это касается идеального состояния общества и человека.

Структура художественного образа *идеальна*.

КНИГИ



Максим Амелин. Конь Горгоны. Стихи. М., «Время», 2003, 128 стр. 1000 экз.

Новая книга известного поэта, лауреата премии Антибукер, постоянного автора «Нового мира». «В начале — проба нового пера: / не будет завтра, не было вчера, / сей день — и первый и последний. — Ныне / напрасно я от мысли ухожу, / что зримый мир подобен миражу, / скитаясь одиноко по пустыне <...>».

Владимир Британишский. Петербург — Ленинград. Стихи. Рассказы. Эссе. СПб., «Алетейя», 2003, 288 стр.

Избранное известного петербургского поэта и переводчика.

Кир Булычев. Как стать фантастом. Записки семидесятника. М., «Дрофа», 2003, 384 стр., 5000 экз.

Автобиографическая проза знаменитого писателя-фантаста.

Яков Гордин. Крестный путь победителей. Исторический роман. СПб., «Пушкинский фонд», 2003, 416 стр., 2000 экз.

Действие романа отнесено ко второй половине XIX века — Россия накануне и после реформ Александра II и гражданская война в Мексике, участником которых становится герой романа.

Единорог. Английские и ирландские стихи и сказки. Составление и перевод Г. Кружкова. Москва — Псков, «Псковская областная типография», 2003, 384 стр.

Книга-альбом поэта-переводчика Григория Кружкова и художника С. Лобаева, отпечатанная в типографии Сергея Лобаева.

Милан Кундера. Книга смеха и забвения. Роман. Перевод с чешского Н. Шульгиной. СПб., «Азбука-классика», 2003, 336 стр., 10 000 экз.

Первый роман Кундеры, написанный им в 1978 году, по приезде во Францию, — о чехах в эмиграции и дома. Повествование состоит из «семи самостоятельных частей, спаянных в единое романное целое темой и смыслом повествования. Доминантная тема романа заключена уже в самом названии: смех как прием мистификации истории (смех ангельский) или трезвого ее постижения (смех демонический) и забвения как знак смертельно опасного (для человека или нации) отречения от собственного прошлого» (из предисловия переводчика Нины Шульгиной к публикации двух частей романа в журнале «Иностранная литература», 2003, № 8).

Дмитрий Новиков. Муха в янтаре. Рассказы. СПб., «Геликон + Амфора», 2003, 210 стр.

Вторая книга прозаика из Петрозаводска (первой была — «Танго Карельского перешейка», СПб., «Геликон Плюс», 2001). О рассказах Новикова журнал писал в № 8 за 2000 и № 2 за 2001 год.

Эзра Паунд. Стихотворения и избранные Cantos. Составитель и автор предисловия Ян Пробштейн. СПб., «Владимир Даль», 2003, 887 стр., 2000 экз.

Двуязычное издание, содержащее все лирические стихотворения, поэмы и поэтические переложения Эзры Паунда. В «Приложении» статья Зинаиды Венгеровой «Английские футуристы».

Дмитрий Пригов, Сергей Шаповал. Портретная галерея Д. А. П. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 168 стр.

Восемь интервью, взятых Сергеем Шаповалом у Пригова.



Олег Аронсон. Метакино. М., «Ad Marginem», 2003, 264 стр.

Семиотика кинематографа — на материале разбора фильмов Довженко, Пазолини, Бергмана, Сокурова, Муратовой и других.

Евгений Белов. Барон Унгерн фон Штернберг. Биография. Идеология. Военные походы 1920 — 1921 гг. М., «Аграф», 2003, 240 стр., 1500 экз.

Исторический очерк, вышедший под грифом Института востоковедения РАН. Биография барона Унгерна кратко изложена в первой главе, основное же содержание книги составили описание и анализ военных действий генерала в последние два года жизни: завоевание северных районов Монголии и подготовка к свержению советской власти в Сибири. Одной из задач, которые ставил автор, было опровержение бытовавшего долгое время в отечественной науке мнения, что в своих действиях Унгерн исходил из интересов Японии.

П. Бурдьё. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. Перевод с французского А. Бикбова, Т. Анисимовой. М., «Практис», 2003, 272 стр.

«Знаменитый социолог — о великом немецком мыслителе XX века. Что привело ученого в ряды национал-социалистического движения? Зачем власть стремится вовлечь интеллектуалов в политику? Хайдеггер как сторонник „консервативной революции“ в философии. Метафизика цензуры. Таинственная связь между научными теориями и политическим действием» («Книжное обозрение»).

Воспоминания о Мэгги. Портрет Маргарет Тэтчер. Перевод с английского М. Зарицкой. Составление Иэйн Дэйл. Киев, «Знання-Прес», 2003, 349 стр.

Книга, при чтении которой читатель, поверх заявленного в названии и безупречно выполненного «сюжета Маргарет Тэтчер», может поразмышлять над сугубо английским (а может, и не только английским) феноменом: во время своей государственной деятельности Тэтчер подвергалась, возможно, самой острой, по сравнению с предшественниками на посту, критике (была даже игрушка-пищалка для тренировки собачьих клыков, выполненная с портретным сходством), но в моменты «народной волеизъявления» англичане с редким единодушием голосовали за свою «железную леди».

Фархад Дафгари. Краткая история исмаилизма. Традиции мусульманской общины. Перевод с английского Л. Р. Додыхудоевой, Л. Н. Додыхудоевой. М., «Ладомир», 2003, 274 стр.

История второй по численности общины мусульман-шиитов.

Лев Копелев. Поэт с берегов Рейна. Жизнь и страдания Генриха Гейне. М., «Прогресс-Плеяда», 2003, 512 стр., 5000 экз.

Документальное повествование с элементами литературоведческого исследования о жизни Гейне, принадлежащее известному писателю, публицисту, историку и правозащитнику Льву Копелеву (1912 — 1997). «Это не научная монография, я не претендую на новый вклад в исследования о Генрихе Гейне. Это только попытка познакомить как можно большее количество читателей, независимо от их возраста и образования, с замечательным немецким поэтом Генрихом Гейне, противоречивая фигура которого до сих пор вызывает много споров и которого тем не менее очень стоит почитать» (Л. Копелев). Первая редакция книги, писавшаяся в 1965 — 1968 годах, предназначалась для издательской серии «Молодой гвардии» «Жизнь замечательных людей». В 1968 году издательство расторгло договор с писателем, и к работе над книгой Копелев вернулся уже в эмиграции; переработанный текст в немецком переводе появился в 1981 году. В России книга выходит впервые. В качестве предисловия помещен очерк о Копелеве Владимира Корнилова «Магнитное поле таланта».

Сергей Павленко. Наука ошибок. Статьи и проекты. 1994 — 2000. М., «Модест Колеров и „Три квадрата“», 2003, 224 стр., 500 экз.

Публичный анализ собственной деятельности и деятельности своих коллег, принятый высокопоставленным государственным чиновником — заместителем главного начальника Контрольного управления президента Российской Федерации, заместителем руководителя секретариата председателя правительства.

Юрий Прапоров. Габриэль Гарсиа Маркес. Путь к славе. СПб., «Азбука-классика», 2003, 352 стр., 3000 экз.

Очередная новация в жанре беллетризованной биографии — биография в диалогах. В книге Прапорова Маркес беседует (на редкость информативно, как бы специально для публики) с отцом, женой, редакторами и друзьями, выговаривая свою жизнь и свои художественные принципы. В качестве сырья использовались журнальные статьи, личные письма и интервью Маркеса, воспоминания Кортасара, Лосье, Фуэнтеса и других. От автора: «Форма, выбранная для этого [повествования], не случайна: категории места и времени здесь, как и в романе [„Сто лет одиночества“], носят условный характер, а основная сюжетная линия — раскрытие личности писателя — соотносится с жизнеописанием его главного героя Мелькиадеса». Авангардные подходы к форме биографии

не отразились на ее стилистике и соответственно уровне художественного мышления — она, боюсь, все та же образцовая старожезээловская.

«Закадычные друзья Габриэль Гарсиа Маркес и Рамиро де ла Эсприелья вышли из дома мадам Ареналес.

— Габо, что ты еле ноги волочишь? <...> Зачем ты так много пьешь?

— От одиночества! Другой бы меня не понял, Рамиро. Но ты-то должен меня понять. Людей вокруг много, а я чувствую себя совершенно одиноким.

Рамиро остановился, сердце его сжалось. Он сколько раз думал об этом! Талантливый человек всегда одинок. Возможно, потому, что благодаря своей одаренности и знаниям он всегда впереди своего времени.

— Только с тобой мне хорошо! — Габриэль тряхнул головой и пошел дальше».

Россия и Чечня. Поиски выхода. Сборник статей. Составитель Я. А. Гордин. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2003, 256 стр., 1000 экз.

Сборник составлен из материалов дискуссии о современном состоянии и об истории «чеченской проблемы» в журнале «Звезда», с участием общественных деятелей, историков, этнографов (С. Арутюнов, Н. Гиренко, Хож-Ахмед Нухаев, Р. Бухараев, Я. Гордин, В. Дмитриев, В. Дегоев). Среди документов — резолюция съезда тейпа Ялхой и обращение к чеченскому народу главы межтейпового движения «Нохчи-Латта-Ислам» Х. А. Нухаева.

Мишель Уэльбек. Мир как супермаркет. Перевод с французского Н. Кулиш. М., «Ad Marginem», 156 стр., 7000 экз.

Собрание коротких эссе, писавшихся по разным поводам для разных изданий и составивших тем не менее цельную по мысли книгу. Центральная тема эссеистики Уэльбека, как и его романов, — кризисное состояние современного человека и культуры. Из эссе «Мир как супермаркет и насмешка»: «Слово „воля“ [у Шопенгауэра в трактате „Мир как воля и представление“] означает длительное напряжение, долговременное усилие, сознательно или бессознательно направленное на достижение некоей цели. <...> Логика супермаркета предусматривает распыление желаний; человек супермаркета органически не может быть человеком единой воли, единого желания. Отсюда и снижение интенсивности желаний у современного человека. <...> желания заданы рекламой в широком смысле этого слова. Ничто в них не напоминает о той стихийной, несокрушимой силе, упорно стремящейся к осуществлению, которая подразумевается под словом „воля“. Отсюда и недостаток индивидуальности, заметный у каждого».

«Творческое оскудение, которое приходится констатировать в различных видах искусства, есть не что иное, как оборотная сторона столь характерной для современного общества неспособности к беседе. Ведь современная беседа протекает так, словно прямое выражение какого-либо чувства, эмоции или мысли стало недопустимым, как нечто слишком вульгарное. Все должно быть пропущено через деформирующий фильтр юмора, юмора, который, конечно же, в конце концов самоистощается, оборачиваясь трагической немотой».

«А вот литература в тот же период находится в относительно добром здравии. Это легко поддается объяснению. Литература по сути своей — искусство концептуальное; строго говоря, это единственный вид искусства, который действительно можно назвать концептуальным. Слова — это концепты, штампы — это тоже концепты. Нельзя ни утверждать, ни отрицать, ни подвергать сомнению или осмеянию что-либо без помощи концептов и без помощи слов. Отсюда и удивительная живучесть литературного процесса, который может самопровергаться, саморазрушаться, объявлять себя бесперспективным, не переставая при этом быть самим собой; который выдержит любое погружение в бездну, любое разъятие на части, любое наслоение интерпретаций сколь угодно тонких; который, упав, отряхивается и снова встает на лапы, точно собака, вылезавшая из пруда».

Анабел Фарджен. Приключения русского художника. Перевод с английского Нины Жутовской. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2003, 304 стр., 1000 экз.

Книга о русском поэте и известном художнике Борисе Анрепе, с 1918 года выбравшем местом жизни Англию. В «Приложениях» помещены стихи Анрепа и его воспоминания об Анне Ахматовой, близким другом которой он был в Петербурге.

Лазарь Флейшман. В тисках провокации. Операция «Трест» и русская зарубежная печать. М., «Новое литературное обозрение», 2003, 328 стр.

Книга профессора Стэнфордского университета (США), писавшаяся с использованием ранее недоступных исследователям материалов зарубежных архивов, а также с тщательной проработкой русской эмигрантской прессы 20-х годов.

Геннадий Чагин. Тютчевы. СПб., «Наука», 2003, 416 стр.

История рода Тютчевых от дальних, с XIV века, предков Федора Ивановича (центральная фигура повествования) до Николая Ивановича, внука поэта, создателя и директора музея-усадьбы «Мураново».

Владимир Шляпентох. Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2003, 256 стр., 1000 экз.

Мемуары известного социолога, одного из первых ученых, начавших в 60-е годы реальное изучение общественного мнения в СССР, эмигрировавшего в США в 1979 году.

Дора Штурман, Сергей Тиктин. По горячим следам. СПб., Издательство «Журнал „Нева“», 480 стр., 1000 экз.

Дневник российских событий 1985 — 1998 годов, написанный двумя историками-политологами. Повествование, которое уже можно отнести к жанру исторического, строится на хронике политической и социальной жизни в России конца XX века, ключевыми моментами которой стали для авторов события августа 1991-го и октября 1993 года; хроника событий сочетается с их позднейшим, конца 90-х, анализом. Один из постоянных сюжетов книги — уровень осмысления текущих событий тогдашней прессой и телевидением и шедшее параллельно с самими событиями рождение и закрепление политических и исторических мифов, как, например, внедрение в общественное сознание силами самых разных (от судьи Зорькина до Сергея Ковалева) идеологов и публицистов оценки «ельцинского, 1993 года, силового спасения демократии» как преступной антидемократической акции.

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«Аргументы и факты», «Афиша.Ru», «Вестник», «Время новостей», «Газета», «Газета.Ru», «GOETHE MERKUR», «GlobalRus.ru», «Даугава», «День и ночь», «День литературы», «Еврейская газета», «Европа Экспресс», «Еженедельный Журнал», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Кифа», «Книжное обозрение», «Лебедь», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «LiveJournal», «Москва», «Московские новости», «Московский комсомолец», «Нашли», «Наш современник», «НГ-Религии», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Юность», «Огонек», «Октябрь», «Отечественные записки», «Подъем», «Посев», «Русский Базар», «Русский Журнал», «Русский курьер», «Смысл», «Спецназ России», «Товарищ», «Топос», «Труд»

Евгения Абелиук. Почему я против «Тихого Дона» в школе? — «Литература», 2003, № 34, 8 — 15 сентября <<http://www.1september.ru>>.

«В конце концов, был ли Шекспир и какой Гомер написал „Илиаду“, а какой — „Одиссею“, мы тоже не знаем. Есть роман — почему бы его не читать? <...> Почему так не хочется мне идти с ним к школьникам? <...> Мир казачества, показанный автором „Тихого Дона“, вообще поражает своей жестокостью и дикостью. <...> Ряд картин изнасилований, драк и убийств, нарисованных в романе, можно множить и множить. Как хотите, а я не хочу читать с учениками этого». См. эту же статью: «Русский Журнал», 2003, 27 августа <http://www.russ.ru/ist_sovr/sumerki>.

Агитпроп или самиздат. — «Отечественные записки», 2003, № 4 <<http://magazines.russ.ru/oz>>.

Говорит Глеб Павловский: «<...> мы действительно находимся в процессе перехода к персонализованному информационному пространству. Я отношусь, наверное, к одному из последних поколений, которое просто умрет, тогда как последующие оставят в Интернете свою полную историю от детских фотографий до хромосомного кода. Жизнь, из которой ничего не пропадает, все остается в информационных слепках, — это совсем другая жизнь».

См. также: «Нет, атеизм — это временное явление. Явление некоторой порчи цивилизации. <...> Наш мир сейчас пронизан разнообразными коммуникациями. Можно сказать, что каждый человек соединен с любым другим проводками и беспроволочной связью. Через некоторое время по всей этой системе пройдет один сигнал, и в один день все неверующие станут верующими. Это дело времени и техники Творца», — говорит Глеб Павловский («Огонек», 2003, № 34, сентябрь).

См. также: «<...> Путин — пример православного политика, но он же не выступает с клерикальными призывами к „соборности“, он ее осуществляет на деле. Путинская политика истинно соборная, поскольку собирает моральное большинство нации вокруг твердого ценностного ядра», — говорит Глеб Павловский в беседе с Олегом Недумовым («НГ-Религии», 2003, № 16, 17 сентября <<http://religion.ng.ru>>).

См. также: Глеб Павловский, «Принуждение к консенсусу» — «Русский Журнал», 2003, 3 сентября <<http://www.russ.ru/politics>>; «Существует ли в стране потенциал мести? Да, существует. И нельзя безнаказанно и так долго оскорблять чувство справедливости гражданина, а потом требовать от него „понимания нужд крупного бизнеса“. Никакого понимания нет. Все, не исключая публики из среднего класса, ждут потрясений. Новая революция никого не пугает».

Кирилл Александров. Сталинский голодомор. К 70-летию всероссийской катастрофы 1933 года. — «Посев», 2003, № 9, 10 <<http://posev.ru>>.

«<...> число жертв довоенного голода 1933 г. значительно превосходит суммарную численность погибших от голода советских военнопленных и жителей блокадного Ленинграда во время войны».

Лев Аннинский. На краю Отечества. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 7 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

Лукаво — об изданной ныне переписке Виктора Астафьева с псковским критиком Валентином Курбатовым.

См. также: Лев Аннинский, «Павел Антокольский: „Небыль сама превращается в быть“» — «Литературная учеба», 2003, № 4; «Илья Сельвинский: „Этот стих... как стакан океана“» — «День литературы», 2003, № 9; «Михаил Исаковский: „Болото. Лес. Речные камыши. Деревня. Трактор. Радио. Динамо“» — «День литературы», 2003, № 8 <<http://www.zavtra.ru>>; *плодовито*.

См. также: Лев Аннинский, «Среди гоев. О морях и ручьях, русско-еврейском диалоге и гречневой каше» — «НГ Ex libris», 2003, № 32, 11 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>; *спорит с Исраэлем Шамиром*.

См. также: Лев Аннинский, «Брэнд сивой кобылы» — «Литературная Россия», 2003, № 40-41, 10 октября <<http://www.litrossia.ru>>; *объясняет, что «Аннинский» — не псевдоним*.

Джон Апдайк. Многообразие религиозного опыта. Рассказ. Перевод с английского И. Бернштейн. — «Иностранная литература», 2003, № 8 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

11 сентября.

Александр Архангельский. Писатель и его литература. — «Известия», 2003, № 193, 21 октября <<http://www.izvestia.ru>>.

В Германии умер прозаик Георгий Владимов. «Генералом русской литературной армии он и был. Армии — освободительной».

См. также: Владимир Войнович, «Владимов воспринимал роль писателя как миссию» — «Известия», 2003, № 194, 22 октября.

Александр Архангельский. Несвоевременный и мысли. Олег Чухонцев: лирик эпохи иронии. — «Известия», 2003, № 159, 3 сентября.

«Достоинная литературная позиция».

Елена Байер. Роман идей, витающих в воздухе. В Германии вышла очередная книга Сергея Болмата. — «Европа Экспресс», Берлин, 2003, № 41, 6 — 12 октября <<http://www.wernermedia.de>>.

«Это роман [„В воздухе“] о миграции как модели общества будущего и статичности как социальной модели, отживающей свой век в государствах так называемой „старой Европы“».

Григорий Бакланов. Талант сильнее страха. Известному писателю-фронтовику исполнилось 80 лет. Беседу вел Анатолий Стародубец. — «Труд», 2003, № 169, 12 сентября <<http://www.trud.ru>>.

«В начале 90-х из-за инфляции журнал [„Знамя“] стал стоить как трамвайный билет. Наши богатые люди помогли только один раз: Константин Боровой заплатил за

рекламу полтора миллиона рублей. Казалось, этого хватит надолго, но хватило по тем временам на выпуск одного номера. Тогда я обратился к Джорджу Соросу <...>».

Татьяна Бек. Метафизика буден и биохимия краха. — «НГ Ex libris», 2003, № 33, 18 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>.

«Повесть Валерия Попова [„Третье дыхание”] — о мрачных и горестных пост-аспектах не только злоупотребления алкоголем, но любой витальной чрезмерности вообще». Полемика со статьей **Михаила Золотоносова** «Дыхание Чейн-Стокса» («Московские новости», 2003, № 28 <<http://www.mn.ru>>).

Грегори Бенфорд (*Gregory Benford*). Троянский конь фантастики («*The Trojan Horse of Fiction*»). Перевод Дмитрия Беляева. — «Русский Журнал», 2003, 15 сентября <<http://www.russ.ru/netcult/gateway>>.

Научная фантастика и теология. Конечно, «Матрица». Но не только.

См. также: **Жан Бодриар**, «Почему этот фильм восхищает философов» (перевод В. Мильчиной) — «Русский Журнал», 2003, 23 сентября <<http://www.russ.ru/culture/cinema>>; «Можно сказать, что „Матрица” — это фильм о Матрице, который могла бы снять сама матрица», — говорит французский интеллектуал в интервью газете «*Le Nouvel Observateur*» (19 июня 2003 года).

Большую подборку материалов по *Матрице* см. в ноябрьском выпуске моей «Периодики» за прошлый год.

Владимир Бондаренко. Очарованный странник Виктор Лихоносов. — «Завтра», 2003, № 41, 10 октября <<http://www.zavtra.ru>>.

«В каком-то благородном смысле Виктор Лихоносов всегда литературен, даже когда пишет просто о природе, о рыбалке или о заболтавшихся казачках». *Виктор Лихоносов стал первым лауреатом новой литературной премии «Ясная Поляна», спонсируемой корейским «Самсунгом».*

А. Борисенко, Н. Демурова. Льюис Кэрролл: мифы и метаморфозы. — «Иностранная литература», 2003, № 7.

«После выхода в свет набоковской „Лолиты” (1955), популярность которой с каждым годом все росла и росла, массовому читателю стало окончательно ясно, что Кэрролл, конечно, был педофилом. Теперь наконец кэрролловский эвфемизм „*child-friends*” открыл свой истинный смысл: „нимфетки”! <...> Теперь уже ни один серьезный исследователь творчества Кэрролла не мог обойти молчанием проклятый вопрос о том, как именно любил Кэрролл маленьких девочек. И если исследователь не желал признавать писателя педофилом и извращенцем, ему приходилось занимать оборонительную позицию и выстраивать систему оправданий. <...> И тут обнаружилось, что многие из милых крошек в момент знакомства с Кэрроллом уже перешагнули рубеж семнадцати, восемнадцати, двадцати, а то и тридцати лет... Как же так? — спросит недоверчивый читатель. Неужели никто раньше не удосужился *посчитать*, сколько лет было девочкам? <...> Откуда же взялось столь устойчивое убеждение в том, что знаменитый автор „Алисы” общался исключительно с маленькими девочками? И что же все-таки скрывала семья? Что заставляло братьев, сестер и племянников проявлять такую сдержанность, такую осторожность в обращении с бумагами Льюиса Кэрролла? <...> Его страстная любовь к театру считалась совершенно неподобающей для священнослужителя <...> так же как и любовь к живописи, в частности восхищение полотнами, изображающими обнаженных женщин; а дружба и свободное общение с *молодыми и не очень молодыми дамами* (курсив мой. — *А. В.*) и вовсе не укладывались ни в какие рамки. <...> Самым невинным из всех увлечений Кэрролла, с точки зрения викторианской морали, казалось его увлечение маленькими девочками. Именно это увлечение, такое уместное для сказочника, и подняли на щит сначала Коллингвуд, а вслед за ним и многочисленные мемуаристы и биографы. Кто мог знать, что в следующем веке все встанет с ног на голову и любовно наведенный современниками „хрестоматийный глянec” отольется в столь рискованные формы!.. В викторианскую же эпоху считалось, что до четырнадцати лет девочка остается ребенком и соответственно до этой поры стоит выше всего земного и грешного».

Леонид Бородин. Без выбора. Автобиографическое повествование. — «Москва», 2003, № 7, 8, 9 <<http://www.moskvam.ru>>.

Одна из самых интересных книг года — среди *non-fiction*.

Владимир Бушин. Лица и маски. — «День литературы», 2003, № 9, сентябрь <<http://www.zavtra.ru>>.

О том, что Вознесенский не так дурен/безнадежен, как Евтушенко.

Василь Быков. Долгая дорога домой. Из книги воспоминаний. Перевод и предисловие Сергея Шапрана. — «Даугава», Рига, 2003, № 4, июль — август.

«Прежде всего хочу предупредить читателя, что эта книга — произведение очень интимное, субъективное, одностороннее, какими, собственно, едва ли не всегда являются мемуары <...>». Здесь же — интервью **Василия Быкова** «Был и остаюсь гражданином своей страны» (ноябрь 2002 года).

См. также отрывки из книги **Василия Быкова** «Долгая дорога домой» в переводе и с предисловием Натальи Игруновой: «Дружба народов», 2003, № 8 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

Дмитрий Быков. Быков-quickly: взгляд-57. — «Русский Журнал», 2003, 25 сентября <http://www.russ.ru/ist_sovr>.

«Чупринин — замечательный критик. Но он советский критик. Иную манеру разбираться с оппонентом ему взять неоткуда». Это полемика со статьей **Сергея Чупринина** «Свободные радикалы» («Знамя», 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>).

Анджей Вайда. Всё на продажу. Киноповесть. Перевод с польского Ксении Старосельской. — «Новая Юность». Литературно-художественный познавательный журнал тридцатилетних. 2003, № 3 (60) <http://magazines.russ.ru/nov_yun>.

«Первоначальный [публикуемый] текст, разумеется, менялся в процессе съемок — тем больше его ценность, тем интереснее будет любителям кино сравнить его с фильмом» (из предисловия К. Старосельской).

Стивен Вайнберг (Steven Weinberg). Спроектированная Вселенная? Лауреат Нобелевской премии по физике (1979) Стивен Вайнберг об акте божественного творения и о его следах в физическом мире. Перевод Линор Горалик. — «Русский Журнал», 2003, 29 сентября <<http://www.russ.ru/netcult/gateway>>.

«Я не пытаюсь утверждать, что наличие в мире зла доказывает „не-сконструированность” Вселенной. Я только говорю, что не вижу знаков благожелательности, указывающей на присутствие конструктора. <...> Я знаю, я знаю, нам не положено судить Бога по человеческим стандартам, но проблема ясна: если мы все еще не убеждены в Его существовании и ищем знаков Его доброго расположения, то какими еще стандартами мы можем пользоваться?»

Алексей Варламов. Медный всадник социализма: Пришвин и Платонов. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 8 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

Конец 30-х: «Именно пришвинская философия вызывала отторжение Платонова».

См. также: **Геннадий Серьшев**, «Я сделал в советское время редкую карьеру независимого человека» — «Русский Журнал», 2003, 29 августа <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>; рецензия на книгу А. Варламова «Пришвин» (М., 2003).

См. также новый роман **Алексея Варламова** «11 сентября» — «Москва», 2003, № 8, 9 <<http://www.moskvam.ru>>.

Дмитрий Волков. Империя зла: краткий курс. — «Отечественные записки», 2003, № 4.

«В начале XVI века технологии печати стали использоваться для производства принципиально нового продукта — сводок новостей. Потребность в такого рода услугах резко возросла во время Тридцатилетней войны. Именно тогда, судя по всему, возник собственно рынок новостей».

Здесь же — **Кирилл Кобрин**, «Фабрикация событий»; «Выпуск новостей — не задача „искаженной” или „правдивой” информации, это — серийное воспроизводство назидательно-торжествующей парадигмы, демонстрирующей свои железные правила на старательно отобранных примерах. Главная задача мира новостей — социально-педагогическая: напомнить о том, что важно, а что нет, и заставить зрителя, слушателя, читателя еще раз присягнуть на верность этим ценностям. Не важно каким — коммунистическим, либеральным, экологическим; главное, что мир новостей каждый час (полчаса, пятнадцать минут) структурирует бесформенное сознание потребителя. <...> Несмотря на ежесекундные происшествия, в жестко иерархизированном новостном мире ничего не происходит, ибо события не накапливаются, чтобы дать возможность потребителю проследить эту самую динамику, они „уходят в песок”; неизменной остается только иерархия, эта структура смыслонаделения, фабрика по производству „событий” из мирового хаоса. Единственная ее цель — воспроизводство самой себя. „Мир новостей” обречен. Он, будучи порождением определенного историко-культурного контекста, умрет вместе с этим контекстом».

Здесь же — **Ярослав Шимов**, «Аквариум»; «Эта игра оттенками смысла сама по себе доказывает, что пресловутая „объективность” новостей, на которой настаивает каждое

уважающее себя средство массовой информации, — это в общем-то фикция. Клишированный язык устроен так, что в его рамках невозможно избежать той или иной расстановки акцентов. <...> Клишируются не только выражения, но и целые стили, на основании чего порой возникают причудливые ролевые игры. Примером, когда интервьюируемый не захотел играть в такую игру, из-за чего в ткани информационной программы возникла смысловая дыра, является памятное многим появление Владимира Путина в передаче CNN „Larry King Live”. На вопрос Ларри Кинга: „Господин президент, что же случилось с подводной лодкой ‘Курск’?” — Путин ответил неожиданно банально: „Она утонула”, — выйдя тем самым из игры, которую Кинг попытался ему навязать».

См. также: **Татьяна Чередниченко**, «Теленовости» — «Новый мир», 2003, № 5.

См. также: «Убивать, например, журналистов нельзя, а младенцев во чреве — можно, — таков один из императивов „открытого общества”», — сокрушается **Владимир Карпец** в любопытной статье «Цена крови» на страницах нового/странного журнала «Нашли» (2003, № 1).

«**Врачу моему, помешавшей мне умереть...**» Воспоминания героини «Ракового корпуса». Материал подготовил Александр Буров. — «Кифа». Издание Преображенского содружества братств, 2003, № 8 (11), август.

Выдержки из записанной корреспондентом «Кифы» беседы с **Ириной Мейке**, которая многие годы проработала врачом-онкологом в клинике Ташкентского мединститута, была лечащим врачом Солженицына в 1954 году, а в последние годы живет с семьей в Финляндии. «Надо сказать, что [позднее] Александр Исаевич все время извинялся, что в этой книге мой образ как врача такой, какая я есть, а вот образ как женщины написан так, как ему было удобно как писателю. <...> Когда я впервые прочла книгу, вы знаете, я расстроилась. Очень расстроилась».

Всего лишь поэт. Беседу вела Наталия Осминская. — «НГ Ex libris», 2003, № 32, 11 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>.

Говорит поэт и переводчик **Владимир Микушевич**: «То, что поэзия не входит в современные образовательные курсы, ведет к деградации человека во многих смыслах. Вплоть до такого патологического явления, как импотенция».

Валерий Выжutowич. Подросток Савенко 60 лет. — «Московские новости», 2003, № 36 <<http://www.mn.ru>>.

Говорит **Эдуард Лимонов**: «Очевидно, пассионарность и заставляет меня делать то, что я делаю. А писательская слава меня уже не волнует. Мой литературный талант получил мировое признание. Теперь мне хочется, чтобы был признан и мой политический дар».

«Солженицын для меня не пример. Он заблуждался в 60-е годы и продолжает заблуждаться сейчас».

«Сидя в тюрьме, я продал издательству „Амфора” 14 наименований своих произведений. Оно покупало их по дешевке, зная, что деваться мне некуда и я соглашусь на любые условия. А вот издательство „Ad Marginem”, с которым я через своего адвоката тоже заключал договоры, вело себя достойно».

См. также: **Андрей Аствацатуров**, «Невротик в маске монстра. Последняя книга Эдуарда Лимонова» — «Топос», 2003, 4 сентября <<http://www.topos.ru>>; «Автор „Священных монстров”, кричащий во все горло о свободе и своей ненависти к власти, сам выступает по отношению к реальности как репрессивная власть, навязывая миру абсолютно несогласуемые с ним схемы».

См. также: **Эдуард Лимонов**, «Устроителям книжной ярмарки во Франкфурте. Обращение» — «Русский Журнал», 2003, 8 октября <<http://www.russ.ru/krug>>; *устерика*.

Дмитрий Галковский. Обаятельная личность. Вацлав Воровский как памятник-кариатура. — «НГ Ex libris», 2003, № 34, 25 сентября.

Особенно хороши фотографии этого московского памятника.

Андрей Геласимов. «Талант живет не по средствам». Беседу вел Александр Невров. — «Труд», 2003, № 170, 13 сентября.

«На самом деле в своих книгах я все выдумываю».

«Я понимаю, что настроения в современном российском обществе не самые радужные, но у себя-то дома писатели не сидят с такими кислыми лицами, как депутаты Госдумы в телевизоре. Вот чуёт мое сердце, что они там, у себя на кухне, и шутят, и надеются на лучшее, и целуют своих жен и детей. Но книжки почему-то пишу все больше мрачные — про плохое начальство, про болезни и про то, что денег нет. <...> Редко бывает, что смеешься, когда читаешь. Даже улыбаешься редко. Видимо, современные писатели — очень серьезные товарищи».

«Представлять хоть в какой-то форме Россию [на Франкфуртской книжной ярмарке] — для меня огромная честь и радость».

Ср.: «<...> я иногда с трудом отдаю себе отчет в том, что я русский и принадлежу русской культуре. Ведь для меня перейти на английский язык не составляет никакого труда», — говорил тот же Андрей Геласимов в беседе с Андреем Мирошкиным («Книжное обозрение», 2003, № 11, 17 марта <<http://www.knigoboz.ru>>).

См. также: Галина Юзефович, «Пафос банальности» — «Еженедельный Журнал», 2003, № 85 <<http://www.ej.ru>>; «Андрей Геласимов пишет добрую жизнеутверждающую прозу. Собственно, это практически все, что можно о ней сказать. <...> Забавные, трогательные и немного нелепые тексты Геласимова выдержаны в той чуть сжосюкающей манере, в которой не имеющий детей взрослый пытается рассказать сказку чужому ребенку. <...> В наше время, когда переусложненность и затейливость стали синонимами хорошего вкуса, для того, чтобы быть банальным, тоже нужна определенная смелость. Именно ее-то Андрей Геласимов и демонстрирует».

См. также: Анна Кузнецова, «Добрый писатель» — «Русский Журнал», 2003, 26 мая <<http://www.russ.ru/krug>>; *все ясно из названия*.

См. также: Александр Архангельский, «На сервере диком стоять одиноко. Андрей Геласимов как фактор литературного роста» — «Известия», 2003, № 14, 28 января; «Это любовь или просто пиар?» — «Известия», 2003, № 26, 13 февраля <<http://www.izvestia.ru>>.

См. также полярные мнения Марии Ремизовой и Дмитрия Быкова о прозе Геласимова: «Новый мир», 2003, № 1.

См. также новый роман Андрея Геласимова «Рахиль» и его беседу с Ириной Барметовой: «Октябрь», 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

См. также: Андрей Немзер, «Рассказчики, редакторы, поэты» — «Время новостей», 2003, № 197, 21 октября <<http://www.vremya.ru>>; «<...> роман Андрея Геласимова „Рахиль“ кажется мне неудачей».

Александр Генис. «Война и мир» в XXI веке. — «Октябрь», 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

«С грустью дочитывая „Войну и мир“, я думал о том, что в XXI веке таких романов уже не будет. Не было их, впрочем, и в XX».

Александр Гогун. 1943: украинско-польская трагедия. — «Посев», 2003, № 9.

«Весной — летом 1943 г. на территории Западной Украины началось вооруженное украинско-польское противостояние. Две антикоммунистические и антинацистские силы — польская Армия Крайова и Украинская повстанческая армия <...> — начали не только войну друг против друга, но и массовое истребление мирного населения».

Владимир Гольшев. «Бумер» и удвоение ВВП. — «Русский Журнал», 2003, 5 сентября <<http://www.russ.ru/politics/facts>>.

«<...> вред от „культурного“ фильма с плохим концом неизмеримо больше, чем от „беспонтового“. Его авторы — *изоцрненные конструкторы национального поражения*. Их талантливыми мозгами нация загоняется в тухлую яму безысходности, из-за них опускаются руки и гаснет огонь в глазах. Воистину лучше бы к их шеям привязали мельничный жернов и бросили в пучину морскую».

См. также: Владимир Гольшев, «Предчувствие героя» — «Русский Журнал», 2003, 23 сентября <<http://www.russ.ru/politics/facts>>.

Данила Давыдов. После промежутка. — «Книжное обозрение», 2003, №41, 6 октября <<http://www.knigoboz.ru>>.

«Сейчас налицо именно „стихи“, а не поэты. <...> наступает пора говорить об истории новейшей поэзии „без имен“».

Олег Дарк. бабушка... дедушка... яма... копал. Из цикла «Венок портретов современной русской поэзии». — «Русский Журнал», 2003, 17 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>.

«Николай Рубцов — поэт скорее *ужаса*. И этот ужас связан со смертью только косвенно. Ужас вызывает не *сама смерть*, а то, что происходит *после смерти* и смертные атрибуты (гроб, могила, мертвое тело...) только использует. И происходит не где-то, а *здесь*. Это *ужас перед катастрофой*, но который страшнее самой катастрофы, потому что сильнее растянут во времени».

Марк Дейч. Бесстыжий классик. — «Московский комсомолец», 2003, 25 и 26 сентября <<http://www.mk.ru>>.

О том, что Солженицын любит койотов, а они того не стоят.

Дикороссы. Вступительное слово Сергея Кузнечихина. — «День и ночь», Красноярск, 2003, № 3-5, апрель — август <<http://www.din.krasline.ru>>.

«Так кто же они — „Дикороссы“, и на кого они похожи? А похожи они на растения (с почти одноименным названием), произрастающие самосевом на просторах России вне оранжерей и без садовников» (Сергей Кузнечихин). Валерий Абанькин, Сергей Сутулов-Катеринич, Алексей Шманов и другие — из «Приюта неизвестных поэтов», открытого пермяком Юрием Беликовым. «Спасибо Сатане, что отнял крест <...>» (Сергей Строкань). *Тьфу, тьфу, тьфу — через левое плечо.*

Даниил Дондурей. Фабрика страхов. — «Отечественные записки», 2003, № 4.

«Через 17 лет после смерти Черненко, после того, как были опубликованы все ранее запрещенные книги и сказаны все слова правды, — 57 процентов населения нашей страны положительно оценивали историческую роль Сталина и лишь 14 процентов, по опросам ВЦИОМ в январе 2003 года, считали, что при коммунистах жилось бы хуже, чем сейчас, а также только 9 процентов возражали против введения цензуры».

Владимир Захаров. «Олигархам выгодно, чтобы население России уменьшилось». Беседа вел Сергей Лесков. — «Известия», 2003, № 167, 13 сентября.

«Я уже рассчитывал процессы игры на бирже, дарвиновский отбор, модели конкуренции, которые близки к теории турбулентности. Концентрация денег в руках немногих людей — это грубый математический факт. <...> Из теории, скажем, лазеров с узкой и яркой полосой, которая „ослепляет“ остальной спектр, вытекает неизбежность возникновения олигархов. Конкуренты не выживают — это теория солитона, уединенной волны, тема моей еще кандидатской диссертации. <...> Из математических моделей следует, что олигархи заинтересованы в уменьшении населения страны. Демографическая проблема, о которой сейчас столько говорят, для олигархов проблемой не является, это, наоборот, желанный результат». Автор — известный физик, поэт, автор «Нового мира». Интервью напечатано на полосе «Наука» (совместный проект РАН и газеты «Известия» <<http://www.inauka.ru>>).

Сергей Земляной. Русский герой: теневой вариант. Провокация как сквозной мотив в «Жизни Клима Самгина» Максима Горького. — «НГ Ex libris», 2003, № 31, 4 сентября.

«<...> Горький проверяет на излом в своей поздней прозе все те новации, которые в начале XX столетия пришли в литературу из новейшей живописи, из кино (монтажное искусство Гийома Аполлинера, кинороман Жюль Ромена, „монтаж аттракционов“ Сергея Эйзенштейна, „киноглаз“ Дзиги Вертова и проч.). Интерес русского писателя к авторам, причисляемым к модернизму, между тем не исчерпывался освоением и критической переработкой их открытий в области художественной формы: в книгах своих литературных современников он акцентировал и ассимилировал все, что имело хотя бы отдаленное отношение к терзавшим его русским „проклятым вопросам“».

См. также: **Сергей Земляной,** «Провокация Серебряного века» — «Литературная газета», 2003, № 25, 18 — 24 июня <<http://www.lgz.ru>>; «Петербург» *Андрея Белого, революция и провокация.*

Юрий Иванов. Очерки истории советско-польских отношений в документах 1917 — 1945 гг. Вступительная статья Станислава Куняева. — «Наш современник», 2003, № 10 <<http://nashsovr.aihs.net>>.

Много — разнообразных — источников.

Исцеляться придется долго... «Реформы 90-х годов в том же ряду, что и прежние большевистские потрясения». Беседа поэта и публициста Юрия Кублановского с политологом и автором аналитической программы «Постскриптум» (ТВЦ) Алексеем Пушкивым. — «Труд», 2003, № 173, 18 сентября.

«Ю. К.: Мой сосед по Переделкину Юрий Карякин сегодня сетует, что „межрегионалка“ стала двигать тогда Ельцина, а не Юрия Афанасьева...»

А. П.: Нет, нет, и Афанасьев, и Попов, и другие яркие тогдашние говоруны относились к „сливкам“ столичного общественно-политического бомонда. Но лидером, на которого купится народ, мог стать только мужик, эдакий партийный Пугачев <...>».

Роберто Калассо. Брак Кадма и Гармонии. Глава из книги. Перевод Е. Касаткиной. — «Иностранная литература», 2003, № 8.

«<...> удовольствие видеть эту книгу сродни только удовольствию писать ее; и я лично практически заимел зуб на ее автора за то, что он лишил меня этого удовольствия» (Иосиф Бродский, «Вместо предисловия»).

Александр Каменецкий. В защиту пса. — «Топос», 2003, 24 сентября <<http://www.topos.ru>>.

«Если перенести эту метафору на реальную общественную жизнь, получается не очень красиво: высоколобый писатель Булгаков запросто обливает грязью целый социальный класс, миллионы людей, изображая их *недочеловеками* (*Untermensch* — этот термин хорошо знаком упомянутому выше немцу по учебнику истории). „Да, я не люблю пролетариат!“ — без обиняков заявляет профессор Преображенский. Что ж, это его право — хотя для воспитанного и культурного человека (тем более врача) очень странно формировать отношение к кому бы то ни было по *классовому* признаку — типичный подход оппонентов профессора — большевиков. Но ведь нелюбовь — еще не повод отказывать кому бы то ни было в праве быть и оставаться самим собой, личностью! Недочеловек-„шариков“ — жестокое клеймо, много худшее даже, нежели „враг народа“, ибо „враг народа“ — звучит увесисто и гордо. Врага можно судить и расстрелять, превратить в лагерную пыль, пытаться, выбивать признание — недочеловека же допускается без суда и следствия (даже без ненависти) банально удушить подушкой. Какие, к черту, морально-этические проблемы! Недочеловек не есть гражданин, не есть личность — он просто плод неудавшегося эксперимента, прискорбная ошибка науки. Гитлеру, видимо, сложно было объяснить, зачем на свете существуют евреи, но что с ними делать, он знал четко: *Untermensch* по определению не заслуживает права на существование. Шариковым место в Аушвице — вот такая примерно мораль логически следует из булгаковского романа, если не обращать внимания на хорошо известные клише... А ежели обращать, получается еще гаже».

Игорь Викторович Касаткин. Русский детектив, или Особенности национально-го зла. — «Топос», 2003, 15 сентября <<http://www.topos.ru>>.

«В русском детективе современном начисто, с моей точки зрения, отсутствует настоящая, авторская ирония, зато в избытке присутствует пафос, направленный... против всех. Это тотальный морализм такой, причем в качестве моралиста запросто может выступать и выступает убийца, садист или вор. Это не имеет значения, поскольку зло — всё (прямо как у Толстого порой)! В этом смысле русский детектив не просто, а очень религиозное чтение».

Константин Кедров. Экскурсия в райский ад. — «Русский курьер», 2003, № 105, 25 сентября <<http://www.ruskur.ru>>.

«Соврать, что „Желток яйца“ — большая творческая удача, было бы неуважением к писателю [Василию Аксенову]. Выдуманный КГБ в сочетании с выдуманным ЦРУ выглядят в романе как-то уж очень по-крокодильски. Аксенов не фельетонист. Без лирики его нет. А свободная джаз-импровизация в прозе обо всем и про все возможна только в живом речевом потоке. Но живая русская речь для Аксенова сегодня совсем не живая. <...> Россия меняется столь стремительно, что не только Аксенов, а даже его закоренелый фоб Сорокин уже ничего не успевает понять и устареваает на глазах».

«Эта пустота образовалась у всех, когда куда-то провалился Советский Союз. Аксенову легче — он его покинул. Нам труднее — нас покинула наша родина. Покинула навсегда».

Руслан Киреев. Достоевский. На семеновском плацу. — «Литература», 2003, № 38, 8 — 15 октября.

Эссе из книги «Семь великих смертей».

См. также: Руслан Киреев, «Чехов. Посещение бога» — «Литература», 2002, № 38, 8 — 15 сентября; «Гоголь. Талызинский особняк» — «Литература», 2003, № 10, 8 — 15 марта; «Лев Толстой. Арзамасский ужас» — «Литература», 2003, № 32, 23 — 31 августа.

Модест Колеров. Народная «картинка» и конкурентная среда. Беседу вел Виталий Куренной. — «Отечественные записки», 2003, № 4.

«<...> это не исключительно российская практика. Работая в больших бизнес-структурах, я неоднократно сталкивался с целыми делегациями из самых уважаемых, самых респектабельных западных изданий, которые приходили и говорили: „Сорок тысяч — и мы напишем все, что ты хочешь“».

Максим Кронгауз. Слово под лупой. — «Отечественные записки», 2003, № 4.

«<...> никакого особого медийного языка не существует (если не называть так журналистский жаргон). Сегодняшние СМИ используют обыденный русский язык во всем его многообразии (в отличие, например, от СМИ советских). Существенно, однако, что журналисты, постоянно сталкиваясь, как и все люди, с лингвистическими проблемами, к сожалению, решают их не всегда удачно, но всегда публично».

Павел Крусанов. «Мало пишут о жестокорылых». Беседу вел Александр Яковлев. — «Литературная газета», 2003, № 38, 17 — 23 сентября <<http://www.lgz.ru>>.

«Даже у кошек разные нравы и привычки. А писатель все-таки — существо тонко организованное. Почти как жук».

Константин Крылов. Русь и Нерусь. — «Русский Журнал», 2003, 13 октября <<http://www.russ.ru/politics>>.

«Дело *только* в том, чтобы „прогнать чертей” — то есть отстранить от власти Нерусь и ее слуг. Никакой „программы возрождения России” *не нужно*. Точнее говоря, никакая реалистичная программа „возрождения” невозможна без победы над Нерусью — а в случае победы она будет уже излишней. Главное — вернуть русским людям *власть* над своей страной, дать им *собственность*, позвольте жить своим умом и иметь *национальное достоинство*. Все остальное сделают они сами».

Наталья Кузнецова. Чужая речь в деревенском обиходе. — «Отечественные записки», 2003, № 4.

«<...> автор этой статьи — лингвист, поэтому анализ статуса СМИ мы будем проводить прежде всего через тексты. Эти тексты — выдержки из интервью с крестьянами, записанные в ходе фольклорных экспедиций».

Вячеслав Куприянов. «От русских почему-то ожидают подвоха». Известный поэт и переводчик о российско-немецком диалоге. Беседу вел Александр Неверов. — «Труд», 2003, № 179, 26 сентября.

«У меня достаточно единомышленников в Германии, с которыми можно продуктивно размышлять над нашими общими проблемами. Они, кстати, вместе со мной удивляются, почему немецкие издатели предпочитают российских авторов, которые в России вряд ли пользуются уважением у людей со вкусом».

Лазарь Лазарев. «А по пятам война грохочет вслед...» О «Траектории краба» Г. Грасса. — «Иностранная литература», 2003, № 9.

«Персонажи [Грасса] — олицетворенные знаки тех или иных политико-исторических веяний, позиций, явлений. Хотя написана книга сильно, мастерски. Точнее было бы сказать, сконструирована. Не хочу этим словом принизить ни книгу, ни ее заслуженно знаменитого автора, потому что в данном случае мы имеем дело с литературной инженерией самого высокого класса, когда каждая деталь точно рассчитана, значима, работает».

Здесь же: Гюнтер Грасс, «Метафорам можно доверять. Торжественная речь, произнесенная в Лейпциге по случаю вручения Кристе Вольф Немецкой литературной премии» (перевод Н. Федоровой).

Весь номер «Иностранки» — немецкий.

См. также: Гюнтер Грасс, «Траектория краба» — «Иностранная литература», 2002, № 10.

Об этой книге Грасса см. рецензию и «WWW-обозрение» **Сергея Костырко:** «Новый мир», 2003, № 4.

Евгений Лесин. Самиздат девичьих альбомов. К 80-летию Эдуарда Аркадьевича Асадова. — «Независимая газета», 2003, № 187, 5 сентября <<http://www.ng.ru>>.

Народный выбор: Есенин и Асадов.

Сергей Лескутов (Омск). Марш-бросок железного спецназа Чингисхана. — «День и ночь», Красноярск, 2003, № 3-5, апрель — август.

«Все это татаро-монгольское завоевание Руси — не более чем европейские истории, неизвестными путями залетевшие в Китай и там переведенные на китайский язык».

Анатолий Ломов. Загадки великого «Слова». — «Подъем», Воронеж, 2003, № 7.

«За последние двадцать пять лет у нас в стране не появилось *ни одной* основательной работы по „Слову [о полку Игореве]”, в которой обсуждались бы принципиально новые идеи, подкрепленные солидными фактами, а не бесосновательными догадками».

Самсон Мадиевский (Германия). Другие немцы. О тех, кто в годы нацизма помогал евреям. Материал подготовлен к публикации Софьей Кугель (Бостон). — «Вестник», Вашингтон, 2003, № 16, 6 августа <<http://www.vestnik.com>>.

«Согласно оценкам историков, в 1941 — 1945 годы в Германии нелегально проживало 10 — 15 тысяч евреев (из них более 5 тысяч — в Берлине). <...> В живых осталось лишь 3 — 5 тысяч (в Берлине — 1370 человек)».

«Согласно приказу гестапо от 24 октября 1941 года, уличенных в помощи евреям не уничтожали, а брали под стражу и затем отправляли в концлагерь, что нередко заканчивалось их гибелью. <...> Следует отметить, что на оккупированных немцами тер-

риториях Советского Союза и Польши расплата за „пособничество евреям“ (*Judenbegünstigung*) была однозначной — смертная казнь. Разница в карательных мерах объяснялась политико-идеологическими соображениями. Нацистское руководство стремилось представить помощь немцев евреям не как сознательное содействие политике преследований и геноцида, а как аномальное поведение отдельных „введенных в заблуждение людей“, „оторванных от жизни чудаков“.

«Справедливости ради заметим, что бывали случаи, когда отчаянное положение преследуемых использовалось. Выжившие избегали рассказывать об этом, чтобы не выглядеть неблагодарными. Одно из считанных признаний принадлежит еврейке-коммунистке Ильзе Штильман, которая с февраля 1943 года скрывалась в Берлине: „Я испытала [все это на собственном] опыте — женщины хотели иметь дешевую прислугу, мужчины хотели с кем-то спать“. В одних случаях приютившие евреев хозяева совершенно бескорыстно принимали на себя расходы на их содержание, в других — евреи оплачивали свое содержание сами».

Наталья Макеева. Фантаст жесткого действия. — «Русский Журнал», 2003, 12 октября <<http://www.russ.ru/netcult>>.

Говорит писатель-фантаст **Сергей Лукьяненко**: «Литература — для Читателей, точно так же как и классическая музыка — для Слушателей, а театр — для Театралов. Не надо требовать от людей невозможного».

Юрий Минералов. О душеполезном и душевредном. — «Литературная Россия», 2003, № 39, 26 сентября <<http://www.litrossia.ru>>.

Защищает «Мастера и Маргариту».

Мистический опыт Александра Проханова. Беседу вел Андрей Зайцев. — «НГ-Религии», 2003, № 12, 16 июля.

Говорит **Александр Проханов**: «<...> мусульмане сейчас единственная пассионарная сила в России, это настоящий двигатель истории».

«Для меня с детства смерть — главная тема, она не отпускает меня, доводит почти до умоиступления».

«Я себя ощущаю в этом мире как разведчик, которого Бог послал на задание».

См. также: **Владимир Бондаренко**, «Метаоткровение Проханова» — «Завтра», 2003, № 34, 20 августа; «<...> для постмодернизма у Проханова всегда не хватает цинизма, с которым, к примеру, его бывший друг Владимир Маканин [в повести „Без политики“] подошел к событиям октября 1993 года. <...> Роль Александра Проханова в нашей сегодняшней литературе на самом деле сравнима разве что с ролью Владимира Маяковского <...>».

См. также: «Проханов апеллирует к культурному бессознательному наступившей эпохи с ее нигилизмом, плюрализмом, релятивизмом, постмодернизмом и прочими ползучими гадами. А потому его тяжелый, незанимательный текст захватывает, завораживает и в конце концов убеждает потрясенного и изо всех сил сопротивляющегося, но большого теми же болезнями и потому соучаствующего в эсхатологической мифе читателя», — пишет **Лев Пирогов** («За юродивыми идут пророки» — «НГ Ex libris», 2003, № 29, 21 августа <<http://exlibris.ng.ru>>).

См. также: **Ольга Мартыненко**, «Конец Счастливица» — «Московские новости», 2003, № 37 <<http://www.mn.ru>>; «Не знающая удержу фантазия Проханова в „Крейсеровой сонате“ подобна смерчу, все сметающему на своем пути и несущему запахи серы, паленой шерсти и горелого мяса».

Владимир Набоков. «Знаете, что такое быть знаменитым писателем?..» Из интервью 1950 — 1970-х годов. Составление и предисловие Н. Г. Мельникова. Переводы с английского, французского и итальянского. — «Иностранная литература», 2003, № 7.

«„Петр Первый“, „Хождение по мукам“ виртуозно написаны, но ряд глав там искусственно приспособлен к „генеральной линии“. Все же [Алексей] Толстой, конечно, большой талант» («Новое русское слово», 1961, 5 февраля).

Ксения Нагина. «Я сделался зверем, злым и хитрым зверем...» — «Подъем», Воронеж, 2003, № 8.

Лев Толстой — о природе человека.

Здесь же: **Максим Кузин**, «Лев Толстой в Оптиной пустыни».

Вл. Новиков. Поэтика скандала. — «Литература», 2003, № 36, 23 — 30 сентября. Каверин. Шкловский.

Антон Носик. Самиздат, Интернет и профессиональный читатель. — «Отечественные записки», 2003, № 4.

«<...> законов Адама Смита никто не отменял: ресурсы, которыми располагают люди, по-прежнему остаются ограниченными. <...> В Интернете же ограниченным ресурсом оказалось читательское внимание. <...> Интернет, отменив цензуру государственную и „рыночную“, сам стал своеобразной формой глушения свободного слова».

Уистен Хью Оден. Лекции о Шекспире. Перевод с английского Марка Дадяна. — «Новая Юность», 2003, № 3 (60).

«Что лучше — читать „Лири“ или видеть его на сцене? Великое противоречие. Если, в конце концов, я встану на сторону тех, кто считает, что эта пьеса не подлежит инсценировке... однако отложим это».

Дмитрий Ольшанский. Вовремя или невовремя? — «*Olshansky's Journal*», 2003, 29 сентября <<http://www.livejournal.com/users/olshansky>>.

«Пушкин умер невовремя (орфография оригинала. — А. В.). Важно было бы видеть его в 1840-х и дальше, читать его прозу, наблюдать его дальнейшее „поправление“. Гоголь умер вовремя. Ему нечего было бы делать при Александре Втором. Достоевский умер невовремя. Важно было бы прочитать продолжение „Карамазовых“, увидеть его реакцию на убийство царя, учение Толстого, появление Розанова и декадентов.. Толстой умер вовремя. К тому, что он сделал, нечего было прибавить. Ленин умер невовремя. Еще немного — и он отстранил бы Сталина от руководства, и ему наследовали бы троцкисты».

«Сорокин не умер вовремя» — лаконичный комментарий arkann к приведенной выше записи в сетевом дневнике Ольшанского.

Олег Павлов. Остановленное время. О прозе 90-х годов. — «Подъем», Воронеж, 2003, № 9.

«<...> сегодня строят жизнь на угнетении одних людей другими, а в России нового века это мало кого мучает, мало кому за это стыдно и совестно».

Юрий Павлов. В. Розанов — В. Кожинов: штрихи к двойному портрету. — «День литературы», 2003, № 9, сентябрь.

В. Розанов в конце жизни освободился-таки из-под гнета «неистового Виссариона», а вот В. Кожинов, «как и некоторые другие „правые“, начавшие в 60 — 70-е годы трудную, опасную и необходимую работу по освобождению русского сознания от догм Белинского, Добролюбова, Писарева и других „левых“ авторов, к сожалению, не прошел этот путь до конца».

См. также: **Виктория Шохина**, «О фюрерах „с направлением“ и об идеальном критике» — «НГ Ex libris», 2003, № 34, 25 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>; «Только на переломе веков „чистая критика“ взяла реванш в лице, скажем, [Юлия] Айхенвальда. Реванш, впрочем, был зыбким, недолгим, почти призрачным. И тому же Айхенвальду вломили по первое число за разоблачение Белинского. Айхенвальд худо-бедно отбился. Но потом, ввиду Революции, был посажен на пароход, шедший в Зарубежье».

См. также: **Павел Басинский**, «Стерильный критик» — «Литературная газета», 2003, № 42, 15 — 21 октября <<http://www.lgz.ru>>; «Ему [Айхенвальду], как считает Шохина, принадлежит честь „разоблачения Белинского“. Айхенвальд, на мой взгляд, критик как раз довольно скучноватый. И против Белинского и последующей революционно-демократической критики первым выступил не он, а Аким Волинский (Флексер), после книги которого „Русские критики“ Белинского ругали все, кому не лень».

Хронологически Басинский прав, а по существу — нет. Да, А. Волинский выпустил своих «Русских критиков» раньше, в конце XIX века, но, когда в 1913 году у Юлия Айхенвальда вышло переиздание «Силуэтов русских писателей», включавшее очерк «Белинский», ему и впрямь вломили по первое число (тем более, что двумя годами раньше отмечалось столетие Белинского), и в следующем, 1914 году Айхенвальд печатает очерк «Спор о Белинском. Ответ критикам» — с анализом развернувшейся полемики.

Александр Панарин. Горизонты глобальной гражданской войны. — «Наш современник», 2003, № 9.

«Все происходит так, будто правители всеми силами борются не за судьбу данного народа, а за судьбу данной территории, которую предостит от него очистить».

«Требуется <...> радикализация либерально-религиозного сознания для того, чтобы заново реабилитировать новых неприкасаемых, более не имеющих никакого экономического алиби, и осудить новых хозяев мира, перед наглостью которых прагматический разум, кажется, капитулировал полностью и окончательно».

«Да, Россия уже вряд ли может стать сверхдержавой, объединяющей перспективных и могущественных. <...> Но сверхдержавой неперспективных, достойных одной только человеческой жалости и сострадания способна стать только Россия».

«Поскольку евреям мало просто выживать на очередном новом витке истории — им надо еще и идеологически владычествовать, то роли заводил *антиамериканизма* (курсив мой. — А. В.) им никак не избежать в грядущей инверсионной фазе политико-идеологического и культурного цикла».

См. также: Александр Панарин, «США как ускоритель истории» — «Литературная газета», 2003, № 43, 22 — 28 октября <<http://www.lgz.ru>>; *последняя статья известного политолога, лауреата премии Солженицына, увидевшая свет уже после смерти автора.*

Виктор Пелевин. «Мои наркотики — спортзал и бассейн». Беседу вела Юлия Шигарева. — «Аргументы и факты», 2003, №38, 17 сентября <<http://www.aif.ru>>.

«Мне не очень понятно, *откуда* я исчез на эти три года. Из своей собственной жизни я не исчезал ни на секунду. Я делал много разного, в том числе писал книги и думал о высоком, а в кризисе я нахожусь с шестилетнего возраста. Что касается спиртного и прочего — я не пью и не курю уже много лет. Наркотики, которые я регулярно употребляю, — это спортзал и бассейн».

См. также: Виктор Пелевин, «История России — это история моды» — «Газета.Ru», 2003, 2 сентября <<http://www.gazeta.ru>>; «У меня есть подозрение, что на уровне сути в России вообще ничего никогда не меняется. Происходит нечто другое — к вам в гости постоянно приходит один и тот же мелкий бес, который наряжается то комиссаром, то коммивояжером, то бандитом, то эфэсбэшником. <...> О том, как поменялась эта мода и как выглядит костюм нового героя в настоящий момент, я и написал роман „Числа“, хотя собирался совсем не об этом».

См. также: Дмитрий Быков, «Обнаружен Пелевин» — «Огонек», 2003, № 32, сентябрь; «Книга Пелевина — хорошая. Ленин, конечно, скомпрометировал комплимент „своевременная“, но она своевременная. <...> Мы же ждали от него прорыва. Вот он и прорвался. Точней, его прорвало».

См. также: «Какую бы книгу я ни читал, я изначально к ней благорасположен, я жду от нее чего-то нового и хорошего. Сейчас, скажем, я читаю новый роман Пелевина — и начинаю с того, что говорю себе: „Это интересно“, — говорит Павел Басинский в беседе с Михаилом Эдельштейном («Это критика. Выпуск 14» — «Русский Журнал», 2003, 18 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>).

См. также: Александр Архангельский, «В краю непуганых покемонов» — «Известия», 2003, № 162, 6 сентября <<http://www.izvestia.ru>>; «Итак: череда подновленных *опять*. Единственное, чего *опять* не будет, — так это оглушительного, полускандалного медийного успеха, выпавшего на долю „Поколения ‘П’“. Конечно, культовый читатель культового писателя все равно испытает тихую радость. Потому что будет читать не пелевинский текст, а свое ожидание от пелевинского текста».

См. также: Александр Вознесенский, «Из Ниоткуда в Никуда» — «Независимая газета», 2003, № 173, 20 августа <<http://www.ng.ru>>; «Дмитрий Галковский признался, что книг Пелевина не читал, да и вообще художественную литературу „не очень“. <...> Только ректор Литинститута (где Пелевин когда-то учился) Сергей Есин был более пространен: „Пелевин — достаточно мощный автор. От него всегда можно ждать чего-то эдакого. А особенность Пелевина в том, что он удивительно простой, почти примитивный автор. Легко читается. И создает у читателя ощущение приобщения к философии и чему-то очень умному. Впрочем, Пелевин — прекрасный социолог <...>».

См. также: Александр Гаврилов, «Диалектика пустоты» — «Книжное обозрение», 2003, № 35-36, 1 сентября <<http://www.knigoboz.ru>>; «Воплощение нового порядка, капитан Лебёдкин из Четвертого главного управления по борьбе с финансовым терроризмом разносит полресторана из помпового ружья, заливает стены кровью, расшибает аквариум, надевает салат на голову непочтительным спортсменам и спасает золотую рыбку, из аквариума выпавшую. Это ярко, это звонко, это тарантинно — и ужасно несовременно. <...> Это 2000-е, какими бы их могли увидеть девяностые».

См. также: «Ведь Пелевин, как ни крути, — человек прошлого века. Некоторые его все еще любят и даже читают, но — по привычке, машинально. Проханов же — актуален», — пишет Евгений Лесин («Врагу не сдастся...» — «НГ Ex libris», 2003, № 33, 18 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>»).

См. также: Елена Стафьева, «Матрица Пелевина» — «GlobalRus.ru», 2003, 3 сентября <<http://www.globalrus.ru>>; «Теперь совершенно ясно, что предыдущий роман Пелевина „*Generation П*“ был его звездным часом и лебединой песней одновременно».

См. также: Елена Стафьева, «Пелевин’S фаст-фуд» — «Еженедельный Журнал», 2003, № 85 <<http://www.ej.ru>>; «Дальше с промежуток в пять лет нас ожидает примерно тот же продукт, который может, безусловно, иметь успех у подросткового поколения (время пауз рассчитано идеально)».

См. также: Андрей Степанов, «Уроборос: плен ума Виктора Пелевина» — «Русский Журнал», 2003, 11 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>; «<...> социально-экономический мессидж Пелевина все тот же: в мире текут потоки нефти, денег и информации, кто-то с большим или меньшим успехом пытается их перенаправить в свой карман, но поскольку управлять всеми потоками нельзя, то любая власть — фикция, медийный фантом. <...> Но был ли писатель, который никогда не повторялся? <...> К тому же если писатель без конца повторяет одно и то же и при этом как раз мономания, фиксация, зависимость — тема его последней книги, то не следует ли повнимательнее прочитать эту книгу в контексте предыдущих?»

См. также: Дмитрий Бавильский, «ПММЛ» (часть вторая) — «Топос», 2003, 6 октября <<http://www.topos.ru>>; «Столько лет прошло, столько статей написано, столько сил, энергии (да и чего угодно) в этот „проект“ инвестировано, что любой текст, каким бы совершенным он ни был, никогда не оправдает ожидания. Вот сейчас волна слухов пошла, что Саша Соколов над новым романом работает. Представляете, какая лажа это будет после сияющих высот „Школы для дураков“ и „Палисандрии“?!»

См. также: Сергей Кузнецов, «Виктор Пелевин, или Пятнадцать лет спустя» — «Русский Журнал», 2003, 11 сентября <<http://www.russ.ru/krug>>; «Статус Пелевина в современной русской прозе таков, что нет никакого смысла говорить об успехе или неудаче его новой работы. <...> Виктор Пелевин был для целого поколения россиян чем-то большим, чем просто писатель. Он рассказывал нам о мире, в котором нам выпало жить. Он давал надежду на возможность достичь лучшего мира. Он говорил о том, как преуспеть в этом мире. Он заставлял задуматься о душе и об ее пустотности. Осенью 2003 года этот человек сказал, что надежды больше нет. Мне кажется, в такой ситуации разговоры о литературе неуместны».

См. также: Вита Окочурская, «X P не C» — «Русский Журнал», 2003, 2 сентября <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>; «Сквозь натужное заглавие, сквозь оформление с изувеченной картиной Серова и засильем латинских букв, к которому Пелевин явно приложил руку, сквозь каждую строку проступают капли авторского пота. <...> Из ничего, из ниоткуда, из никуда выпек целую книгу. Получился слоеный тортик, с романом, повестью, рассказами, тортик вполне виртуальный. Съел, а все равно голодно и слегка подташнивает. Может быть, поэтому Пелевин на всех фотографиях в темных очках — ему просто стыдно посмотреть людям в глаза?»

См. также: Антон Долин, «Перешел в никуда» — «Газета», 2003, 15 сентября <<http://www.gzt.ru>>; «Пелевин и раньше прятался вовсю — не за обложкой, так за темными очками, — но это было превращено в блестящую маркетинговую технологию по раскрутке. Теперь он вступил в активную фазу борьбы с мифическим образом самого себя. <...> Большинство авторов стремятся расширить круг своих читателей — Пелевин его изо всех сил сужает. Он ищет диалога с теми, кто склонен видеть в нем просто хорошего литератора, а никак не маленького Будду».

См. также: Лев Пирогов, «Читатель ждет уж рифмы „розы“...» — «НГ Ex libris», 2003, № 31, 4 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>; «Ну а вся книга — как сутки перед телевизором, начиная мутными мультфильмами и заканчивая политической аналитикой вперемешку с рекламой. Как всегда, много шуточек, много каламбуров, много рекламных слоганов, все вместе — мерзость ужасная, но кто сказал, что сочиненный Пелевиным президентский слоган „мочить в сортире“ — образец вкуса?.. А война таки началась. Пелевин — объективная реальность, данная нам в противоречивых и далеко не всегда самых приятных ощущениях. Но без него литература — неполная. Не зря же так ровненько мы все построились...»

См. также: Андрей Немзер, «Еще раз про лажу. Новые сочинения Виктора Пелевина не уступают прежним» — «Время новостей», 2003, № 169, 11 сентября <<http://www.vremya.ru>>; «Писал я про „Жизнь насекомых“ в 93-м году, про „Чапаева и Пустоту“ — в 96-м, про „Generation ‘П’“ — в 99-м. Хватит. Есть на такой случай бессмертные некрасовские строки: *„И погромче нас были витии, / Да не сделали пользы пером... / Дураков не убавим в России, / А на умных тоску наведем.“* <...> Вам интересно, заметил ли я плевок в свой адрес? Заметил, грамоте обучен. Жест для Пелевина естественный. И не новый. Я не раз (см. выше) негативно писал о его текстах — почему бы ему не отплатить мне хлестким словом? Чем я лучше (хуже) Павла Басинского, которого Пелевин сходным манером пытался оскорбить в „Generation ‘П’“?»

Ср.: «Я глубоко уважаю Андрея Немзера <...>. Не может же Немзер, человек со вкусом и образованием, в самом деле полагать, что Слаповский, Вишневецкая и Горланова поодиночке или втроем способны уравновесить Пелевина! А если он и впрямь так полагает — что ж, дело вкуса, но нельзя же так откровенно подставяться в ответ на вполне невинного „недотыкомзера“. Насколько умнее и изящнее поступил Басинский, *похваливший „Generation ‘П’“*, где Пелевин его вообще в выгребную яму окунул... Но Немзер, конечно, злится не на „недотыкомзера“ <...> Немзер — тоже ведь либерал и

большой приверженец девяностых годов, которые он называет замечательным десятилетием. И ему не нравится зеркало, которое подносит к его глазам Пелевин. Либеральнейшие из наших критиков потому и теряют всякое подобие терпимости <...> что последние сочинения Пелевина подписывают приговор закончившейся эпохе. Да и наступившей тоже», — пишет **Дмитрий Быков** («Быков-quickly: взгляд-57» — «Русский Журнал», 2003, 25 сентября <http://www.russ.ru/ist_sovr>).

См. также: **Елена Дьякова**, «Пелевин и унесенные нефтью» — «Новая газета», 2003, № 65, 4 сентября <<http://www.novayagazeta.ru>>; «<...>, Числа» из всех русских эпических романов более всего напоминают „Кысь” — не больно мотивированной надуманностью основных страхов».

См. также: **Михаил Золотоносов**, «Из пустоты в никуда» — «Московские новости», 2003, № 36 <<http://www.mn.ru>>; «<...> по отдельным деталям ясно, что Пелевин гораздо сильнее в социальной сатире <...> чем в своей доморощенной мистике. Одна сформулированная Малютой задача медиапроекта чего стоит: „...Не разубедить телезрителя в том, что страной распоряжается компания жуликов (в настоящее время это представляется нереальным по причинам объективного характера). Задача в том, чтобы на ярких и запоминающихся примерах разъяснить, какое следует делать выражение лица, улышав разговоры на эту тему...” Из всего можно сделать вывод о том, что Пелевин сознательно работает в жанре „олигархуренной галиматья”, вбирающей в себя игры с числами и вульгаризованными образами из восточных философий, которая, очевидно, издателям представляется более продаваемой. Все социально-сатирическое остается в виде намеков-зародышей, а подробно прописывается именно галиматья, программирующая правильное выражение лица. Это главная особенность нового романа [„Числа”].»

См. также: «<...> Пелевину, несмотря на пропаганду грибоедения, принадлежит одна бесспорная заслуга — после его „Чапаева и Пустоты” некий абстрактный „массовый читатель” наконец оторвался от переводной бодяги и бросил заинтересованный взгляд на нежанровую отечественную прозу», — говорит **Павел Крусанов** в беседе с Александром Яковлевым («Литературная газета», 2003, № 38, 17 — 23 сентября <<http://www.lgz.ru>>).

См. также: **Василий Пригодич**, «Новый Пелевин, старый Лао-цзы, или Вечный путь» — «Лебедь», Бостон, 2003, № 341, 21 сентября; № 342, 28 сентября <<http://www.lebed.com>>; «Роман „Чапаев и Пустота” — лучший метафизический роман в лучшей в мире русской метафизической литературе. На том стою. Правда, роман „Генерация ‘П’” меня в свое время глубоко разочаровал, хотя я и прочитал его внимательнейшим образом. Почему? Не скажу».

См. также: **Владимир Баранов**, «От мертвого осла уши» — «Лебедь», Бостон, 2003, № 342, 28 сентября <<http://www.lebed.com>>; «Базара нет, это — проза. Коммерчески раскрученный писатель сочинил политически ценный роман. <...> продаваться он начал в тот самый день, когда в России официально стартовала избирательная кампания. Ну ясное дело, случайно так совпало».

См. также: **Игорь Зотов**, «Пелевин как капитан Лебядкин» — «Утро», 2003, 17 сентября <<http://www.utro.ru/articles/2003/09/17>>; «В „ДПП” проявился во всю свою мощь неистребимый дух Пелевина-графомана».

См. также: **Лев Данилкин**, «Господин Гексаграмм» — «Афиша.Ru» <<http://afisha.ru>>; *тут кроме рецензии — еще и «Краткий путеводитель» по роману «Числа», например: «Достоевский Ф. М. — главный поставщик комического в романе, певец красоты и идеолог страдания, главного компонента российской „человеконефти” <...>».*

См. также: **Виктор Перельман**, «Рецензия на рецензию ЛД на книгу ВП „ДПП (НН)”» — «Русский Журнал», 2003, 9 сентября <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>; «Суть метода [Льва Данилкина] в том, чтобы написать рецензию таким образом, чтобы она показалась любителям (в данном случае ВП) хорошей, а врагам (все того же ВП) тоже хорошей. Поэтому рецензия плохая».

См. также: **Евгений Из**, «Погружение: пелевинские яды» — «Топос», 2003, 30 сентября <<http://www.topos.ru>>; «Поначалу кажется, что вся суть „ДПП” лишь в том, что это новая книга одиозного автора. По большому счету все так и оказывается».

См. также: «<...> и тут одна дама дала мне книгу Паоло Коэльо со словами, что, мол, всякий человек, считающий себя подлинным интеллигентом, просто обязан знать и т. д. и т. п. <...> Пока ехал до Москвы в поезде, прочитал ее и вот тут-то совершил свое открытие: оказывается, Пелевин-то, по сравнению с *этим*, все-таки писатель! Даже, наверно, мирового уровня», — пишет самарский прозаик **Александр Громов**, отвечая на анкету газеты «День литературы» (2003, № 8, август <<http://www.zavtra.ru>>).

См. также: **Артемий Троицкий**, «Из ухряба в киркук» — «Новая газета», 2003, № 73, 2 октября <<http://www.novayagazeta.ru>>; «<...> в сегодняшней РФ имеет значение только один писатель — В. Пелевин. <...> Я очень доволен, что в положении толстовского актуальной России оказался именно Пелевин, потому что: 1) он правильно понимает

нашу жизнь; б) честно и очень смешно о ней пишет; в) делает из изложенного верные выводы». «1), б), в)» — так в тексте.

См. также: **Иван Лабазов**, «Пелевин: PRO и CONTRA» — «Лебедь», Бостон, 2003, № 342, 28 сентября <<http://www.lebed.com>>; цитирует разные отклики на Пелевина.

См. также: **Лев Рамштейн**, «Манифест, или... О чем молчит новая книга Виктора Пелевина» — «Смысл», 2003, № 14, 16 — 30 сентября; «Такого разгрома не удавалось ни одно литературное произведение со времен „Бесконечного тупика“ Дмитрия Галковского».

См. также: **Николай Александров**, «Пелевин написал новое. Пять лет спустя» — «Газета», 2003, 28 августа <<http://www.gzt.ru>>.

См. также: **Сергей Мнацаканян**, «Пелевин & пустота, или Как продать слона» — «Литературная газета», 2003, № 37, 10 — 16 сентября <<http://www.lgz.ru>>.

См. также: **И. Шайтанов**, «Проект Pelevin»; **Е. Пронина**, «Фрактальная логика Виктора Пелевина»; **М. Свердлов**, «Технология писательской власти. О двух последних романах В. Пелевина» — «Вопросы литературы», 2003, № 4 <<http://magazines.russ.ru/voplit>>.

См. также отклики **Елены Ямпольской** и **Константина Кедрова** в газете «Русский курьер», 2003, № 92, 9 сентября <<http://www.ruskur.ru>>.

См. также: <http://www.pelevin.ru>

См. также: <http://pelevin.nov.ru>

См. также: <http://www.lib.ru/PELEWIN>

Письмо Эрэнбурга Сталину: два мнения. — «Еврейская газета», Берлин, 2003, № 10 (14), октябрь <<http://www.wernermedia.de>>.

«Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция <...>» (из письма И. Эрэнбурга Сталину от 3 февраля 1953 года). Комментируют — **Дмитрий Хмельницкий** и **Владимир Батшев**.

Григорий Померанц. Одинок прочерченный путь. — «Нева», Санкт-Петербург, 2003, № 8.

«Гормоны не единственная причина мнимо свободных решений». Пять раз цитирует стихи Зинаиды Миркиной. Сама же **Зинаида Миркина** — в ту же опубликованной статье «Что такое великое одиночество?» — Григория Померанца не цитирует.

Пять лучших поэтов. Беседу вел Александр Гаврилов. — «Книжное обозрение», 2003, № 40, 29 сентября.

Говорит **Максим Амелин**: «Из старших — Олег Чухонцев, который, по-моему, совершил переворот в русском стихосложении в своих последних стихах. У него скоро выйдет книжка под названием „Фифа“. Это слово на суахили обозначает „исчезание, исчезать, улетучиваться“. Там есть потрясающая находка. Есть одно стихотворение, которое называется „Кыё?“. <...> Потрясающий альтернативный стих, нечто среднее между регулярным русским стихом и верлибром. Второй поэт, который мне интересен, — Ирина Ермакова. <...> Я считаю, что [Ермакова] это сильнейший поэт современности, почему-то никем не истолкованный». В амелинскую *пятерку лучших* также входят — Игорь Меламед, Инга Кузнецова, Санджар Янышев.

О новой поэтической книге Максима Амелина «Конь Горгоны» см. рецензии **Светланы Родиной** («Литературная Россия», 2003, № 42, 17 октября <<http://www.litrossia.ru>>) и **Андрея Немзера** («Время новостей», 2003, № 195, 17 октября <<http://www.vremya.ru>>).

Андрей Ранчин. Женщины и лошади в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». — «Литература», 2003, № 35, 16 — 22 сентября.

«Лошадь покорна человеку, Печорин добывается, чтобы женщины были покорны ему». *Весь номер — лермонтовский.*

Семен Резник (Вашингтон). «Выбранные места из переписки с друзьями». — «Вестник», Вашингтон, 2003, № 16, 6 августа.

«— Я православный христианин, — прямо глядя мне в глаза, сказал Феликс [Светов], — и поэтому ваш роман мне не понравился. Он написан талантливо, читается с интересом, но как для православного христианина он для меня неприемлем. <...>»

После двух-трех рюмок разговор между мной и Феликсом (Зоя [Крахмальникова] в него не вступала) стал оживленнее, и я, в пику каким-то его словам, привел известное высказывание Вольтера: „Я ненавижу ваши идеи, но готов умереть за то, чтобы вы имели право их высказывать“. Но Феликс резко парировал: „Никто не идет на гибель за чужие идеи. Это пустая фраза, абсурд!“ <...>

Прошло еще несколько месяцев, и кто-то принес мне роман Феликса Светова под названием „Отверзи ми двери“ [Париж, 1978]. Прочитав увесистый фолиант, я убедил-

ся, что передо мной сильное художественное произведение, но то, что раньше мне говорили о его содержании, не совсем верно. <...> Позиция автора показалась мне настолько ущербной, а фанатизм, с каким она отстаивалась, настолько опасным, что я написал ему большое письмо».

Далее Семен Резник приводит полный текст этого написанного в самом начале 80-х годов, в свое время не отправленного, потом утерянного и вновь найденного письма к Феликсу Светову. Цитирую: «Давайте же объяснимся начистоту. Главный герой вашего романа Лев Ильич — последовательный и убежденный антисемит <...>. Антисемитизм, повторяю, отвратителен в любых проявлениях, но он вдвойне отвратителен в кающемся, обретшем Бога и рассуждающем о любви интеллигенте и втройне, если этот интеллигент сам является евреем. <...> он остается евреем, только с непоправимо изуродованным сознанием, погибающим от собственной закомплексованности, обреченным не жить, а ежечасно и ежеминутно *доказывать*, что он живет. В этом, может быть, самая важная особенность Вашего романа: помимо Вашего желания Вы показали путь не спасения Израиля [через Православие], а, напротив, путь его умственной и нравственной деградации, путь, ведущий к маразму и самоуничтожению».

См. также: **Феликс Светов**, «Отверзи ми двери» — «Новый мир», 1991, № 10, 11, 12; *журнальный вариант романа*.

См. также: **А. Солженицын**, «Феликс Светов — „Отверзи ми двери“» — «Новый мир», 1999, № 1.

Инна Ростовцева. Лед и соль. Заметки о поэзии Ивана Бунина. — «Литературная Россия», 2003, № 39, 26 сентября.

«Но Бунин-поэт? Здесь спор еще не окончен».

Юрий Самарин. Неблестящие писатели. — «День литературы», 2003, № 9, сентябрь.

Михаил Тарковский. Священник Ярослав Шипов.

Георгий Свиридов. Из книги «Музыка как судьба». Подготовка текста А. С. Белоненко. — «Наш современник», 2003, № 8.

Начало см.: 2003, № 5, 6. Приведу несколько выдержек из дневников композитора — за разные годы.

«Мы должны знать не только о „преследовании“ Шостаковича, которое все помнят, но и о его положении государственного Фаворита, увешанного наградами и пропагандируемого государством более, чем какой-либо иной композитор за всю историю музыки. Шостакович занимал должность и место *Государственного* композитора, стоявшего совершенно особняком над всеми. Он занимал место первого музыканта, в то время как не было ни второго, ни третьего, ни десятого... Ни о какой критике его музыки нельзя было даже помышлять. Премьеры его сочинений, далеко не всегда удачных, художественно полноценных (особенно под конец жизни, когда он продолжал беспрерывно писать, но не создал ничего интересного). Все это — не более чем музыка „хорошо набитой руки“, лишенная ценного тематического материала, сделанная по болванке, по стереотипу. <...>»

«*D-r S<akharov>*. Атомный маньяк, эту свою манию он принес теперь в политическую деятельность. Никто не может мне доказать, что человек, сознательно посвятивший свою жизнь и отдавший весь свой ум, энергию, силы и знания делу человекоистребления, создавший чудовищную бомбу, при испытании которой погибло около ста человек и, таким образом, *d-r S<akharov>* — их убийца (мне об этом известно от наших ученых, наблюдавших за испытанием оружия). Теперь этот изверг становится учителем морали нашего несчастного народа, над которым глумятся уже три четверти века все, кому не лень: бесчисленные самозванцы, тупые, безграмотные вожди, ни один из которых не умел говорить по-русски. <...>»

«*Зоценко* — поэт *Зиновьевско-Кировского Ленинграда*. Это не только социальный герой (пролетарий), не только герой 20-х послереволюционных лет. Он еще и местный, типичный лишь (главным образом) для Ленинграда герой. Ведь именно Петроград-Ленинград остался почти без своего „коренного“, что ли, населения. Сотни тысяч жителей в годы Владычества Троцкого и Зиновьева были: а) убиты (расстреляны); б) высланы (арестованы, сосланы в лагеря); в) мобилизованы; г) бежали от страха, умерли от голода. Зиновьев и его сатрапы — такие же <...> палачи — заселили город „своими“. Произошла массовая депортация евреев с юга, из бывшей „черты оседлости“, из Прибалтики, из Риги, Киева, Одессы, Белорусских городов: Гомель, Витебск, Рогачев, станция Быхов, Шклов, Могилев, Бердичев и т. д. Городские низы: пролетарии и люмпены, пригородное мешанство стали обитателями бывших барских, а ныне коммунальных квартир. Вот быт Зоценко. Это не Петербуржцы-Петроградцы, это именно Ленинградцы, а еще вернее сказать — Зиновьевцы».

«Помню, я зашел к нему [Зошенко] за книгой домой, меня поразила бедность обстановки, железная кровать с суконным одеялом. Но это мне понравилось. Сам я тоже жил бедно и деньгам, а особенно роскоши, не придавал значения. <...> Недостаток у Зошенко был в его отвратительном, на мой взгляд, отношении к религии и особенно к священникам. Он издевался над ними с удивительным постоянством, и я бы сказал, что талант писателя здесь не проявлялся. Это было тупо, гадко, цинично. А главное ведь — эти несчастные попы сотнями тысяч уничтожались вместе с семьями. <...> Он как-то слишком прямолинейно „осветился“. <...>»

Ср. с тем, что говорит о Зошенко протоиерей Михаил Ардов в беседе с Андреем Мирошкиным («Книжное обозрение», 2003, № 33, 18 августа <<http://www.knigoboz.ru>>): «А вот Зошенко, как мы теперь понимаем, сломали до конца, морально убили. <...> Впрочем, Зошенко погиб еще и по другой причине: он, как и, увы, многие другие русские интеллигенты, был „левым“. Он поверил во всю эту коммунистическую утопию или, во всяком случае, заставлял себя в нее верить. Перечитайте его замечательную «Голубую книгу» — она же на самом деле „красно-голубая“! Там во всех интермедиях звучат проклятья капитализму и осанна советской власти. Сегодня это страшно читать...»

См. также беседу с Александром Белоненко, племянником Свиридова, публикатором его дневников — «Груд», 2003, № 186, 7 октября <<http://www.trud.ru>>.

См. также: Георгий Свиридов, «Разные записи. Тетрадь № 2 (1977 — 1979)» — «Наш современник», 2000, № 12; «Разные записи. Тетрадь 1990 — 1994» — «Наш современник», 2002, № 9.

Роман Сенчин. Поэтичность обыденности. — «Литературная Россия», 2003, № 39, 26 сентября.

«В отзывах на прозу Дмитрия Новикова не раз упоминалось о влиянии Бунина и Казакова. Но, как заметил Владимир Маканин, это не просто влияние, а преодоление влияния».

См. также: Дмитрий Новиков, «Куйпога» — «Новый мир», 2003, № 4.

См. также: Дмитрий Новиков, «Муха в янтаре» — СПб., «Геликон + Амфора», 2003.

Михаил Синельников. Поэзия в эпоху мобильных. 80 лет Александру Межирову. Автор знаменитого стихотворения «Коммунисты, вперед» встречает свое 80-летие в доме престарелых в Америке. — «Московские новости», 2003, № 37.

«Однажды с поэтом Рейном мы поехали к Александру Петровичу Межирову на дачу. Это было так давно, что и Рейн был довольно молод и жаждал жизненных удовольствий...»

Андрей Смирнов. Маятник качнется в правильную сторону... Левая интеллектуальная среда и оппозиция. — «Завтра», 2003, № 36, 3 сентября.

«„N“ — самый удачный журнал левого интеллектуально-политического содержания <...>. Удачный формат и оформление. И сильные материалы. Исключение составлял, пожалуй, несколько подкорректированная в сторону единомыслия публикация истеричного семинара в Институте философии по поводу прохановского „Господина Гексогена“. Большой раздел о левом терроризме — рассказ о „Фракции Красной Армии“, включая беседу с бойцами РАФ, находящимися в заключении около двух десятков лет, и текст редактора Игоря Чубарова „Шесть ориентиров терроранализа“. Опубликован перевод важной статьи американского философа-марксиста Фредерика Джеймисона „Постмодернизм и рынок“ <...>. С ним, кстати, связаны две весьма характерные истории. Приехав в конце восьмидесятых в СССР и будучи в гостях в Институте философии, Джеймисон подходил к советским коллегам, в типично американской манере хлопал их по плечу и заговорщицки говорил: „Я тоже коммунист“, вызывая испуганное недоумение у давно вставших на диссидентско-либеральные позиции философов. Второе — Джеймисон известен своей любовью к дорогим вещам, в частности, в интеллектуальной среде ходят рассказы о его сапогах из крокодиловой кожи за две тысячи долларов. Мораль в том, что сегодня многие из левых не прочь их примерить, несмотря на радикальную риторику».

Игнат Солженицын. «Без музыки жизнь для меня не имеет смысла». Беседу вел Владимир Нузов. — «Русский Базар», Нью-Йорк, 2003, № 40, 25 сентября — 1 октября <<http://www.russian-bazaar.com>>.

«Мои родители дали нам, братьям, прекрасное домашнее образование. Не только в общем плане, но и по конкретным предметам. Они занимались с нами русским языком, математикой, физикой, астрономией (отец), русской историей. <...> он [А. С. Солженицын] замечательный педагог! Он один из самых лучших, а может быть, самый

лучший учитель, с которым я встречался в жизни. Он обжигает, увлекает! Ты абсолютно не замечаешь времени, хочешь узнавать и узнавать дальше. Его урок похож на самое захватывающее приключение, как приключения Гекльберри Финна или Шерлока Холмса. Удивительно, как судьба одаривает людей: как будто не хватает его дара художника, общественного деятеля».

Сергей Солоух. Модель жизни. — «Октябрь», 2003, № 9.

«Андрей Семенович [Немзер] — наша станция слежения. Человек на вышке. На фоне неба». И много, много еще столь же двусмысленных похвал.

См. также: **Виктория Шохина**, «Герой труда» — «НГ Ex libris», 2003, № 34, 25 сентября <<http://exlibris.ng.ru>>.

Сьюзен Сонтаг. Болезнь как метафора. Перевод с английского Марка Дадяна. — «Иностранная литература», 2003, № 8.

Туберкулез. Рак.

Наташа Спендер. «Стивен был потрясающе независтливым человеком». Беседу вел Глеб Шульпяков. — «Иностранная литература», 2003, № 7.

Говорит леди **Наташа Спендер**, вдова английского поэта Стивена Спендера: «Меня поразила его [Бродского] образованность. В один из первых наших вечеров мы отправились на ужин, где должен был быть популярный поэт Джон Бетжмен. С нами был Оден, он что-то процитировал из Бетжмена, и вдруг Бродский совершенно спокойно ответил ему другой цитатой. Оказалось, что он знал Бетжмена не хуже Одена! Так они и сидели за столом, перебрасываясь цитатами. <...> И еще один забавный момент. Нам предстояло идти на чтения, которые устраивал Международный поэтический конгресс, но мы не успевали заскочить к нам домой, так что я предложила отправиться на чтения, не заходя сюда. На что Иосиф страшно побледнел и признался, что у него нет с собой паспорта. „Но вам совершенно не нужно носить с собой паспорт в Лондоне“, — ответила я. „Вы уверены?“ — спросил он».

Александр Сумароков. Гамлет. Пьеса. Вступительная статья Максима Амелина. — «Новая Юность», 2003, № 4 (61).

«В 1748 году великий русский поэт и драматург Александр Петрович Сумароков (1717 — 1777) сочинил своего „Гамлета“, вторую в истории отечественного театра трагедию, написанную на светский сюжет (первая — «Хорев» — была написана и опубликована им годом раньше). Молодому автору шел 31-й год <...>. <...> Перед нами именно русская трагедия, поэтому попытки сопоставления обоих „Гамлетов“ как оригинала и копии бесперспективны. Сумароков не переводил трагедию Шекспира, не перелагал ее и не подражал ей. Он написал свою трагедию даже не на шекспировский сюжет, а только по мотивам. Из шекспировских героев, например, у Сумарокова остались лишь пятеро основных: Клавдий, Гертруда, Гамлет, Офелия и Полоний, причем Клавдий — не дядя Гамлета; добавилась вторая сюжетная линия — виды Клавдия на Офелию, принуждение ее через Полония к сожительству и дальнейшему браку с ним, избавившись от раскаявшейся в содеянном Гертруды» (из статьи **Максима Амелина** «История русского „Гамлета“»). Далее идет текст сумароковской пьесы.

Гамлет

Злодейство Клавдия уже изобличенно, —
Офелиин отец погибнет непременно.
Отец мой убиен среди своей страны,
Не в поле — на одре лукавыя жены,
Котора много лет жила с ним без порока!
А льстец Полоний был орудьем злого рока!

Виктор Троицкий. Беломорканал как элемент нашей культуры. — «Посев», 2003, № 8.

Беломорканал. Зачет. Перековка. Туфта. Каналоармеец. З/к — заключенный каналоармеец. Зек. Тачка. Беломорский «форд» — тяжелая площадка на четырех маленьких сплошных деревянных колесах из обрубков дерева. К 70-летию со дня торжественного открытия и сдачи в эксплуатацию Беломорско-Балтийского канала имени тов. Сталина (постановление СНК СССР от 2 августа 1933 года).

См. также: **Алексей Укконе** (Петрозаводск), «Каждый кричит: „И меня вспомни!“». Обнаружено крупнейшее захоронение заключенных ГУЛАГа, погибших на строительстве Беломорско-Балтийского канала — «Известия», 2003, № 171, 19 сентября <<http://www.izvestia.ru>>.

Ричард Форно (*Richard Forno*). Хайтековский героин. Перевод Дмитрия Беляева. — «Русский Журнал», 2003, 22 сентября <<http://www.russ.ru/netcult/gateway>>.

«Технологии вызывают привыкание, как азартные игры и героин». Автор статьи — самоучка, добившийся успеха как специалист в области управления информационной безопасностью, в настоящее время преподает курс защиты информации в Университете национальной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия.

Йохен Хёриш. Гротескная коммуникация после событий 11 сентября 2001 года. Перевод с немецкого. — «*GOETHE MERKUR*», 2003, № 1 (тематический выпуск «Война и терроризм»).

«Внутренняя коммуникация о событиях 11 сентября 2001 года на Западе была столь оживленной, дивергентной, столь самокритичной и комплексной, как будто она стремилась компенсировать отказ от коммуникации со стороны террористов».

Здесь же: **Герхард Кайзер**, «Крушение цивилизации. Отравляющие вещества и научная этика в период первой мировой войны»; и другие любопытные материалы.

Сборник «*GOETHE MERKUR*» выпускается совместно Институтом Гёте (Бонн, <<http://www.goethe.de>>) и немецким журналом «Меркур» (Берлин, <<http://www.online-merkur.de>>) на нескольких европейских языках, включая русский, один-два раза в год.

Фридрих Хитцер. Короткие замыкания и переменные токи. Эссе о терроризме и антитерроризме. Перевод Н. Федоровой. — «Иностранная литература», 2003, № 9.

«Мое эссе состоит из двух частей: первая, написанная в октябре 2001 года, озаглавлена „Русское в немецких зеркалах“; вторая, написанная в октябре 2002 года, — „Немецкое в русских зеркалах“. Перемена субъектов — не забава, она затрагивает меня лично <...>».

Егор Холмогоров. К реставрации будущего. По материалам Консервативного пресс-клуба (19.09.2003). — «Русский Журнал», 2003, 26 сентября <<http://www.russ.ru/politics>>.

«Повторю, вслед за Эдмундом Берком, что консерватизм — это, собственно, опора на *предрассудки* своего народа. На то, что Пушкин называл „мнением народным“. Оно существует и у разных народов может быть совершенно непохожим. Национальные школы консерватизма отличаются поэтому так же сильно, как национальные школы геополитики».

«Мы не можем требовать возвращения в 1984, 1953, 1917 или 1666 год, потому что с тех пор прошло время, иногда большое время, и такое восстановление прошлого не будет естественным, поскольку и без поворота „не туда“ за это время многое бы изменилось, иной раз — почти все изменилось бы. Добиваясь реставрации прошлого, мы должны добиваться *реставрации будущего этого прошлого* при сколько-нибудь естественном ходе вещей. Реставрации того лучшего будущего, которым было чревато это прошлое. Причем за счет расхождения линий времени между „нынешним будущим“ и „проектным будущим“ мы получаем огромное пространство для творчества, для устранения заложенных в прошлом и уже выявившихся в нашем настоящем опасностей и ложных путей. Собственно, стратегию оппозиции по созиданию „русского порядка“, иного по сравнению с „новым мировым“, можно представить себе как цепочку таких реставраций будущего: от восстановления „СССР, каким бы он мог стать“, через возвращение к великой Империи, которую убили, и до воссоздания Святой Руси в координатах XXI — XXII веков».

Егор Холмогоров. Народ безмолвствует. — «Товарищ». Народное информационное агентство. 2003, 19 сентября <<http://atvr.ru/analitics>>.

«<...> особенность русского народа в его современной ситуации в том, что он в какой-то момент оказался народом почти без интеллигенции — большая часть интеллигенции его предала и создала интеллектуальное и рефлексивное поле, на котором сформулировать, высказать и отстоять тезисы, лежащие в основе невысказанной идеологии большинства, оказывается очень сложно».

«<...> язык российской политики и идеологии сконструирован так, чтобы правду на нем сказать было попросту невозможно».

«Любая национальная и социальная политика в России, более того, любая демократическая политика может начаться лишь с того, чтобы интеллигенция <...> заговорила на языке молчаливого большинства — не на упрощенном и примитивизированном языке <...>, а на языке, очищенном от напластований лжи и от бесчисленных „политкорректных“ умолчаний и оговорок».

См. также: **Егор Холмогоров**, «Молчание народа» — «Спецназ России», 2003, № 10, октябрь <<http://www.specnaz.ru>>; «<...> да, нам нужна новая опричнина, новый 37-й. <...> Без масштабной репрессивной политики, которая очистит воздух в современной

России, невозможно ни восстановление порядка, ни, что особенно важно, формирование новой элиты. <...> Настоящая власть, а значит, и настоящая элита начинается со страха, который собирает в единое целое и народное требование справедливости, народное чувство мести к обидчикам, и необходимость создания чувства опасности, без которого невозможна властная иерархия».

Егор Холмогоров. Новая Россия. — «George Holmogorov's LiveJournal», 2003, 4 октября <<http://www.livejournal.com/users/holmogor>>.

«Если до конца уничтожить русских как нацию, что вполне возможно, то русские станут религией. *Religio nova*. Сектой, от которой будет плющить добропорядочный *Pax Americana* <...>».

Анатолий Чубайс. Миссия России в XXI веке. — «Независимая газета», 2003, № 209, 1 октября.

«Весь XX век вращался вокруг России. Россия была очевидным и признанным лидером для почти половины мира. Россия сумела то, чего никто никогда в истории не достигал <...>».

«1. Россия всю свою новейшую историю, кто бы ни был у власти, каждый раз инстинктивно выбирала правую идеологию — просто потому, что никакая другая не работала. 2. Правая идеология вытащила Россию из катастрофы в этот тяжелейший период нашей истории. 3. Россия приняла правую идеологию. <...> Все это называется необратимостью».

«Россия никогда не будет Америкой просто потому, что российской истории более 1000 лет, а американской — меньше 300. Без всякого сомнения, в России „делать деньги“ никогда не станет национальной идеей, а менталитет русского предпринимателя никогда не будет американским. Поиск правды, истины, справедливости для России и русского народа всегда стоит выше первичных материальных импульсов человека».

«Идеологией России, по моему глубокому убеждению, на всю обозримую историческую перспективу должен стать либеральный империализм, а миссией России — построение либеральной империи».

«<...> нам не надо вступать ни в Евросоюз, ни в НАТО. Мы не „поместимся“ туда ни экономически, ни политически, ни географически».

«<...> стратегически прорисовывающееся кольцо великих демократий Северного полушария XXI века — США, объединенная Европа, Япония и будущая Российская либеральная империя».

См. также: **Владимир Голышев**, «„Патриоты“ под ударом, или Зачем Чубайсу „либеральная империя“» — «Русский Журнал», 2003, 8 октября <<http://www.russ.ru/politics>>.

См. также: **Сергей В. Бирюков**, «„Миссия“ Чубайса: за и против» — «Русский Журнал», 2003, 13 октября <<http://www.russ.ru/politics>>.

См. также: **Егор Холмогоров**, «Империализм либеральный и интернациональный» — «Русский Журнал», 2003, 13 октября <<http://www.russ.ru/politics>>.

Сергей Шабуцкий. Переводчик Пророка. — «НГ Религии», 2003, № 14, 20 августа.

Говорит писатель **Чингиз Гусейнов** — в связи с его новой книгой «Суры Корана, расставленные Ибн Гасаном по мере ниспослания их Пророку»: «Дело в том, что канонический текст Корана составлен с большими композиционными ошибками. Как известно, через двадцать лет после смерти Мухаммеда собрались знатоки и на основе ходивших списков составили канонический текст. При этом они исходили из земной логики. Они решили, что законоведческие суры надо поместить первыми. Но ниспосланы-то они были в другом порядке! И мне захотелось расставить суры в изначальной последовательности и заново перевести их на русский. Работа заняла шесть лет. Кстати, нечто подобное совсем недавно попытались сделать в Турции, но издать эту работу авторам не разрешили. В любом случае идея витает в воздухе. <...> Так вот, когда я выстроил суры в изначальном порядке, я обнаружил, что получилась другая книга! <...> Недовольных голосов раздастся много. Но официально против моей книги никто не выступает, ведь тогда пришлось бы со мной полемизировать. А придраться фактически не к чему: никакой крамолы в работе нет. Всем известно, что суры не так расставлены».

Валерий Ярхо. Рейхсфюрер Павел Иванович. — «Огонек», 2003, № 33, сентябрь.

Пестель — национал-социалист?

См. также: **Оксана Киянская**, «„Русская Правда“ П. И. Пестеля в политическом контексте эпохи» — «Солнечное сплетение», 2002, № 22-23 <http://www.plexus.org/il/22_23.htm>.

Денис Яцутко. Не надо истерики. — «Русский Журнал», 2003, 13 октября <http://www.russ.ru/ist_sovr>.

«Автомат Калашникова — одно из базовых явлений отечественной культуры. Не уметь с ним обращаться — все равно что не читать Пушкина или Маяковского, не иметь понятия о том, что случилось в 1861-м или в 1917-м, или не знать, кто такой Юрий Гагарин». Это — по поводу введения в школе обязательной начальной военной подготовки.

Составитель Андрей Василевский.

«Знамя», «Континент», «Новое литературное обозрение»

Сергей Бабаян. Вечная весна. Повесть. — «Континент», № 116 (2003, № 2, апрель — июнь) <<http://magazines.russ.ru/continent>>.

Про любовь (она зла). Про молодежь (она безоглядна). В описании примет времени, языка и жестов героев Бабаян старается быть максимально достоверным. Как и Роману Сенчину, ему это, на мой взгляд, здорово удастся. В конце концов, он сам из этого времени. Интонация же повести напоминает, как ни странно, лирическую прозу Юрия Визбора — с ее предсказуемостью, «мужскими» самооправданиями, суровой «рыцарской» моралистикой и сантиментами. Такое уже не первый раз встречается. Про титр «прошло двадцать лет» — в конце повести — я уж не говорю. Тут он тоже невидимо имеется.

Александр Вяльцев. О Боге, неверии и литературе (демон Достоевского). — «Континент», № 116 (2003, № 2, апрель — июнь).

«А разница между Толстым и Достоевским, на наш взгляд, в том, что Толстой — нормальный, совершенно современный писатель-реалист. Достоевский же — архаик и трагик шекспировского толка. Кажется даже, что Шекспир и Достоевский — один человек, писавший в разных веках. Более того. Вне зависимости от того, что он *хотел* сказать и в чем хотел он нас убедить, и помимо всей своей философии, обостренной нравственной и гражданской позиции — Достоевский был *единственный* (? — П. К.) трагик XIX века и, может быть, всего Нового времени <...>».

Анна Глазова. Пауль Целан: существо. — «Новое литературное обозрение», № 61 <<http://magazines.russ.ru/nlo>>.

«Как читать стихи Пауля Целана? Читателю, ориентированному на поиск однозначного смысла, эти тексты неизбежно непонятны. Натолкнувшись на их непрозрачность, таковой читатель *может выбрать одну из двух интерпретаций собственного непонимания* (курсив мой. — П. К.): либо он имеет дело с герметическим шифром, ключ к которому лежит вне текста и только найдя который можно получить к тексту доступ; либо текст — ребус без решения, а таким образом, ирония над самим процессом понимания как реконструкции смысла».

Примерно в середине текста, поделенного на снабженные изысканными названиями главы, появляется *ничто*. «Стихотворение Целана есть существо, тварь (не „творение“), то есть *стихотварь*. Именно поэтому бесполезны попытки объяснить эти тексты, так же как бесполезно было бы объяснять того или иного вполне конкретного человека, именно человека, а не то, что он говорит. Конечно, стихотворение Целана не исключает коммуникации как таковой; его задачей был выход за рамки коммуникации, а не окончательный ее обрыв <...>. Стихотварь говорит, и — к радости эстета! — говорит красиво и иногда нараспев, но главное не в этом. Главное в том, что стихотварь существует, дышит (тоже очень по-мандельштамовски) в тесноте и темноте своего словесного тела — всем своим существом подвергает себя воздействию окружающего мира».

И далее — о *ней* как о живой. И следующая глава («Меридиан и притяжение») начинается так: «Путь, которым бредет стихотварь, подчиняется жесткой закономерности ее земного существования». Так-то.

Евгений Ермолин. Вкус свободы. Над страницами романа «Факультет ненужных вещей». — «Континент», № 116 (2003, №2, апрель — июнь).

Блистательная статья о — полностью согласен с автором — «последнем по времени создания (1975) *великом русском романе*». Точно замечено: «Он (роман. — П. К.) даже как-то вырос в своей художественной цене». О таинственности этой прозы, о чтении романа *не глазами, но сердцем, о его человечности*.

Сергей Зенкин. Теория писательства и письмо теории, или Филология после Бурдые. — «Новое литературное обозрение», № 60.

Публикуется в блоке материалов (числом семь) «После Бурдые: политика теории и практика рефлексии», открывающемся текстом **Александра Дмитриева** о крупном европейском философе, столпе *социоанализа*: «Недавняя смерть Пьера Бурдые (1930 — 2002) никого не заставила вспомнить о том, кто это такой и о чем он говорил: грустное событие пришлось именно на то время, когда идеи Бурдые оказались чрезвычайно востребованными, стали предметом всевозможных интерпретаций и манипуляций. В последние годы жизни Бурдые много писал и выступал, и его концепции воспринимались и как „идеология антиглобализма” (в газетных некрологах), и как сведение любых культурных явлений — литературных стилей, издательской политики и т. п. — к борьбе за власть и признание, и как отрицание самостоятельной ценности литературы и искусства... Бурдые оказался в роли нового идеолога...»

Итак, Зенкин, знакомящий читателя «НЛО» с новым идеологом: «Писатель — это не каждый, кто пишет книги; статус писателя вытекает из оценки, которую общество присваивает автору книг; можно сказать, что писатель = автор + признание (не путать с *призванием!* — П. К.). <...> Вообще, у писателя, в отличие от внутритекстуального автора, обязательно есть биография. Он не может быть никому не ведомым лицом; если фактов его жизни недостаточно, их приходится выдумывать или заменять фактами репутации его творчества. Такая операция — придумывание авторской биографии (выше процитирована фраза Ахматовой о *делании биографии „нашему рыжему”*. — П. К.) — типична для современной культуры, после автономизации литературного или художественного поля...»

Катриона Келли. «Маленькие граждане большой страны»: интернационализм, дети и советская пропаганда. Авторизованный перевод с английского Я. Токаревой. — «Новое литературное обозрение», № 60.

Публикация в блоке «Детское чтение советской эпохи: несветский взгляд».

«Использование мифа о детском мученичестве для формирования советского героического этоса 1930-х важно еще и потому, что оно исподволь придавало пропаганде вид укорененной и национальной традиции: дети-святые со времен Средневековья занимали особое место в русском религиозном сознании. Культ Павлика [Морозова] с 1934 года представлял собой случай советского синкретизма. Когда мальчика прославляли как светского мученика по аналогии и одновременно в противовес культу юного царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, погибшего в 1591 году в результате несчастного случая — или, как считалось тогда, убитого по приказу Бориса Годунова. Немаловажно и то, что убиенный ребенок давал возможность вытеснить из коллективной памяти сына Николая II Алексея, расстрелянного большевиками в 1918 году в городе Екатеринбург, недалеко от той деревни, где родился Павлик.

Самым поразительным переломом в советской идеологии детства было переключение с бытовавшего в первые пятнадцать лет советской власти восприятия семьи как источника угнетения — к восприятию ее же как основы социальной стабильности, „ячейки социалистического общества” с середины 1930-х годов и далее.

И — о более поздних временах: «И все же насаждение „чувства советского патриотизма” и „готовности защищать социалистическую родину” оставалось в ряду первостепенных задач советской школы. <...> В 1955 году была переиздана книга Чуковского „От двух до пяти” (она не переиздавалась с 1939 года), и по сравнению с первыми изданиями этот вариант был заметно „советизирован”. В позднейших изданиях „От двух до пяти”, включая напечатанные в 1960-х и 1970-х, сказка — жанр, изначально ценный Чуковским за то, что он стимулирует детское воображение, — теперь трактовалась как средство трансляции моральных ценностей, с помощью которого „лучше всего приобщать ребенка к основам народной речи”. Если в издании „От двух до пяти” 1934 года утверждалось, что русский язык довольно беден глаголами, образованными от существительных (с. 44), то издание 1970 года провозглашало, что „наш язык чрезвычайно богат глаголами, произведенными от имен существительных (с. 288, курсив мой. — К. К.)”».

Нет-нет, англичанка вовсе не иронизирует над Чуковским и двумя страницами позже сочувственно пишет об «истории интеллектуала, который всегда искал и использовал подходящие моменты, чтобы провозгласить свои идеалы, в которые он верил в течение долгого времени», и о том, как власти били его за те же самые сказки... И все-таки вышеприведенное наблюдение — поразительно.

Кирилл Кобрин. Похвала дневнику. — «Новое литературное обозрение», № 61.

Размещено в блоке, названном «Дневники: между текстом и житнетворчеством».

«Людей, ведущих дневники, можно условно разделить на три категории: «просто люди» — инженеры, помещики, рабочие, бухгалтеры и проч., которые привыкли регу-

лярно записывать события своей жизни; «политики», которые ведут дневники с тайной целью «рассказать всю правду», оправдать себя или рассчитаться с врагами в глазах потомства; «люди искусства», в том числе — писатели, для которых дневник частенько превращался то в мастерскую, то в светскую гостиную, то в исповедальню, то в очередное сочинение, но практически никогда — просто в перечень событий. Отдельно стоят еще несколько категорий: дневники возрастные (детские, особенно — если их автор несчастен в семье или интернате; юношеские — например, дневники влюбленных; старческие предсмертные и проч.), дневники, описывающие религиозный или просто мистический опыт (как тут не вспомнить Сведенборга!), дневники путешествия, одиночного заключения или наркотического „полета“. <...> Человек, ведущий дневник, доверчив. Бесконечно доверчив. <...> Люди, ставящие под сомнение существование так называемого „реального мира“, не доверяющие ничему и никому — Набоков, Борхес, Рембо, — дневников не вели. Люди, не питающие иллюзий по поводу человека, тоже. Что стал бы писать Беккет в дневнике?»

Юрий Кублановский. Три стихотворения. Слово после вручения премии. — «Континент», № 116 (2003, № 2, апрель — июнь).

«Быстро уходит из сознания непоколебимая прежде уверенность в предназначении. А без нее какая ж поэзия? И уж ежели сам поэт недопонимает, зачем, собственно, пишет, то тем более не знает этого *теплохладный* (курсив мой. — П. К.) читатель. Так в лирическом слове гаснет энергетичный заряд и остается один муляж. И сам творческий процесс, и его результат уже отдают никчемностью. Творить с таким размагниченным сознанием сложно. Но ведь „сверхзадача“ все же имеется!.. Лет десять назад Солженицын написал мне: „Вместо красного колеса по России катится теперь желтое“. В связи с этим хочу дать один совет молодым: мы крепчали в противостоянии красной идеологии. Крепчайте в противостоянии желтой, бульварной. Именно крепость духа и чистота языка способствуют рождению настоящей поэзии».

А. В. Лавров. Хорошо забытый Корней Чуковский. — «Новое литературное обозрение», № 60.

Рецензия на 6-й том (литературная критика 1901 — 1908 годов) — 15-томного собрания сочинений (см. «Книжную полку» вашего обозревателя в «Новом мире», 2003, № 9).

После доброжелательного и более чем подробного анализа книги («статьи <...> позволяют наглядно убедиться в том, что Корней Чуковский был одним из самых значительных и самых талантливых литературных критиков предреволюционных лет, что именно ему суждено было во многом обозначить новые и наиболее отличительные особенности литературно-критического жанра, характерные именно для этого времени») следуют и замечания (принципиальные и «не очень»).

Вот — из замечаний о недостатке соответствующих пояснений в комментариях: «<...> читатель, возможно, не распознает самостоятельно, что при упоминании „декадентов, выступающих с ‘голубыми поэмами’ да с ‘желтыми звуками’” (с. 228), обыгрывается заглавие сборника пародий В. П. Буренина „Голубые звуки и белые поэмы” (СПб., 1895); что слова о прекращении „болезненного существования” романа Горького „Мужик” (с. 267) означают появление в печати (в 1900 г. в журнале „Жизнь”) первых глав этого незаконченного произведения, за которым не последовало продолжения; <...> что „все эти сикамбры и органы” (с. 395) заимствованы из реплик Сатина в горьковском „На дне”; что каламбур с „Vita Nuova”, которую Минский, по совету Чуковского, „предоставит Данте и Луначарскому” (с. 400), предполагает ироническое соотнесение дантовской великой книги с названием социал-демократической газеты „Новая жизнь”, издававшейся осенью 1905 г. под редакцией Минского...» и т. п.

Виктор Лапицкий. Послесловие. [К Морису Бланшо]. — «Новое литературное обозрение», № 61.

Из авторского приступа к своему — цитируя Громоносцева-Цыгана из «Республики Шкид», — интеллектуальному эксцессу: «Может быть, я покажусь претенциозным, но мне представляется, что любая публикация в качестве „отклика” на последовавшую 20 февраля этого года кончину Мориса Бланшо <...>, сама идея некролога содержит элемент неверности духу его творчества, выбранному им себе уделу — или, философски, событию, именуемому Бланшо. Публичная эпитафия человеку, смерть которого попала в поле общественного внимания вопреки его воле, неуместна этически; тому, кто поставил свою смерть в зависимость от права на литературу, — логически. Реализованный Бланшо завет Малларме о полном исчезновении писателя в написанном им дает, однако, повод к уловке окольного пути, к столь часто тематизированному самим Бланшо обходному маневру: заменить эпитафию ушедшему человеку другим, зависящим не от временных рамок жизни, а от пространственных границ текста „некроло-

гом», подводящим черту под ныне и присно переживающим его нематериальным телом, корпусом его писаний, свести к которому он в конечном счете и стремился <...> Остается, конечно, риск, риск отрыва текста от его донора, синдром Антея, если угодно. Ну что ж, Бланшо учит, что отсутствие имманентно любой книге, любому произведению — попробуем понять его буквально. Итак, послесловие, вопросительный, условный, самооспариваемый характер которого, чудится, снимается безусловной окончательностью навязанной здесь и сейчас ему роли — эпитафии».

Далее, говоря словами редакции, «почти исчерпывающий обзор литературного творчества» крупнейшего европейского интеллектуала. И надо ли добавлять, что автор сего сочинения — испытанный переводчик покойного классика (здесь публикуется его «Ницше и фрагментарное письмо»).

Марк Липовецкий. Памяти Марины Каневской. — «Новое литературное обозрение», № 60.

Трехстраничный некролог-воспоминание начинается так: «Марина, не верившая ни в Бога, ни в черта, не снисходившая даже до суеверий, погибла в пятницу 13-го — ее сбила машина на темной улице совсем небольшой, хоженой-перехоженой Миссулы, в „ковбойском” штате Монтана». И далее снизошедший все же до этих суеверных выкладок автор рассказывает о том, какого талантливого и «многостаночного» ученого потеряла русская филология. «О чем бы она ни писала (Достоевский и Михайловский, Набоков и Умберто Эко, Пушкин, Гоголь, Сологуб, Эрдман, Анциферов, Кенжеев, Искандер... — П. К.), во всем чувствовалось не столько методологическое или теоретическое, сколько личностное единство. Марину мало интересовала рационалистическая, выверенная и выстроенная литература; она занималась, как это ни старомодно звучит, по преимуществу *литературой сильных чувств*, которая бьет наотмашь или заставляет смеяться до колик, короче, от которой захватывает дух. Как всякий настоящий литературовед, она лишь притворялась бесстрастным аналитиком, а на самом деле искала и находила в том, о чем она писала, себя, свою эмоциональную безоглядность и энергию <...> почти все воспоминания о ней веселые. <...> Когда Марина брала интервью у Искандера, для статьи о нем, классик почему-то заметил: „Я вообще-то неплохой рассказчик”, — на что Марина, не сдержавшись, воскликнула: „No shit!” Как она потом рассказывала, Фазиль Абдуллович прекрасно понял басурманскую идиому, оценил непосредственность интервьюера и смеялся вместе с Мариной».

Марк Липовецкий. Утопия свободной марионетки, или Как сделан архетип. Перечитывая «Золотой ключик» А. Н. Толстого. — «Новое литературное обозрение», № 60.

«Алексей Толстой, может быть, впервые в русской культуре осуществил то, что сегодня называют словом „проект”. Сказка „Золотой ключик, или Приключения Буратино” (1935) была только первым звеном этого проекта».

Тут надо учесть выпрошенный Толстым — незадолго — у Ворошилова (гениальный ход!) совет, чем закончить «Хождение по мукам». И пошла повесть «Хлеб» о роли Сталина в обороне Царицына.

И вслед за мотивом *собственного театра*, обретаемого Буратино в результате всех его приключений, на рукописи пьесы о деревянном человечке, «напротив слов Мальвины (выпущенных в конечном варианте): „Я скучаю без театра. Вот бы завести свой собственный кукольный театр... Сами бы сочиняли пьесы, сами бы продавали билеты... Без плетки Карабаса”, — появляется профиль усатого мужчины».

Потом появляется еще один усатый профиль, с характерной трубкой. «Повторяющаяся ассоциация между мотивом своего театра и образом Сталина позволяет предположить, что Толстой мысленно обращает к Сталину мечту о собственном театре — об игре по собственным правилам. Именно Сталин как персонификация абсолютной власти способен освободить художника от мелочного контроля „карабасов-барабасов” и предоставить свободу творчества, на определенных, впрочем, условиях. Напомним, что именно так интерпретировалось многими создание Союза писателей, на первый взгляд освободившее „попутчиков” от террора РАППа. Весь проект „Буратино” с этой точки зрения может быть прочитан как некая утопия — парадоксальная, если не оксюморонная, *утопия свободной марионетки*».

Инна Лиснянская. Сорок дней. Стихи. — «Знамя», 2003, № 9 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Наверное, об этом непрекращающемся, но интонационно меняющемся от подборки к подборке монологе-плаче-диалоге (будет, я знаю, и еще публикации) время рассуждать *со стороны* пока не пришло. Поразительно сочетание естественности этих стихов с отвагой *выхода с ними* к современному — такому разному в своей искушенности — читателю. Хочется надеяться, что он не только оценит доверчивость поэта, но обратит

внимание и на то, насколько удивительны стихи Лиснянской последних лет. От глагола «удивлять», конечно. Не говоря уж о том, что, читая их, так и хочется сказать: настоящая поэзия — это *песня*.

Мария Майофис. «Рука времен», «божественный Платон» и гомеровская рифма в русской литературе первой половины XIX века: комментарий к непрочитанной поэме Н. И. Гнедича. — «Новое литературное обозрение», № 60.

Поэма эта — «Рождение Гомера» (1817). «Обратим внимание на то, что божественный Гомер у Гнедича, как и император Александр в литературе последних военных и первых послевоенных лет, является носителем и источником света, противостоящего силам тьмы, которые водворяют повсюду невежество и забвение. Конечно, свет этот — небесный и божественный:

Кто сей неведомый, сей дивный человек,
Который, как перун, тьму времени рассек?
Который, как гигант, на раменах могущих
Всю славу Греции подъял из тьмы времен?

Гомер Гнедича — первый боговдохновенный поэт, вслед за которым в разные времена и в разных странах другие наделенные божественным даром певцы увековечат в своих творениях подвиги героев, не позволяя восторжествовать „мраку времен“. <...> Требование сохранения памяти становится у Гнедича своего рода нравственным императивом и фундаментальным законом бытия мира».

Добавим, что в своей поэме Гнедич яростно полемизирует с Державиным — о времени, забвении и памяти.

Томас Мертон. Ночной дозор. Перевод с английского, предисловие и примечания Елены Давыдовой. — «Континент», № 116 (2003, № 2, апрель — июнь).

Публикация из наследия легендарного человека — писателя, монаха, мистика, поэта, социального и литературного критика, переводчика и комментатора, корреспондента Бориса Пастернака, автора более семидесяти книг. В предисловии подчеркивается, что вокруг имени Мертонна понастроено достаточно фантастических мифов, а между тем само его творчество российскому читателю почти неизвестно. Томас Мертон (в монашестве — отец Луи) погиб зимой 1968 года в Бангкокской гостинице от удара током.

Цитировать его медитативную прозу, более всего напоминающую неторопливый *душевный дневник*, фиксирующий вслушивания в себя, обращения к Небу и благодарно попавшие в кругозор видимого частицы окружающего его мира, — сложно. Из стихов все-таки можно иногда выделить строфу и придать ей отдельное ускорение. Здесь — более деликатная ткань, тем не менее больше всего напоминающая именно стихи.

Виктор Некрасов. Король в Нью-Йорке. Рассказ. Публикация В. Кондырева. Послесловие Л. Лазарева. — «Знамя», 2003, № 9.

Чудесный рассказ-фантазмагория о тайной квартирной встрече Алексея Николаевича Косыгина и Александра Федоровича Керенского — с обильным возлиянием и спорами о судьбах истории. Прочитав его, я понял, как могло случиться (об этом пишет в послесловии Лазарь Лазарев), что рассказ из некрасовского сборника «Саперлипопет...» — о встрече скучающего Сталина с автором книги «В окопах Сталинграда» — был воспринят в свое время некоторыми открывателями сенсационных исторических происшествий как непрерываемый исторический факт.

Мастерство не пропьешь, это тоже факт.

Антон Нестеров. Герменевтика, метафизика и «другая критика». — «Новое литературное обозрение», № 61.

В частности, интереснейший анализ поэтики одного из самых загадочных и ярких современных поэтов-метафизиков — Александра Миронова, его «подзвучка» и «подсвеченность» Мандельштамом, Цветаевой, античной мифологией.

«До сих пор в некоторых исследованиях главным признаком метафизической поэзии считается особая усложненность речи, причем эта усложненность воспринимается как сугубо литературное явление. Тем самым оказывается невозможным понять подлинный смысл текстов английских поэтов-метафизиков, — а также то, почему для них столь значимо название „метафизики“. Эти тексты имеет смысл читать в контексте философии, истории, иконографии — а не только литературы; тогда, например, и „метафора“ у метафизиков становится не только литературным явлением, но и конкретной отсылкой к разнообразным контекстам. „Сложность“ поэтов-метафизиков — это свойство особой, исторически конкретной (но внутренне разнообразной) группы поэтик. Текст поэтов-метафизиков всегда отсылает к многоуровневой реальности за его пределами».

Ольга Седакова. Из цикла «Начало книги». Стихи. Слово после вручения премии. — «Континент», № 116 (2003, № 2, апрель — июнь).

Прочитывая свои юношеские стихотворные строки («Не всю еще душу прозябли, / Не всю еще смуту снесли, / Чтоб вызвать прощения каплю / У безмерно виновной земли»), лауреат премии Александра Солженицына итожит: «Даже эти далеко не блистательные строки начинающего автора рядом с его же взрослыми прозаическими рассуждениями дают почувствовать — или предчувствовать, — что такое возможность поэзии, возможность искусства, возможность смысла и чувства, являющихся вместе с формой, то есть в своей истинной простоте: воплощенных. Я сказала бы: это возможность души в мире, который делает все, чтобы душа была невозможной. Об этой возможности и говорил опыт внутреннего освобождения, происходивший во многих формах и во многих лицах в конце зловещей эпохи. Мы начинали верить, что нам есть что сказать людям. То, что складывалось в ответ на историю, я назвала бы поэтикой выздоровления, поэтикой целительства».

Александр Скидан. Сумма поэтики. — «Новое литературное обозрение», № 60.

Рецензия на вышедший год назад двухтомник Елены Шварц.

После обстоятельного сравнительного анализа двух поэтических миров — Бродского и Шварц, примечательно прорисованы обобщающие портретные черты поэзии последней: «Многие стихотворения Шварц начинаются со своеобразного ритмического прощупывания, „настройки“ (так настраивается перед концертом оркестр), спонтанной скороговорки, выбрасывающей разнонаправленные пучки-шупальца интенций-аффектов. И только позднее, к пятой-шестой строке, возникает рифма, начинает проступать рисунок просодии. Эта характерная открытость конструкции позволяет говорить о поэзии Шварц в терминах становления: никакой статики, никакой заданности; форма рождается из самодвижения экспрессивных жестов, из нервных импульсов и шоков, из окрашенных аффектом перебоев дыхания, визуальных восприятий („видений“), даже как отражение психосоматических, „подкожных“ вибраций. Это непрекращающийся процесс, отрицание любого заранее полагаемого целого, отрицание статической тотальности. В таких же динамических отношениях находятся и лексические ряды (по богатству словаря Шварц, наверное, делит в русской поэзии с Хлебниковым первое место): в пространстве стихотворения сталкиваются славянизмы, просторечия, высокая церковная и наукообразная лексика <...>, эзотерическая терминология, латинизмы и т.д. — речевой поток, подобно воронке, вбирает в себя все, дробя и высвобождая древние, забытые, периферийные пласты значений, „заумную“, „заклинательную“ энергию слова».

Александр Скоробогатов. Кокаин. Роман. — «Знамя», 2003, № 9.

Автору сорок лет. Из Белоруссии. Ныне живет в Бельгии. Переменил множество профессий, среди которых есть *театральные* и *цирковые*. Переводился на нидерландский, полтора года назад издавался в «Олма-Пресс».

Был бы я злой, так написал бы: «Остерегайтесь подделок!» А теперь знаю, что такая *как бы* суггестивная, мультипликационная, яркая и *совершенно*, на мой взгляд, искусственная проза в нынешние времена *хорошо идет*. Сладострастное, раздумчивое такое почесывание: «чего бы еще сюда вставить, как бы еще вывернуть да с какой стороны взглянуть». С авторским, конечно, вступлением — в меру кокетливым, прикрывшим себя карнавальным полумасочкой: я не я, и лошадь не моя. За такое и премию могут дать. Впрочем, название вещи снимает мои претензии, чего не напишешь под кайфом-то. Шутка.

Игорь Фролов. «Ощутить, уже не ощущая...» Памяти Александра Касымова. — «Знамя», 2003, № 9.

Саша Касымов любил словесность, как иные любят женщину. С наркотическим опьянением, религиозным экстазом, провидческой нотой понимания, преданностью и непримиримой войной, состоящей из череды перемирий. Он был настоящим *читателем*, из этого и выросли его лучшие статьи, написанные не по пожеланию той или иной редакции, а от себя.

Фролов справедливо пишет о том, что зажигался он только зажигательными текстами (*для себя*, конечно). Он был предельно искренен: между ним и объектом его интреса-любви-неприятя не было никаких посредников, ни «литературной ситуации», ни «расклада», ни «цеховых» или издательских интересов. Я, между прочим, знаю, как дорожат некоторые современные поэты хранимой в своих компьютерах электронной перепиской с Касымовым...

Составитель Павел Крючков.

●

АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

●

Составители «Библиографических листков» будут благодарны провинциальным/зарубежным издательствам и редакциям провинциальных/зарубежных литературных журналов, если те найдут возможность присылать образцы своей продукции. Это послужит более полному освещению литературной жизни России и Русского Зарубежья на страницах «Нового мира».

●

ДАТЫ: 6 (19) января исполняется 100 лет со дня рождения поэта Александра Ивановича Введенского (1904 — 1941).

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Январь

5 лет назад — в № 1, 2 за 1999 год напечатан роман Михаила Бутова «Свобода».

10 лет назад — в № 1 за 1994 год напечатан роман Александра Мелихова «Изгнание из Эдема. Исповедь еврея».

15 лет назад — в № 1 за 1989 год напечатана повесть Вячеслава Пьецуха «Новая московская философия», а в № 1, 2, 3 — «Рассказы о Анне Ахматовой» Анатолия Наймана.

75 лет назад — в № 1, 2, 3 за 1929 год напечатана повесть Александра Малышкина «Севастополь».

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

М. СВЕТЛОВ

ПОЕЗД

Он гремит пассажирами и багажом,
В полустанках тревожа звонки,
И в пути вспоминают
Оставленных жен
Ревнивые проводники...

Он грохочет...
А полночь легла позади
На зелено-оранжевый хвост,
Машинист с кочегаром
Летят впереди
Лилипутами огненных верст.

Это старость,
Сквозь ночь беспощадно гоня,
Приказала не спать, не дышать,
Чтобы вновь кочергой,
Золотой от огня,
Воспаленную юность мешать,

Чтобы вспомнить расцвет
Увядающих губ,
Чтобы молодость вспомнить на миг...
Так стоит напряженно,
Так смотрит на труп
Застреливший жену проводник.

«Новый мир», 1929, № 1.

SUMMARY



This issue publishes «Sincerely Yours, Shurik», a new novel by Lyudmila Ulitskaya, «Murzilka», a tale by Vasily Golovanov, two stories by Nina Gorlanova and three stories by Oleg Chilap. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Vyacheslav V. Ivanov, Maria Vatutina, Anatoly Naiman and Vladimir Salimon.

The sectional offerings are as follows:

Philosophy-History-Politics: «Revising Lex Talion. Punitive Justice and Legal Humanism» — an article by Erikh Solovyov dwelling on the principles of the penitentiary system.

Close and Distant: «Gustav Shpet: My Writing is Like Echoing Another Person» — the Russian philosopher's letters to his wife.

The Writer's Diary: «The Foreshortening: a Possible Viewpoint of the Contemporary Russian Novel», an essay by Vladimir Makanin.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, В. А. Губайловский, Б. П. Екимов,
Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина,
Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, О. А. Славникова,
Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Лукогина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.09.2003 г. Подписано к печати 29.11.2003 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8800 экз. Зак. 3677. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова,
учрежденная журналом «Новый мир»
и Благотворительным Резервным фондом,
присуждается с 2000 года автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).

По итогам 2000 года лауреатом премии стал ИГОРЬ КЛЕХ,
по итогам 2001 года — ВИКТОР АСТАФЬЕВ (посмертно),
по итогам 2002 года — АСАР ЭППЕЛЬ,
объявление лауреата по итогам 2003 года
и торжественное вручение премии
состоится в начале 2004 года.

Состав жюри:

МИХАИЛ БУТОВ, прозаик, ответственный секретарь
журнала «Новый мир»;
ДМИТРИЙ БЫКОВ, поэт, прозаик,
литературный критик, публицист;
РУСЛАН КИРЕЕВ, председатель жюри, прозаик,
зав. отделом прозы журнала «Новый мир»;
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда;
МИХАИЛ ЭДЕЛЬШТЕЙН, литературный критик,
обозреватель «Русского Журнала».

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;
генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 \$.

Контактные телефоны: (095) 200-54-96, 209-91-81.